

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2003

4

2003

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2003 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кандидат (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
ЮРИЙ БУЙДА. Кёнигсберг (роман);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Путевка на целину (1954) (рассказ);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Танк (повесть);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. На обратном пути (стихи);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;
АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ. Реабилитация, или Письма из Испании;
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЬГА НОВИКОВА. Женщина с ее проектами; Питер и поэт (из цикла «Вымыслы»);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Вода и пламень (рассказ);

(См. на обороте)

ВИКТОР ПАНОВ. *И там жили* (из наследия);
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. *Заморозки* (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. *Пустырь* (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. *Третье дыхание* (повесть);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. *Филологические новеллы*;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. *Избранник* (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. *Театральный человек* (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. *На солнечной стороне улицы* (роман);
РОМАН СЕНЧИН. *Вперед и вверх на севших батарейках* (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. *Период* (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. *Новая проза*;
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. *Игры на свежем воздухе* (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. *Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания; Этюды из «Литературной коллекции»*;
СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ. *Коробочки с пеплом* (стихи);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. *Бабушкин спирт* (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. *Прощание с гармонистом* (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. *Сансаныч* (повесть);
АНТОН УТКИН. *Новый роман*;
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. *Теленовости* (продолжение цикла «Мелочи культуры»);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. *Откос* (повесть);
ЕЛЕНА ШВАРЦ. *Златая маска* (стихи);
ГУСТАВ ШПЕТ. *«Я пишу как эхо Другого...»* (письма к жене);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. *Новая повесть*;

а также стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК**, **СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ**, **БАХЫТА КЕНЖЕЕВА**, **ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ТАТЬЯНЫ МИЛОВОЙ**, **ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ**, **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ**, **ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА**, статьи, обзоры, эссе **СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА**, **ДМИТРИЯ БЫКОВА**, **ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО**, **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА**, **ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА**, **ЮРИЯ КАГРАМАНОВА**, **ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ**, **АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ**, **АЛЛЫ МАРЧЕНКО**, **ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО**, **МАРИИ РЕМИЗОВОЙ**, **ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА**, **ИРИНЫ СУРАТ**, **ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2003 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2003. Пресса России». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на второе полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходиться за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликешенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОВЪИ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4 (936)

Апрель, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ — По мосткам, по белым доскам, стихи	7
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Глаша, повесть	12
ЛАРИСА МИЛЛЕР — На тонкой леске, стихи	73
ИРИНА РАТУШИНСКАЯ — Ничья сестра, стихи	76
ДМИТРИЙ НОВИКОВ — Куйпога, рассказ	79
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — Поверх старого текста, стихи	85
ВСЁ К ЛУЧШЕМУ. Рассказы современных словенских писателей: Эвальд Флиссар. Агрегат. Перевод Н. Стариковой; Милан Клеч. Полной грудью. Перевод А. Судьиной; Яни Вирк. Дверь. Перевод Н. Стариковой; Руди Шелиго. Всё к лучшему. Перевод Ж. Перков- ской. Вступительное слово Михаила Бутова	88
РОМАН СОЛНЦЕВ — Древние рыбы, стихи	119

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Уже открыт новый счет... Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. Окончание	124
---	-----

МИР НАУКИ

МАКСИМ ШАПИР — Отповедь на заданную тему. К спорам по по- воду текстологии «Евгения Онегина»	144
---	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Я играю в жизнь	157
---------------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Двоенье Юрия Нагибина. Из «Литературной коллекции»	164
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Бак. Исповедь грантососа, или Конец Умберто	172
Ольга Постникова. «Встречь ветра жгучего...»	175
Сергей Костырко. Краб, который пятится	179
Елена Озобкина. Жизнь философа	183

КНИЖНАЯ ПОЛКА ОЛЕГА ПАВЛОВА	186
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	192
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	201
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	211

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	217
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	220
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА РЕЙНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ,
УЧРЕЖДЕННОЙ ФОНДОМ АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА
(ГЕРМАНИЯ)!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

*

ПО МОСТКАМ, ПО БЕЛЫМ ДОСКАМ

Вальдшнеп

Орест Александрович Тихомиров происходил из немцев, когда стал русским, не знаю, но это спасло его и семью — других соседей, Шпрингфельдов, мужчин расстреляли, а детей и женщин сослали в Караганду, все-таки немчура и возможный пособник Гитлеру, то есть своим, а наш брат Иван любит порядок и дисциплину тоже, но со славянским акцентом. Так вот, Орест Александрович был педант особый, немецкое давно повыветрилось в роду, кроме упорства и жилистости, а цели... цели были вполне земные, хотя поди определи какие: они разлетались, как глиняные тарелочки, по которым стрелять он приохотил даже меня, подростка. Короче, Орест Александрович был русак из русаков, как бывший немец, к тому же охотник, а это, я вам скажу, не кисель мешать, не пробивать дыроколом и подшивать бумажки, это искусство — вести по небу мишень и нажимать на крючок спусковой не раньше, не позже, а ровно тогда, когда надо.

У Тихомировых на столе у самовара вечно сидело нечто дымчатое и пуховое, размером само с самовар, оно иногда издавало вполне благосклонные звуки, шурилось и отсутствовало, это при том, что любимому пойнтеру разрешалось сидеть на стуле, а на столе — тубо! это было бы чересчур. Разумеется, и лафитник, всегда пустой на две трети, как Сома какой-то, лоснился радужным животом, но для разговоров — а хозяин был не просто охотник, а председатель общества и имел не один диплом — не было в нем нужды, поскольку Орест Александрович заводился и без алкогольного вспрыска, на чистом духу.

Зрели райские яблоки в их саду, золотой налив и вишня,
на задах укроп золотился, вымахивали табачки,
под плющом косилась беседка — все здесь, казалось,
шло своим чередом и порядком, само собой.

Орест Александрович не пахал, так сказать, не сеял,
где служил, где работал, не знаю, кем числился, не могу
и представить, кем-нибудь да числился, это точно,
но любую работу, труд как повинность он презирал,
хотя рукаст был на удивление, и что ни делал,
делал толково и быстро, а любить не любил,
потому как артист в натуре, не зря со своим знаменитым
свояком, приезжавшим на лето со всей семьей
отдохнуть на природе, сладкоголосым певцом в дуэте
александровского ансамбля, он был слегка,
как бы это сказать, небрежно почтителен, что ли,
словно *он* был первым артистом, а тот — хорист.
И то, что тенор всегда приезжал еще и с кухаркой,
ничего не меняло: кому-то же надо ошпипывать дичь.
А мужское дело — ружье и снасть, и тут никого ему
не было равных.

Орест Александрович Федорова не читал
Николая Федоровича, но и без философии
на босу ногу, философии то есть, знал наперед,
что венец творения так-таки уничтожит
всё летающее и прыгающее, и дойдет до себя
в силу теории эволюции и общественного прогресса
да и просто из чистой практики, с этим Дарвин и Маркс
согласились бы, думаю, и вопрос выживания
сводится в сущности к одному: кто ведет учет
и дает лицензии на отстрел, посему в кабинете,
где он, как я теперь понимаю, все же служил,
получая какие-то бабки, висели не лики двух соколов,
а рисунок летящей утки и карта охотхозяйств.

Фрр! — и следом хлопок: на болота пришла охота.
Доставай ружье, прочисти шомполом ствол,
переломив двустволку, и посмотри хорошенько,
как в бинокль, играет ли сталь, и упрячь в чехол,
патронташ набей, сапоги повыше с раструбом
натяни до ягодиц, положи в мешок вещевой
соль и спички, огарок свечи, спиртное во фляжке
для растирки и обогрева, плащ-дождевик
на себя — и в путь: козел залит под завязку,
поезжай в Киржач, там всего непуганней дичь,
можно, впрочем, и в Муром, свисток не забудь и компас
и на худший случай аптечный пакет с бинтом,
и удачи тебе! не проспи! — настоящий вальдшнеп
не дурак, и сезон не приходится на сезон.

Ночь ли, утро, хлопнула дверца, зафыркал поршень,
вспыхнули фары, и газик затарахтел во тьму,
окна света медленно шарят по стенам комнаты,
где я сплю, и гаснут...

Странно, я никогда
не любил охоты, а вот рыбаков и охотников
обожал, хватких деятельных гуляк,
говорунгов, иногда хвастунов, великодушных тиранов
на домашнем поприще. Я пошел однажды с ружьем
в зимний день на лыжах, караулил лису у стога,
но лисица хитра, и я, ретивой стрелок,
подстрелил с досады птицу в березовой роще,
злополучного дятла. Он лежал на чистом снегу
красным пятном, подвернув расперившуюся головку,
неподвижное тельце — я бы это хотел забыть —
как веер раскрывшееся крыло, красные перья,
и удивленное око, остановившееся на мне: за что?

С той поры я ни разу не брал двустволки,
ни ружья духового, разве что в тире, и то скорей
для проверки руки и глаза, а не для спеси
и молодецкого куража, потому что живая цель
предполагает прежде всего убийцу,
и любой охотник, по мне, убийца, а не стрелок.

А тарелочки глиняные еще проплывают по небу
медленно-медленно и я веду за ними прицел
глаз положив на мушку и рассчитав траекторию
нажимаю на спусковой крючок и от хлопка
просыпаюсь. Это газик. Орест Александрович
прикатили с охоты. Я слышу, как он вытаскивает мешок,
тот шлепается глухо, пух-перо как-никак, а мясо —
кухарку Грушу учить не надо. Главное снять сапоги
и, облившись водой из ведра, растянуться по всей кровати,
запрокинув голову, только острый кадык
будет торчать в бесформенной груди тела...

И пока он спит... кто знает где он сейчас
но по тому как пойнтер подрагивает ушами
изредка взлаивая — пиль! — можно предположить
что оба они еще на охоте вот он навскидку прицеливается
слившись с ружьем и нажимает на спуск
но почему-то взлетает и сам набирая воздух
над чавкающим болотом над камышовой засадой и озерцом —
это он с удивлением расскажет после — а рядом
фрр! хрр! — в небе кто-то перину вдруг распорол
и какая-то утка с человеческим лицом сумасшедший вальдшнеп
которого он только что подстрелил — Орест! Орест! —
бьет его на лету клюет в закрылья рыдает в ухо —
не Эринии ль часом? — Орест! и снова: Орест! — Орест
Александрович открывает глаза, жена толкает
за плечо: — Ты храпишь, дорогой. Умойся, обед готов, —
и Орест Александрович... впрочем, увольте от описаний
торжества удачной охоты и рассказней за столом,
ибо мы только запах слышим, а разговоры —
бу-бу-бу — можно вообразить: см. картину Перов
«На охоте» или что-нибудь в этом роде...

И опять самовар на столе, рядом кот и на стуле пес,
и отпотевший лафитник, целиком уже опустевший,
и портрет Александра, отца Ореста, в рамочке на стене,
обшитой дедом еще до Германской мореным дубом,
заподлицо подогнанным плотно доска к доске.
И Орест Александрович с женой и двумя сыновьями,
с домочадцами и зашедшими на огонек
все сидят распаренные, разомлевшие под абажуром,
говорят все сразу, не слыша друг друга, галдят,
а Орест Александрович безотрывно смотрит куда-то,
глаза чуть навывкате, цвета мыла хозяйственного, глядит
не моргая на дальний объект, в недоступную точку,
машинально покручивая усы, а усы, как я мог забыть,
это тема особая, он умел их носить шикарно,
как предмет фамильной гордости, фабрил и стриг
исключительно сам, хотя иногда, бывало,
их сбрасывал и ходил унылый и скучный, как все,
ну так вот, он в усах и глядит за черту куда-то,
и постепенно всё замолкает, и меркнет свет.

Режиссер! говорю, фотограф! кричу, художник!
запечатлейте на память скорей групповой портрет.
Но слова мои тонут во мне, и я постепенно
замолкаю и сам и вместе со всеми молчу...

Как не хватает все-таки здешних немцев,
думаю я, вспоминая Алтай, кустанайскую степь,
фиолетовые лога в росе, в многоярусной дымке,
и закаты вполнеба, свист сусликов из степи,
и потемки, камнем падающие на землю,
меловые мазанки украинские, а победней
белорусские хатки, обовшивевшие юрты казахов,
серые срубы русских, временки из камыша
ингушей — всех переселенцев и ссыльных,
с кем столкнула судьба, и вдруг — дома посреди всего
как оазисы — крепкие, лаженные, в палисадах,
где не только тыква и брюква, но и цветы, дома
немцев с их обихожеными огородами
и дорогами неразбитыми вопреки всему.

Помню сквер на Большой Грузинской возле посольства,
сотни выстаивающих за визой в один конец,
и вытопанный, помертвелый после их отъезда
на непонятную родину предков, да и где она? что?
этнос-танатос? зов языка? или место рождения?
память запахов, лиц и лет? или страшные сны,
а еще страшнее счастливые, когда просыпаешься
весь в слезах, неизвестно где, и не можешь заснуть?

Я и в Германии их встречал, пилигримов вечных
за неведомой чашей Грааля, немногословных, скупых
на откровения, и только по затаенным жестам
можно было бы догадаться, о чем они
намеревались порасспросить, но гордость, гордость,
этому ни научиться нельзя, ни отвыкнуть, unmöglich! nein!

Вот я снова у дома, где когда-то родился,
а напротив дом Тихомировых, но постой, постой,
что за терем растет-вырастает, вбирая старый
внутри себя, ручной, деревянный, в два этажа,
пахнувший стружкой еще, опилками, весь в стропилах,
с недокрытой крышей, однако уже стоит,
и у старых с навесом ворот Александр Орестович,
детский друг мой, машет рукой: — Заходи, сосед,
тыщу лет не виделись... Сам сложил. Ну так как,
поедем пострелять в Киржач? — смеется. Горбинкою нос,
усы тонкой щеточкой, острый кадык, а глаз как у черта
зоркий, цепкий, всё просекающий. — Что ж, — говорю, —
и в Киржач, будем живы, съездим, и в Муром, Саша.
Обязательно съездим еще. Почему бы нет!

Кукушка

А березова кукушечка зимой не куковат.
Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.
Ничего oprичь молитвы и не помню, окромя:
Мати Божия, заступница в скорбех, помилуй мя.

В школу шел, вальки стучали на реке, и в лад валькам
я сапожками подкованными тукал по мосткам.
Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки,
все хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки,
потому что жизнь копейка, да и та коту под зад,
потому что с самолета пересел на самокат,
молодость ли виновата, мессершмит ли, медсанбат,
а березова кукушечка зимой не куковат.

По мосткам, по белым доскам в школу шел, а рядом шла
жизнь какая-никакая, и мать-мачеха цвела,
где чинили палисадник, где копали огород,
а киномеханик Гулин на бегу решал кроссворд,
а наставник музыкальный Тадэ, слывший силачом,
нес футляр, но не с баяном, как всегда, а с кирпичом,
и отнюдь не ради тела, а живого духа для,
чтоб дрожала атмосфера в опусе «полет шмеля».

Участь! вот она — бок о бок жить и состояться тут.
Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут,
и кукушка прокукует и в глухой умолкнет час...
Мати Божия, Заступница, в скорбех помилуй нас.



АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ



ГЛАША

Повесть

1

Солнце давно уже оставило Мурманск, позабыв о нем до весны и погрузив самый северный город в глухую полярную ночь, но люди жили и работали, заведенные суточными ритмами земной жизни; магазины открывались по утрам, тогда же распахивались двери контор и заводских проходных, окна ресторанов зажигались под полдень, толкотня у «Арктики» только вечером, и осыпаемая снегом одинокая девушка ждала кого-то у ресторана, варежкой сбрасывая лепящийся к ней снег. Не так-то уж холодно для мурманчан, всего семнадцать градусов (ниже нуля, разумеется), упрямый ветерок не царапал глаза острыми колючими снежинками; волосы девушки прикрыты платком, шапка утепляла голову; и платок (оренбургский), и шапка (пыжиковая), и шубка, казавшаяся в сиренево-неоновом свете фонаря норковой (а возможно, она такой и была), подсказали проходившему мимо Пете Анисимову, что девушка — не местная, чуть ли не столичная, и что ее не посадишь за ресторанный столик, не потянешь в такси, не прельстишь уютным уголком частной квартиры с приглушенным освещением, — такую власть излучала незнакомка, такую *доступную недостижимость*. У Пети, кстати, и в мыслях не было заходить в «Арктику», в Мурманск он попал случайно, возвращаясь из командировки, и рвался на свой эсминец, в бухту Ваенга, которая не так-то уж близко, но и не так уж далеко, чтоб спешить, и Петя, уже оставив девушку за спиной, дал, выражаясь по-морскому, задний ход, развернулся и еще раз глянул на невесть откуда слетевшее чудо. Не поклонение красавцев мужчин воздвигло перед девушкой невидимый барьер, перепрыгнуть через который достойны не многие, не красота или ум, а нечто иное, чего ему, Пете, никогда не преодолеть...

И поэтому надо, рискуя получить по морде, рваться вперед!

И — рискнул! Рванул! Осмелился! Потому что родом был из Костромы, а парни тамошние — не нагловатые, но взбалмошные и заглядывать под юбку умеют. Смело взирая на чудо снизу вверх (неприступная девушка была на голову выше его), он сказал, что в таком легком пальтишке Снегурочка запросто простудится, так не зайти ли в помещение, где кроме батарей парового отопления есть еще и горячительные, противогриппозные напитки? На роль Деда Мороза он не претендует, добавил Петя, зная о своей неказистости, однако же тем не менее, строго говоря, между прочим... И понес галиматью с военно-морским уклоном, на что девушка ответила взглядом на часики, выпростав из-под шубенки кисть, и произнесла с удивительной простотой:

Азольский Анатолий Алексеевич родился в 1930 году. Закончил Высшее военно-морское училище. Автор романов «Степан Сергеич», «Кровь», «Лопушок», «Монахи», «Диверсант», многих повестей и рассказов. В 1997 году удостоен Букеровской премии за опубликованный в «Новом мире» роман «Клетка». Живет в Москве.

— Вообще говоря, выпить не мешало бы...

Зашли в почти безлюдную «Арктику», выпили — хорошо выпили! Прекрасная незнакомка честно представилась московской студенткой Глашей, решившей покататься по стране в каникулы. Петя чинно проводил ее до гостиницы и пожелал счастливого отпуска, а что касается школьного одноклассника, к ресторану не подошедшего, так он ведь с крейсеров, а те на внешнем рейде, и увольнения с них отменены: штормовое предупреждение!

К ветрам, от которых поскрипывали ребра, Анисимов привык и бодренько зашагал к автобусу. Тем встреча и кончилась, даже знакомством не назовешь мимолетный треп под графинчик, студентка укатила в Москву, позабыв про Петю, а тот временами недоуменно спрашивал себя: ну зачем полез знакомиться, с такой не переспишь, а для повышения культурного уровня есть книги, есть девицы в родной Костроме, где он побывал вскоре, в феврале, получив отпуск, и женский пол на родине был попригожее ресторанной знакомой.

Но не забывалась московская студентка, не забывалась! Как бело-красно-голубая норвежская яхта, прошлогодним июльским полуднем повстречавшаяся в море. Была редкая для Баренцева моря тишь, Петя нес вахту на мостике, наставил бинокль, любовался обводами яхты, туго натянутыми парусами. «Желаю счастливого плавания», — поднялись на прекрасной незнакомке флаги международного свода сигналов. Петя на правах вахтенного хотел отблагодарить, но командир сипло рявкнул: «Отставить!»

2

Второй раз такая приписанная к Тромсё яхта уже не встретится, и опечаленный Петя продолжил службу, не ведая, какой шторм поднялся им и Глашей в душе сидевшего в «Арктике» капитана 2 ранга Хворостина, который десятью минутами раньше Пети замедлил шаг у ресторана, а затем и приостановился, увидев, как хорошо осыпанная снегом гостя Мурманска, — замер на секунду, чтобы горько и сожалеюще вздохнуть: эх, лет бы десяточек скинуть да звание понизить до капитан-лейтенанта хотя бы... Никто не скинет уже, — так безжалостно подумалось, — зато понизиться можно, совершив нечто умопомрачительно мерзкое, антипартийное, неуставное и глубоко аморальное, то есть то, на что капитан 2 ранга Хворостин не был способен ни при каких обстоятельствах, и, полюбовавшись заснеженной девушкой, вошел-таки в ресторан, который в планах его на сегодня не значился, в пустом зале выбрал столик, заказал обед, закуску и водку. Предлог для выпивки был всегда и будет, одна добрая чарка посвящена была незнакомке под фонарем, а вторая — успеху той миссии, ради которой и прибыл в Мурманск Николай Михайлович Хворостин, именующийся в документах примерно так: представитель Генерального штаба Вооруженных Сил, коему следует оказывать всяческое содействие при отборе кандидатов для поступления в Военно-дипломатическую академию. Всяческое! Оказывать! — потому что не любили на Северном флоте (как и на Черноморском, как и на Тихоокеанском) академию эту. Флагманский минер однажды заорал на своего помощника (по приборам управления): «В академию сошлю! Садовником при посольстве будешь!» А при посольствах бывшие морские офицеры, краса и гордость Вооруженных Сил СССР, и шоферами служили, и швейцарами у ворот стояли (без бород, правда). Таковыми они значились при оформлении виз, на самом же деле служили помощниками военно-морских атташе, а потом и самими атташе, и не тупое восточное коварство меняло их личины, а практика всех разведок, запутавшихся в обманах и самообманах. Полтора месяца назад капитан 2-го ранга уже побывал на Северном флоте, с горечью убедился: не тех кандидатов ищем и не там! Лучшие офицеры справедливо полагали: от добра добра не ищут. Впереди у них — классы подготовки, командование

кораблями, море, к которому они привязаны, как крестьяне к пашне. В академию приходилось поэтому отбирать середнячков, для которых Главное разведуправление (ГРУ) — единственный, пожалуй, выход из того стеснительного положения, в котором оказывался весь Военно-морской флот с избытком командного состава. Тогда, в прошлый приезд, представителю Генштаба вроде бы повезло, очень ему понравился, среди десятка других, минер, командир БЧ-3 одного эсминца, общительный, обаятельный парень. Рост, внешность, анкетные данные — все при нем, все радовало глаз, кандидатура тем более верная и безотказная, что отец парня — адмирал в Главном штабе. Но глянул он на жену будущего атташе — и сомнения всколыхнулись, обоснованные, потому что был капитан 2 ранга знатоком женщин, одно время только ему поручали допросы представительниц прекрасного пола, и не раз ошеломляющие начальство показания дам подтверждали предварительный диагноз. Тогда, полтора месяца назад, отложил он личное дело общительного минера, сказал особисту: «Не пойдет...» — и не мог не заметить, как понимающе и обрадованно кивнул тот. Прибыл же в Москву, а там обаятельный минер получил уже — не без помощи отца — благословение Лубянки, благоволение академии и благосклонность самого ГРУ. Капитан 2 ранга заартачился: нет! И после длительной перепалки послан был вновь на Северный флот с жестким условием: либо он похеривает свое «нет», либо привозит материалы, намертво уличающие кандидата. За неделю особисты бригады материалы эти представили. Эсминец, где служил минер, еще не отваливал от стенки, уходя в поход, а жена командира БЧ-3 звонила подруге, и часом спустя к уже накрытому столу пригребали лейтенанты, не занятые морем, через неделю уступая место товарищам повнушительнее. Кое-какие фотоснимки предъявлены были москвичу, особисты были чрезвычайно обрадованы тем, что труды их не пропали даром и будут оценены. Всплыло обстоятельство, повергшее много чего повидавших особистов в оцепенение: супруга означенного минера частенько наезжала в Москву, жила на квартире вдового отца мужа, и адмирал (правда, в штатском) омолаживал себя, появляясь с нею в ресторанах... По крохам набранные сведения о супруге фельдъегерской почтой уже ушли в ГРУ, ночью капитан 2 ранга улетал в столицу, и некоторое торжество его омрачалось тем, что кого-то надо было включить вместо рогоносца в список кандидатов. А подходящего человека не было. Просмотрены личные дела всех офицеров, подпадающих под условия приема в академию, и вывод неутешительный. Конечно, не все кандидаты будут зачислены, отсеется треть. Но цифры жесткие: в мае столько-то офицеров должны прибыть в Москву для сдачи вступительных экзаменов. Еще есть время до весны пройтись по всем каютам всех кораблей и разглядеть в каком-либо заурядном артиллеристе будущего аса вербовки, ни с кем не сравненного аналитика, мужчину, который вотрется в высший свет страны пребывания, и одно знакомство его с женой министра сразу настрожит все службы безопасности и взбаламутит воду, где плавают полезные для СССР рыбешки.

Но не находилось подходящего офицера! И утвердившийся вывод этот был едва не опровергнут, когда капитан 2 ранга увидел входящую в ресторанный зал пару: та самая девушка под фонарем и старший лейтенант с погонами плавсостава. Он обомлел: такого редкостного подбора разнополых молодых людей он еще не видывал! Она — русоволосая, неопикуемая праславянской красоты, несколько склонна к полноте, одета со скромным изяществом студентки — не богатой, не из торгашеской семьи, а просто умеющей считать и ценить деньги. И вовсе не этого старшего лейтенанта ждала она, что понялось из услышанного разговора. Имя прозвучало (Глаша), но не более, и коротышке с погонами не досталось ни малейшего шанса на продолжение знакомства, то есть посидим поговорим и разойдемся навсегда (бытовой вариант флотской аббревиатуры ППР — плано-

предупредительный ремонт), тем более что Глаша — московская студентка, приехавшая сюда на каникулы (название гостиницы прозвучало). О том, где он служит, старший лейтенант, умевший держать язык за зубами, ответил со смешком: «На четвертом причале!», и капитан 2 ранга догадался: бригада эсминцев, что в бухте Ваенга. Обладая хорошей памятью, просмотревший личные дела всех молодых офицеров плавсостава, представитель Генштаба понял, что рядом с красавицей Глашей сидит старший лейтенант Петр Иванович Анисимов, которого он лично забраковал, потому что тот мало, слишком мало служил на флоте, да и особысты отозвались о нем пренебрежительно, рвением к службе, сказали, не отличается, — прибавив совсем уж убийственное: «Гуманист! Слюни распускает!» Характеристика сомнительная, руководимая Анисимовым батарея признана лучшей в бригаде, но далее следовала настораживающая фраза: «Порою снисходителен к проступкам матросов». (Представитель Генштаба, пропуская через себя синие папки личных дел, похохатывал, встречая поразительные ляпсусы типа «Водку пьет, но с отвращением».)

Потому эта комическая двусмысленность припомнилась, что, к немалому удивлению генштабовца, Петр Анисимов и красавица Глаша легко расправились с бутылкой водки, а затем доконали вместительный графинчик, оставшись трезвыми, и такая выдержка совсем заинтриговала капитана 2 ранга, погрузив его в прошлое, и вместе с четвертой рюмкой вкрасились воспоминания далекого детства, освещенного красотой той, кого в их семье называли «сеструхой», хотя была она вовсе не родней. В далеких 30-х он приводил на танцы сногшибательной красоты «сеструху», а сам, незаметный, малолетка по виду и возрасту, бодренько чистил карманы местных фраеров, обогащая семейную казну. Ни в одной анкете эта «сеструха», разумеется, не значилась, сам капитан 2 ранга на долгие годы забыл детские шалости свои, но та, которая когда-то в благодарность за хороший кошелек отдалась ему, вспоминалась частенько, и пятая рюмка окрылила воображение, увиделась ослепительная сцена: высокий зал во дворце, дипломатический прием, блистающая, полная очарованием красавица, супруга военно-морского атташе, русоволосая, неотразимая Глаша, — и среди обступивших ее воздыхателей мелким бесом крутится сам военно-морской атташе Петр Иванович Анисимов, — то один секрет стибрит, то другой прикарманит...

Шестой рюмки не последовало, потому что за соседним столиком происходили любопытные события. Красавица Глаша выдернула из пальцев собутельника поданный ему счет, глянула в него, достала из крохотного кошелька деньги и выложила их на стол, тем самым подведя итог ресторанному загулу.

— Платим поровну!.. И будьте добры, проводите меня до гостиницы... Бесплатно! — прибавила она несколько шаловливо.

Капитан 2 ранга тоже расплатился, заглянул в городской отдел КГБ, там ему быстренько дали справку: Глафира Андреевна Дробышева, 22 года, студентка Мединститута, прописана и учится в Москве, матери нет, отец — партийный работник, со школы знакома с офицером, недавно пришедшим служить на крейсер, офицер, кстати, женатый... Отсюда, из отдела, дозвониться до Североморска труда не представляло. Произнести фамилию этого умеющего пить водку старлея — и вакансия заполнена, вместо сына адмирала сдавать экзамены в академию будет, так тому и быть, сын дворника. (Личное дело не успело отразить прискорбный факт: дворник-отец скончался, метлой помахивала мать Петра Ивановича Анисимова, что, конечно, анкету даже облагораживало.)

Один звонок в штаб флота — и судьба человека с четвертого причала решится, хотя капитан 2 ранга понимал: Анисимов ценен только тогда, когда под ручку с ним — Глафира Андреевна, вероятность чего равна нулю.

И все-таки раздался звонок в отделе кадров офицерского состава! Назло самому себе позвонил капитан 2 ранга Хворостин, понимавший, однако: замена сына адмирала сыном дворника приведет к бедам, не один враг наживется, до адмирала дойдет, кто разрушает карьеру его чада, ГРУ и КГБ тоже раздражены; правда, кандидат — это еще не слушатель, старлея могут и до экзаменов не допустить, и срезать на них, и вообще забраксовать по любому поводу. Нет, не попадет он в академию!

Зато теплой душевной, тихой радостью стала капитану 2 ранга сама Глаша, Глафира Андреевна, жившая в Москве неподалеку от него, и нередко, спеша в институт, она попадалась ему на глаза: не шубка уже, а пальтишко, а потом и плащик; жизнь продолжалась.

Каково же было его удивление, когда в списке кандидатов он увидел более чем знакомую фамилию и тут же в некоторой панике навел справки: командир батареи главного калибра старший лейтенант Анисимов по праву должен был занять должность командира боевой части, а на нее, эту должность, прочили отпрыска влиятельного партийно-политического начальника. И от Анисимова избавиться можно было двумя путями: либо отправить учиться на СКОС (специальные классы офицерского состава), либо в Военно-дипломатическую академию. СКОС в сентябре, академия в мае, выбор напрашивался сам собой.

Капитан 2 ранга сник. То хорошо, конечно, что адмиральский сынок не привезет уже с собой в Париж или Лондон обыкновеннейшую шлюху, которую не замедлят обработать тамошние спецслужбы. Но вероятность встречи Анисимова с Глафирой Дробышевой уже не мыслилась нулевой и была чревата какими-то нехорошими последствиями, хотя, конечно, Москва — это не Мурманск, Военно-дипломатическая академия — не манящий ресторан «Арктика», Анисимов не столкнется на улице с гражданкой Дробышевой, да и старшего лейтенанта могут запросто завалить на вступительных экзаменах, о чем можно постараться, поскольку семейство Дробышевых, если в него всмотреться, поражало невероятными внутренними скандалами, так и не дошедшими до бдительных райкомов. Мутная семейка, с прихотями и странностями, одна мать чего стоила: прислуга, возомнившая себя носительницей дворянских кровей, жестокая и самолюбивая, решившая судьбой дочери покрыть скоропалительный брак с пустяковым, как ей казалось, человечком, смердом, отцом Глафиры. Имя дочери дано было этим пустяковым Дробышевым, от имени веяло холопством, и будто в отместку за имя это мать вознамерилась жизнь свою вложить в дочь, огранить красоту ее, оправить ее, как драгоценный камень, в воспитание, и кухаркой нанята была женщина, для которой английский язык — почти родной, а за три года до предреченной врачами смерти мать ввела в дом преемницу с изгаженной анкетой, бывшую преподавательницу морис-торезовского института, женщину молодую, но с богатым житейским и почти уголовным опытом; мать сделала все, чтоб красавица Глафира выбрала достойного мужа, и в любом случае — не сына дворника. На отца дочери она не надеялась, Андрей Васильевич, женившись вторым браком, продолжал умело таскаться по бабам, а когда супруга захотела припугнуть его оглашением своей дворянской родословной, после чего, казалось ей, карьера коммуниста Дробышева завершится провалом, — после угрозы этой Дробышев пронизательно заметил, что при разборе персонального дела А. В. Дробышева обнаружится истинное происхождение второй жены его, дочери конюха и девки из барского гарема. В трехкомнатной квартире на Каляевской шла ожесточенная гражданская война, дочь переходила из рук в руки, как стратегически важный пункт, и над Глафирой поднимался партийно-советский штандарт отца, чтоб унести порывом ураганной брани матери, которая тут же взвивала над дочерью блеклый монархический флаг. В пылу схваток родители не заметили, что Глаша давно уже парит над ними и с усмешкой смотрит на борьбу двух систем. Она решительно отметала попытки матери сменить хо-

лопское имя свое на более благозвучное, а отца приструнила тем, что, став его в кровати с домработницей (мать уже лежала в больнице), любезно не обратила внимания на сей вопиющий факт, врезавшийся с нормами коммунистической морали, насаждаемой отцом во Фрунзенском районе города Москвы...

3

Приказы не обсуждают — и Петр Анисимов убыл в Москву с невеселыми думами: не для того кончал он Высшее военно-морское училище, чтоб заниматься черт знает чем на берегу. Едва ли не в слезах простился он с эсминцем, с матросами, которых полюбил и не мог не полюбить, потому что настрадался из-за их детского непослушания. У информированных товарищей узнал он с радостью, что кандидатов, не сдавших экзамены, отправят обратно на корабли и — как бы в извинение — даже повысят в должности. Сочинение «Герцен и декабристы» написал поэтому играючи, пересказал — почти слово в слово — прочитанный ему текст на каком-то тарабарском языке, выдержал все психологические проверки на сообразительность и вдруг оказался принятым в академию.

Поселен же был в общежитии, оно — в самой Военно-дипломатической академии, академия же — невдалеке от метро «Сокол», универмаг напротив, едва ли не первый в столице магазин самообслуживания, кинотеатр «Юность», куда однажды приперся Петя Анисимов и где он посасывал мороженое, распечатывая пересланный с корабля конверт; мамаша извещала о новом квартирante, что означало солидную добавку к денежкам на пропитание, известно ведь, какая зарплата у дворничих: чай, не дворянки.

В некоторой разнеженности, еще раз прочитав письмо от матери, изучал он расписание сеансов, гадая: идти или не идти? Отвернулся — а перед ним студентка, та самая, что оскорбила его в «Арктике», заплатив по счету за себя. Каждодневное бритье напоминало Пете о собственной невзрачности, обольщал он поэтому девушек погонами плавсостава да костромским наскоком. И вдруг — та самая яхта: паруса туго натянуты, рангут поскрипывает, палуба безлюдна, то есть открытое летнее платье едва не трещит, распираемое упругим девичьим телом, и нет рядом со студенткой непременно, казалось бы, ухажера — что и подвигло будущего военно-морского атташе на легкомысленное предложение почти хулиганского толка — раздавить, как некогда в Мурманске, бутылочку на пару, и повод убедительный, неотразимый — в Москву переводят служить, так что не одна еще бутылка впереди!.. По-мурмански вроде бы тараторил, с гонором первого парня Костромы, а прозвучало робко, просительно, и сердечко сжалось в тоске. Но и москвичка отчего-то смутилась, густо покраснела и полезла в сумочку за очечником. Дважды снимала и водружала на переносье узкие очки. Сказала невпопад:

— А у меня мама умерла... Давно. Отец на пенсии... Недавно.

Пете захотелось обнять ее, но вовремя прозвучал из северных широт хриплый приказ командира: «Отставить!» В кино пригласить осмелился, но Глаша уже взяла себя в руки и напомнила о бутылочке.

— Со своих не беру! — брякнул Петя фразу из, несомненно, похабного анекдота — дабы приободрить себя. — Только чтоб без мурманских фокусов.

Нашлось поблизости замызганное кафе, сели, стало понятно, как попала сюда Глаша. После экзаменов определили ее на практику в Первую градскую больницу, а ей хочется попасть в ВИЭМ, Всесоюзный институт экспериментальной медицины, а тот — почти рядом, чуть подальше, туда — к улице Расплетина, вот она и сходила на разведку, но неудачно, никого из начальства нет, да и никому она там не нужна, но все равно завтра надо прийти, живет же она на Каляевской, а вы где?

Бутылку все-таки употребили. Пошли в сторону метро «Сокол». Петю потянуло на что-то героическое, он подвел Глашу к решетчатой многометровой зазубренной ограде напротив кинотеатра «Юность», кивнул на желто-бурые корпуса Военно-дипломатической академии; физиономии автоматчиков у проходной отличались отточенной свирепостью. Ни одной вывески, ни единого наименования; что за люди в зданиях — неизвестно, чем занимаются — каленым железом не выдавишь признания у звероподобных стражей.

— Я здесь учиться буду, — тишайшим голосочком выдал государственную тайну Петя Анисимов. — Разным секретным штучкам... Очень тебя прошу: никому — ни слова!.. До завтра, в три часа дня встретимся у твоего ВИЭМа.

Глаша памятью умершей матери поклялась молчать, а Петя сунул пропуск под нос безволосому орангутангу и зашагал по территории сверхсекретного объекта. Подавленная Глаша шевельнула пальцами и приподняла руку: помахать ею не разрешала доверенная тайна. Она донесла ее до дома. Здесь Глаша что-то сварила или сжарила. Принюхалась: нет, выгнанная ею домработница к отцу не приходила. Спать легла рано. Утром долго стояла под душем. Добралась до ВИЭМа. И вновь неудача. Было около трех дня, Глаша побрела навстречу мурманскому Пете и увидела его, спешащего к ней, на другой стороне улицы.

Оба стояли и не двигались: горел красный светофор. Но и когда он зазеленел, они продолжали стоять, разделенные то ли двадцатью метрами московского асфальта, то ли бурной горной рекой. Стояли и смотрели друг на друга, и если Петя видел только Глашу, то та — только себя, потому что всю весну эту замечала за собой явную ненормальность, часто замирала перед витриной универмага, будто рассматривая, что там, за стеклом, и не отрывала глаз от отраженной фигуры своей в отчетливом карандашном рисунке: губы плотно сжаты, глаза тускло и ненавидяще обегают плавные линии тела, сплунуть хотелось под ноги или прямо в витрину — настолько опротивела ей собственная девственность и омерзительные, гадливые взоры мужчин, угадывавших в ней желание поскорее избавиться страдающее тело от уже непосильного гнета. Двадцать два года, а еще девочка нетронутая — ужас! Ни с того ни с сего вдруг начинала врать — пить не могу, извините, на третьем месяце уже... Придумала себе близорукость и заказала очки, которыми пользовалась в редчайших случаях. Участились головные боли, не раз и не два во сне наступали предощущения губительного восторга, зато обычные, бытовые общения с мужчинами отвращали; временами казалось, что от нее разит некой вязкой жидкостью, название которой было ей известно; по утрам она испуганно вскрикивала, растирая по бедрам и животу эту проклятую слизь. Изменился цвет лица, впали щеки, убыстрилась походка, потому что мнилось: каждый мужчина, с которым сталкивала ее улица, ухмыляется, будто она, в спешке недомывшись у одного любовника, торопится к другому (по похабству в речах студентки-медички не уступают закаленным проституткам, подруги Глаши любовников именовали кратким и позорным словом на букву «ё»). Порою ненависть к себе усаживала ее перед зеркалом, и Глаша выпучивала глаза; щеки надувала, кончик языка издевательски подрагивал...

Избавить от тяжкого груза могло бы замужество, желающих бракосочетаться полно, но в том беда, что воздыхатели эти, какими бы талантами ни обладали, красавцы и не красавцы, полностью соответствовали позорному словечку, сколько бы она себя ни уверяла в обратном. Наилучшим способом мыслилась вечеринка в малознакомой компании, напиток по лучше и побольше, какой-нибудь храбрец, поворот ключа в отдаленной от веселья комнатухе, слабое сопротивление — и прощай, добрый молодец; неизбежная же боль ликованием пройдет по телу, а студентка четвертого курса Мединститута от беременности увильнет... Костромской парень,

нежданно-негаданно встретившийся, ни на замужество, ни на «ё» не тянул — поскольку пил как лошадь и ею увлечен по-настоящему, не так, как в Мурманске, а истинно слюнтяйски. Признания в любви ждать от него полгода, не меньше, а дашь согласие — надо за мужем, как за декабристом, топать на край земли, не век же ему учиться в столице...

4

Так и стояли, как перед шлагбаумом, и сладкая горечь расставания уже обволакивала Петю Анисимова: завтра надо улетать в Мурманск и торчать на корабле до тех пор, пока не придет приказ Главкома о зачислении в академию. Как объяснить все это Глаше? Поднимет ли яхта флажные сочетания «Желаю счастливого плавания», станет ли на якорь или растает в белесой дымке утреннего тумана?.. Ни словом не обменялись, соединившись на середине улицы, потом сели на трамвай, ехали к «Соколу», молча, приближались к корпусам таинственного учебного заведения и вдруг оторопело услышали, как кондукторша провозгласила: «Октябрьское поле! Следующая остановка — Военно-дипломатическая академия!»

Глаза их встретились, они захохотали как сумасшедшие: боже ж ты мой, как все просто в этом мире, вот тебе и звероподобные сержанты на проходной, какая, к черту, тайна, когда вся Москва знает, где кого натаскивают! Оковы какие-то спали с них, рухнули запреты, навязанные двадцатью с чем-то годами, трамвай нес обоих к окончательному освобождению, к «Соколу», к поезду до «Маяковской», в дом на Каляевской, и Петя никак не мог поверить тому, что произойдет с минуты на минуту, сейчас вот, сейчас... А Глаша подошла к окну и задернула штору, ей вовсе не хотелось, чтоб гнусавым кондукторским воплем из дома напротив заблажили бы: «Смотри-ка! Чем они занимаются!»

— Ну, что стоишь?.. — упрекнула она Петю без какого-либо женского, бабьего или хотя бы обычного сочувствия к тяжести его миссии. — Будь крайне осторожен и чуток: я пока еще девушка, а стану вот женщиной и могу забеременеть. Не без твоей помощи... — язвительно заключила она.

5

Ни руки, ни сердца предложено не было, потому что — Пете казалось — и так уже все решено: поженимся! А как жить и на что — это не страшило, хоть теперь приходилось беречь каждую копейку: у слушателей академии оклад поменьше, не как у офицера эсминца проекта «56», и — прощай пятидесятипроцентная северная надбавка, а студенческой стипендии Глаши не хватит даже на хорошую выпивку, пенсия будущего тестя не так уж велика, да неизвестно еще, как встретит он зятя. И в Кострому надо кое-что подсылать временами.

На берег Петр Анисимов не сходил, честно признался в письме Глаше, что надо — по морской традиции — осмотреться, то есть глянуть, не вывалилось ли за борт что-либо неположенное: так делается всегда при выходе корабля из базы. В частности, не пора ли договориться с институтом об отпуске в связи с беременностью, ежели таковая в наличии; предупрежден ли отец и как воспринял он весть о скором замужестве дочери?.. И еще много вопросов и просьб вплоть до настойчивого приглашения — а не смотаться ли Глаше в Мурманск, где загсы не тянут резину, а соединяют сердца почти молниеносно.

Глаша в замешательстве читала эти послания, держа в руках очечник и называя себя распоследней дурой. Знала ведь, по опыту институтских подруг, что переславший с девушкой «ё» стремительно исчезает, и она всего лишь всплакнула бы притворно, для собственного приличия, пропади этот костромской парнишка (да еще сын дворничихи!), не помавав на проща-

ние ручкой. Оказалось же, что этот Анисимов всерьез посчитал совокупление убедительным и решающим доводом, свидетельством того, что брак неминуем, а зачатие уже произошло, то есть то, чего она никак не ожидала. Ответила отказом ехать в Мурманск, поскольку сейчас на практике, а до приезда Пети в Москву всего ничего, каких-то два месяца. Отца же известила — в привычной манере дурачить себя и всех, — что забеременела, а мужчина, соавтор будущего ребенка, не в Москве и прибудет ли сюда — еще неизвестно, как и то, захочет ли он жениться.

Отец надолго задумался и наконец промолвил:

— Мне бы хотелось мальчика... Очень.

Тут только до Глаши дошло, что их семья в ближайшие месяцы разрастется, что ребенка надо рожать и что ребенку требуется отец, официальный или нет, но — отец должен быть рядом. Она стремглав вылетела на улицу, и телеграф отстукал в Североморск: «Люблю тчк жду тчк целую тчк мальчик тчк Глафира».

Петя прилетел к концу августа. Подали заявление в загс, расписаться решили тихо и скромно, Андрей Васильевич Дробышев сохранил добрые и недобрые знакомства с районной властью, и через две недели Глаша и Петя стали женой и мужем. Свадьбу упростили до нешумной вечеринки в квартире, что одобрительно восприняло академическое начальство, поскольку старшему лейтенанту Анисимову приказали оборвать все связи с друзьями по флоту и училищу. Про Кострому начальство будто забыло, и мать сидела за столом рядом с Глашей, двумя пальцами отщипывая корочку пирога. На кухню вперлась бывшая домработница, стала хозяйничать, у Глаши рука не поднялась вышибить ее вон, сообразила к тому же: ребенок будет — нянька потребует, и эта незаконная мачеха либо подыщет подходящую бабенку, либо сама будет с коляской выезжать на бульвар, при нужде же на базар за картошкой сбегает.

Мягкое предосенье окутало Москву, слушателей разбивали по группам, Петю сочли достойным стран, протянувшихся от Японии к Австралии, обнаружилось явное несоответствие простецко-мальчишеской физиономии Пети укорененному образу англосакса, да и в крови костромских предков была примесь азиатчины. Не делая себе никаких поблажек, Глаша — уже на сносях — бегала в институт на лекции и два раза в неделю по вечерам училась быть женой военно-морского атташе, а та — уяснила она — должна дополнять мужа, потому что все мужья-атташе сплошь отличались невежеством (запомнился чуть ли не всхлип преподавателя кафедры страноведения: «Они не чужой народ хотят познать, а подворотни, где ждут их агенты!..»).

6

Капитан 2 ранга Хворостин жил на Малой Бронной, в той части ее, что ближе к Садовому кольцу; жена была в прошлом, упокоившись на Введенском кладбище, замужняя дочь преподавала географию в школе, раз в неделю приезжала проводить отца, варила кастрюлю щей и поливала цветы, когда квартира пустовала: капитана 2 ранга частенько отправляли в командировки.

Задержался он где-то на месяц-другой, вернулся, увидел на платформе «Маяковской» Глашу, по походке определил месяц беременности и рад был так, будто свершилось нечто необычное и долгожданное, а затем в душу вкралось подозрение; недоуменно дергая плечами, навестил он сослуживцев, имевших доступ к личным делам слушателей академии, и оглушен был известием о том, что Дробышева Г. А. стала Анисимовой, что брак студентки и командира батареи главного калибра — не порождение его мозга, а реальность, что и непроизнесенное слово обладает вещностью, что наконец грянет время — и атташе Анисимов определенно что-то стиб-

рит, а еще точнее — прикарманит, и если нечто важное слямзит, то — для верности — проглотит, чтоб не попасться при обыске.

Исходя из сроков беременности, ведя обратный отсчет времени, капитан 2 ранга Хворостин почти точно представил себе, как и где произошло вторичное знакомство артиллериста со студенткой, в какой раз убедившись в торжестве предугаданного, что ли, рока.

7

Роды наступили в конце марта, двойня, мальчик и девочка спешили вырваться наружу, в кислородно-азотистый мир с углеродным привкусом, и мальчик обещал стать истинным рыцарем, потому что, поначалу захотев уступить дорогу даме, спохватился и первым распахнул двери, проложил сестре дорогу, дав еще и звуковой сигнал о том, что все в порядке, жить можно и вне утробы, — истошно завопил, напугав акушерку, а затем и сестренка обиженно пискнула, вызвав счастливые слезы матери. Назвали их так: Александр и Наталья. На разных пуповинах держались они в чреве, но вне его питаться порознь не умели, Глаша кормила их, прижав сына к левой груди, а дочь к правой. Их дед на цыпочках приближался к широкой кровати с младенцами и однажды признался Пете: «Раньше я думал, что колыбель — это Ленинград, где свершилась революция...» Тот так и не понял насмешки тестя, еще не подготовлен был различать оттенки в интонациях, чему его научили позднее, когда после первого курса выпала ему стажировка в особых отделах Западной группы войск. Вернулся из ГДР — и Глаша устроила муженьку разнос, потому что тот изменил тембр голоса, строй фраз, жесты, молчать даже стал по-другому! А раскроет рот — и напористо всаживает в жену, в тестя, в детишек вопросы, на которые надо отвечать чистосердечным признанием в совершенных преступлениях. Свои и немецкие особенности научили его слова собеседника перевирать, чтоб поскорее уличить того в обмане.

— Опомнись! — пристыдила она. — С человеком надо говорить как с равным. Он тебе все и расскажет. А шпион или агент от твоих же речей только умнее и скрытнее станет. Не по-костромски поступаешь! — Глаша сама не знала, как в Костроме поступали, но давно заметила: муж чтит неведомые ей костромские законы. — Я ж говорила тебе, я наставляла — будь осторожен и чуток!..

Петя побрюзжал, затаился, обиделся... Наставление Глаши стало в череду ее советов, да и Глаша-то, признавал он, много учнее его, она перечитала уйму книг, играла на пианино, английский язык знала не хуже родного, но в институте долбила немецкий, а на курсах при академии — французский. (Жен будущих военных дипломатов тоже сводили в группы, они хором оттачивали произношение, дружно плясали под модную музыку, раскладывали посуду на столах, дородный гражданин из МИДа учил протоколу.)

В доме на Каляевской воцарился наконец порядок, некогда установленный Петей на батарее главного калибра ЭМ проекта «56»: каждый делал свое дело, никому не мешая и подчиняясь витавшей над всеми целесообразностью и справедливостью.

8

От osobистской дури еще не избавился, а тесть уже начал посвящать его в основы своей не то что пошатнувшейся, а уже расползавшейся по швам веры, и с каждым месяцем обнажалась подгнивающая кладка фундамента ее, когда-то сцементированного книжными полками, стеллажами и шкафами в комнате Андрея Васильевича. Петя зашел однажды туда за словарем — и застрял до ночи, потому что тесть спросил о том, что на эсминце не раз приводило в уныние командира батареи главного калибра.

— Всю свою жизнь, — сказал печально Андрей Васильевич, — я принуждал людей действовать и мыслить не так, как они хотят, а по желани-ям общества, то есть партии, комсомола и прочих советских органов власти. — (Особисты насобачили Петю: уловил он все-таки скрытую на-смешку в последних словах тестя.) — И всегда получалось, что чем больше принуждения, тем меньше в конечном счете порядка. Разброс, хаос, сумя-тица... Люди все делают вроде бы правильно, а взглядишься — в преступ-ном сговоре будто находятся, так и норовят провалить любое начинание. Но, с другой стороны, не принуждай, не виси над головой трудящегося — хлопот не оберешься, расхлебывая тот, извиняюсь, бардак, что наступит на смену порядка... Где мера? Где некое состояние между принуждением и свободой? То самое состояние, которое одинаково удовлетворяет и при-нуждающую власть, и столь нужную человеку свободу?

Петя опустил в мягкое кожаное кресло, смотрел растерянно. Когда-то, сидя на жестком стульчике в каюте, он пытался ответить на этот вопрос. На эсминцах, как и на крейсерах, как и на всех кораблях ВМФ, творилось нечто странное. Никто из матросов не отлынивал явно от службы, все при-казы старшин исполнялись, офицеры сурово надзирали за старшинами этими, помощники и старшие помощники командиров пресекали любые попытки офицеров делать что-то не по уставу, все боевые части и службы нацелены на выполнение статей и пунктов многочисленных приказов, ни шагу в сторону от них — и тем не менее что ни день, то чрезвычайное про-исшествие, а те будто не от людей или техники происходят, а возникают по, дико вымолвить, воле божьей, сами собой и с пугающей внезапностью.

До ночи говорили они, с тех пор Петя как к себе заходил в комнату Андрея Васильевича за нужной книгой, задерживался, спрашивал, слушал, удивлялся. О свободе и принуждении говорили чаще всего и приходили к безрадостному выводу: справедливость нужна, справедливость, которая обязана быть как в свободе, так и в принуждении. Но что это за штука та-кая, справедливость эта, совершенно непонятно — откуда произошла, кем навязана и можно ли вообще принуждать к свободе. Ужас до чего интерес-но и загадочно. Дворовые компании в Костроме честно воевали друг с другом — это что, справедливость? Как ее совместить с ушибами и синя-ками? Партия, КПСС то есть, воплощение справедливости или нет? (Оба оглядывались и умолкали.)

Тестя всю жизнь цитировал классиков, а на пенсии принял решение — проштудировать для начала все до единого тома Маркса, чтоб уже легким чтивом проглотить Энгельса. И, видимо, заблудился в потемках философ-ской мысли, выход найдя в тайном выносе синих и красных томов из квартиры на помойку. Узнав от мужа (тот уже был на третьем курсе) о проделках отца, Глаша легкомысленно взмахнула рукой: да провались они, эти книги, тем более что и нет на них библиотечных штампов и экслибри-сов!.. Она стала верить в отца. Научив все-таки мужа настоящему англий-скому языку, она вознамерилась было продолжить шефство над ним, осво-ив и малайский, но встретила предостерегающий жест отца и поняла: в семье хоть над чем-то, но муж обязан владычествовать.

Легкомысленный жест («Да провались они, эти книги...») Петю не успо-коил, путь книг от полок и шкафов к помойным бакам казался ему кошун-ственным, по этим вынесенным из дому красным и синим томикам Андрей Васильевич прокладывал свой путь к каким-то неведомым знаниям, делить-ся которыми он остерегался, но которые вырывались мыслями о том, что до истинной справедливости на земле — далеко, очень далеко, человечество приблизится к ней за век или полтора до своего самоуничтожения, когда накануне вымирания или осознанного самоубийства ослабнет до того, что сил не будет уже скалить зубы и потрясать хилой рукой, зажимающей подо-бие надломленной и расщепленной дубины.

Андрей Васильевич колыхнул старые связи, Глашу от всех практик освободили, диплом с отличием образовался сам собой, удобно приложившись к вскоре полученному Петей документу.

Начиналась неведомая служба, незнакомая жизнь.

9

Три года спустя вестительный посольский лимузин прокатил мимо здания с флагом СССР, свернул в переулок, дудукнул у ворот особняка, и набежавшие слуги помогли семейству военно-морского атташе выгрузиться. Впервые капитан 3 ранга Анисимов обрел просторное обособленное двухэтажное жилище да еще с бассейном, куда незамедлительно впрыгнула бойкая Наталья, потащив за собой тугодумного брата. Глаша подавленно молчала, не зная, какой тон взять со слугами; садовник, шофер и домработница наняты посольством и вознаграждаются им же, но приплачивать надо, а сколько — неизвестно.

Примерно о том же размышлял Петя, со всех сторон обходя дом добротной голландской постройки. Тени от деревьев жару не ослабляли, и на окнах — противомоскитные сетки, дышать трудно, достаточный опыт проживания в таком климате есть (служба помощником военно-морского атташе в сопредельной стране), но надо помнить: резво не начинать, ибо такой же резвости будут ждать от него в дальнейшем (от первой заповеди морского офицера — сон в каюте превыше всего — бывший командир батареи так и не избавился). С протокольными визитами, однако, надо управиться пошустрее. Сперва — к своим, послу, первому секретарю и так далее, затем к дуайену (китайцу, мать его за ногу!), к министру обороны, естественно, который заодно начальник Генерального штаба, а поскольку все главнокомандующие родами войск еще и в кабинете министров, то и чин у министра обороны витиеватый: министр-координатор.

Что ни встреча, то огорчение, что ни день, то досада: заболевший предшественник сдал дела не помощнику своему, а военному атташе, то есть резиденту разведки, от него и получил свою агентуру Петя; помощник же торжествующе сунул ему под нос бумагу из Москвы и первым рейсом улетел в СССР за новым назначением, и радость его стала понятной, когда Пете «по секрету» шепнули: должность его в этой стране — проклятая, никто больше года не удерживается на ней, да и... нужна ли она, раз в стране этой полно наших, советские военные представители множатся с каждым месяцем. И работать здесь можно открыто, никаких тебе тайников и закладок, в посольском городке местный люд толпится, как на Тишинском рынке в Москве, с рук продают все, что можно. Контрразведка — ни своя, ни местная — по пятам не ходит. Кто-то из знающих дружески похлопал Петю по спине и сказал: «Запомни, ты здесь представляешь Страну Советов, и точка!»

Кого и когда пришлют помощником — неизвестно. Зато известно, кто есть кто. Оперативные работники — все под крышей «Аэрофлота», но «соседи», госбезопасность то есть, делиться секретами с ГРУ не станут, только через резидента. И оказалось, что резидент давно спихнул самую грязную и невыигрышную работу на заместителя, полковника Махалова из группы советских военных специалистов. Тот превосходно знал местные языки, нравы и держал в своих руках наиценнейших информаторов. Мрачноватый был человек, в посольстве показывался редко, да и страна-то по площади чуть меньше Европы, попробуй объездить всех своих людей. Рубашка с короткими рукавами, шорты, сандалеты на босу ногу, дырявая шляпа, при редких улыбках — зубы ослепительной белизны.

— Хор-рош мужик! — восхищенно сказала мужу Глаша, повстречав однажды Махалова в городке. — Петя, это — свой человек, беда будет — к нему беги, выручит.

— Какая еще беда? — возмутился Петя. — Откуда ей быть? Я ж сказал тебе: масло привезут вечером!

Местное сливочное масло — и магазинное, и рыночное — мало того что пахло тухлостью, от него маялись животиками сын и дочь, приходилось поэтому продукт этот выписывать из Австралии, шестифунтовыми кубами, и вдруг масло не пришло, Глаша терпела неделю, потом пошла в посольство, где понимания не встретила, там тоже страдали, уже поговаривали о депеше в Москву, где, кстати, любые продовольственные просьбы отвергались, лишь под праздники советская колония одарялась напитками и продуктами. Петя случайно столкнулся на причале с капитаном советского судна и в отчаянии рассказал о заболевших детях. «И все?..» — удивился капитан и пообещал этим же вечером прямо на дом доставить вологодское сливочное масло.

Обещание сдержал еще до захода солнца. Но, кажется, восхищенным «хор-рош мужик!» Глаша накаркала истинную беду. А может быть, сливочное масло само по себе каким-то непостижимым образом связано было с резидентурой, но недели не прошло, как Анисимова вызвал во внеурочный час военный атташе, то есть резидент, вызвал — и, кажется, забыл о стоящем перед ним военно-морском атташе. Генерал думал, но, выяснилось вскоре, не думал еще до нужного решения, более того, самому капитану 3 ранга Анисимову давали время для размышлений неизвестно о чем.

Кроме особняка с гаражом и садом, кроме двух автомашин (одна из них — с дипломатическим номером) и двух кабинетов у военно-морского атташе есть еще и веранда с мягкой тахтой и добротным столом, где говорить и работать было много безопаснее и полезнее. Здесь-то и ждал капитан 3 ранга Анисимов, когда резидент преодолевает в себе некоторый страх, о присутствии которого он догадывался: кроме академической премудрости и Глашиных напутствий был у Пети и опыт. Что-то случилось. Но что? Глаша тоже чувствует это, ведет себя безмятежно, будто никакой беды нет и в помине, хотя совсем недавно терзалась какими-то подозрениями.

Резидента озарило только к вечеру, Анисимову вновь было приказано предстать перед его глазами. Пешком одолел Петя расстояние до посольства и предстал. В кресле у стены сидел полковник Махалов из группы военных специалистов, настоящий, то есть действующий резидент.

— Он вам все объяснит, — хмуро промолвил генерал. Видимо, его многочасовые раздумья вновь свелись к решению свалить на Махалова самое трудоемкое и нудное. Тот поднялся. Протянул руку и повел Анисимова в крохотную комнатку. Охаянная Глашей стажировка у особистов привила тому кое-что полезное: с одного взгляда он понял, что в служебном помещении, принадлежащем Махалову, только что был произведен обыск, решиться на который могла лишь своя служба безопасности, то есть комитетчики. Однако полковник сохранил права на свой сейф, куда заглянул для того, чтоб захлопнуть, оставив ключ от него в замке, показывая этим, что теперь-то уж сейф ему не нужен. («Ребята, кажется, перестарались...» — ухмыльнулся он.) Из шкафа достал папку с надписью «Поставки за июнь...», извлек из нее какую-то бумажку и сунул ее в карман. После чего последовал к выходу, Анисимов — за ним, и уже на улице сказано было все, не произнесенное у генерала. Ночью Махалов по срочному вызову улетал в Москву, всю агентуру ему приказано сдать, что он пытался и сделать с утра, но чему генерал воспротивился: переварить ее целиком он не в состоянии, даже мобилизовав весь свой аппарат, и решение принято им такое — часть людей передать военно-морскому атташе.

Они и были переданы — уже на веранде (Глаша подала виски и фрукты), полковник Махалов продиктовал содержание выдернутого из папки листочка бумаги, вчетверо сложенного, поднес к нему огонь зажигалки, и все то, что не досталось генералу, перекочевало в голову и письменный стол Анисимова при благоразумном отсутствии супруги его. А затем Маха-

лов изложил при Глаше то, что ни при каких обстоятельствах не говорит-ся при посторонних, к которым можно и надо было отнести ее. Знать, полковнику требовался свидетель — решил было Петя, верно решил, но чуть позднее выяснилось, что жене его отводилась чрезвычайно важная роль в деле, от которого полковника Махалова отстранили.

— Петр Иванович, мы с вами почти не встречались и совместной службой напрямую не связаны. Но я много слышал о вашей работе по предыдущему месту службы. Поэтому и считаю вас самым честным человеком в посольстве, поэтому и отдаю вам лучших, продуктивных и знающих информаторов. Однако есть одна, я бы так выразился, закавыка. Их пятеро, и они — самые информированные люди в руководствах правящей партии, нелегализованной оппозиции и армии, связь же со мной поддерживают только личными контактами. Только ими! Вам они ничего не сообщат, ничего не пришлют и к вам ни на одном приеме не подойдут. Ничего не даст вам и описание их внешности. Мало того, что они безлики. Они вам, чужеземцам, покажутся на одно лицо. Надежда только на Глафиру Андреевну.

Махалов приподнялся, вновь сел и ощупал Анисимова тяжелыми серыми глазами. Перевел их на Глашу.

— Присматриваясь к вам, Глафира Андреевна, я подумал, что ищущий сбыта информации человек не может не обратиться к вам. Через мои руки прошли сотни людей, одарявших нашу Родину наивысшими сведениями о делах Юго-Восточной Азии, и я ощутил, какой тяжестью давит на человека приобретенная немалыми трудами информация, человек стремится к внутреннему спокойствию, к радости от того, что с него спадет висящий на нем груз. Я уеду, а они, четверо мужчин и одна женщина, через месяц-другой забегают в поисках канала сбыта. А когда информация станет горяченькой, они с ног сойдутся, но найдут вас. И не деньги нужны им. Я их им и не давал. Я даже не знаю, как зовут их, и они не знают, кто я, КГБ или ГРУ, — это для них лес темный. Страна Советов — вот кто я в их представлении. И такой страной будет для них Глафира Андреевна: и внешность, и манеры, и отстраненность от явно посольских дел... Эх, был бы у вас помощник, да еще толковый, он на приемах и вне со стороны поглядывал бы на всех желающих полюбезничать с Глафирой Андреевной.

— Нет помощника, — горько и грустно признался Анисимов, будто от него зависели кадровые вопросы ГРУ.

Провожая гостя до ворот, он отважился на вопрос: какая, черт побери, причина заставила руководство оголеть наиважнейший участок интересов СССР? И получил ответ:

— Могу строить только догадки... Но они настолько дики и бессмысленны, что — не решаюсь высказывать их... Но, это уж точно, меня здесь больше не будет. И вот еще: в стране этой созревает что-то нехорошее, страна сама себя удушает и мечется. Так что — готовьтесь к худшему. И вас, и супругу вашу прошу: предотвратите это худшее. Так и скажите Глафире Андреевне.

Всего восемь месяцев минуло с двухнедельных протокольных бросков от посольства к посольству, Пете казалось, что он освоился и скромно протянет несколько лет на службе в этой стране, открытой всем любопытным взорам, и отзыв Махалова, отъезд того в Москву, легонечко встревожил его, но так и не привел в боевое состояние.

Он ждал помощника, какой месяц уже работал без него, и будто какой-то злой рок повис над незанятой должностью: кого ни назначали — то в автомобильную катастрофу попадали, то вдруг обнаруживалась в них какая-то чернящая анкету клякса. Появился долгожданный помощник не-

ожиданно, дежурный по посольству позвонил, у меня, сказал, болтается твой подчиненный, завел уже шуры-муры с машинисткой.

— Гони его сюда! — заорал Петя.

Шел дождь, помощник, капитан Луков Виктор Степанович, взял у машинистки, видимо, дамский зонтик местного производства, добрался до особняка, входить не спешил, оглядывался, стряхнул с плаща дождевики, протянул руку:

— А вот и я... Рад служить отечеству.

Высокий, худощавый, одет строго по-европейски. В академии не учился, вообще чистого военного образования не получал, к разведке и боком не прислонялся; Бауманское училище, факультет и специализация сказали Пете, почему гражданскому, в сущности, человеку доверили должность помощника военно-морского атташе. Ракеты! То, чего добивалось руководство этой страны и чего не хотела давать Москва. Лейтенант запаса, сразу на полигоне надевший форму, а уж оттуда — в 10-е Управление, занятное поставками оружия. Вырос там до капитана, чем будет здесь заниматься, сказал откровенно:

— Дурачить здешних полководцев. Морочить им головы поелику возможно. Тем более, что они ракетчика Лукова знают, на полигон их возили, потому и выбор пал на меня. Соседние страны пошлют гонцов в Москву, чтоб того же потребовать, так что я — вроде приманки. Кстати, мне сказали, что у вас — приличное виски.

Петя улыбался... Он давно уже научился по внешности распознавать тех, кто нарасхват у женщин; ему очень не нравился этот человек, обладавший всеми признаками мужчины, у которого поневоле на уме одни бабы: какая-то детская ямочка на подбородке, возбуждавшая у женщин как бы материнские чувства, так называемая располагающая улыбка, впалые щеки — будто от трудов ночных, постельных, и вся манера поведения, которая сводилась к внушению: милая, это дело займет у нас не так уж много времени, и, будь уверена, никто не узнает...

Сидели и пили на веранде, изредка появлялась Глаша, оглядывала стол, мужчин, подносила убывающее и удалялась. Луков был с нею учтив, а когда по его просьбе принесли наколотый лед, то более чем вежливо приподнялся, назвав Глашу миссис Анисимовой. Пил и пил, хорошо держался, но Петя уже догадался, что прислали-то к нему пьяницу, умелого алкоголика, вынужденного условиями быта и службы казаться постоянно трезвым. А язык — не на привязи, уж лучше бы промолчал, чем высказывать то, о чем в посольстве шептались и чему не верили. А может, Глаша тому виной, спросила напрямик о Махалове.

— В партии оставили, — беззаботно ответил Луков. — Но из армии выгнали.

За что выгнали — тоже поведал тягуче-ленивым тоном, рассматривая носки вычурных сандалет. В Москве, сказал, полковник жил и прописан был на служебной жилплощади, вместе с матерью. При заграникомандировках ее, эту жилплощадь, надо было освободить, но куда девать престарелую мать? И то ли Махалов обещал мать увезти куда-либо, то ли преждевременно указал в документах, что жилплощадь им сдана, но руководство расценило так и не вывезенную из квартиры мать как обман партии и фальсификацию анкетных сведений о себе.

Петя и Глаша ошеломленно смотрели на Лукова, не веря ни одному слову его, потому что недосказанное что-то чудилось, да и не могло того быть, чтоб, в сущности, лучшего знатока Юго-Восточной Азии погнали из разведки за явную нелепицу. Любая квартира при отъезде офицера за границу бронируется. Но то правда, что полковника не раз просили (об этом открыто говорили в посольстве) квартиру все-таки освободить, и он отмахивался, потому что три года не был в Москве, ему, вернее, постоянно отказывали в отпуске. И — об этом тоже говорили в посольстве — ему неку-

да было поселить мать, а брать ее сюда не позволял климат: старушка прибалывала.

Чушь какая-то, быть того не может. О чем и сказала Глаша. На что и ответил Луков, рассмеявшись как-то вздернуто, глуховато, согнувшись пополам.

— Жизни не знаете, дорогие соотечественники... Советской нашей жизни...

А жизнь эта, советская, оказалась такой: три года начальники Махалова бесприютной мамашей полковника размахивали как знаменем, в разных районах Москвы четыре квартиры для себя выбили, а потом любовнице одного генерала надо было срочно дать кров и пищу, вот и решили выкинуть мать Махалова вместе с ее сыночком вон.

И Петя и Глаша научились молчать, когда требовалось. Даже не переглянулись. Приступили к бытовым проблемам. Помощнику атташе с давних пор отводились две комнаты на первом этаже, их и предложили ему.

— Нет уж... Я, простите, не привык жить в коммуналке... Мне, я договорился, дадут квартирку в корпусе для военпредов и прочих...

А поскольку жить Луков будет вдали и отдельно, по утрам не жди от него обзора местной прессы. Все, как и до приезда его, надо делать самому. Может, это и к лучшему?

Дождь приутих. Дохнуло свежестью, а потом вновь влажная духота, не всякий русский выдержит. Луков — плащ на сгибе локтя, шляпа в руке — простился.

А они молчали. На душе у обоих было гнусно, отвратительно: да, все услышанное сейчас — правда, плевать генералам КГБ на всю политику СССР в Юго-Восточной Азии. Но дело Махалова надо продолжать, он потому и отдал им своих информаторов, что знал, как и чем встретят его в Москве. Пусть генералы остаются такими, какие они есть, а они, Петя и Глаша, будут верны хорошему мужику Махалову.

Ни словом не обменялись, ни взглядом. И так все ясно. То есть Глаше полезно отныне чаще появляться на людях, махаловская пятерка должна на нее выйти.

11

И ни в коем случае нельзя посвящать Лукова в дела Махалова. Нельзя! Почему — они не знали и не пытались отвечать. Нельзя. Хотя бы потому, что никаким языком, кроме английского и, разумеется, русского, Луков не владел.

Решение верное, временем оправданное, потому что помощник начал таскаться по бабам, неделю с этой машинисткой, неделю с другой, затем атаке подверглась вотчина комитетчиков — представительство «Аэрофлота». Занятий своих от Анисимова не скрывал, деньги у него водились, рассказал без стеснения, откуда они у него. Каждый год посольство выбрасывало на свалку кондиционеры, холодильники и прочие бытовые приборы, вполне годные и исправные, но на ремонт их не выделялось ни цента, зато на покупку новых — сколько угодно, и Луков, уже завязавший обширные связи с местными коммерсантами, выгодно продал эту якобы рухлядь. По Пете, так лучше бы Луков не пускался в коммерцию, жил бы, как все помощники атташе, как сам Петя когда-то, приbedненно, выклянчивал бы бутылку водки «на оперативные нужды» и всегда был на глазах.

Вскоре и машина у Лукова появилась, два кондиционера подарил Глаше, а вот ума и сдержанности не прибавилось. Когда вывесили объявление: «25 февраля состоится объединенное профсоюзное собрание», — Луков долго хохотал, с каким-то визгливым захлебом. Петя такую инструкцию дал своему помощнику:

— Вам надо проявить большевистскую критику и самокритику. И на начальника своего пожаловаться, на меня то есть, и себя в чем-нибудь укорить.

— Знаю, знаю... — огрызнулся тот. — Все по-нашенски...

На собрание пришел. Прилюдно пожаловался: капитан 3 ранга Анисимов не разрешает ему поездки по стране, с чем обвиненный Петя самокритично согласился. Глаша (жена!) тоже напустилась на него и все по тому же поводу. Шофера, видите ли, рассчитали для экономии государственных средств, а ей самой коммунист Анисимов садиться за руль не разрешает.

Петя рот разинул — чушь собачья, бред, никто никому ничего не запрещал, было всего-то указано: машину пьяноватого Лукова полицейский не остановит, поскольку никаких правил дорожного движения в этой стране нет, но сам помощник может залететь в кювет и опрокинуться, а беспартийной Глаше лучше помалкивать, шофера-то никто не рассчитывал, шофера посадили на половину жалованья, поскольку нужда в нем только в дни приемов, зато уж — это Петя скрывал — шофера используют на всю катушку, посылают проведать то одного абсолютно нейтрального и ни с какой разведкой не связанного человека, то другого, чтоб сбить с толку местных шпииков, если они нечаянно проявят самостоятельность. А если Глаша попадет в аварию, за ремонт (не весь, а частично) придется платить из семейного кошелька, а он тощ, по приказу свыше жалованье в валюте урезали до 30 процентов оклада, остатки годились только для базара, где Глаша покупала картошку и зелень. И что особо обидно: этот правдолюбец Луков, порицавший все человеческие пороки, умеет обманывать всех, в порту нашел друзей, те вне очереди ставят советские пароходы под выгрузку, за что ему кое-что перепадает. Вундеркинд! Или у отца своего набрался наглости: тот мало что женился на сверхмолоденькой сотруднице — еще и прилюдно охаивает партбюро и райком, ведет злопыхательные речи — вот с кем бы покалякал Андрей Васильевич.

12

Она источала здоровье, дух семейственности и абсолютную непорочность женского тела; глаза мужчин не блудили по ней, а почтительно опускались; если же она была с сыном и дочерью, во всех взглядах читалось: только у такой матери могут быть такие прелестные, умные и воспитанные дети. А за детьми этими — глаз да глаз, при детях слова необдуманного сказать нельзя. Полтора года назад летели в Москву на отдых, вынужденная посадка в Карачи, пошли перекусить в приличный по виду ресторанчик — и Глаша не выдержала, брезгливо прошептала: «Какая грязная, нищая страна!..» Через четыре часа были в Ташкенте и еще не дошли, проголодавшись, до буфета, как дети дуэтом запели (по-русски!): «Какая грязная, нищая страна!..» В посольстве — свой врач, официальный, московский, тот нередко звал на помощь местного (с токийским образованием), о Глашином дипломе никто и не вспоминал, да приходиться к ней на дом со своими болячками не всякий станет: в стране этой — самая трепливая в мире прислуга. Но все же один больной был — сам Петр Иванович Анисимов, муж, порою совершавший невероятные глупости. Полез как-то на дерево снять на пленку бушевавшую у стен китайского посольства толпу, решив сделать подарок московскому начальству, но не учел вороватости местного люда, «Волгу» сперли, полиция нашла ее через неделю, и Глаша пристыдила муженька. С тех пор он стал отчитываться перед нею, как пацан, явившийся домой после дворовой потасовки. Однажды повезли его на остров в ста милях от столицы, показывать женский батальон спецназа, Петя был в восторге, готовился уже писать хвалебный отчет, как вдруг Глаша невинно спросила: «Ну, товар там не только лицом показывали?...» И Петя зарделся, признался все-таки, что боевой выучкой батальон похвастаться не может, зато как встретили, как! А встретили, выпытала Глаша, с расчетом на мужские глаза, двести сидевших на песке де-

вушек вскочили по команде, вскинули руки с автоматами Калашникова. И набедренная повязка на теле, более ничего, это и произвело впечатление. Глаша оглянулась, прислушалась, дети далеко, и громко обозвала мужа бабником (на языке вертелось другое словечко)...

Неделей раньше она устроила обыск, нашла у мужа «Лолиту» Набокова, изъяла ее и в бешенстве разорвала в клочья эту мерзкую, полную клеветы на нее лично книгу.

Но, пожалуй, это все мелкие грешки перед назревающей бедой, пристрастием к алкоголю, и виновник — военно-морской атташе Великобритании, истинный моряк и завзятый пьяница, повадившийся через день-другой приглашать Петю к себе, чтоб нализаться вдвоем, отвести военно-морские душеньки свои. До полуночи сидела Глаша в садике, бежала открывать ворота, когда нервно клаксонил подъезжавший на «опеле» Петя. Когда-то он сам мог — в любой степени подпития — не только поставить машину в гараж, но и без помощи Глаши подняться наверх и раздеться. Теперь силы его оставляют, едва «опель» минует ворота, и приходится, чтоб детей не будить, вполголоса поругивать мычащего мужа, которого, кстати, ни разу не укорили частыми посещениями англичанина. А тот — потомок славной семьи, пораженной фамильным проклятием: начиная с XVI века предки Джорджа по мужской линии ни разу не замечались трезвыми, ни в один день. Жена его с удовольствием принимает приглашения на девичники, по-русски расцеловывается с Глашей, не скрывает, как два года назад супруг ее, старший офицер крейсера, саданул кого-то кулаком по морде, суда избежал, но службу его решено было продолжить на дипломатической ниве, для чего он аж три месяца учился на каких-то курсах; на официальных приемах, где много жен, эта очень милая англичанка по-свойски подмигивала Глаше, которая не уставала поражаться мужским дурям: на генеалогическом древе костромских Анисимовых — ни одного пьющего, до Пети, побега: даже полтинники, что дарились на праздники дворникам, до кабака не доходили.

Так много русских уже обосновалось, что для детей открыли школу в посольском городке. Учили сразу всему и вперемешку, ничего не понимавшие первоклашки путались под ногами дылд, в Москву полетели слезные прошения, та прислала учителей и немного денег. Глашу больше устроила бы международная школа, поляки, например, детей своих определяли туда, но советским путем в школу эту закрыт, запрет наложен послом. Ната и Саша до школьного возраста еще не дотянули. Но уже приглядываться надо, и среди достоинств школы в посольском городке было то, что рядом с дочерью на той же парте могло бы сидеть любимое чадо какого-нибудь здешнего министра, очень смышленная девочка, очень желавшая познать русский язык и ходившая к ним в гости играть в пряталки. У Саши нашелся малолетний дружок, сыночек одного всеильного бюрократа; папаша раскланивался при встречах с нею, вступал в беседы, Глаша кое-что из узанного вклинивала в бытовые разговоры с мужем.

В эти сентябрьские дни она часто навевалась в городок и как-то отвела мужа в сторону, шепнула:

— Мною интересуются... Кажется, на меня клюнули.

Случались минуты, когда она придремывала в шезлонге, устав после дневной беготни. Разлепляла веки — и видела себя в собственном, можно сказать, доме прекрасной европейской постройки, посреди благоухающего сада, в любой момент можно кликнуть шофера и поехать куда душа пожелает. Или самой сесть за руль. Садовник щелкает ножницами, оконтуривая деревья, или выстригивает траву, чтоб в нее не заползали змеи. Служанка готовит обед. А взять все вместе — да кто из институтских подруг может похвалиться таким замужеством! Супруг не без грешков, разумеется, но на то и жена, чтоб предотвращать ошибки.

Вся в мыслях о будущем детей, о муже, который мог сам себя сковырнуть, всматривалась она в женщин на своих приемах, которые попивали чай и храбро (некоторые даже кричали истинно по-русски) прикладывались к московской водочке. Какая-то из них, не исключено, могла быть той женщиной, о которой предупреждал Махалов. Однажды приперлась (без приглашения!) мисс Мод Форстер, вроде как бы пресс-атташе американского посольства, делавшая разные выставки, прославлявшие США, особа лет тридцати, издали миловидная, но при близком рассмотрении Глаша распознала в ней обычную стервятницу, сытую причем, но умевшую безошибочно ниспадать — без клекота, молча — на полудохлятину. «О, миссис Анисимова, я решила навестить вас, поскольку наслышана о гостеприимстве вашего дома...» И так глянула на детей, пришедших не вовремя поглазеть, что Глашу затрясло. В отместку она бросила взгляд на руки нежданной гостьи — и руки в страхе убрались за спину: Глаша с ходу определила начало таинственного в Европе, но здесь обычного псориаза, точнее — редкой разновидности его. И еще определила: эта американка холодна, как замороженная рыба, от мужчин не испытывает радости, абсолютно фригидна. И — враг. А врагов много, бдительность — превыше всего, и в ночи, когда рядом похрапывал пьяноватенький Петя, Глаша отстранялась от него, вставала, шла смотреть и слушать, как спят дети, которых пора отделять друг от друга, мальчик и девочка начинают осознавать разнополость не только зрительно; птенцов уже беспокоят какие-то неудобства в гнезде. И с радостным визгом бросаются к Лукову («Дядя Витя приехал!»), когда он приезжает, тот Луков, которого лучше бы и не было, от которого жди бед и напастей. По крохам собирала она историю о том, как сын московского профессора ушел от любимого отца, когда тот, овдовев, представил ему женой свою же лаборантку, на которую заглядывался сам Витя, когда учился в Бауманском. А еще раньше копил он знания в физико-математической школе близ метро «Сокол» и, наверное, не раз попадался на глаза Глаше и Пете, когда они, только что поживившись, никак не могли наговориться и, встретившись у метро, гуляли, держась за руки, по окрестностям, там Петя посвящал Глашу в тайны костромских дворов и кодексов чести прибалтийской шпаны, не ведая о кодексах школ — тех, что для сугубо одаренных, которые все с фанаберией, аттестат зрелости как бы внушал вундеркиндам право на исключительную судьбу, интереснейшую жизнь и бурное времяпровождение.

13

Как-то решили показать детям не городские улицы, а сельские, людей не у каменных домов, а на пашне и не низкие пальмы в садике, а все роскошество тропического леса.

Ехали долго, сперва вдоль побережья, потом покатали по дороге среди рисовых полей. Встречались крестьяне, ловко несли на спине громадные тюки, не испытывая тяжести. Медленно проехали через деревню, остановились у общинного дома, подошел мужчина, спрашивал и отвечал с достоинством, показал, где дорога в лес, затем двумя взмахами острого длинного ножа рассек ананас, протянул его детям, Наталья погрузила лицо в мякоть плода, Александр потянулся к ножу. Крестьянин рассмеялся.

Поднялись в гору, дышать стало труднее, но не от духоты: сладким смрадом несло от обступившего машину леса. Куда-то подевались птицы; только что росли низкие, привычные пальмы — и нет их уже, зато к небу взметнулись покрытые волосом, как шкурой, деревья, похожие на лапы гигантских ящеров; под кронами их — роща уродов, стволы, увешанные на уровне человеческого роста громадными дынями или гроздьями их: это было хлебное дерево, окруженное зарослями папайи. Под ногами — анютины глазки, увеличенные до автомобильного колеса и расцветенные все-

ми красками; цветки эти издавали не столько запах прели, сколько пованивали чем-то, человеку чуждым, и дети попятнулись, Наталья с ревом бросилась к матери, мужественный Александр прикрывал отход, сжимая кулачки...

А ведь ни разу не были в русском лесу, и осинки, что росли на даче, вообще ими не замечались, но, зная, угнездился в детской памяти растительный покров России, с материнским молоком всосался.

С закатом солнца возвратились домой, светило — по обыкновению этих широт — не хотело показывать себя угасающим и нырнуло в океан, будто прыгнуло туда с вышки, без брызг, правда.

В тяжелых раздумьях вернулись. Петр подсчитал: года три-четыре придется еще здесь служить, если не больше, специализация и язык надолго закупорили его в Юго-Восточной Азии, и надо бы найти выход, переметнуться в другие края, где бананы и ананасы только в магазинах. У мстительной Глаши другие планы разыгрались. Посидев в мрачном отупении часа полтора, она спустилась в полуподвал, открыла никогда не запиравшуюся комнатку служанки и пыталась приспособить к своему телу ткань, что «бабу́» (так дети называли домработницу) накручивала на себя. Ничего не получилось, а надо было вгрызаться в эту тропическую жизнь, одолевать ее, не сдаваться!

Она села перед окном и в своей манере устроила мимический сеанс глумления над собою и городом, огни которого поблескивали сквозь густую листву сада: высунула язык, выпучила глаза и прошептала какие-то одной ей понятные проклятья. А утром встретила «бабу» у ворот; служанка была родом из восточных провинций, куда еще не дошли столичные порядки, и она посвятила русскую в таинства одежд, научила лихо завертывать себя двухметровым многоцветным полотнищем, набрасывать через плечо длинный платок, которым и голову можно прикрыть, и детей носить в нем; Глаше очень пошла кофта с низким вырезом, «бабу» сбегала в сад и украсила ее волосы яркими, отбивающими запах пота цветами. Мужчины, оказываешься, носили на голове подобие пилотки, сами как-то делали ее из батиковой ткани, и по тому, как пилотка эта свернута, можно легко догадаться, из какой провинции прохожий.

Очень, очень интересно!.. Служанка научила ее и готовить блюда из риса, прожаренного в масле, проваренного с ломтиками овощей и мясных приправ; детям понравился молодой бамбук, выданный Глашей за морковку. Жены местной знати, приглашенные на прием, были приятно удивлены знакомой вроде бы пищей, но с европейским привкусом. С темнотой, наступавшей здесь рано, Глаша отправлялась в гости, к десяти вечера возвращалась, «бабу», уже уложившая детей спать, переодевалась в уличное платье и уходила.

14

Не сбывались пока мрачные прогнозы Махалова, в стране — мелкая грызня всего лишь, перебранки по поводу кем-то растраченных финансов, и пятерка, о которой говорил полковник, не подавала признаков жизни. Значит, все пока в порядке? Нет, Москва, кажется, знала больше, потому что — по тону резидента, по текстам указаний из ГРУ — Петя догадывался: от него ждут более подробных донесений. Ждут — но и не торопятся получать их, будто боятся чего-то.

15

Прошло три месяца — и аэрофлотовским рейсом прибыл из Москвы мужчина лет пятидесяти. Огрубелая кожа его могла выдержать и порывистые ветры северной Атлантики, и мягкое дуновение бризов, и пыльные мистральи, и пыльные бури, и снежные заряды; поэтому и не ударила по нему

местная духота, он лишь вспомнил строку из Гончарова о климате этой страны и кем-то приведенное сравнение: «Если надеть шубу и войти в парную...» Встретил его посольский работник, которому так и не доверен был чемоданчик; привезли мужчину в городок, он постоял под малоструйным и ленивым душем, сменил рубашку и позвонил военно-морскому атташе. Договорились о встрече.

Произошла она в кабинете Анисимова, мужчина представился: капитан 1 ранга Хворостин, и Петя, конечно, не узнал (да и не мог узнать) того капитана 2 ранга, что сидел в «Арктике» за соседним столиком много лет назад. Десять тысяч долларов, привезенных в чемоданчике, легли ровными пачками на полку сейфа. Что делать с ними, кому передавать — сказано, и официальная часть была окончена, Хворостин приглашен в дом, визит длился не более получаса, сидели на скамейке в садике, дети обрадовались московскому гостю, лупили на него глаза, и Глаша призадумалась, ей казалось, что Николая Михайловича Хворостина она видела когда-то, да разве упомнишь всех, кто встречался в академии.

Поднялись в дом и сфотографировались — и Петиным аппаратом, и московским. Взгрустнулось немножко, почему — непонятно.

— Если б вы знали, Глафира Андреевна, как рад я, что у вас все хорошо, и дети хорошие, и муж молодец... Нет, нет, — остановил он Петю, — машины не надо, я пройду пешком.

Через три квартала он взял рикшу, проехался немного и повернул обратно, остановился в сотне метров от особняка Анисимовых, закурил и надолго задумался.

Поступившие в академию офицеры просеиваются — и до нее, и во время, и после — через фильтры разной проницаемости, производится контроль и выбраковка, люди обезличиваются утвердительными или воспротивительными подписями других контролеров, у истоков стоит один человек, тот, который рекомендовал включить офицера в число кандидатов и никакой ответственности за подобранную им кандидатуру не неся, тем не менее ревниво и настороженно посматривает на тех, за кого он как бы поручился. Годились ли они, отвергались ли — а встречи или переписка с ними становились уже обязанностью, необходимостью. «Дядька-воспитатель», — подумалось как-то капитаном 1 ранга. А для него ведь П. И. Анисимов был как бы нежеланным ребенком. И тем не менее...

Привыкший к европейским причудам, рикша терпеливо ждал, а капитан 1 ранга занимался арифметическими подсчетами и кадровыми прогнозами. Восемь лет назад в ресторане «Арктика» увидел он старшего лейтенанта Анисимова, который сейчас мог бы стать командиром эсминца или старпомом на крейсере; академия (не военно-дипломатическая, а нормальная) дала бы ему право быть позднее адмиралом и командовать соединениями кораблей, и ушел бы он в отставку, полный веры в правильность избранного им пути, по которому прошел если не абсолютно честно, то по крайней мере с ничтожным ущербом для себя. Годом раньше «Арктики» корабельный офицер П. И. Анисимов отказался подписывать липовый акт о списании тридцати литров спирта, ныне он документы, подобные тому акту, составляет и отправляет в Москву ежемесячно, если не чаще, — он, в прошлом рыцарь служения Отчизне. В житейском, пошлом, мещанском смысле существует он много благоустроеннее любого адмирала, а по уровню жизни превосходит даже командующего флотом, зато стал (сообразительный все же!) лгуном и растратчиком, автором фальшивок, вводящих в заблуждение руководство, но потому не наказанным, что как в России суровость законов компенсируется их неисполняемостью, так и лживость всех агентурных сводок исправляется тем, что им никто в Москве не верит по той причине, что читают их не вдумчиво, если вообще читают. Иного человека и атташе и не могло получиться из Петра Анисимова, потому что

деятельность его измеряется количеством вербовок, а где количественная мера, там приписки и подчистки почти обязательны. Капитан 3 ранга Анисимов успешно делает себе карьеру с помощью военно-морского атташе Великобритании, а успехи того на дипломатической ниве целиком основаны на дружбе с военно-морским атташе СССР. Вилла англичанина — в полукилометре от того места, на котором застыл в задумчивости рикша, на улице, где почти все посольства. Дважды в неделю Анисимов (с молчаливого согласия резидента) отправляется туда в гости, пьют зверски, флот Ее Величества богат и щедр, гулянка длится допоздна. А наутро Анисимов строчит донесение: «В частной беседе с британским атташе удалось выяснить...» А что выяснено — для этого существуют местные газеты, из которых и черпается сверхсекретная информация. Вымышлен, разумеется, и некий источник из правительственных кругов, ему частично приписываются сведения, которыми тот делится с Анисимовым и о котором ничего конкретного не говорится и не пишется. И англичанин в той же манере радуется Лондон: «Имел приватную беседу с военно-морским атташе СССР, что позволило мне ответить на интересовавшие вас вопросы...» А далее — те же газеты. Приди Анисимов с повинной в ГРУ, заяви о несуществующих агентах, которым исправно платятся деньги, генералы заткнут уши пальцами и заорут: «Да замолчи ты, идиот!» Потому что все, вплоть до распоследнего младшего лейтенанта, знают: чтоб кому-то платить много, надо остальным довольствоваться малым, а еще лучше — не давать им вообще ни цента, и мертвые души — та самая фикция, без которой не может жить ни одна разведка.

Капитан 1 ранга Хворостин продолжал курить, размышляя о тяжелой участи морского офицера, который восемь лет назад втянул его в мысли о былом и о вещности предсказаний. Сиденье велорикши удобно и располагает к думаниям. Темнота здесь падает на землю мгновенно, ночь начинается, минуя сумерки, и в ночи светили окна особняка, где частенько бывают капитаны торговых судов: они наловчились фотографировать американские крейсера, линкоры и авианосцы, поднимая на фалах флаг «Не могу управляться», будто у них заклинило руль, и по ошибке вкатывались в середину охраняемых стоянок эскадр у Гибралтара, к примеру. Фотографии эти они сбывают атташе за выпивку, а тот отсылает «агентурные данные» в Москву, уверяя руководство, что снимки сделаны его агентами, которым, несознательным, надо платить. И руководство оплачивает расходы милой Глаши на хозяйство. Потому что само позаботилось урезать в очередной раз жалованье государеву слуге, капитану 3 ранга Анисимову, в назидание ему повысив то же жалованье офицерам Комитета госбезопасности. И догадываются про комедию с пьянками-гулянками двух атташе, не делая никаких попыток пресечь растрату казенных сумм, поскольку «работа кипит», подчиненные стараются, да и никто не вчитывается в донесения, потому что как обходиться со странами Юго-Восточной — это забота министров иностранных дел, и все давно predetermined. Оторвутся министры от более срочных дел, уединятся и безо всякой огласки придут к соглашению. (В аэропорту капитан 1 ранга стал свидетелем забавной сцены: два старых приятеля, заместители министров иностранных дел СССР и КНР, сидели в зале ожидания высоких персон и не замечали друг друга, отворачивались, будто не знакомы...)

«Глаша...» — вслух произнес капитан 1 ранга и вздохнул, преисполненный уважения к той, которую он не раз видел у метро «Маяковская». И вновь занялся арифметикой. Из привезенных десяти тысяч долларов почти половина предназначалась врачу — ни в коем случае не дипломатическому, не официально советскому, и если Петр Анисимов не дурак, то врачевать нужного человека он пошлет собственную жену, и Глафира Андреевна честно заработает так нужные ей деньги.

— Валяй, — сказал рикше мужчина в белом чесучовом костюме.

То, что сообщил Пете прилетевший из Москвы товарищ, касалось судьбы очень нужного ГРУ человека и не подлежало оповещению о нем резидента и офицеров КГБ. Кружным путем откуда-то с Запада переправлялся в СССР агент, европеец, чем-то очень ценный, прыжками кенгуру добирался он к месту назначения, через разные страны, ГРУ поэтому поручило своему атташе обеспечить транзит, но агент очень, очень серьезно заболел неизвестно чем, и Пете надлежало обеспечить ему укромный приют и медицинскую помощь.

Агент выдержал муки авиарейса, стоически дошел до рикши и поступался в дом человека, которого Петя держал про запас, будто зная, как остро понадобится тот вскоре. Половина доставленных из Москвы денег отдана была этому человеку, обеспечивая агенту почти стопроцентную надежность. Другую половину рекомендовалось поделить между врачами, но, видимо, Москва не представляла, чего стоят врачи. Местные эскулапы — все знахари, те же, что с европейским дипломом, не отважатся ехать к больному в пригород, кишаший проститутками и наркоманами; зато поедут китайцы, но те сплошь предатели и ненавидимы местным людом, который растерзает любого худзяо. К посольскому врачу обращаться еще опасней, из него вытрясут адрес комитетчики, лихо наглеющие: отпуск у них через год, а не после двух лет, как в ГРУ, жалованье в валюте получают полностью.

Выход один: Глаша, дипломированный специалист, а нужные лекарства достанет в военно-морском госпитале, по знакомству. Но как платить собственной жене, обвинят же в семейственности! Значит, опять вытворять что-то непотребное с отчетностью.

С темнотой Глаша покинула особняк, выйдя через боковую калитку. Одета в то, что сбросила с себя служанка, до заката уйдя домой. В сумке медикаменты, сумка под шалью, глаза — тоже. Через три квартала взяла рикшу, коляска мягко пружинила, остановилась у ориентира — моста через вонючую реку. Уже пригород, неяркие костры, заунывные песни бродяг, где-то вдаль раздался свисток полицейского, его, стража порядка, Глаша опасалась более всех. Чистая английская речь ее сбила с толку двух искателей приключений. Потом из тьмы выпросталась женская рука, схватила Глашу, но подоспел хозяин дома, отбил, ввел в подвальную комнату. На кровати — простыня приспущена до пупа — лежал тощий, тяжело дышавший мужчина лет сорока со всем букетом заболеваний от перемен климатов и режимов питания; прощание с комфортом предшествовало малярии и еще чему-то тропическому, по болезням можно было установить, где агента прятали и чем кормили. Женщине он очень обрадовался и галантно обещал Глаше стать здоровым через две-три недели. Кажется, француз.

Каждую ночь ходила она к нему, дважды окрик полицейского вспугивал ее, не раз быстрые ноги спасали Глашу. Возвращалась с рассветом, Петя ждал ее, как собака хозяина.

Больной шел на поправку уже, когда внеурочно пожаловал британский атташе с тремя ящиками виски. Англичанин покидал дипломатию и возвращался на флот Ее Величества; заблаговременно узнав, что преемник непьющий (для атташе это слово было ругательным), он передавал другу Питу, то есть Анисимову, незаприходованные остатки шотландского виски. Глаша, недавно раскрывшая секреты капитанов советских судов, на поклон шедших к Пете, глянула на три ящика и увидела десятки фотоснимков кораблей, давно увековеченных справочниками Джейна, из которых муженек ее узнал больше о своем эсминце проекта «56», чем когда он на этом корабле служил.

Помялась и поблагодарила. Атташе набросал план мероприятий по истреблению того, чего не вместились в багажник его автомобиля: сегодня он будет вечером здесь, завтра у себя устраивает попоечку для всех атташе, послезавтра пьет накоротке с другом Питом, а затем напряженные, черт возьми, денечки, передача дел сквалыге и зануде, трезвеннику (последнее произнесено было с едчайшим сарказмом), который прибудет со дня на день.

Потом он задумался надолго, двумя пальцами разглаживая усы наподобие тех, что отращивали британские офицеры эпохи колониальных войн.

— Случайно узнал, что вам в очень неудобное время приходится бывать в квартале, куда европейской женщине лучше не ходить. Опасно, очень опасно... Вот вам оружие, — он сунул пистолетик в кармашек ее жакета, — стреляйте смело и тут же избавляйтесь от него. Он так замаран, что ни у кого и мысли о вас не возникнет...

Вновь Глаша помялась и поблагодарила. Решила: мужу — ни словечка о браунинге.

17

Британский атташе улетел. Глаша, нарушая все протоколы, приехала в аэропорт, англичанка со слезами обняла ее, шепнула: «Век буду помнить, дорогая...» И так получилось, что сразу четыре махаловских информатора объявились, они будто ждали сигнала, рокота «Бритиш эруэйс», и женщина дала знать о себе, — пять полноводных рек как бы прорвали запруды и устремились в котловину. Возможно, они наблюдали за гулянками обоих атташе и посчитали дружбу представителей соперничавших держав каким-то предостерегающим знаком. А не стало британца — и на Петю (через Глашу) посыпался золотой дождь ценнейшей информации, понять которую он не мог. И совсем не вовремя, раненько утром приперся помощник и доложил о своих успехах. Ему удалось разговорить нескольких морских офицеров, и от них он узнал о желании командующего сухопутными силами встретиться с ним. Встреча произошла. От своего имени говорил командующий или излагал мнение президента — уже не так важно, поскольку темой беседы были ракеты, которые желательно приобрести у СССР; установка же и обучение личного состава тоже возлагались на передающую ракеты сторону.

Что говорил Пете помощник — было не новостью, о ракетах уже завелись разговоры у министра обороны. Но командующий просил не просто ракеты, а Р-12, оперативно-тактические, с дальностью 2500 километров, то есть ими поражаются бы не только Австралия и Япония, но и советское Приморье. Что это — провокация или зазнайство страны, обладавшей очень боеспособной армией и без ракет державшей в страхе сопредельные страны? Причем сам командующий сухопутными силами — проамерикански настроенный генерал. Однако от махаловского информатора уже известно, что тот же командующий в последнее время активно ищет контакты с верхушкой компартии, при всем при том оставаясь антисоветчиком.

Кому верить и чему верить? Петя начинал понимать, что полтора года прошаромыжничал, так и не вникнул в дела, которые крутили около президента командующие родами войск и сам начальник Генерального штаба, он же министр обороны, не обладавший, кстати, правами напрямую приказывать командующим.

Как принято везде, злость обратилась на гонца с недоброй вестью.

— На что пьете? Денег у меня мало!

— Не на свои пью, — ничуть не обиделся Луков. — На чужие. Уметь надо. Да и с вас беру пример.

Выгнать бы наглеца, да Глаша украсила служебный разговор своим присутствием и подносом со скотч-виски. Петя отвернулся, скрывая от-

вращение к человеку, которому по утрам надо обязательно выпить. А тот попросил взаймы — нет, не денег, а трех человек из агентуры, и Петя кисло-пообещал кое-что подбросить. Выпроводил помощника, а сам подался к резиденту. Тот будто в полусне разлепил веки, вздохнул огорченно и наконец согласился, достал из сейфа материалы по Вооруженным силам. До вечера просидел в посольстве Петя и вынужден был признать, что резидент умело изображает из себя ленивого толстячка, который ждет не дождется отъезда в Москву и ковыряния лопатой на даче под Перхушковым. Комитетчики проделали гигантскую работу, взяли на заметку всякого мало-мальски соображающего офицера, а уж о генералах и говорить нечего, на каждого командующего округом заведено досье, указаны подходы к ним, методы возможной вербовки, и Петя извлек много ценного. Европейец всегда для азиата чужой, гадкий, непонятный, его, как и американца, можно и надо обдуривать, но в избытке восточного коварства азиаты нечаянно допускают оплошности. Если европейец приглашен к семейному столу, то азиат постесняется врать ему. А если их дети дружат, то ты уже вроде как бы свой (Петя мгновенно сообразил, что благодаря Нате и Саше он вытаскивает из некоторых министров уйму секретов).

Глаша стала чаще появляться на приемах, не забывала и про базар, куда не стеснялись ходить чиновники всех рангов, информация поступала нерегулярно, тем не менее уже обозначилась температура зреющего офицерского недовольства, и если бы военно-морской атташе не сообщил Москве о том, кто и что стоит за хулителями удобного для СССР режима, то нагоняя не избежать. Приходилось еще и скрывать источники информации, ссылки на Махалова были бы губительны, вновь поэтому пришлось перекладывать ценные сведения на мертвых душ, расписывая их достоинства, или прибегать к чудовищным вымыслам. (Однажды из-под пера Пети вышла фраза: «По недостоверным и абсолютно не проверенным, бессодержательным слухам...») До Москвы эта фраза так и не дошла, резидент рыкнул вдруг на Петю: слушай, оставь ты эту тему, и ГРУ и КГБ наплевать на внутренние проблемы этой страны, внешняя политика ее при всех переменах останется неизменной! Да и Петя понимал это: страна зависела от СССР, от советского оружия, от покровительства могучей державы, и влияние компартии было столь велико, что руководство ее почти официально оповещалось о всех шагах правительства и президента.

У Глаши освободились руки, заболевшего агента удалось пристроить пассажиром на филиппинский теплоход, от ночных походов она избавилась, отпрыски правящего сословия частенько плескались в бассейне под надзором служанки, и решено было на август пригласить Андрея Васильевича, который соскучился по Саше и Наташе. Деньги у него водились (Глаша подозревала наличие тугого кошелька у бывшей домработницы), с визой посол обещал уладить, если сам Андрей Васильевич проявит сноровку. Что тот и попытался сделать, найдя в ЦК инструктора, которому когда-то открыл дорогу в партию.хлопоты успеха не дали, а когда что-то забрезжило, преградой стала комиссия при райкоме, как раз та, в которой когда-то руководил сам Андрей Васильевич. Мурьжила она его две недели, а потом он сам тихонечко забрал бумаги свои и обрадованно вздохнул. Умолк. На встревоженные телефонные вопросы Глаши отвечал гордо и скорбно, можно было, однако, понять: прополка библиотечных шкафов и полок продолжалась, но, вероятно, сорняки уже не выбрасывались в помойные баки, а культурненько эдак как бы забывались на скамейках скверов.

Особой нужды в его приезде, правда, не было, дети могут пойти и в здешнюю школу. Да вдруг у Глаши случился *контакт*, Глаше повстречался редко бывавший на приемах чиновник неизвестно какого ведомства и сообщил чрезвычайно полезные сведения, привел Анисимова в замешательство. Обозначать источник сведений нельзя было, чиновник был из махаловской пятерки, но сами сведения такой степени серьезности, что

нельзя ограничиваться бессодержательными фразами типа «По слухам...» или «Человек, пожелавший остаться неизвестным...».

Что делать? Как быть? Да и Луков подтащил кое-какую информацию.

Когда сопоставили все происходившие за последнее время события, то стало тревожно. Очень осведомленный чиновник сообщил о назревавшей в армии чехарде, там сколотился блок из молодых офицеров авиации и флота, обездоленных, не имевших надежд на скорое продвижение по службе, виной чему они считали старых генералов, некоторые из них образование получили аж в 1942 году, и не где-нибудь в Европе, а в Японии. Новую технику генералы эти не только не знали, но и старой не владели, офицерская молодежь стажировалась в СССР, летчики осваивали скоростные «МиГи», флотские быстро приспособились к переданным советским кораблям. Не обходилось без досадных недоразумений, но эта младая офицерская поросль подталкивала безвольного президента, тот начинал уже подумывать, как вытолкнуть из армии стариков, трижды или четырежды за последние месяцы обвинил генералов во всех грехах. Совсем недавно на совещании, по-советски говоря, передовиков производства он ляпнул: «Тот, кто когда-то подставлял грудь под японские пули, скоро покажет нам свою задницу!» Еще один пассаж: «Пусть помнят некоторые, что заслуженная старость может оборваться молодой пулей!» Идиоту понятно, что после таких речей молодые офицеры станут плевать на генералов. Но те-то не стерпят офицерскую дурь, генералы озлобятся, о чем как-то между прочим сообщил несносный алкоголик Луков. Генералы, против которых ополчилась молодежь, не так уж и стары — это раз, они, во-вторых, не дураки и полностью повторяют поведение СССР, хотят быть гегемонами в регионе. С генеральскими домоганиями ракет справиться можно, припугнув их, сообщил далее Луков, секретным соглашением между СССР и США о нераспространении чего-то там. Ну а что касается моряков и летчиков, то они — сущие болтуны и алкаши. (Лукову Петя приказал молчать — не наше, мол, дело вмешиваться во внутреннюю политику страны, это ведь азы дипломатии, а тот в ответ разразился проклятьями: «Когда такое возводится в принцип, то ясно, что вмешательство было и будет, я вам это математически докажу!»)

На садовой скамейке Петя и Глаша все узнанное обсудили и признали: раз Андрей Васильевич прилететь не может, детей надо переправить ему — подальше от одуряющих мест этих, гнилых и пагубных. Тяжело им будет без привычного бассейна, но ведь в Москве не так жарко.

Как раз в Москву аэрофлотовским рейсом летел комитетчик с женой, он с радостью согласился сопровождать ценный груз. Детей же уламливать не пришлось, они радостно завизжали, когда им пообещали снег, о котором они помнили.

Послу и резиденту объявлено было: к 1 сентября дети вернутся, они, семилетние, пойдут в школу при посольстве...

Наверное, правы были те из посольских, кто во всех бедах винил климат. Невероятный по размерам край, по пышности природы и нищете людей. Если уж наводнение — то полмиллиона жизней уносит, землетрясение — поменьше, но все равно в ужасающих Европе количествах. От голода мрут сотни тысяч, а до сочных плодов рукой дотянешься. Роскошные леса смердят ядовитыми парами, людей убивает все — зелень тропиков, пуканье метана в болотах, змеи, способные умертвить сотню крестьян; горожане задыхаются от жары и со страхом ждут ночи: тоска вползает в души, небо кажется продолжением земли, дымкой над нею, сквозь которую пробивается бледный свет звезд, и заря несет людям печной жар дня; жизнь, город, улицы — будто при замедленной съемке, движения ленивые,

движений совсем нет, и страшнее всего для моряка штиль, вода покоится сверхтяжелой ртутью, вода мертва, и Петя, частенько вспоминая Баренцево море и Балтику, где вода и губитель кораблей, и спаситель их, с омерзением посматривал на нее с вышки бассейна (он записался в спортклуб, куда сумками таскал подарки для агентов: некоторые из них, расчетливо щекотливые, от денег отказывались). Гнило-сладкие испарения окрестных болот и ароматы фруктов подвигали Глашу на философские заключения в духе ее отца, и получалось — по Глаше, — что именно в здедном адском раю сотворились Адам и Ева и стали первыми невозвращенцами, бежав отсюда в Европу, пользуясь безвизовым режимом. Ядовитые и мающиеся цветы лесных полей, ветки, пригнутые пудовыми плодами, одурили зачинателей рода человеческого, что не пошло ему впрок: уж сколько лет минуло с окончания войны, а в джунглях все еще обитали японские гарнизоны, и Петя таил в себе страшное подозрение — нет, не верил он в самурайский долг и преданность императору Хирохито, япошки просто подверглись климатическому шоку, отравились болотными газами, что покрепче иприта, нанюхались дурманистых трав.

И западные идеи, попадая сюда, тут же загнивали и начинали подвигать, искажаясь до дикости. Разделение властей становилось вторжением армии во все общественные институты, само общество делилось не на, к примеру, крестьян, рабочих и торговцев, а на мало кому понятные функциональные группы, что дразнило истинных марксистов из компартии.

Людей спасала терпеливость, они все были во власти омертвляющей духоты и покорно несли бремя судьбы. Мусульмане с христианами спорили, но беззлобно, в одной семье муж мог поклоняться Аллаху, а жена держать в углу иконы с Христом, детям давалось право самим определять, кого именовать источником их бед и счастья. Иностранцев уважали, но погружать их в свои веры не желали, стойко — при них хотя бы — переносили невзгоды. Петя однажды нанес визит Главкому ВМС, выразил соболезнование (у него умер отец), на что тот издал легкомысленный смешок, дабы не огорчать своим несчастьем гостя, и промолвил со вздохом: «Что поделатъ, Аллах взял!..»

Мозги в этом климате отказывались работать! И когда настала пора предварительных итогов, когда надо было уже составлять набросок доклада Москве о группе молодых офицеров, то — для простоты и ясности изложения — Петя для себя решил руководителя этой группы именовать Болтуном, что соответствовало луковской характеристике и не расходилось с досье в сейфе резидента. Действительно, болтун. Двадцать девять лет, подполковник, красавец со шрамом на лбу, широчайшие знакомства, сын землевладельца, но не из золотой молодежи, ни кутежей, ни вояжей к проституткам, командир батальона из полка дворцовой гвардии. Женат, мусульманин, но весьма и весьма веротерпим, знает в лицо почти всех молодых офицеров гарнизона и всем спешит делать добро, но дальше обещаний не идет. Морально неустойчив, но кто в этом климате останется устойчивым? Глуповат и малоразвит, предан президенту, послушен начальству. Близко знаком с командиром авиабазы под столицей, а та на исключительном положении, в тройственном подчинении — и командующему Центральным военным округом, и министру ВВС, и президенту, поскольку на базе — правительственный авиаотряд. Болтун дважды побывал в СССР: курсы при Академии Фрунзе. Там же едва не вывалился из окна, на спор выпив бутылку водки и пытаясь пройти по карнизу восьмого этажа.

О Болтуне доложено было резиденту. Взгляд и жест генерала говорили: опять ты лезешь с мелочевкой. Вот если бы эти офицерики, сказал генерал, вознамерились свергнуть президента, тогда в Москве забегали бы, ЦК ценит высшего руководителя страны и видит в нем опору, силу, которая остановит экспансию Китая.

— И вообще: не лезь ты в эту муру! — так было приказано Пете, и он ушел, понимая бесплодность своих трудов. Резидент может отправить донесение, сопроводив его пометкой о малозначимости или недостоверности. А может и закупорить его в сейфе.

С тем и вернулся к себе. Погрустил. Без детей стало скучновато.

Часу не прошло, как один из махаловской пятерки передал: офицер от Болтуна встретился с генеральным секретарем компартии, тема разговора выясняется, но скрытность места свидания, меры предосторожности заставляют предполагать: речь шла о делах серьезнейших, и что последует за встречей — неизвестно.

Петя так и не подыскал подходящего псевдонима для главного коммуниста страны, ограничился нейтральным: Генсек. Досье на него имелось, конечно, но никому не позволят заглянуть туда, Пете тем более; никаких контактов с Генсеком, кроме приглашений на приемы, посольство не поддерживало, как и с другими партиями, впрочем, — загадочная личность: то реверансы в сторону СССР, то дружественное послание «великому китайскому народу». Вхож к президенту, но и Болтун запросто появляется в доме первой жены его, любезничает со второй. Вокруг Генсека же — личности сверхподозрительные, есть основания полагать, что кое-кто из них связан с военной контрразведкой. Наконец, числится в верхушке компартии, не допускаясь, правда, к решению каких-либо вопросов, некий сильно постаревший, но не потерявший боевого духа деятель, которого надо бы назвать Оголтелым: еще в 50-х годах он призывал СССР послать в страну гвардейские дивизии, передать лучшие корабли Тихоокеанского флота, взамен чего Оголтелый обещал все раскинутые по океану части страны переименовать, на карте мира появились бы острова Молотова, Кагановича и прочих членов Политбюро, красный пролетарский флаг взвился бы над столицей. А рядом с Оголтелым — молодые люди, умеющие произносить зажигательные речи и складно писать их, кое-кто из них, утверждали источники, одно время снабжал президента писульками на все случаи жизни, но тот вскоре отказался от подобных услуг, ибо считал себя непревзойденным мастером красноречия, не нуждавшимся даже в заготовках будущих выступлений. Еще один молодец, учившийся в Высшей партийной школе (г. Москва), челноком снует между Генсеком и военными округами, где якшается с молодежью.

Оставалось последнее — догадаться, что именно офицерами затевается и ради чего? И какова роль Генсека?

Кое-что прояснилось после секретнейшего совещания молодых офицеров. Речи выступавших не стенографировались, конечно, до Пети дошли обрывки, явствовало, однако, суть: молодые офицеры побаивались молодых офицеров же, ибо неотвратимо надвигался раскол, более тысячи из молодняка прошли подготовку в США и пропитались антисоциалистическими настроениями, потому на совещании приняли решение — укрепить ряды (прозвучали две цитаты из Ленина), приступить к подготовке народного ополчения незамедлительно, определена и цифра — 3700 человек, именно столько вместят казармы на авиабазе.

Как ни скрытничал Болтун, а весть о секретном сборище донеслась до не любимого офицерами министра-главкома сухопутных войск и сообщилась им министру обороны. Два генерала потребовали аудиенции у президента и заявили ему примерно следующее: в государстве дружно сосуществуют, обогащая друг друга, четыре вида Вооруженных сил, то есть сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и полиция. Появление же пятого рода войск, народного ополчения, губительно скажется на координации четырех видов, горожанин или крестьянин с оружием — это не только святотатство, это оскорбление армии, которая, в сущности, руководит всем обществом, ее представители во всех органах власти, офицеры и генералы составляют костяк общественных объединений. Пагубность

народного ополчения в том еще, что оно провоцирует гражданскую войну, уж не ее ли имеют в виду авторы идеи вооруженных масс?.. Эту сумасбродную идею президент отверг, заявив о единстве народа и армии. Однако, прибавил он, народное ополчение и армия — тоже единство. Генералы ушли ни с чем, затаив, как полагал Петя, некоторую неприязнь и к президенту-краснобаю, и к молодым офицерам вне зависимости от того, где их муштровали — в СССР или США. Что будет дальше — не ясно. Пока можно остановиться на такой вероятности: все происходящее — внутриофицерская склока. Чему не верится и что надо уточнять и уточнять.

Сущее мучение — это бывать на приемах: тужурка и прочая парадная амуниция морского офицера явно не для этого климата. Правда, московское начальство вняло мольбам и ввело для тропиков особую форму одежды: тужурка и брюки — из тонюсенькой чесучи, а о кортике можно забыть. В такой вот легкости на теле и в душе прибыл однажды Петя на официальную встречу с Главкомом Военно-морских сил, который слыл вольнодумцем, потому что поощрял выпивку; все атташе выстроились в самостоятельном порядке, впереди Пети высился военно-морской чин из Индии — китель узковат, с чужого плеча, несомненно, а носки (Петя опустил глаза) с дырой на пятке; то ли пропился индийский коллега, то ли правительстве его страны попридержало выплату денежек. А может — просто бедность? Петя почувствовал щемящую жалость: было, было время, когда в Костроме у него не то что носков, сапог своих не было, бедновато жили, ой как бедновато, да и сейчас не до жиру. О чем, наверное, догадывался безвременно убывший британский военно-морской атташе, офицер одного звания с ним, лейтенант-коммандер, да что там — знал точно, как стесненно живет капитану 3 ранга Анисимову, потому, наверное, что сам друг Джордж — аристократ, баронет. А американскому коллеге, сыну сталевара, — сие невдомек, этот однажды пригласил мимоходом Петю с супругой слетать вместе с ним в Сингапур, на личном самолете, номер в гостинице будет заказан, — ну так как, мистер Анисимов, проведем уик-энд вдаль от этих всем поднадоевших мест? Пришлось, разумеется, под разными предлогами отказаться, не посвящать же американца в тягомотину отписок, сколько бумаг сочинять придется, чтоб успокоить и резидента, и московское начальство.

Прием кончился, необычной красоты девушки начали разносить бокалы с жалким подобием шампанского, Петя оказался рядом с нищим коллегой и после дежурных слов рассказал индийцу о Костроме, о городе, где снег с сентября по апрель. Грустноватый коллега оживился и поведал об иссохших водоемах родного штата где-то около Калькутты. Проникнутые обоюдной симпатией, они спустились в садик; невинный вопрос о том, что вообще в этой стране происходит, вызвал у коллеги озабоченный вдох; подтверждая мнение о сходстве или даже родстве двух наций, коллега честно, будто он из-под Воронежа, признался: да ни черта он не смыслил в этой политике, начальству в Дели отправляет вольный пересказ местного официоза и душу отводит в кают-компаниях индийских торговых судов. Однако, продолжал коллега, кое-что его тревожит, а именно: Пакистан, враг Индии с момента рождения республики, поливает грязью — через свои газеты — министра обороны, посол и военный атташе Пакистана нашептывают президенту разные гадости о министре обороны, а человек этот уважаем всеми, генералами и офицерами прежде всего, да сам господин капитан 3 ранга должен помнить, с какой теплотой встречали в СССР министра обороны.

Да, Петя помнил. Министр обороны, он же министр-координатор Вооруженных сил, однажды в Москве при встрече с Генсеком ЦК КПСС Брежневым, отвечая на вопрос, почему генерал не любит коммунистов, выразился хитро: «Дорогой Леонид Ильич! Если бы все коммунисты были похожими на вас, то я бы немедленно вступил в компартию!» «Не любит» — это, конечно, слабо сказано: министр ненавидел коммунистов, ни-

когда, правда, в открытую не хуля их, но всех, с ними связанных, подозревал в самом худшем.

Приглашенные атташе стали расходиться и разъезжаться, Петя с отращением надел фуражку, индеец — тюрбан и пошел, сверкая голыми пятками. А в мысленном словаре Пети появился псевдоним Умник, им обозначался министр обороны, он же начальник Генерального штаба, он же министр-координатор. Дальнейшие размышления привели к осознанию факта: Умник — центральная фигура, недостижимая величина, одинаково опасная и приемлемая для всех.

Глаша сообразила и устроила прием, собрались жены военной верхушки, Петя появился на веранде так, будто ошибся дверью, поклонился супруге Умника, полуголландке, матери трех дочерей, порасточал комплименты прочим. По его настоянию Глаша, кроме как о кулинарии, ни о чем на сборищах этих не говорила, однако умела сравнивать, связывать настроение жен с нравами и заботами мужей. Круг ее знакомств ширился, ее наконец-то признали врачом, в посольском городке отвели смотровой кабинет, и советские люди, привычно не доверяя никаким начальникам, охотно жаловались Глаше на нездоровье.

Несколько дней прошло в спокойствии, как вдруг двое из махаловской пятерки поблагодарили Глашу за оказанное каждому высокое доверие и сообщили, что, к сожалению, не могут в дальнейшем оказывать ей свои услуги, поскольку опасаются, что развитие событий может неблагоприятно сказаться на ней. В таких случаях положено агента поблагодарить, сказать о том, что советское руководство высоко ценит их труд во благо мира; шантаж, вразумлял Петя жену, вреден и лишен смысла, надо предоставить агенту прощальное право выбора — деньги или подарок?

От того и другого оба информатора отказались, но то, что сказали они напоследок, повергло Петю в беспокойство и замешательство. Генералы, будто в подражание подчиненному им молодняку, тоже сгруппировались вокруг командующего сухопутными силами, того самого антисоветчика, который требовал у Страны Советов ракет, да помощнее. Генералы каким-то путем пронюхали — о чем? О нависающей над ними опасности? Да откуда ей взяться, если офицерики ничего худого не замыслили!

В Петины мысли командующий сухопутными силами вошел как Трус, а к нему примыкали те, кого если и можно в чем-либо упрекнуть, так не в излишней смелости, все окружение его — хоть и с боевым прошлым, но покорно президенту, Трису и вообще любому генералу рангом повыше.

Странно, очень странно. Тем более что между Трусом и Болтуном возникло некое взаимопонимание, генерал-лейтенант и подполковник якобы случайно встретились в госпитале, каждый навещал заболевших родственников. О чем шептались они в кабинете главного хирурга — никому не ведомо.

Все совсем уж запуталось, когда Петя внимательно изучил приносимые махаловской пятеркой сведения, поведение их, методы контактов с Глашей. Это были профессионалы высокой выучки, и в Пете забурлили сомнения: уж на одну ли только разведку они работают, уж не кормятся ли они из американских рук еще, из английских, японских и китайских в придачу? И женщина, завербованная Махаловым, — из, оказывается, столичной полиции, купленной-перекупленной всеми разведками. Что бы это значило?

19

Затишье наступило, президент с помпой отправился в заграничный вояж, с ним вместе — свита, челядь, близкое окружение, генералы и чиновники. Жизнь в столице замерла, Глаша обворожила 2-го секретаря посольства и названивала в Москву, поймала однажды отца, узнала, что дети на даче и бегают наперегонки с соседскими ребятами и собаками. Петю пригласил посол, показал письмо из МИДа, там почему-то хотели связать-

ся с потомками княгини Оболенской, еще до революции осевшей здесь, и поскольку военно-морского атташе уже признали знатоком, поиск старорежимных родственников поручили ему.

Он их нашел, они жили в крохотной русской колонии, давно уже поданными разных стран, по контрактам прибывшими сюда кто на нефтепромыслы, кто куда-то еще, и встретили они Петю вежливо, не более; Ленинград они называли Питером, что ухо не резало: многие в городе на Неве так по старинке именовали бывшую столицу империи. Но слово «Кострома» их разнежило, нашелся семейный альбом с видами этого города, одно из зданий Петя опознал и уверенно сказал, что на нем ныне висит мемориальная доска: «Здесь в декабре 1918 года помещался уком РКП(б)». Это вызвало приступ веселья, с Петей попрощались тепло, но уезжал он в опаске: потомки княгини сообщили ему нечто тревожное, во что не хотелось верить.

Однажды — после отъезда Пети — предстал перед Глашей помощник, Виктор Степанович Луков, под вечер. Хорошо смотрелся: белый костюм, сетчатая рубашка, легкие сандалеты, шляпа, которая не удивила бы княгиню Оболенскую: во времена ее еще не вышли из моды канотье.

Шляпу эту Глаша сняла с него и положила на скамейку — так и сели оба, разделенные шляпой, и как много лет назад, как и в последний месяц, когда в дом приходил помощник, в Глаше пробуждалось отвращение к себе, к своему греховному телу, к самому Лукову. Он говорил — она не слышала, она смотрела на движущиеся губы его, с тоской понимая женщин, бросающих на шею этому соблазнителью...

Вдруг он встал, рука его простерлась над шляпой и легла на макушку Глаши, рука отклонила голову ее чуть назад.

— Ну что, милая, и ты, как все, колыхнулась?.. Но учти: я с женами начальников — ни-ни...

Она вскочила и отвесила ему пощечину. Луков усмехнулся, взял шляпу. Показал спину, удалился, посвистывая, а Глаша долго с ненавистью смотрела на ладонь свою, потом села и расплакалась. Через час приехавший Петя заметил в ней что-то необычное, спросил.

— Без детей как-то не по себе, — ответила Глаша. — Зря мы их отправили в Москву.

Говорить на эту тему было уже бессмысленно, а назавтра газеты разорались: в пригороде найден труп Оголтелого, и следовало убийство понимать так: уж ныне-то компартия начнет подыгрывать китайцам, и кому это выгодно — неизвестно. Возможно и обратное, но не идти же к послу за разъяснениями, посол ответит убийственно просто: «Что происходит с вашим помощником?» А Луков продолжает пить, погруженный в какие-то свои подпольные делишки.

Президент вернулся, раздраженный невниманием западной прессы. Утешение нашел у второй жены, никого из генералов не принимал. Тишь и благодать, политическое безветрие, штиль, спокойствие пытался было нарушить помощник, явно спьяну пожелавший поговорить с Петей в посольском городке, там он, видимо, крутил роман с прибывшей из Москвы учительницей, сдуру не понимая, что загаживает девушке жизнь. Чем-то обеспокоенный, взвинченный, Луков поджидал его в беседке, заговорил трезво и связно, сказал, что в ближайшие недели две группы военных сцепятся друг с другом, известный Анисимову подполковник, командир батальона, и командующий сухопутными силами — люди, в сущности, одной политической породы, и схватка между ними будет поэтому безо всяких правил, последствия непредсказуемы, да еще и столь уважаемый Москвой и Вашингтоном президент — тряпка; ему, Лукову, наплевать на туземцев, кровь которых прольется, народ здешний он презирает, но не исключается и погром посольства; резидент отказывается верить очевидным фак-

там, — так нельзя ли достучаться до посла, чтоб тот прямым динулся к американцам, вдвоем они останоят это безумство.

— Кто тебя подослал? — грозно спросил его Петя. По всем донесениям, Болтун давно уже не посвящал помощника в свои дела, а генералы только о ракетах могли говорить с Луковым.

Тот признался без стеснения:

— Умеренные. Местная буржуазия. Буржуи, как принято писать в наших учебниках. Им надо спокойно продавать и покупать. Буржуйские лавки не должны громиться и поджигаться.

— Выражайся точнее: китайские лавки.

Луков смотрел на Петю задумчиво, как бы отвечая себе на свой же вопрос: «Этот — не выдаст?»

— Начнут с китайских лавок, а кончат своими. Историей доказано. Туземцы из нашей революции выводов не сделали, остались ленивыми и глупыми, они всегда жили бесконкурентно, они не энергичны, они довольствуются малым, у них всегда было вдоволь земли и продуктов, подаренных природою... И во всех своих бедах винят кого угодно, но только не себя. А китайцы дерзки, умны, пронырливы, опутали крестьянство долгами, сколотили крупные капиталы, за ними мощь Поднебесной, а та подталкивает местных коммунистов на гибель во имя дешевых идеальчиков. Петр Иванович, тут такой расклад сил, что уразуметь его невозможно. Америке этот Китай уже в печенках сидит. Так что можно смело идти к американцам договариваться.

— Отчет напиши. Когда и кто дал сведения. И сколько заплачено.

— Кому — им?

— Нет, тебе! — озлобился Петя. А Луков продолжал смотреть испуганно.

— Петр Иванович, сами понимаете: беспокоясь не только о своей судьбе, но и тех, кто дал такую информацию... Короче, никаких имен.

— А я их и не требую. Запоминай... — И Петя выдал ему трех информаторов из мешка с мертвыми душами. — Сошлись на них. О деньгах ни звука. Руководствуясь, мол, наивысшими намерениями, направленными на... сам придумай. Хотелось бы знать, какая у тебя личная выгода, почему ты горой встаешь за китайские лавки?

— За свои, — поправил Луков. И вновь поразил Анисимова откровенным, оголтелым даже откровением: — А выгода такая. Генералы втихую передали китайцам пару ракет. Они, ракеты эти, давно у нас рассекречены, потому и проданы туземцам. А мне вроде как комиссионные дали, я при сделке гарантом качества был. Так что мне любая заварушка вред нанесет, мой личный бизнес пострадает. Когда одна власть сменяет другую, грязью начинают поливать бывших друзей.

Отчет был написан к концу дня, прочитан Анисимовым, отдан резиденту и отправлен в сейф. Ничего срочного или необычного в нем не содержалось, и вряд ли отдадут отчет шифровальщику, он, скорее всего, войдет абзацем в ежемесячное послание резидента. А если и войдет, то еще неизвестно, как воспримет его Москва, любящая сладости, отчет, возможно, застрянет в канцеляриях, что случалось не раз, что было понятно и Пете, и резиденту, который хмуро промолвил:

— Такие вот дела... Сколько раз говорить вам: не вмешивайтесь во внутренние дела дружественного государства, проводящего линию на дальнейшее укрепление дружбы с СССР. И все же ты прав, Петр Иванович, чую: что-то случится...

Тишь, благодать, страхи местных буржуев казались надуманными, да и страхи-то известны давно, китайцы влезли во все щели, китайцы проникли в кабинеты всех министерств, худзяо опутывали экономику страны це-

пами и сетями, но Китай одинаково враждебен и СССР, и Америке, и ничего уже не поделаешь, президент только на трибуне вождь и воин.

Надо бы плюнуть на эту неразбериху, как вдруг один из наиболее верных и точных агентов Махалова передал кипу бумаг, приведших Петю в смирение перед судьбой, которая отвернулась от него и Глаши светлой стороной лика, и как умно судьба эта распорядилась, сунув детей в аэрофлотовский самолет.

Бумаги опрокидывали все расчеты Пети и самого его выставляли по меньшей мере дурачком, потому что ничего-то он не понял и не понимал, а уж подполковнику надо срочно подыскивать другой псевдоним, не болтун он и пьяница, а хитрый и жестокий зверюга, который вот-вот сорвется с цепи и поведет за собою стаю хищников. Молодые офицеры не хотели выпрашивать у генералов места под солнцем, они хотели просто-напросто арестовать их и расстрелять, и кого именно — список прилагался.

Петя вчитывался и загибал пальцы. Фамилии стоят по алфавиту, но чья-то рука (возможно, и подполковника) поставила галочки справа от фамилий, ими определялась первоочередность тех, кто подлежал устранению. Фамилии более чем известные — командующий сухопутными войсками, то есть Трус, с которым Болтун ни до чего не дошелся в госпитале, командующие округами, командиры крупных гарнизонов, начальник училища. Сделано исключение: начальника военно-штабного колледжа не трогать (почти все преподаватели там — советские офицеры), от расправы освобождены Главкомы ВВС и ВМС, командующий войсками стратегического резерва тоже, последнего (у Пети он значился как Тупица) решили склонить (полный дурак все-таки!) на свою сторону, чего больших трудов не стоило: тот отличался беспрекословной исполнительностью и подчинялся только Тусу, которого устранят. Назначены офицеры на освобождавшиеся после расстрелов должности, и чтоб избежать канцелярской волокиты, Болтун подготовил указ о ликвидации всех воинских званий выше подполковника, президента уже не придется беспокоить, суя ему на подпись указы о присвоении званий. Созданы штурмовые отряды, уже приведены к присяге на верность командиры двух батальонов спецназа, батальон дворцовой гвардии, подчиненный лично Болтуну, разоружит дворцовую стражу.

Полная неразбериха, совсем непонятно, кто против кого готовит заговор, поскольку от женщины в полицейском управлении пришло неправдоподобное сообщение, в нем излагалась позиция еще не расстрелянных генералов, которые доподлинно знали о грозящей опасности и не только разработали контрмеры, но и подвели к столице дивизию, готовую заблокировать Болтуна на авиабазе и раздавить мятеж в зародыше. И почему они спокойно взирали на авиабазу — это стало известно из еще одного документа. Генералы пристально наблюдали за переговорами подполковника с Генсеком, ожидая момента, когда лидер компартии примкнет к подполковнику и окажется на авиабазе. Вот тогда можно будет одним ударом покончить не только с офицеришками, вся компартия с ее китайской ориентацией пойдет под нож.

Сведения тем более ценны и правдоподобны, что агенты армейской контрразведки и осведомители политической разведки — одни и те же люди.

Во главе генералов стоял Трус, в припадке решимости создавший «Совет генералов», и ошеломленный Петя обзывал себя дураком — некоторым оправданием было то, что все собранные резидентом материалы абсолютно неверно, как и он, понимали и верхушку генералитета, и щенков на авиабазе; зря хлеб ели комитетчики, самим себе ввали. Или — такое возможно — взаимный накал страстей переродил Болтуна-подполковника в затаившуюся кобру, а трусливого командующего сухопутными силами — в расчетливого и бесстрашного тигра?

Но нигде, ни в одном списке подлежащих немедленному расстрелу не было самого уважаемого военачальника страны — Умник почему-то выпал из всех разрядов на уничтожение. Ни та, ни другая сторона будто не замечала его. И обе стороны ждали какого-то сигнала к выступлению, причем выступать боялись. Видимо, обрабатывался президент — через жен, через адъютантов, напрямую и без упоминания деталей, ни для кого уже не было тайной безволие вождя и пустота его лозунгов.

Дочитав последнюю страницу оглушительной информации, Петя непрозвольно глянул на дверь, ведущую в детскую, и освобожденно вздохнул.

И Глаша, прочитавшая списки, тоже глянула туда же, на дверь в детскую, вздох ее был тяжким.

— Нам скоро отпуск положен... — жалко произнесла она и устыдилась.

Один вопрос так и свисал с языка Пети и потому не падал в уши Глаши, что ответа на него не ожидалось. А вопрос пугающий: «Стоит ли доверять женщине, которая эти сведения предоставила? И как ее проверить?»

На это ушло трое суток, и ответ был получен. Брат женщины служил в МИДе помощником министра, а министр иностранных дел руководил политической разведкой страны и почти ежедневно бывал у президента. Брату женщина и обязана была своим постом в полиции, от брата и черпала информацию, и получалось так, что «Совет генералов» столь же полно осведомлен о планах молодняка, как и те о замыслах генералитета. Все знали всё обо всем и потому бездействовали, все были заговорщиками и все провокаторами на службе политической разведки, военной контрразведки и осведомителей всех причастных к заговорам групп. Все! Восток после 1945 года принял формы государственного правления Запада, но так и не научился скрытно что-либо делать; президент стоял во главе семьи, и семья побаивалась нарушать покой божества. А нарыв давно уже созрел и либо сам мог прорваться, либо вскрыться извне, тем, кто осмелится ткнуть острием нога во взбухший гнойник.

Женщина, золотая агентесса эта, на приемах была простой охранницей, одетой под служанку, и смело пошла на прямой контакт с Петей, встреча произошла в пригороде, у рыбного порта, на квартире, известной только женщине. При неярком освещении Петя рассмотрел ту, которая изредка мелькала перед ним на приемах. Полторы сотни народностей населяло эту страну, женщина явно родилась в северных провинциях, что-то в ней костромское почудилось Пете... Она передала ему наисвежайшие данные и радиопозывные всех воинских частей гарнизона.

— Берегите себя, — сказал он. — В тень шагните, никаких контактов, обрывайте все связи, спасайте себя! К родителям уезжайте, немедленно! Не удастся, беда нависнет — вот вам адрес. — Он назвал дом, куда ходила Глаша вылечивать француза.

Они обнялись и разошлись.

Ну а теперь — спасти страну эту от бойни, резни и пожарищ. Спасать! И уж никак не с помощью посла и резидента, те отмахнутся от него или потребуют наиточнейших данных об источниках информации. И наконец, не потворствует ли само посольство возможной катастрофе, не надеются ли московские товарищи в крови утопить китайский гегемонизм?

Ни слова о спасении народа от бедствий не прозвучало — как и долге советского человека, о справедливости и честности. Глашу всегда пугали выстрелы, выражение «огонь народного гнева» было для нее не фигуральным, от матери она слышала о поджогах барских домов — таких, в которых они сейчас живут. А Петя нашел-таки потомка княгини, офицера голландского флота; морская стихия объединяет моряков и развязывает их языки, семейный альбом и письма хранили удивительные факты, живописующие так называемый русский бунт.

Ни слова не прозвучало: Петя и Глаша просто обнялись, на веранде. А потом Глаша обыденно сказала, что благословляет тот миг и час, когда в

заснеженном Мурманске она сняла варежку и протянула руку незнакомому старшему лейтенанту Анисимову.

21

Но и любопытство снадало: и генералы, сплотившиеся вокруг командующего сухопутными силами, и офицеры, обосновавшиеся на авиабазе, — те и другие, зная о планах друг друга, выжидая момента, когда можно начать расстрелы, не проявляли никакого беспокойства и с восточным смирением смотрели на судьбу замышляемого ими. Дружелюбно улыбаясь, Трус и Болтун радушно встретили приглашенного ими Анисимова и предложили ему обкатать в голове такую идею: а не согласится ли СССР взять в аренду один из островов, чтоб запускать с него баллистические ракеты, поскольку экватор все-таки почти рядом?

Обкатать эту идею Петя предложил резиденту, пусть тот докладывает послу. А сам бродил по посольству, ища союзника, истинного знатока страны, который сможет объяснить ему, в чем настоящая причина назревшего путча и, главное, когда этот путч разразится. Не ради же карьеры офицеры пускаются во все тяжкие, что движет ими, нельзя же так бессовестно играть жизнями сотен тысяч людей? Совесть и справедливость — как они связаны? Что движет ими?

Напуская на себя служебную любознательность, Петя беседовал с советниками посла, кое-что полезное извлек. Пятый или шестой год сидел в стране корреспондент «Правды», но писал такую чушь, что не то что говорить с ним, а видеть его Петя не мог, хотя и признавал за писакою право лгать напропалую: такова жизнь, дорогие товарищи! Неожиданную помощь оказал парень из Комитета по экономическим связям, наездами бывавший в стране и потому отчетливее видевший изменения. В столице, сказал он, под видом этнографов околачиваются мужики из международного отдела ЦК КПСС, они все мотают на ус и докладывают наверх без прикрас.

С таким этнографом Петя встретился, но сразу убедился, что международник делиться с ним знаниями не намерен. И более того, на тот же верх доложит о нездоровом интересе военно-морского атташе к делам, выходящим за рамки его компетенции. Правда, по некоторым недомолвкам того выяснилось, что и посла, и резидента он считает если не жуликами, то болванами. И парень, спец по экономическим связям, такового же мнения был. Выдержав паузу, он рассказал, какие дела творятся в этом государстве, а в нем от мала до велика все скрытно недолгоблвали президента с его позами величайшего оратора всех времен и народов. Страна будто застыла в мертвой точке: уже не отступить от лелеемых идей справедливости, но и время еще не пришло всех наделить справедливостью, нарезанной поровну. Всем плохо живется или почти всем, а те, которым не так уж плохо, боятся жить, потому что у них могут отнять нажитое.

Петя ему поверил. Не мог не поверить: почти о том же сказали ему потомки княгини Оболенской. Более того, они предрекали бунт, разбой, концлагеря, расстрелы заложников, и когда Петя напрямую спросил, откуда у них, лишенных достоверной информации, такая уверенность, ответ был такой: от княгини, она вовремя убралась из России, еще до 1917 года.

Весь в мыслях о Болтуне и Тресе, гадая, когда и по какому сигналу начнут они стрелять друг в друга, Петя прикатил в спортклуб на теннис, сидел на низкой скамеечке под струями вентилятора; играть не хотелось, да и душно сверх всякой субтропической меры. Рядом француз препирался лениво с чехом, споря о мяче на ауте. Оба поднялись и пошли к буфету на кока-колу. Сюда обычно приезжали на встречи с информаторами, раздевалка — удобное место для передачи громоздких подарков и приема слов или документов, и как в так называемом приличном обществе будто

не существует туалетов, куда время от времени заходят женщины, так и здесь никто не замечал подарков этих, краткого обмена словами, и уж никогда ни в одном донесении не фигурировали люди, мелькавшие здесь. Корпоративная этика — так, кажется, называла Глаша это противоестественное совпадение интересов. Появлялась она здесь к явному неудовольствию Пети, он однажды заехал за ней и ревниво наблюдал издали за бесполезным занятием: верная жена не столько перебрасывала мяч через сетку, сколько показывала себя мужчинам, фигуру свою, бедра, едва прикрытые юбчонкой. По сравнению с ней эта сейчас к нему подошедшая американочка Мод Форстер — сушая образина, язык у нее, спору нет, подвешен хорошо, она назвала Петю «кэптенем» и с видом деревенской дурочки беззастенчиво села рядом.

— Хотите знать, о чем думаете?.. Хотите. Так вот: о том же, что и я. Задачку оба решаем. Если кто первым догадается — поделимся, а?

— Я-то поделюсь, слаб ведь мужчина перед женщиной, когда она забывает надеть бюстгальтер. — Мисс Форстер, пренебрегая приличиями и принимая во внимание климат, была в лифчике символического размера. — А вы — нет, не поделитесь.

— Шортики снимете — и я выдам все секреты госдепа...

Посмеялись. Потом она высвистнула мелодию некогда известной в СССР и КНР песни «Русский с китайцем брата навек».

— Враг-то у нас теперь общий, что бы там на Язуе и Потомаке ни говорили... — И ракеткой полоснула себя по горлу, встала, опираясь на плечо Пети. — Ваш хороший друг Джордж делает бешеную карьеру, уже командир крейсера, скоро явится сюда с дружеским, как водится, визитом. — И виляющей походкой удалилась в душ.

Муторная встреча, разговор тем более, его еще надо какими-то нейтральными и бессодержательными фразами отобразить в донесении, ибо начальство по своим каналам узнает. К себе ехал через центр, тормознул у площади перед президентским дворцом. Напротив — это чертово американское посольство, из окна могут видеть, какая стража сегодня, — везет же людям.

Здесь, на площади, его озарило, он понял, что будет с Умником, почему нет его ни в одном списке — ни на расстрелы, ни на перемещение вверх или вниз по должности. Судьба министра обороны и начальника Генерального штаба предрешена так, что говорить или писать о нем не стали ни генералы в своем «Совете», ни офицеры авиабазы. Он обречен на заклятие, он, пока жив, всем опасен, потому что решительнее всех, генералов и офицеров перестреляет безжалостно, без разбора, не интересуясь личностью того, кого солдаты выволокут из кроватей или кабинетов. При нем, живом, никто не осмелится начать резню. И наибольшая заинтересованность в убийстве его — у Болтуна. Но и у Труса основания расправиться с министром обороны еще более весомы, Трус жесток и злобен, он сразу же после устранения Умника объявит заговорщиками причастных к убийству офицеров, и авиабаза окажется в кольце двух окруживших ее дивизий, а по всей стране начнутся расстрелы коммунистов, ибо Генсек уже стакнулся с Болтуном, который намеренно, по чьей-то подсказке, вовлекает лидера крупнейшей партии страны в эту авантюру.

Уже вовлек, потому что в тот же вечер стало известно: Генсек тайно перемещен на авиабазу, ему отвели домик, дали связь, он готов поднять коммунистов, повести их неизвестно куда, то есть под дула автоматов Калашникова, и если он уже на авиабазе — значит, скоро, скоро начнется. Но когда, когда? Резиденту — известно? Нет, тот не слышал, не знает, зато обрадовал последней шифровкой: отпуск капитану 3 ранга Анисимову разрешен, через десять дней. Закаленный Петя выразил скромную радость, стал перетряхивать в памяти своих информаторов, чтоб ненароком не передать резиденту перед отпуском самых лучших, и вспомнил о недав-

но выздоровевшем чиновнике, который не гнушался мелкой работенкой и не роптал на мизерное вознаграждение. Чиновник подавал знаки уже вторую неделю, да все времени не было встретиться с ним, а приглядывал тот за американским посольством.

Встретился. Чиновник не только сообщил оглушительную новость, но и предъявил фотографии, оцененные Петей в сто долларов. Дано же было вчетверо меньше, нельзя же обозначать истинную стоимость добытого. Пospешил домой.

Глаша складывала стопочкой учебники детей, забытые ими, и когда услышала о Лукове и Форстер, встала, бледная и тихо разъяренная. Глянула на фотографии, простонала. В поисках ночной прохлады Мод Форстер открыла окно своей квартиры, и на заднем плане виднелся до трусов раздетый Луков. Еще снимок: он и она в той степени обнаженности, что предшествует акту соединения.

Петя и раньше замечал в спокойной супруге приступы бешенства, объясняя его то климатом, то драмой в семье, где любовница отца жила под одной крышей с матерью Глаши. Но такого, как сейчас, взрыва ненависти не ожидал.

— Сволочь! — выругалась она. — Какая же сволочь!.. Петя, я тебя умоляю: срочно докладывай руководству! Его надо отзывать!

— А что докладывать? Что спит с американкой? Так это надо еще доказать — раз. Во-вторых...

— Он предатель! Он уйдет к американцам! Поверь мне! Здесь не возня на кровати, здесь что-то другое. Да неужели ты сам не видишь, что Форстер не та баба, из-за которой Луков может потерять голову! Она же беспола!.. Я глаза ей выцарапаю!

Негодующий Петя умолк, потому что вспомнил спортклуб. Действительно, ничто мужское не дрогнуло в нем, а уж он-то на любую полуголую бабу реагирует. А когда Форстер, почти обнаженная, сидела рядом с ним, касаясь бедром и рукой, на него даже легкое отвращение какое-то накатило. Воистину мужской организм чутче женского. Да и Луков на таких плоскогрудых не клюет, это уж точно.

Покричав друг на друга, успокоились и договорились: резиденту о желательности отзыва Лукова — ни слова, незачем выносить сор из избы, у КГБ свои секреты, у ГРУ тем более. И уже в Москве, где будут дней через семь, все рассказать начальнику направления.

22

В этой неразберихе взаимных предательств и наивных до прозрачности конспираций всеми еще не схватившимися за оружие владел грубый, из племенных времен прорвавшийся расчет, какой бывал при обмене буйвола на три мешка риса, а ныне сводящийся к подсчету автоматов Калашникова и рук, его державших: у кого больше?

Больше было у генералов.

И «Совет генералов», которого, возможно, и не было, который возник в провокаторских мозгах десятков осведомителей, — мнимый или не мнимый орган этот поднял по тревоге единственную в стране танковую дивизию и открыл, будто началась война, склады артиллерийской бригады. О тревоге и распахнутых воротах складов узнала, разумеется, авиабаза, где таковых сил не было, и тогда десантные баржи высадили под столицей две роты женского спецназа. Их одели под мужчин — красные береты, шаровары, грубые ботинки с окованными носками, способными проломить голову в каске.

Общались дипломаты — познакомились и дружили слуги их. У индийского коллеги Анисимова служанка индуистской веры похаживала к привратнику посольства Ирана, а то примыкало к особняку Умника; калитка

в массивной стене сообщала оба владения и считалась неоткрываемой, примитивный засов с иранской стороны заржавел, сама калитка утопала в лианах, обвивавших растущие рядом пальмы. Коллега не пил, но любил сладости с детства, отец его в прибыльный для его лавчонки день угощал ими детей. Две коробки конфет советского производства разжалобили индуса, он пообещал Анисимову помощь в любом деле, а дело, по представлению того, было следующим: резня должна начаться с расстрела министра обороны и может заглохнуть, если тот ускользнет, не появится в своем особняке, но если уж ночевать вздумает у себя, то через калитку ускользнет в экстерриториальную зону, в посольство Ирана.

По городу бродили документы столь сомнительные, что им приходилось верить. Каким-то образом в редакции газет попала секретная записка посла Великобритании, предрекавшего скорую расправу с коммунистами. Совсем уж необыкновенно возник из пепла черновик сожженного послания американского советника, где излагались планы Болтуна. Как всегда накануне резни, в свирепом веселье заходилась простой люд, рвавшийся на фестиваль народных танцев. И дипломаты подыгрывали плембсу, не было вечера без приемов, на один из таких собирался Петя с Глашей, когда примчался — в очень неудобное время, в послеполуденную жару — помощник военно-морского атташе Великобритании, привез новость: на рейде крейсер, которым командует лучший друг капитана 3 ранга Анисимова — командер Джордж, и старый друг приглашает обоих к себе, на корабль, немедленно, катер уже у причала. Прозвучало, конечно, и название крейсера, оставив Анисимова равнодушным, корабли этой серии лежали в его фототеке, ничего нового, разве что свеженький или почти свеженький, построен совсем недавно, их три в серии — «Тайгер», «Лайон» и «Блейк»; 9,5 тысячи тонн стандартное водоизмещение, скорость 31,5 узлов, дальность плавания, лошадиные силы, турбозубчатые агрегаты, винты — все известно, вооружение слабенькое — 2 башни по 2 орудия 152 мм, 3 спаренных 76-мм автомата, с нашим крейсером проекта «б8» не потягается этот «Лайон». Да и советский эсминец может с этим крейсером справиться.

Отказаться от навязанного визита? Сослаться на прием, куда тоже в эту жару ехать не хочется?

Потому еще не хочется, что какое-то подобие зуда в мыслях, и о чем не думаешь — одно на уме: когда? Когда, черт вас побери, начнете? Неужели Умник так уверовал в свою неприкосновенность, что не видит опасности, которая рядом, близко, совсем близко!.. Глаша пригорюнилась, по ночам не спит, новости из Москвы не радуют. Хорошо, что Андрей Васильевич детей повел в 1-й класс, но он же по телефону дал знать: готовьтесь к худшему! Потолковал, значит, душевно с инструктором из ЦК, но тем не менее — когда? Мод Форстер тоже мучает этот вопрос, дважды якобы случайно натыкалась на Петю и лупила на него бесстыжие глаза, а в них мольба: когда? Мелкая шпана, за пять долларов готовая отца родного продать, завалила резидента тревожными фактами, вся страна — будто спринтер перед стремительным бегом на стометровку, но так и неизвестно, у кого стартовый пистолет.

Так ехать к Джорджу или рассыпаться в благодарностях перед отказом?

23

— Мы чрезвычайно благодарны, — вдруг заявила Глаша, — и с радостью навестим нашего друга...

Была она в легком, почти прозрачном белом вечернем платье, Петя маялся от жары даже в форме из бело-желтой чесучи. И согласился с Глашей: все-таки корабль, святыня морская, надо отдать уважение, да и благодаря Джорджу — что уж тут скрывать — он будет представлен к вне-

очередному воинскому званию, черт возьми. Наконец дружище Джордж уже не лейтенант-коммандер, он уже коммандер, капитан 2 ранга, так сказать, надо поздравить с повышением в звании да преподнести бутылки три «Столичной».

С вестерком прокатились до причала, по сходне перебрались на катер, хорошо обдулись морской свежестью, на юте крейсера выстроена команда, вся в белом, оркестр исполнил гимн Советского Союза, затем произошло нечто, восхитившее личный состав и позднее оказавшееся роковым для Болтуна. Командир крейсера увел Петю к себе в салон, повод для выпивки был более чем основательный, а Глаше решили показать корабль, в роли гида — старший офицер, и, при подъеме Глаши на мостик грот-мачты, ветер снизу вздул ее платье, обнажив тело почти до пояса, напомнив команде крейсера кинокадры с Мэрилин Монро, когда та, в фильме Уайлдера «Зуд седьмого года», точно в таком же, как у Глаши, платье попала под струи мощного, дующего снизу вентилятора и начала смущенно оправлять подол; по уверениям некоторых биографов, муж Мэрилин развелся с нею после того, как телевидение разнесло по всему свету этот пикантный эпизод. Как и Мэрилин, Глаша вынуждена была придерживать платье от дальнейших попыток ветра закрыть подолом лицо ее, и по меньшей мере четыреста пар мужских ладоней смыкались и размыкались в аплодисментах, а старший офицер принял на себя миссию охранителя женского достоинства, собою прикрывая Глашу, за что был вознагражден очаровательными признаниями русской, которая ни разу еще не была на корабле, хотя супруг ее и был когда-то (Глаша прихвастнула) главным артиллеристом на эскадренном миноносце проекта «56» (тут русская как бы спохватилась, с несдержанного женского языка слетела — о ужас! — военная тайна, и чуть раскосые глаза ее метнули взоры вправо и влево: никто не услышал?). Старший офицер, сохраняя на строгом продолговатом лице серьезность, стал рассказывать обычные морские небылицы, травить то есть, Глаша ахала и смешно перевирала слова, вызывая град пояснений, и совсем dokonала англичан знанием Бёрнса и Шекспира. Ее водили по всему крейсеру, позволили заглянуть в радиорубку («Вы сигнал SOS, когда русский корабль увидите, отсюда посылать будете?») и наперебой отвечали на вопросы, которые Глаша и не вздумала задавать...

А уже ниспала темнота, зажглись палубные огни. Петя нагружался любимыми напитками друга Джорджа, которого оторвали от настоящего мужского дела срочной шифровкой, понудившей Петю откланяться. Трубач сыграл какую-то мелодию, катер принес супругов на причал, где их уже поджидали оба шофера — английский и свой, на «опеле».

— Пьянь подзаборная! — выругала Глаша мужа, еле державшегося на ногах. — Пусть тебя домой англичане довозят, наш «опель» я тебе не отдам, шофер пусть проваливает к чертям собачьим. Сама управлюсь. Как договаривались. По обстановке. Поспи хоть часик! И бегом к своему индусу! Калитка должна быть открыта в полночь!

Оба знали, что спать этой ночью не придется, что ночь эта — решающая. От старшего офицера крейсера Глаша узнала то, что услышал Петя из уст друга Джорджа. Шифровка повелевала командиру крейсера «Лайон» срочно выходить в море, покинуть территориальные воды страны — до 24.00 текущих суток, а не послезавтра, как было по плану, и спешка, Джорджем не объяснимая, понималась Петей и Глашей точно и просто: Великобритания не хотела, чтоб начало расстрелов связывалось с визитом крейсера Ее Величества в эту страну, уж слишком напоминалось бы времена, когда в моде была дипломатия канонерок. Видимо, английская разведка, которой нельзя было не доверять, получила наиточнейшие сведения, и теперь им обоим, Пете и Глаше, надо сорвать планы Болтуна и контрмеры Труса, а кто из них начнет первым — ясно: тот, у кого сил поменьше,

кто рассчитывает на внезапность, для кого она — спасение. И убийство Умника уравнивало шансы, вслед за Умником штыки и автоматные очереди прикончат всех тех, кто в списке на уничтожение.

24

Было без чего-то десять вечера, приемы здесь тягучие, в нарушение европейских манер покидать их можно не через полчаса, а значительно позднее; ни водки, ни коньяка, ни вина, ибо — почти все мусульмане (иностранцы, однако, могли в буфетной прикладываться втихую к виски, но за свой счет); Коран налагал запреты, легко отмечаемые на приемах в советском посольстве, где те же мусульмане святое для них учение оскверняли, да так успешно, что некоторых на руках доносили до машин; Глаша затерялась в толпе, кивала или протягивала руку знакомым, медленно и неотвратно приближаясь к министру обороны. Супруга его, она знала, никогда не достаивала до конца этих сборищ, спеша к детям. Министр несколько недоуменно повел плечом, когда за спиной его раздался знакомый ему голос Глаши. Повернулся, улыбнулся, чуть досадливо глянул на пустой бокал, и когда официант с подносом приблизился, спохватился, сделал легкий полупоклон; они не раз уже встречались, она и в доме его бывала, читала в глазах этого мужчины, чем-то похожего на Махалова, намеки на извинения: мы с вами — среди разделяющих нас людей.

Этот намек Глаша уловила и сейчас, но знала, что она сегодня может подчинить себе любого мужчину, что люди оставят их наедине. Два часа на крейсере сотни пар мужских глаз раздевали ее догола, оставляя на теле некие следы, которые по странным, так и не познанным законам преобразовались в не менее странный запах чего-то мускусного, и запахом этим пропитана была вся Глаша, запах обонялся ею остро, и он не мог не ощущаться министром, он не мог не впитать в себя отражаемую Глашей похоть половины команды крейсера. Она не сводила с мужчины глаз, она сама, ненавидя себя за похоть, ощутила дрожь, пробежавшую по закаленному мужскому телу министра, который будто натягивался, как струна; крылья утолщенного носа вздрогнули, министр словно принюхивался — как хищник, почуявший по шороху близость добычи.

Прозвучал ее голос, произнеслись слова — ленивые, бесчувственные настолько, что не вслушаться в них, не оценить было невозможно.

— Скоро отпуск, а я так и не увидела ночной столицы.

Он молчал, ждал продолжения.

— Не покажете ли вы мне ее?

— Был бы рад... — И, слышно по тону, уже взбухало вожделение, уже прерывалось дыхание...

— Вы ведь с адъютантом, да?.. Подзовите его и отошлите домой, скажите, что вас доведут. А я буду ждать вас в машине за поворотом на бульвар. Темно-синий «опель», я мигну фарами.

Адъютант подошел — сам, потому что слишком хорошо знал все жесты хозяина и весь набор мимических указаний; очень похожий на министра, настолько похожий, что одно время бродили слухи о том, что он — внебрачный сын своего повелителя. Подошел — и был отправлен за фруктами. Министр задумался, и Глаша поняла, что тревожит его, закабаленного воинскими условностями: два солдата дежурят на парадной лестнице Дома приемов, им приказано сопровождать его повсюду, но внутри дома вся охрана — только адъютант.

— Кстати, в каменной садовой ограде вашего особняка есть калитка, она кажется закрытой наглухо, но она, уверяю, впустит вас к соседям, а там, за воротами, на улице я буду ждать вас. В «опеле». Сразу после полуночи. Сразу. И не опаздывайте.

Она одарила министра улыбкой, которую будто увидела со стороны, оценив восхищенным проклятием: «Ну, Глашка, какая ж ты курва...» И пошла в буфетную, залпом выпила две порции неразбавленного виски; на часах было половина двенадцатого, она видела издали, как адъютант открыл дверцу машины, усаживая министра, и покатила к посольству Ирана, остановилась, выбрав удобное для обзора место. Неподалеку выбралась из подъехавшей машины служанка из посольства Индии, вся в черном одеянии, за рулем сидел сам атташе, — значит, Петя свое дело сделал.

25

Его пошатывало от выпитого, совсем не к месту и времени мелькнула мысль о начавшем сдавать здоровье, когда-то ведь мог вдвое, втрое больше осилить, а сейчас вот, в самую знаменательную для него ночь, еле на ногах держится. Помощник военно-морского атташе Великобритании с пониманием отнесся к его пошатыванию и спотыкающейся речи: знал, с кем пил русский и сколько пришлось ему выпить. Высадил коллегу у дома, а Петя, на ходу раздеваясь, доплелся до бассейна, рухнул в него, матерно обругал садовника: не вода, а теплынь, пахнущая дерьмом. Выбрался из бассейна, полежал, нашел в холодильнике кока-колу, позвонил в порт капитану советского транспорта, узнал: «Лайон» еще не снялся с якорей, да и уходить из бухты нельзя: команда по штату — 716 человек, четверть или треть из них — в увольнении, на берегу, их надо вытаскивать из баров. Время еще есть. Петя переоделся в сухое, выкатил машину с местным номером, проехался немного по бульвару — и остановился в страхе: ночь навалилась на него тяжестью всего неба, давила, пригибала. Было одиннадцать вечера, 23.00, надо спешить, небо подгоняло, звезды мигали: Умника станут убивать в самом начале следующих суток.

Хмель начал улетучиваться на площади перед президентским дворцом, где самого президента (это он знал точно) не было, но подчиненный Болтуну батальон стоял тремя ротами на площади, но так стоял, что непонятно было, будет ли он штурмовать дворец или, наоборот, поможет дворцовой охране отстоять резиденцию Главы государства и Верховного Главнокомандующего. Ни единого окна не светило в американском посольстве, лучи прожекторов скрестились на монументе Независимости. Дважды Петю останавливали патрули и отпускали, глянув на документы. Он ехал — к рыбному порту, в тот дом, куда не так давно ходила по ночам Глаша, и хозяин, поджидавший на углу, заверил: спрячет любого человека. Но кого именно — не знал сам Петя, все уже зависело от Глаши, от того, как уломает она министра обороны покинуть его особняк и заберет ли тот свою семью. Еще один визит, к индусу, тот радостно закивал: да, да, служанку он сам отвезет в посольство, а после полуночи она откроет калитку.

От индуса он позвонил вновь капитану советского судна и узнал: крейсера малым ходом идет к выходу из бухты.

Все, кажется, сделано так, чтоб ничего не произошло, чтоб в особняке министра обороны, даже если туда вломятся солдаты, выстрелы не прозвучали. Опасение вызывала странная воинская единица в полукилометре от особняка, трижды мимо нее проезжал Петя, пока не догадался: это же те две сотни красоток с автоматами Калашникова, что на песчаной отмели как по команде вскочили на ноги и потрясли грозным оружием. Тут-то и вспомнилось, что на том острове построены были макеты городских зданий, и на вопрос Пети, к чему эти декорации, Болтун пояснил с чарующей улыбкой: «На козни империалистов мы ответим уличными шествиями и не допустим провокаций...»

Чем-то напугали его красноберетные девки, тем, наверное, что не курили: батальон Болтуна дымил вовсю, солдатня маялась без дела, а женский спецназ уже к какому-то делу готов был. К какому?

Ответа никто, конечно, дать ему не мог. Руки сами направили машину к Дому приемов МИДа. Приглашенные неспешно разъезжались, Глаша укатила уже на «опеле» — туда, к иранскому посольству. Все, кажется, шло по плану, шесть человек, если придется спасать всю семью, втиснутся в машину и не подставят себя под пули Болтуна. Тот, впрочем, отнюдь не намерен оставлять гору трупов в особняке Умника: президент слезлив и приторно взывает к милосердию.

Вновь проехал он по улице, где ждал своего часа женский спецназ; уже шесть часов, как солнце погасло, и воздух посвежел; запах пальмового масла влетел в машину, девки мазались им, чтоб не слезала кожа от длительного лежания на пляже, и что-то в запахе этом испугало Петю, страх передался «Волге», устремившейся подальше от центра.

Мчавшаяся по улице машина остановилась вдруг у какого-то дома, сама собой, пьяные и бредовые мысли соединились в приказание: «Стоп!»

Петя глянул на дом и понял, что за стенами его живет Тупица.

Два солдата у входа преградили путь скрещенными винтовками, вышел офицер, узнал Петю, пригласил войти и заверил: господин генерал будет рад принять его через пять минут. Петя нетерпеливо ждал. Тупица определенно не ведал о грядущих событиях, да и не мог прознать о них, стратегический резерв собственной разведкой не обладал; командующий резервом проявляет признаки беспечности, готовится отходить ко сну, хотя ему известен, без сомнения, приказ коменданта столицы об отмене всех отпусков; сейчас он спешно переодевается: дежурный офицер доложил ему, конечно, что ночной гость одет так, будто собрался на базар, но — как-никак — незванный визитер является представителем великой державы. И ровно через пять минут Тупица предстал перед Петей в повседневной генеральской форме, а было в ней что-то от англичан, что-то от голландцев; дипломаты всех стран не могли не уважать этот народ, который избавился от колониального рабства оружием в собственных руках, не ублажал в коридорах ООН чиновников, не канючил о суверенности, но и не стыдился своей истории, зла не держал на бывших колонизаторов, перенимал у них все ценное, не считал зазорным учиться в их университетах и колледжах, поощрял смешанные браки.

Три или четыре минуты ушло на восточное обглядывание и разговорчики о детях и женах. Затем появился солдат с подносом, короткопалая рука Тупицы указала на чашки с кофе. (По подсчетам полуподпольного этнографа, в стране этой говорили на ста пятидесяти языках, используя при общении столичный, который проще малайского, отчего и назывался порою пиджинговым; Тупица же, по общему мнению, владел только родным, корявым, местечковым говором, но мог отчетливо рубить строевые команды и беспрекословно выполнять их, иначе от ротного начальника не поднялся бы до командующего стратегическим резервом.) Петя начал с уклончивого оповещения: он обращается к нему как частное лицо — и тут же догадался (физиономия Тупицы выражала полное непонимание термина «частное лицо»), что говорить намеками — бесполезно, командующий не поймет их — это раз, а во-вторых, командующий спотыкаяюще объяснялся и на официальном языке. Поэтому под черепную коробку недогадливого вояки была всажена мысль: на министра обороны будет с часу на час, даже с минуты на минуту произведено покушение, и в случае убийства его — очередь за ним, генералом, поэтому — исчезайте, скрывайтесь, а еще лучше высылайте к особняку министра взвод охраны, спасайте его — и сами будете спасены.

Кажется, такая прямота подействовала. Последовал короткий, рубящий вопрос: кто посягает на жизнь министра-координатора, и ответ («Авиабаза!») мало что объяснил. Еще один вопрос, и Петя учел простоватость трудяги, दरवाзшегося — после многих лет лишений — до генеральского чина.

— На авиабазе подготовлен приказ, по которому все генералы будут понижены в званиях до майора или в лучшем случае до подполковника.

Мужик из далекой каучуковой провинции дал указание пареньку из той же глухомани, адъютанту то есть, и тот стал куда-то звонить. Сам мужик, то есть господин командующий стратегическим резервом, довел Петю до «Волги» и в знак признательности помял его плечо железными пальцами.

Воздух сгустился до вязкости, небо пригибало голову. Зудела кожа, ломило виски. Но временами по Петину телу прокатывалась ликующая дрожь, приближались минуты, ради которых стоит жить, ибо грядет справедливость.

Уже перевалило за полночь, посольство спало, в просторной комнате на третьем этаже сидели у радиий дежурные радисты из комитета, Петя подсел к свободному аппарату, подключился к волне Болтуна. Половина первого ночи, авиабаза — в глухом радиомолчании. Никаких переговоров, тихий сверчковый треск, все по-мирному, потом чей-то усталый голос произнес — интонация выдала — условную фразу, и что означает она — Петя не знал, женщина из полиции не всеведуща, да и в смысл фразы посвящены были немногие, может быть — единицы. Но догадаться можно: дан сигнал на захват особняка министра. Свет в комнате приглушен, окна закрыты плотными шторами, ни звука с улицы; дежурный по перехватам что-то записывал в журнале. Петя ждал: сейчас затараторит командир штурмовой группы, доложит о том, что министра в особняке нет. Прошло еще десять минут, пятнадцать — и по ушам ударил торжествующий девичий голос: «Сделано!» И тут же — в ответ на той же волне — еще одна фраза, из уст самого Болтуна, призывающая — уж ее-то, фразу эту, Петя знал — к штурму домов и квартир находящихся в списке генералов.

Он молчал — оглушенный этим девичьим возгласом «Сделано!», подавленный, не поверивший. Сидевший рядом и читавший «Тихий Дон» комитетчик (он висел на правительственной частоте) поправил наушники и произнес без всякого выражения: «Убили...»

— Кого? — спросил Петя. Губы ему не повиновались.

Комитетчик дочитал страницу, перевернул ее, после чего произнес:

— Министра. Обороны. — И зевнул.

Петя спустился в холл, приснул в стакан газировки. Дежурный по посольству кому-то разъяснял по телефону, как из аэропорта добраться до гавани. Небо совсем упало на землю, удушающе пахло магнолиями; Петя под близкими звездами зябко повел плечами, и все выпитое на крейсере будто влилось в него, ноги подкосились, он сел на землю и едва не расплакался: впустую пошли все старания, рухнули надежды на существование какого-то порядка, которому следуют люди, человечеством верховодят болтуны, прохиндеи, дуралеи и тупицы, через несколько часов кровь зальет эту страну, и сейчас уже на востоке не утренняя заря, а полыхание пламени, что-то уже горит, подожженное кем-то... Кем? Да кому это уже интересно!

У своего дома Петя увидел «опель» и услышал треньканье телефона. Главком ВМС предлагал для охраны свою морскую пехоту, уже бесполезную: Тупица поставил у ворот трех солдат и полицейского. Петя поднялся в спальню и увидел Глашу, ничком лежавшую, так и не раздевшуюся, и опустошенная бутылка водки рядом. Он пнул ее ногой.

Андрей Васильевич и Глаша изредка набрасывались друг на друга, употребляя диковинные, ни разу не слышанные Петей слова. Одно из них запомнилось, и сейчас он брезгливо подытожил:

— Шалава.

И повалился спать на веранде, утонул в диване.

26

Разбудила его «бабу», свеженькая, цветы вколоты в пучок волос; вдвоем стянули с Глаши платье, и «бабу» выложила Пете все новости. А были они, новости, чрезвычайной важности, и ноги погнали Петю в посольство — проверять и проверять. Случилось невероятное: министр обороны жив, невредим, но где-то прячется. Зато расстреляны: командующий сухопутными войсками, командующий Центральным военным округом, начальник столичного гарнизона и еще полтора десятка генералов и около сотни офицеров.

Но только к полудню стало ясно, что произошло в особняке министра обороны.

Самую ответственную часть операции Болтун поостерегся поручать солдатам: и воинскую субординацию надо было соблюсти, и боязно все же, — потому на министра и нацелили взвод девичьего спецназа, а когда женщины хотят превзойти мужчин, они делают это с избытком; переодетые во все солдатское, девушки stanовятся вдвойне, втройне мужчинами; девки ножами сняли охрану особняка, затем грохнули прикладами в двери, громогласно требуя открыть их. Министр в это время искал в саду калитку, но, возможно, был и в доме, когда туда ворвался спецназ, несмотря на протесты адъютанта. Девки всадили в него очередь из «калашника» и, ликуя, оповестили Болтуна торжествующим возгласом «Сделано!», после чего тот дал команду штурмовым группам разъезжаться по адресам генералов. Но когда девки втащили тело адъютанта в хорошо освещенный коридор, то поняли ошибку: слишком молод был убитый ими человек, очень похож на министра, но не министр, нет. Воткнув автоматы в грудь жены генерала, они стали допрашивать ее, но та отвечала молчанием. Разочарование было полным, настолько полным, что девки не решились докладывать об ошибке по рации, подняли телефонную трубку и связались с авиабазой. Последовал приказ: срочно уходить! Но женщины остаются женщинами, и то, что не могли бы позволить себе солдаты, с удовольствием совершили спецназовки: отпихнули жену министра от двери в детскую и разрядили автоматы наугад в запертую комнату, пулями расщепили дверь, за которой уже вставали встревоженные дочери. Одна из пуль ранила среднюю дочь, Ирму, и сейчас она умирает в военно-морском госпитале, куда ее, вместе с министром, привезла Глаша. Девки же с проклятьями покинули особняк, пообещав вернуться вскоре и покончить со всеми, и, наверное, так и сделали бы, да к особняку уже примчались на трех джипах неизвестно кем посланные солдаты с неизвестной целью — то ли взять особняк под охрану вместе с министром, то ли уничтожить министра; они встретили девичий спецназ и на всякий случай попытались его отогнать, чего не смогли, девок хорошо обучили и бою в условиях скученного города, и схваткам в джунглях; оборону они держали на бульваре, щитом используя стволы пальм. Все три десятка солдат полегли, но спецназ на этом не успокоился, девки отправились на площадь, где были перехвачены офицерами и уведены в пустующие казармы, куда начали немедленно стекаться разгоряченные убийствами солдаты, и кто кого насилывал — уже не разобрать, но утром девки построились и решили очистить город от проституток. Тут-то Болтун и спохватился, девок затащили на десантную баржу и отвезли на знакомый им остров.

Еще до полудня президент перебрался на авиабазу, всем дав понять, на чьей он стороне, и, кажется, Вооруженные силы, все или почти все офицеры и генералы, приняли переезд Верховного Главнокомандующего в логово заговорщиков как одобрение расстрелов и отпущение будущих грехов. Народная революция свершилась бы, история страны началась бы с новой главы, о чем (преждевременно, как оказалось) уже оповестил Генсек. Оставалось малое: выровнять оставшихся в живых генералов по ранжиру,

для чего к Тупице и прибыл адъютант Верховного, сидел в ожидании вызова в приемной.

Тупица в эту расстрельную ночь пребывал неизвестно где, но после полудня появился у себя, он командовал стратегическим резервом, а резерв, да еще стратегический, не мог находиться под одной крышей с министерством, штаб его давно уже обосновался вдали от центра столицы. Мимо адъютанта проходили вызванные командующим офицеры, он, нахохленный, все сидел в приемной, пока его наконец не пригласили. Тупица наслаждался фруктовыми соками и будто не заметил вошедшего. Раздосадованный неучтивостью адъютант Верховного Главкомандующего протянул ему список генералов, которых следовало доставить на авиабазу для приведения к присяге. Ковыряя зубочисткой во рту, Тупица прочитал фамилии и пальцем смахнул бумажку на ковер.

— Понятно, почему здесь нет военного прокурора... — Он пригубил бокал с кокосовым напитком. — Гляньте, кстати, на утренние газеты...

С газетами адъютант уже ознакомился. Молчал, ожидая продолжения. Молчал еще и потому, что сколько ни знал Тупицу, не мог припомнить, чтоб тот, всегда косноязычный и еле связывающий слова, когда-либо произносил такие, как сейчас, четкие и веские фразы. Газеты же публиковали снимок ямы, где найдены были иссеченные саперными лопатками трупы генералов; они уже опознаны: Главком сухопутных войск, его заместители и помощники по тылу, финансам, связям с общественностью и разведке, военный прокурор сухопутных войск, всего — одиннадцать человек.

— Неужели, — удивился Тупица, — Верховный Главкомандующий полагает, что я разрешу пополнить эту яму теми генералами, чьи имена только что предъявлены мне? — Палец его очертил дугу и устался в бумажку под ногами адъютанта.

— Другая яма будет вырыта... — На адъютанта было глянуто так, будто его примеряли к яме. — Для других генералов и маршалов... Напомните президенту: министр обороны либо убит, либо скрывается, Главком сухопутных войск в яме. — Тупица прикоснулся пальцем к газете. — И по существу и никем не отмененному положению во главе Вооруженных сил становится командующий стратегическим резервом.

Адъютант попытался спасти и себя и президента, заявив, что тем уже назначен новый Главком сухопутных войск, и, следовательно...

— Такого приказа президента я не видел! — прервали его тут же, да еще напомнили, что командующему стратегическим резервом подчинены также оперативные соединения армии, авиации и флота, созданные недавно для отражения возможной агрессии. — О таком приказе я могу и не услышать! — последовала еще одна угроза, смертельная для адъютанта. — И поскольку авиабаза проявляет признаки явного неповиновения, то она уже окружена войсками, преданными президенту.

«То есть — мне!» — надо бы добавить, чтоб сразу обозначить, кто будет кем в ближайшие десятилетия. С началом дня вся военная контрразведка перешла в подчинение командующего стратегическим резервом, и тот знал, что авиабаза доживает последние часы: министр обороны жив, а это значит, что заговор провалился и последняя надежда тоже рухнула только что.

Адъютант попятился... В приемной он увидел командира танковой дивизии и трех генералов, командиров бригад, которые почему-то оказались не в двухстах километрах от столицы, а рядышком.

Если бы адъютант поехал на авиабазу через площадь, то обнаружил бы, что батальона Болтуна там нет уже. Три роты простояли в ожидании штурма восемнадцать часов, а Болтун так и не удосужился накормить их, потому что целиком рассчитывал на не требующий земной пищи возвышенный энтузиазм масс. Правда, кто-то на авиабазе догадался все же, послал походную кухню на площадь, но ту перехватили солдаты Тупицы,

который явно обнаруживал знакомство с наказаниями Наполеона и точно знал: набитый желудок солдата поважнее всех лозунгов. Утром подъехавшие к ротам офицеры стратегического резерва оповестили солдат о завтраке в казармах, куда надо незамедлительно прибыть. Туда они и прибыли, там их и не стали даже разоружать, потому что командиры всех трех рот уже валялись в яме, не иссеченные, правда, саперными лопатками. Через час-другой начался погром китайских лавок, благочестивые мусульмане уже дозрели до очевидной мысли: все беды — от неверных, а кто неверный — это надо решать, сообразуясь только с обидами, которые нанесены правоверным. Редколлегия коммунистической газеты всю минувшую ночь сладко спала и в экстренном выпуске призвала народ свергнуть олигархический режим, никого не называя по имени, но поскольку Генсек понес какую-то околесицу, коммунистов тут же объявили зачинщиками беспорядков.

Все, кто мог, дали деру, авиабаза опустела, Болтун решил стоически держаться до конца и устроил парад. Генсек тоже ударился в бег. Что-то горело на окраине, темнота скрыла источник пожара. Правоверные громили очаги разврата, то есть винные лавки, и напивались.

27

Посол, как водится, созвал пятиминутку и объявил: происходящие события — внутреннее дело этой страны, и Советский Союз не вмешивался и не будет вмешиваться в дела эти.

Глаша и «бабу» сидели обнявшись на тахте, обе порывисто поднялись, когда Петя вернулся из посольства, и тревожно-вопросительно глянули на него: полчаса назад звонили из «Аэрофлота», билеты оформлены на сегодняшний вечер.

Лететь решили налегке, взять только детские вещи. Нужные бумаги Петя сжег, остальные передал резиденту. Лукова нигде не могли найти, но все говорили, что он был здесь, в городке, только что. Прислуга сбросилась и купила детям какие-то национальные шмотки. Петя обнял садовника, который обучил его и Глашу столичному жаргону. «Бабу» всплакнула, правоверный шофер молил Аллаха беречь русских. По базару ходила новость: министр обороны жив, но где он — это точно знала Глаша, как и о том, что индуистская пара так углубилась в духовное содержание какой-то книжицы, что позабыла открыть калитку, тем обеспечить министру удобный путь к женскому — министру пришлось перепрыгивать через высокую ограду (вот она, сила страсти!), и уже на иранской земле услышал он выстрелы в своем доме. Вернулся туда, взял на руки Ирму, и только тогда калитка открылась, Глаша стремительно увезла министра с дочерью.

— Петенька, — расплакалась Глаша, — поверь мне, я сделала все, что могла... Кто ж знал, что так все получится. Нет мира на этой земле, нет... Слезинка ребенка, спасенье человечества — господи, какие же словеса, какая же ложь! А кровь ребенка? Я ведь еле отмыла машину! И прости, я — гадкая, мерзкая, гнусная, отвратительная!.. Господи, какая же я... Надо бы мне девочку на руки взять, но — платье боялась испачкать, единственное для больших приемов!.. От бедности все, от нищеты нашей российской!

Петя на нее цыкнул:

— А ну — хватит. И я не лучше.

Глаша долго и тупо смотрела в угол, затем горько призналась:

— Сама себя одурачила... Надо бы на баррикады, да уже поздно...

Потом заговорила — быстро, жестко, сухо, ненавистно:

— Но и тот тоже — сволочь! На бабу польстился, за юбкой погнался, а надо бы — детей защищать! Тьфу!

Предстояло объяснение с начальством, и Петя почти весь полет провел во сне, чтоб сил набраться. (Ему не забывался Тупица в прошлую горячеч-

ную ночь: не очень-то верилось, что тот послал солдат защитить Умника. Послать-то послал, да...)

Самолет — «Ил-18», посадки в Рангуне и Тегеране, до дома дозвониться не смогли. В квартиру вломились раненько утром, дети заблажили в радости и запрыгали. Они уже собирались уходить в школу, они и пошли туда с дедом. Петя глянул на осиротевшие книжные шкафы и полки: Андрей Васильевич совершил диалектический скачок с разворотом, напоминающим кульбит: отправился в обратный путь, читал Платона, все подражатели и последователи грека давно уже стали пищей макулатурных пунктов и котлов, где варилась бумажная смесь, и настанет, несомненно, день, когда и Платона постигнет та же участь, Андрей Васильевич же удовольствуется египетской клинописью и руническими символами на камнях.

День сегодня — пятница, в управлении спешка, завтра никого не будет, и, учитывая длительный перелет, на службу, пожалуй, можно и не являться, но Глаша настаивала: ехать немедленно и требовать отзыва Лукова, непременно, срочно!..

Поехал. Едва появился в приемной начальника направления — тут же распахнули дверь:

— Анисимов! Что там у тебя происходит?

На столе — донесения всех резидентур Юго-Восточной Азии, и Петя сказал ровно столько, сколько было им несколько дней назад сообщено резиденту. Последовали уточняющие вопросы — и на них отвечал спокойно, отчетливо, со ссылками на предыдущие донесения.

Наконец прозвучал вывод:

— Упустили. Не мы. Комитет госбезопасности не оказал должного противодействия западным разведслужбам... Ну, договоримся. Дело сложное, надо отписываться. В понедельник сядешь за отчет, даю трое суток.

Столько же полагалось артиллеристам на эсминце — после стрельб, затем они отпрашивались в Мурманск, шли в «Арктику», у входа в которую когда-то изваялась из пурги и снега девушка в норковой шубейке.

— Я требую немедленного отзыва своего помощника, капитана Лукова!

Лицо начальника, ставшее скорбным, выразило все чувства — от неудовольствия до тихой ярости — по мере того как перечислялись грехи капитана Лукова Виктора Степановича, а их набралось немало: и аморальное поведение, и неисполнение обязанностей, и неконтролируемая связь с абсолютно нежелательными элементами, и дискредитация роли СССР в общемировом процессе...

— Достаточно, — прервал начальник. Поерзал в кресле. — Ты хоть понимаешь, что говоришь?

Это-то Петя понимал лучше любого начальника, потому что не пофлотски это — доносить. Но надо, надо! Дело превыше всего! Святое дело служения Отчизне!

И на стол выложились фотографии: Луков в квартире Мод Форстер. Рассматривать их начальник не стал.

— Мод Форстер из ЦРУ, это нам известно, — промолвил он. — Она не в нашей разработке. Комитет ею занимался когда-то. Не он ли и подкинул?

— Исключено. Более верный источник.

Долгое и тяжелое раздумье...

— Ты понимаешь, что затеял?.. Осрамимся. Служебное расследование. И начинать его надо там, а не здесь. Ни о каком отзыве не может быть и речи, Луков может сказать, что вербовал Мод Форстер. И помалкивай. И ничего не пиши. Фотографии оставь.

И всю пятницу эту, и субботу, и в воскресенье слушали по приемнику столицы мира, узнавая новости. Любимая ими страна заливалась кровью, и правители других стран затруднялись с определением, какого цвета эта

кровь. Почти все газеты закрыты, иностранные корреспонденты высланы, но десятки тысяч беженцев искали убежище за морями и проливами, в соседних государствах, переправлялись туда на утлых лодочках и рассказывали ужасающие вещи. Офицеры, сыновья некогда крупных помещиков, огнем и мечом восстанавливали порушенные аграрной реформой права отцов своих, дотла выжигая деревни и расстреливая тех, кому достался клочок пашни или плантации. До всех деревень офицеры так и не добрались, но и в тех, куда не ступала солдатская нога, началась резня: крестьяне победнее ополчились на крестьян побогаче. Реки, втекавшие в моря, изменили цвет, стали от крови багровыми; радисты пароходов и судов сообщали о плывущих в океане трупах, дымы пожарищ закрывали солнце, огонь разгонял ночную темноту. Подчиненные Тупице офицеры бесстыдно расхвастывались, живописуя сотrudникам иностранных посольств чинимые солдатами зверства: отрубание голов и пальцев, разжигание костров на спинах коммунистов и китайцев. Пойманный Генсек потребовал перо и бумагу, стал писать очередной призыв, небрежно прочитанный каким-то майором, который расхохотался и разрядил в главного коммуниста обойму новенького советского пистолета. Президент отмежевался от заговорщиков, заявив, что на авиабазу приехал случайно и никак не для руководства презренными предателями. Пост министра обороны пустовал, поскольку не обнаруживал себя сам министр, а в его отсутствие командующий стратегическим резервом не решался взваливать на себя еще одну тяжкую ношу служения Революции и Президенту. Горели китайские лавки, начался погром посольств, у китайского — заслон из полицейских, внутри за оградой — толпы до смерти напуганных кули, их богатые соплеменники нашли более надежное пристанище.

Глаша смоталась в аэропорт и привезла американские и французские газеты, из них узнали о том, что все советское в целости и не тронуту, а дом их под особой охраной. Уже собирались на электричку, когда вдруг услышали по Би-би-си повершую в изумление весть: Луков перебежал к американцам, просил, в их посольстве находясь, политического убежища!

— Ну, что я говорила?! — взвилась было Глаша и умолкла. На платформе, под шум приближающегося поезда напутствовала: — Будь тверд и жесток. Не ты виноват, а оно, начальство. На это и упирай. Ты предупредил начальников, у них было время стукнуть в КГБ, а уж там не церемонятся, из постели вытащили бы Лукова и — в аэрофлотовский самолет, под рыдание этой сучки Мод Форстер.

Больше не говорили про Лукова. Телефон молчал. Утром Андрей Васильевич, проводив детей до школы, поджидал Анисимова в подъезде.

— Покайся. Сквозь зубы хотя бы. Они это любят.

Покаяния не получилось, признавать свои ошибки не пришлось, Анисимов вообще не произнес ни слова в кабинете начальника ГРУ. Четыре генерала орали на него наперебой, мешая друг другу: почему не распознал в Лукове предателя, почему при первых же признаках не потребовал отзыва его в Москву? Почему...

Личное дело Лукова, на виду лежавшее, никто и не вздумал открывать и тем более искать в нем первопричины предательства. Было оно, личное дело это, как прогноз погоды на вчера и никак не могло ответить на вопросы: «Почему?.. Кто позволил?..»

Орали и обвиняли. Все, кроме начальника Анисимова. А тот — молчал. Тот все начисто забыл, будто беседы с ним в пятницу не было, будто фотографий не видел. Молчал. И Петя начинал понимать: скажи он сейчас о пятнице — и службе его конец, начальник отречется от всего. «Аллах взял...» — припомнился вздох Главкома ВМС, и Петя стойко молчал. Там, в тропиках, ему привилось робкое смирение перед неотвратимостью кем-то предугаданной судьбы, он стал похож на обожженного солнцем крестьянина, гнувшего спину на рисовом поле: куча детей, корочка хлеба, измож-

денная жена, базарные перекупщики, кровосос китаец висит над душой, долги несметные... Пусть шаловливые девочки твои крестятся иконе в углу, а смиренные мальчики совершают намаз, пусть. Ибо грядет час — и поддавшиеся джихаду братья всадят зазубренные ножи в межгрудья единоутробных сестер своих. Аллах взял — Аллах и даст.

Ни слова не сказал он. Но и ни слова не произнес начальник его, ибо понимал, исходя из собственного опыта, что докладная или рапорт капитана 3 ранга Анисимова могли все-таки существовать хотя бы в неуничтоженном черновике, предупреждение о назревающем предательстве Лукова — устное или письменное — в чьих-то мозгах или в чем-то сейфе покоится и выскажется, предъявится в самый неподходящий, губительный даже момент. Страшая подчиненного им офицера, три заместителя и сам начальник ГРУ не могли не обратить внимания на полное какого-то смысла молчание офицера и загадочную немоту его начальника. Обратили и догадались, что не так-то уж здесь все гладко, чисто и — это уж точно — скорой обязательной экзекуции не подлежит.

Догадались — и умолкли.

Потому еще тишина настала, что надобно было читать приносимые в кабинет донесения более высокого порядка, чем предварительный разбор преступного попустительства военно-морского атташе.

А то, что по частям, по листочкам, по мере того, как стенографировалось и переводилось, попадало в их руки, — это выворачивало наизнанку все ставшее известным час, полтора, два назад, и Петя («Да садись же ты!» — сказано было ему, навытяжку стоявшему перед начальником ГРУ), — и Петя тоже читал запись пресс-конференции Лукова, которая была уже в Токио, там американцы начали потрошить перебежчика. Виктор Степанович Луков, циник и правдолюбец, кричал на весь мир: кровопролитие и резня — осуществление давно выношенного плана Кремля по дискредитации Китая, который потворствовал ныне разгромленной компартии; этот дьявольский план реализован был военно-морским атташе СССР капитаном 3 ранга Анисимовым П. И., именно он науськивал и провоцировал, вовремя устранил министра обороны, освобождая командующему стратегическим резервом пространство для политических и военных маневров; это он, он, капитан 3 ранга Анисимов, не внял его, Лукова, предупреждениям о скором путче и приказал бездействовать, и только сейчас, на пути в самую свободную страну мира, он, Луков, разоблачает своего начальника, сознательно отстранившего его от дел, чтобы скрытно метаться от одного генерала к другому, обещая помощь Советского Союза и немедленно покинувшего страну, как только ему, Анисимову, стала грозить опасность; детей своих, кстати, Анисимов этот заблаговременно отправил в Москву накануне путча. Непревзойденный интриган, провокатор, лицедей, способный перевоплощаться и внутренне и внешне в друга обреченной им страны, заговорщик — короче, не военно-морской атташе СССР, а...

Генералы, отрывая глаза от приносимых текстов, с некоторым испугом посматривали на Петю, который, как ныне выявляется в Токио, вовсе не советский офицер. Он — монстр! Чудище! Нет, чудовище. Новоявленный полковник Лоуренс. Но не Аравийский, конечно! Азиатский!

Дочитан последний абзац последнего листа.

— Ты его в самом деле отстранил?

И вновь — молчание. Ответ — кивком, утвердительным.

— К агентуре своей его приближал?

Вновь ответ — кивком, отрицательным.

Раз уж офицера вызвали к самому начальнику Главного разведывательного управления, то надобно сказать ему, кто он такой, офицер этот, с их соизволения скромнехонько и молча сидящий — пай-мальчиком — на стульчике. Полезный во многих смыслах офицер, которому можно при-

своить очередное воинское звание капитана 2 ранга. А можно и не присваивать. Которому можно дать путевку в Сочи. А можно и куда поплоче. Можно вообще лишить отпуска. Продвинуть в очереди на «Москвич» или вычеркнуть из нее вообще. Наказать по всей строгости закона за нежелание вербовать Англичанина. Или поощрить за то же. Провести финансовую ревизию всех служебных или якобы служебных расходов. А можно и не проводить. Обсудить офицера на партийном собрании. Или...

Ну а принимая во внимание пресс-конференцию сбежавшего на Запад Лукова, подчиненного этого скромника, следует все же подвести итог всему сделанному этим офицером. Чтоб уж тот знал, как оценивают его в ГРУ и как надо ему держаться на Лубянке при пытливых расспросах в контрразведке.

Поэтому один из заместителей и рассказал анекдот, явно касавшийся Анисимова и ему предназначавшийся.

Такой вот анекдот... Плывет по морю корабль, а в трюме его начался пожар, пламя уже достигло погреба с порохом, с минуты на минуту раздастся взрыв, о чем матросы догадываются и от чего дисциплина вот-вот развалится. Тогда командир вызывает боцмана и приказывает ему чем-нибудь эдак веселеньким отвлечь внимание личного состава от грядущей беды. Боцман повинуетя и собирает на палубе матросов. «Кореша, хотите, фокус покажу?» Все дружно соглашаются. «Вот сейчас, — похохатывает боцман, — ка-как пукну, так корабль и взорвется!» Что и сделал. Корабль взлетает на воздух, кто-то из матросов выныривает и говорит рядом плывущему боцману: «Ну, друг, за такие фокусы в морду давать надо!»

Посмеялись. Все — кроме капитана 3 ранга Анисимова.

— Петр Иванович, с бумажками покончим после. Отпуск у тебя. Насчет путевки мы распорядимся. В Сочи или куда... А сейчас — давай к детям, к семье. Привет им и супруге.

29

Глаша глянула на своего Петеньку — и ничего не сказала. Да и без него все уже известно, неугомонное Би-би-си доложило о пресс-конференции Лукова.

Потом Глаша все-таки разразилась:

— Господи, как все просто... Да предатель он, предатель по сути своей, по натуре... Ему еще в школе для вундеркиндов темную устроили за ябедничество, за то, что девчонки в нем души не чаяли. И американцев он тоже обманет, помяни мое слово...

Петя молча открыл холодильник, достал что покрепче, выпил. Только для вернувшихся из школы детей нашлись у него слова:

— Никуда-то теперь мы от дедушки не уедем... Начальство не отпустит.

Включил приемник, нашел город, из которого они бежали четверо суток назад. Дети слушали знакомую им речь, мало что понимая, а Петя слушал и вообще ничего не понимал.

По очень скромным подсчетам в ту ночь и после нее умертвилось более миллиона человек. И все, в это побоище вовлеченные, желали такого исхода, а уж генералы, трупы которых свезли в яму, не могли не предвидеть своей участи, потому что в ту же яму хотели сбросить тела Болтуна и его прислужников.

У всякого, с планами Болтуна и генералов ознакомленного, был свой интерес к трупам в ямах, своя выгода, и лишь три человека пытались предотвратить неизбежное — Петя, Глаша и женщина из полицейского управления.

Отчеты о пресс-конференции заполнили первые страницы газет, корреспонденты сунулись к Тупице за комментариями, но тот, некогда тужившийся над словами, послал их к черту на прекрасном литературном языке. Всю неделю длилась вакханалия обвинений, обрушившихся на капитана 3 ранга Анисимова, а затем все визги внезапно смолкли: из небытия возник министр обороны, дотоле пребывавший там, где его и не пытались найти. Он не думал скрываться, прятаться или убегать. Он просто сидел в госпитале у кровати смертельно раненной дочери и, когда девочка испустила последний вздох, появился в министерстве, открыл кабинет и потребовал доклада командующих родами войск — новых командующих, без его ведома назначенных президентом. Они и доложили. По одному входили, по одному выходили. И последний столкнулся в приемной с командующим стратегическим резервом. И этот тоже доложил — о врагах и бедах, свалившихся на любимую ими страну. Людские резервы еще не истощены, люди способны рождать, но те же люди захватывают государственные лесничества, что недопустимо. Волнения на селе побудили безземельных крестьян ринуться в города, кое-где уже призывают объявить джихад, к чему следует относиться чрезвычайно осторожно, священный клич этот пресекая, но в то же время и не препятствуя ему, поскольку опора на мусульманскую партию сулит выгоду. Такую же осмотрительность — и здесь государственная мудрость возобладала — надо проявить и при постепенной отмене так называемой аграрной реформы, в любом случае вторичный передел земель вреден, однако справедливость превыше всего: крестьяне должны получить кое-какие денежки за отнятое у них. Пора наконец и упорядочить повсеместные убийства людей, по поводу чего командующий стратегическим резервом произнес фразу, нашедшую живейший отклик в душе министра обороны. «Расстрелы, — сказано было, — привилегия армии, а не частных лиц!»

Поэтому два высших военных руководителя государства составили — как бы в едином порыве — директиву, тут же разосланную во все войсковые соединения и имевшую силу президентского указа, хотя о президенте генералы в кабинете не произнесли ни слова, президента будто не было в столице или в стране. Директива же — во имя восстановления справедливости — обязывала арестовать всех членов компартии и прочих организаций с чуждыми народу идеалами, взять их под стражу и содержать в тюрьмах — бессудно и бессрочно. Поскольку прокормление арестованных могло нанести ущерб и без того скудной казне, рекомендовались выборочные расстрелы — исключительно в гуманных целях и во имя справедливости. В той же директиве подчеркивалось: армия, как и прежде, — стабилизатор и катализатор общественной жизни.

И о простом народе генералы позаботились, приказав бесплатно кормить велорикш в придорожных столовых и определив им норму еды: 200 граммов риса. Одновременно армейской разведке напомнили: велорикши — не только разносчики слухов, но и быстродвижущиеся источники информации.

В тот же день министру нанесли визиты иностранные гости и среди них — капитан 1 ранга Хворостин.

Да, он прибыл сюда с письмом от министра обороны СССР, и письмо соболезновало, оба министра душой сошлись при встречах в Москве, и маршал просил друга своего, министра-координатора, с достоинством перенести несчастье, свалившееся на него по воле злых сил.

И командующего стратегическим резервом навестил Хворостин и от него, как и от министра-координатора, услышал заверения в нетленности дружбы, что связывает обе страны. Итогом этих визитов были извинения газет, публиковавших напраслину, с капитана 3 ранга Анисимова сняли все грехи. «Грязные инсинуации подлых янки!» — такое объяснение было дано ведущими генералами и адмиралами, а министр-координатор выразил надежду, что отпуск капитана 3 ранга Анисимова продлится недолго и он в скором времени прибудет сюда вместе с очаровательной супругой и детьми. Командующий стратегическим резервом, ставший первым заместителем министра, пошел еще дальше, он заявил, что военно-морской атташе СССР — идеальный партнер для переговоров. «Надеюсь, мы скоро увидим его...»

В чем не был убежден капитан 1 ранга Хворостин: ни в одной разведке не любят притких и шумных подчиненных. Не так давно помощник военно-морского атташе СССР в Великобритании, мужчина впечатляющей внешности, втерся в высший свет, вошел в круг влиятельных семейств Англии, накоротке был знаком со многими министрами, особенно с теми, кто пользовался услугами дороговстоящих девиц, часто приглашаемых в фешенебельные дома Лондона, и одну из этих девиц делил с министром обороны Великобритании, лелея некоторые далеко идущие планы. Как только министра этого газетчики разоблачили, как только прояснились те, кто к девицам хаживал, помощника военно-морского атташе (он расчетливо взял отпуск) немедленно потащили в Москве на расправу. И та, беспощадная, учинилась бы, не случись знаменательного эпизода в кабинете начальника Генерального штаба, коему подчинено ГРУ. Я так и не понял, удивился начальник Генштаба, кто там кого трахал: мы их или они нас? Потупив очи и сгорая со стыда, начальник ГРУ вынужден был со вздохом признать: мы их, мы, но никак не они нас. После такого ответа заварившего всю кашу офицера всего-то сослали на работу в АПН, сидеть на разборе почты, где он стал активно спиваться.

Отпуск военно-морского атташе мог длиться неопределенное время, и Хворостин подъехал к дому его, ожидал товарища из посольства и разрешения войти, потому что кругом — надежная охрана. Прибыл наконец товарищ, подлетел офицер от министра-координатора, солдаты открыли воротца, примчались и заблаговременно вызванные слуги. Хворостин обошел дом, и сладостное подозрение вкралось в него: а не она ли, Глаша, капризами своими, телом своим, собою, наконец, меняет весь окружающий ее мир? Вот нет Глаши — и дом, никакими погромами не тронутый, кажется разоренным, навсегда покинутым.

Вещи уложили в чемоданы и кофры. Товарищ из посольства обещал все отправить в Москву, как только на то будет сигнал.

А капитан 1 ранга Хворостин на сутки еще задержался в этой столице. Его все чаще использовали в разовых поручениях, и поневоле возникало сравнение с неким предметом медико-гигиенического толка.

Он задерживался потому еще, что не мог не присутствовать на похоронах дочери министра обороны.

Более тысячи человек шли за гробом, на мусульманском кладбище иноверцы нетерпимы, но общее горе сметает религии, всех скорбящих делая братьями и сестрами. Девочку хоронили с воинскими почестями, так, словно она погибла в бою. Почетный караул и артиллерийские орудия выстроились у могилы. Плакали мужчины, плакали, разумеется, и женщины, которые оставались везде и всегда женщинами: вместе со всеми рыдали делегатки из девичьего спецназа.

— Ласточка моя! — сказал у гроба министр, склонив поседевшую голову. — У тебя еще не отросли перышки, а взор твой уже устремлялся к небу! К тому небу, где все святы и справедливы. Куклы твои всегда были тобою одеты одинаково красиво и нарядно, потому что ты несла людям

справедливость и — хозяйкою кукол — наделяла их справедливостью... Дорогая Ирма, моя незабвенная дочурка!..

Это была долгая речь, которая войдет в поэзию всех стран и народов. И первым оценит ее командующий стратегическим резервом, человек, вскоре ставший непревзойденным оратором.

32

Прочитает эту речь и Петя, узнает и о директиве, повелевающей расстреливать любого; он стал было казнить себя, да одумался. Расстрелов этих уже не избежать, они как закаты и восходы солнца. Не завались он по пьяной лавочке к Тупице, окажись девки из спецназа порасторопнее и поглазастее — Болтун с Генсеком открыли бы точно такую пальбу по своим согражданам, подменив в директиве компартию сообществом другой идейной закваски, заодно поставив к стенке тысячи офицеров и генералов, виновных в том, что воинское звание их выше подполковника. А потом Болтун возвысит себя до маршала, и придется ему поднимать звания преданных офицеров до бригадных генералов. И для чего вообще эта заварушка затевалась — тайна за семью печатями. Зато зреет догадка: да провалитесь вы к черту с вашими азиатскими бреднями, нет в них ничего святого, страшно далеки они от земли русской и тех немногих, что дороги, а они — твоя жена Глаша, твои дети Ната и Саша, дед их Андрей Васильевич да женщина из полицейского управления, объятия которой сохраняются твоим телом, а губы помнят ее прощальный поцелуй.

33

Отшумели пресс-конференции — и перебежчик начал давать искренние и чистосердечные показания о том, чего он не знал и знать не мог, и там, в тысячах километров от Москвы, американцы похищали служащих посольства, томили их несколько часов за решеткой и отпускали, задав дежурный, не лишенный, однако, философской глубины вопрос: ты — КГБ или ГРУ? Местная полиция приносила советским людям извинения, кого-то из американского посольства поймала и намяла ему бока, после чего похищения прекратились. Побывавших за решеткой отзывали в Москву, допрашивали, изумлялись, пока не поняли, что ничего полезного для американцев Луков дать не может, а Мод Форстер, хлопоча о виде на жительство подопечного, завышает стоимость ни во что не посвященного помощника военно-морского атташе, набивая заодно и цену себе. Своего она добилась, Лукова перевезли в США, дали временное пособие и пять тысяч долларов на обустройство, сама же Мод вернулась к прежним занятиям.

Петю знакомили с житьем-бытьем его бывшего подчиненного, а тот начинал поражать — и русских, и американцев — полной неспособностью обеспечивать себя работой и деньгами. Куда-то пропала коммерческая хватка, умение легко сходить с нужными людьми свелось к обычной выпивке за чужой счет. На полигонах советской Средней Азии когда-то читал молодым офицерам курс приборов наведения, в Америке же осрамился, ни на что оказался не годным. Притулился было к одной состоятельной вдове, но та так и не смогла выдержать его пьяные заносы. Спивался и спивался, в Стране Советов служба сдерживала его алкогольные страсти, Америка же так и не смогла надеть на него узду. На самое дно скатился, как-то выгнал свою ночную подружку на улицу, чтоб та заработала ему сотню-другую.

Два года летел раскорякою вниз и шмякнулся у ограды посольства СССР в Вашингтоне. Там для таких падших с разных высот отвели комнату, где офицеры КГБ, сами себя обучившие психоанализу, определяли

ценность посетителя, если тот предлагал свои услуги. Виктор Степанович Луков оказался никчемным человечком, ему предложили убираться во-свояси и забыть дорогу к зданиям, над которыми гордо реет красный флаг.

Но Луков не утомился, как то предсказали офицеры спецкомнаты. И вновь (трезвый!) возник перед дежурным по посольству. К тому времени запрошенная Москва дала не совсем убедительные ответы, а Луков, признавая свои ошибки, отрицал все-таки измену Родине на том основании, что никаких, ну ровно никаких секретов американцам не выдал. Что, сказал он, может подтвердить его бывший начальник, то есть капитан 3 ранга Анисимов. И, добавил Виктор Степанович, в Нью-Йорке сейчас Ассамблея ООН, там — министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, пусть тот обещает ему лично, что никаким преследованиям по возвращении в СССР он подвергнут не будет.

Лукова оставили в напичканной аппаратурой комнате, позвонили секретарю Громыко и позвали Петра Ивановича Анисимова.

34

Тот уже служил в США, там, куда его никогда не послали бы, да вынудили кое-какие обстоятельства. Служащая полиции, брат которой был помощником руководителя политической разведки, сделала хорошую карьеру, уцелев после всех чисток, и не забывала, кто спас ей жизнь, вовремя приказав оборвать все связи и отойти от дел. Работала она теперь в секретариате ООН, там присмотрелась к ней американская резидентура КГБ и узнала нечто загадочное. Короче, служащая согласна работать во благо мира, дружбы и вселенской справедливости, но при одном условии: если ее попросит об этом человек, с которым она рассталась три года назад такого-то числа в доме на такой-то улице.

Комнитет ничего подобного в своих амбарных книгах не нашел и скромнолет оповестил ГРУ о необычном капризе одной перспективной гражданки. На Петю в управлении наорали. Потом восстановили его былые навыки проваливаться, фигурально выражаясь, сквозь землю, — так проваливаться, чтоб намек не было на то, что исчезнувший знает о слежке. В центре Москвы был полигон, на котором воспитывались трудяги такого ремесла, здесь Петины навыки довели до совершенства, потом ему приказали собрать чемоданы да двигать в США, нужная должностенка в аппарате посольства уже нашлась. Немыслимо трудно было отрывать детей от деда, почуявшего скорую смерть и цеплявшегося за Сашу и Нату. Глаша рыдала и напропалую крыла Америку.

Добрые коровы пощипывали вкусную травку на просторах Америки или жевали в стойлах смеси по рецептам передовой науки. Климат там, в США, был и для детей подходящим, животиками они здесь не маялись, масла из Австралии выписывать не приходилось. Петя раз в две-три недели встречался со служащей из секретариата ООН, влюбленной парочкой разъезжали они по мотелям и скромным пансионатам, женщина выучила по-русски очень нравящееся ей имя «Пе-те-н-ка» и по ночам шептала его в костромские уши.

Приглашенный на смотрины Лукова, он приоткрыл дверь, глянул на Виктора Степановича и сокрушенно покачал головой. Старовато выглядел тридцатипятилетний Луков, глаза набрякли страданиями, на которые он обрек сам себя. А что касается секретов, то не было их у Лукова, да и кому они нужны, работали-то почти открыто, а три информатора, что передал будто бы он помощнику, — так она, эта тройца, сплошь состояла из мертвых душ, и, главное, сколько лет ни наблюдали за ними — ни признака того, что кто-то знал о работе их якобы на русских. И вероятно (такая шальная мысль мелькнула), Лукова потому прислали к нему помощником, чтоб дать тому возможность перебежать к американцам, очернив тем самым отца своего.

Психоаналитик из КГБ спросил Петю:

— Ну как?

— А так: мойте руки перед едой.

Через десять минут трубку в Нью-Йорке взял Андрей А. Громыко и с неподражаемым белорусским акцентом заговорил, отпуская Лукову грехи его и обещая полную безнаказанность, если тот по прибытии в Союз все расскажет честно.

Глаша расцеловала Петю:

— Спасибо тебе, родной. Ты правильно поступил: теперь этому мерзавцу врежут червонец, а то и все пятнадцать с конфискацией имущества. Жаль, что расстрелять нельзя.

Американцы охотно отпустили Лукова, им обещали сохранить перебежнику жизнь. Тот все честно рассказал в СССР и безропотно встретил приговор, а дали ему по-божески, ниже низшего предела, то ли десять, то ли двенадцать лет, сколько именно — да Пете на это наплевать было.

Долг платежом красен, и служащая секретариата ООН вовремя шепнула Пете: пора тебе отсюда уносить ноги, да я и замуж выхожу, жить буду в Бразилии, не поминай лихом.

Вернулись в Москву, повели детей на кладбище, к деду, который уже не мог дать дочери верный совет, а у той накопились вопросы к нему, стали беспокоить Саша и Ната, на подходе к взрослости у них медленно и верно назревала взаимная неприязнь, сестра ябедничала на брата, брат на сестру, сказывались, видимо, пинки, которыми обменивались недомладенцы там, в утробе. Мать Пети еще держалась, метлой не помахивала, силы не те, но на огороде копалась, научила Нату и Сашу пить чай вприкуску и с блюдечка.

И ее похоронили вскоре. Потом — капитана 1 ранга Хворостина, накануне смерти он попросил их заехать к нему в госпиталь; Глаша и Петя так и не поняли, зачем они ему понадобились. Но, видимо, что-то семья их значила в его жизни — это они поняли на поминках, увидев на стене фотографию: Петя и Глаша сидят рядышком на диване. И еще одна: все трое на том же диване, а Ната и Саша в ногах у них пристроились. Похороны же были тихими, солдаты почти беззвучно пальнули в небо прощальные залпы.

А друг Джордж пер безостановочно в гору, задержался в штаб-квартире НАТО, где царствовали трезвенники, и ратовал за добрососедские отношения с СССР, строя своекорыстные надежды, что когда-нибудь враждующие блоки примирятся, воспрянут старые времена и они, с другом Питом, не один еще ящик скотч-виски одолеют.

35

Сорок три года уже, адмиральские погоны мерцают впереди тускло и непризывно, потому что кое-что уже поднадоело, но служба течет исправно, подмосковной даче далеко до особняка посреди пальм, однако березы, осины и ели умиряют человека, делают его равным себе. «Москвича» сменяли (с доплатой) на более надежные «Жигули», собаку завели с истинно русским именем Полкан; по любви к помойкам Ната не уступала деду, вытащила из мусорного бака полудохлого котенка, прижился он к дому, и, когда дремал рядом с Полканом, Глаша присаживалась к Пете и чуть ли не мурлыкала.

Затем наступил огорчительный год. В управление, где служил Петя, пришли вроде бы никому не нужные документы, макулатура, бумаги, никакого интереса не представляющие. Уничтожить их, правда, нельзя. Но и списывать в архив что-то мешает.

А бумаги среди прочего касались и Глаши.

Америка радушно встречает всех обиженных и оскорбленных на чужой стороне, привечая их на своей родной американской земле, потчует свободой; но, раскрывая им объятия, усаживая обездоленных за гостеприимный стол, она, Америка, презирает людишек этих, и не по зубам психоаналитикам КГБ объяснить сию причуду. Напрезиравши Лукова вдоволь, Америка под самый конец американской жизни его решила еще и ублажить себя заботой о несчастном русском пьянице. Давать ему деньги на пропой за просто так агенты регионального отделения ФБР не могли, контролеры федерального казначейства схватили бы их за руку, потому и прибегли агенты к невинной игре: Лукова письменно спрашивали о разной чепухе и за каждый ответ платили ровно 20 (двадцать) долларов. «Какого цвета третья скамейка на аллее в советском посольстве». Или: «Дайте словесный портрет кассирши в окошке № 4 представительства „Аэрофлота”». Откровенно зубоскалили, потому что третьей скамейке на аллее не существовало, а из окошка № 4 выпирала усатая мужская физиономия. Луков игру эту понял и честно врал, то есть писал ответы, получая наличными 100, 120 долларов за пять или шесть вопросов, держа заодно экзамен на лояльность новой матери-кормилице. Потом ФБР связывалось с ЦРУ и набрасывало черновик очередного, более конкретного вопросника: укажите особые приметы такого-то, какой формы нос у такой-то... Иногда прямо подсказывалось Лукову, как отвечать, вопросы наводили на вполне определенные ответы, которые подтверждали чьи-то, внутри ЦРУ, доклады, потому что там, как и во всех разведках, шла обычная грызня между отделами, кто-то всегда нуждался в подтасовке и подгонке донесений резидентур. Создавалось к тому же — для отчета — впечатление бурной, кипучей деятельности органов, стоящих на страже американской демократии и прав человека. Словом, все «как у людей».

Но с течением времени в авторы вопросника затесался некто со склонностью все сводить к срамному, сексуальному, из Лукова выпытывали сведения об интимных черточках близких ему женщин, поведение их при актах совокупления, особенности гигиенических процедур и прочие гнусности. Кто-то из американских начальников явно в припадке застарелого пуританства гневно отозвался — на полях вопросника — выражением типа «мерзость окаянная». Но рот Лукову не заткнул, да и что возьмешь с людей, помешанных на психоанализе, сексе и судебных тяжбах.

Никчемные бумажки, в огонь бы их, так американцы и сделали бы. Но поступили иначе. Не менее многих в ГРУ разъярены они были мягкостью понесенного Луковым наказания и через агента-двойника допустили утечку; вместо костра или камина вопросник и ответы перебежчика попали в Москву и наконец легли на стол Пети, который прочитал о Глаше то, что знал уже много-много лет, да забыл за пустяковостью узнанного. А у любимой им жены была одна особинка, родимое пятнышко на том месте, что недоступно даже глазу мужа, об отметинке этой Петя узнал от трехлетней трепушки Наты, когда та постояла однажды с матерью под душем. Вот о нем, этом пятнышке, и написал Виктор Степанович Луков: «Пятнышко находится ближе к внутренней стороне правого бедра».

Все правильно. Именно так, ближе к внутренней стороне правого бедра. Начальству, конечно, нельзя было такой документик класть на стол мужу женщины, о которой шла речь. Но разведки — что ЦРУ, что ГРУ, что ПГУ, что МИ-6 — все похоже, все — привилегированные сообщества особо привилегированных людей, и люди там — как в бане голые, и не вздумай прикрыться веником или шайкой, тут же заподозрят бог весть в чем, а разные правила приличия — для прочего люда, тем более что любой твой изъясн много выше и ценнее всех добродетелей щепетильных сограждан. Но, с другой стороны, не попасть Пете на глаза они, эти бумаги, не могли. Семьдесят три страницы машинописного текста ходили из кабинета в кабинет, надо ведь уточнить и про третью скамейку, и про окошко № 4. Вот от Пети

и требовалось нечто вроде резолюции: «Родимого пятнышка на теле Глафиры Андреевны Анисимовой — нет». И — дата, подпись.

Но Петя призадумался — вовсе не потому, что ошарашен был вопросом о пятнышке, о той особенке, что известна была только Нате, которая абсолютно вне подозрений, ему и Глаше. Петя стал уже сверхбдительным и сверхосторожным. В московском кабинете ему о многом пришлось размышлять. О том, что потянуло развратника Лукова к замороженной рыбине под именем Мод Форстер, — да мужской кураж вовлек его помощника в авантюру с американкой, спортивный азарт разыграл в нем, задорное желание растопить лед и увидеть под ним обычную бабу. Но если с Луковым что-то прояснилось, то друг Джордж, постоянный собутыльник, начал облачаться в демонические одежды, и пьянка в командирском салоне крейсера «Лайон» с шифровкой о срочном выходе в море представлялась уже прекрасно разыгранным спектаклем для единственного зрителя, военно-морского атташе СССР, который мог, по донесениям английской разведки, все знать о всех группах заговорщиков, а те явно завязли в топком восточном фатализме, бездействовали, их надо было подтолкнуть к решительным действиям, иначе нарыв не вскроется, рассосется сам собой, что никак не входило в планы Великобритании. Что ж, и такое возможно. Очень соблазнительная версия. Но — сомнительная, потому что в те же планы никак не входило возвышение командующего стратегическим резервом, англичане ставили на Главкома сухопутных войск, да и кто мог знать, куда понесут в ту ночь пьяные ноги военно-морского атташе СССР, ведь он, Петя, пригнал «Волгу» к дому Тупицы случайно, ехал мимо и тормознул, с отчаяния, спьяну. Он и адреса Тупицы даже не знал! Где-то, возможно, вычитал его в каком-либо документе, затерялся он в памяти, но сидел, таился — как в засаде, чтоб выскочить вдруг... И англичане вообще не могли такую игру затеять, иначе зачем другу Джорджу напавать его почти до бесчувствия. И команду крейсера увольнять бы не стал командир корабля. Крейсер второпях покинул бухту, оставив на берегу полсотни матросов и двух лейтенантов, что никак не принято во флоте Ее Величества.

Поэтому-то Петя не расписался и не поставил дату на семидесяти трех страницах машинописного текста. Он кое-что заподозрил, он кое-кого увидел между строчками — на горе Америке, презиравшей всех привеченных ею. Исходил он из уверенности: Глаша ни перед каким мужчиною, кроме него, не обнажалась, Глаша не может изменять мужу и изменить не могла! Категорический ответ Лукова («...ближе к внутренней стороне правого бедра») объясняется не тем, что он это пятнышко видел, а условиями заданных вопросов: ответить надо утвердительно, иначе 20 долларов пролетят мимо, пятнышко должно находиться либо справа, либо слева. Сама Глаша стыдлива, к телу своему относится благоговейно, ванную, когда плещется под душем, задраивает так, словно она в башне и сыграна боевая тревога. Ну а пятнышко скрыто даже самым модным купальником. Однако же кто-то видел! Кто-то узрел, запомнил, сообщил ЦРУ. Кто? «Бабу»? Та раздеть госпожу стеснялась. Некий гипотетический мужчина? Да до пятнышка ли ему? У него другое на уме. У него, точнее, ума уже нет, одни страсти. Такая же гипотетическая женщина? Возможно, ибо только баба способна такие детали запоминать. Или — врач? Какой? Abortов Глаша не делала, на операционном столе не лежала. Стояла под душем в спортклубе, куда заходила Мод Форстер, а той до лампочки все джентльменские правила? Не могла стоять, вода там такая тухлая, что Глаша с корта прямоком отправлялась домой.

Гинеколог! Но чей — советский или американский? Московский или вашингтонский?

Луковские ответы изучены, выписаны столбиком имена женщин с внешними приметами, которые скрыты платьем или нижним бельем и которые доступны только гинекологу. Еще одно усилие мозга — и выясняется

нечто поразительное: в группе тех, кто составлял вопросники, находится очень дальновидный человек, заблаговременно узнавший об утечке, подставляющий себя под вербовку и авансом дающий ГРУ знать, кто информирует ЦРУ.

Надо, следовательно, этого гинеколога вычислить, и Петя пошел к начальству, которое кисло вато выслушало его; будь оно помоложе, Пете не избежать бы смешка: «Да брось ты чудить, Петр Иванович, баба твоя с кем-то гульнула, а ты завелся...»

Смешка не последовало, генералы впали в задумчивость, дали команду, никогда не ржавевшая машина поисков и розысков обрела новые обороты. И человек, предъявивший себя для работы во благо СССР, вынужден был показать себя, обозначиться, когда определили гинеколога и поработали с ним.

Полезные бумаги пришли в Москву, очень даже нужные. И благодарить надо того, кто надоумил ФБР задавать пьянице Лукову нескромные вопросы. Но, пожалуй, уж лучше бы они полетели в камин, потому что об осведомленности Лукова стало известно Глаше.

36

А тут умер бывший помощник военно-морского атташе СССР в Великобритании, тот самый, о котором спросил начальник Генштаба: «Так кто там кого трахнул? Мы их или они нас?» Выгнанный все-таки из разведки, он кантовался одно время в АПН, стал прикладываться к бутылке, да так успешно, что жена его бросила, в лицо швырнув обошедшую весь мир фотографию: львица полусвета (мини-юбка и открытая донельзя блузка) смотрит на капитана 3 ранга (тужурка офицера советского ВМФ) бесстыжими до полной наивности глазами, а рядом господин министр обороны (смокинг и хризантема в петлице). Спился, совсем спился без дела бывший военный дипломат и умер. Ни вдова, ни ГРУ хоронить его охоты не высказали. Английское посольство прождало пару дней да и само предало земле человека, который когда-то был принят «в лучших домах Лондона».

Петру Ивановичу Анисимову пришла на ум крамольная догадка: если вдруг Глаша его разлюбит, дети ни с того ни с сего бросят отца и умрет он в полном одиночестве, то нынешний президент страны, куда его командировали когда-то, распорядится о гробе и венках, благо денег у него тьма-тьмушая: население отдает последние гроши, покупая у военных справки о непричастности к идеям Болтуна, крестьяне продают скот, чтоб не попасть в концлагерь. Бывший Тупица, бывший командующий стратегическим резервом, человек, некогда славящийся скарденостью и честностью, выделит на похороны кое-какую сумму — из многих сотен захпанных им миллион долларов. Обязан выделить ради того, кто возвел его на престол.

37

Узнала Глаша о родинке, не могла не узнать, поскольку она — уже в особо привилегированном сообществе особо привилегированных людей, ее к тому же привлекали к посольским делам, потому что — специалист, обладатель диплома 1-го Московского мединститута, а врач допущен к некоторым тайнам, через смотровой кабинет Анисимовой Г. А. прошли десятки женщин и мужчин, она знала их кожные покровы.

Ей, конечно, не дали прочитать все семьдесят с лишним страниц откровений Лукова, ей достались, и то словесно, несколько абзацев, но среди них — тот, что про родинку, которая все-таки на правом бедре. На несколько дней погрузилась она в пугливую замкнутость, вздрагивала от каждого шороха, в бешенстве потрясала кулачками, немо разевая рот, гре-

мела тарелками на кухне, всю квартиру заполнял звон ножей, вилок и ложек, с размаху швыряемых в мойку. Потом притихла, успокоилась, на Петю смотрела так, будто орала: «Отвали!» А тот, догадываясь, ни о чем не мог сказать ей, всю шла охота за Гинекологом при полной, доходящей до идиотизма скрытности: начальник ГРУ не осмеливался говорить о родинке в своем кабинете, только в коридоре.

Когда наконец-то опознанный Гинеколог дал первые сведения, Петю наградили орденом, а спустя две недели — под праздник — терапевту Глафире Андреевне Анисимовой вручили в поликлинике медаль «За трудовую доблесть», которая вызвала сдержанные аплодисменты людей в белых халатах и долгий бурный смех Пети.

38

Однажды (Глаша была в магазине) раздался телефонный звонок:

— Петр Иванович, если не ошибаюсь?.. Рад слышать вас...

Голос противный и знакомый.

— С кем имею?.. — Петя уже понял, кто говорит, и прикидывал, какими словами оповестить начальство о контакте с предателем.

— Луков Виктор Степанович, если помните... Уверен почему-то, что и вы, и супруга ваша в добром здравии, и дети тоже, низайший поклон им. Хотелось бы встретиться с вами, повиниться. Сказать доброе слово за помощь, ведь благодаря вам я вернулся в отчие края. И заслуженное мною наказание пошло мне на пользу. С вредными привычками покончил, здоровье укрепил и даже более того... Женюсь, Петр Иванович. Скоро свадьба, приглашаю, ресторан «Москва», вас и Глафиру Андреевну, разумеется...

Раз уж есть контакт, то надо извлечь из него максимум информации, то есть когда свадьба и кто невеста.

— Ее вы не знаете, а остальное уточню... Тут неопределенность, я вам позвоню. Договорились?

Глаше, конечно, ничего о Лукове сказано не было. И начальство не удосужилось принять Петю, по горло погруженное в мутные дела. Дни тянулись за днями, и однажды Петя застал Глашу за марафетом, жена в шелковом халате сидела перед трюмо, священнодействовала, корчила физиономию, кончиком языка выдавливая щеки и пальцем оттягивая веки. Петя в некотором смущении попятился, Глаша никогда не позволяла ему присутствовать на процедурах, предваряющих театр, поездку в гости или домашние приемы. Нату — допускала, та называла алхимией все косметические препараты матери, намекала на ведьмовство ее.

— Останься, — почти приказала Глаша. Сбросила халат, показывая белье, покатые плечи, туда она стала вмазывать какой-то крем. — Пополнела, да?

— Ничуть, — солгал Петя, по тону Глаши понимая уже, что она в той самой звинченности, что позволяла отцу ее обзывать дочь шалавою. Да и сам он изредка прибегал к словечку этому, когда Глашу заносило, когда сухие глаза ее метали искры, а рука так и тянулась отвесить кому-нибудь пощечину.

— Хочу спросить тебя, дружок... Что там Наталья пишет?

Ната выскочила замуж, едва став студенткой первого курса МЭИ, и укатила в Ленинград, жила там, у родителей мужа, перевелась в Политехнический. Раз в неделю звонила. А письмо от нее пришло вчера, Глаша его читала. И тем не менее...

— Хорошо пишет, — осторожно ответил Петя, поскольку ничего не понимал.

— Мне кажется, ей рано рожать.

И об этом не только вчера говорили, но и сегодня утром. Петя молчал. Глаша окунула кисточку в какую-то склянку, потом поднесла ее к ресницам.

— Меня гложет страшное подозрение... Уж не потому ли мужем выбран ленинградец, что Александр там же, в Ленинграде? Что можно не видеть его в упор?

Сын летом поступил в училище, возрадившее Петю, и письма его были похожи на рапорты. О приезде сестры в Ленинград — ни слова.

— Какая-то странная биологическая каверза, — продолжала Глаша, глазами обегая кремы, помады и жидкости перед собою. Пальцем нажала на кончик носа, долго рассматривала этот палец. — Почему-то не любят друг друга. Мне кажется порою, что они от разных отцов, — с легким надрывом произнесла она, напрашиваясь на скандалчик. Петя, однако, не встал, не обозвал ее шалавой. Ожидал чего-то. Чего — не знал и боялся догадываться.

Спросил на всякий случай:

— Мне никто не звонил?

Глаша не ответила. Дьявольской помадой исказила губы, подсветила щеки румянами и стремительным мазком обозначила брови. Еще какое-то зелье употребила. Встала перед зеркалом во весь рост, повела плечами, согнула одну ногу в коленках, другую, отступила на шаг, любуясь собою.

— Да, я все еще хороша... Более того: возбуждающе притягательна. Тебе это надо учесть, дружок, потому что ты частенько забываешь исполнять свои так называемые супружеские обязанности, что наносит ущерб как твоему здоровью, так и моей внутренней репутации, самооценке, так сказать...

Более чем странный разговор, начинавший тревожить Петю, который будто втягивался в какую-то нехорошую игру.

— Убедила... — сказал он тоном, о каком пишут: «сквозь зубы». — Я готов. Сегодня же. Сейчас.

— О нет! — наигранно-страдающе воскликнула Глаша, театрально заламывая руки. — Мне нужна чистая, возвышенная, юношеская любовь, а не беспрекословное выполнение очередной статьи «Устава сексуальной службы».

Она села, коснулась пудры пуховкой, чтоб затем дунуть на нее, обдав Петю облаком противной пылицы.

— Хорошо, ограничусь примечанием... Куда, кстати, собираешься? Без меня причем.

— Будто не знаешь... Двадцатилетие близится, сам посчитай, сколько лет прошло со дня окончания института... Сегодня репетиция, девичник с отфильтрованным количеством... эээ... мужчин... А насчет детей — подумай. У меня, возможно, найдется еще возможность поговорить с тобой на эту тему... Думаю, что — найдется. А теперь — проваливай! — приказала она. Надула щеки, высунула кончик языка, вытаращив на Петю глаза, чтоб окончательно додразнить его.

Петя мрачно поднялся, стараясь ни о чем не думать. Как ни считал, а двадцатилетия не получалось.

Что надела на себя — не видел, в каком пальто вышла — тем более, окна выходят не на улицу. Сидел, ждал, пытался что-то читать — отбросил книгу. Хотел было позвонить Нате — но не решился, та по голосу догадалась бы: дома очередная вспышка Глашиной дурости.

Вернулась она скоро, что-то напевала, поплескалась в душе, заснула; в такие сумбурные дни Петя засыпал в «книжной» комнате, на тахте. Утром двинулся на службу, а около пяти вечера позвали к начальнику управления. Радостная новость: через перевербованного Гинеколога установили связь еще с одним цэрэушником.

— Придется вносить кое-какие коррективы, — сокрушался генерал. — Американцы заматают следы. Вчера убит Луков, в гостинице «Москва», там у него свадьба игралась. Пошел в туалет — и готов, две пули в затылке, редкость. Пистолет там же, в урне, всемирно известный, уже снеслись

с нашими коллегами из ГДР, он засветился при взрыве кафе с американскими солдатами в Западном Берлине, пятнадцать лет назад...

— Кто убил-то?

— Да женщина какая-то... Народу много, не усмотришь за всеми... Так ты подумай, что нам еще Гинекологу подсунуть...

39

В ту же зиму захворал Полкан, еле выходили, как вдруг котенок, давно уже ставший красивым пушистым котом по имени Мур, пропал, что не могло не сказаться на Полкане. Преждевременная смерть его, вкупе с исчезновением любимца Мура, потрясла семью, Наталья хлюпала в телефонную трубку, Александр прислал письмо с выражением глубокого соболезнования. Петя с горя отправился в командировку, на Северный флот, представителем Генерального штаба, отбирать кандидатов для академии. Глаша увязалась лететь с ним, проведать школьную подругу, вышедшую замуж за рыбака.

Одноклассников заодно хотел найти Петя, друзей по бригаде эсминцев — да почти всех служба разлучила, кто на Балтике, кто на Тихом океане, а кто в земле сырой или на дне морском. Один нашелся-таки, с женой, детьми и внуком ютился в тесной квартирке, встретиться поэтому решили в «Арктике», Петя позвонил Глаше в гостиницу, пришел много раньше, ждал ее. Ночной морозный полдень, звезды чистые и яркие, ветра нет, мимо прошла девица, огорошив Петю призывом: «Эй, кап-раз, кинь сотнягу на пупок!» В славные времена лейтенантства таких вымогательниц не водилось.

Петя ждал. И вдруг прозрел: да на этом же клочке скованного льдом асфальта, осыпаемая снегом, стояла много лет назад Глаша! Недоступное божество, которое сейчас вот подойдет, позовет, и они поднимутся в «Арктику»...

Глаша не подошла, она будто стояла здесь давно. Тронула робко за локоть.

Они обнялись и едва не расплакались от жалости к себе, потому что ничего уже не будет впереди и позади ничего не было, кроме той глупой до сумасшествия тропической нсчи, дурной, воспаленной, счастливой, восхитительной, удушающей и пьяной.



ЛАРИСА МИЛЛЕР

*

НА ТОНКОЙ ЛЕСКЕ

* *
*

Тем временем, тем самым, тем,
Которого и нет совсем,
Тем временем лишь то случилось,
Что ничего не приключилось.
На месте небо и земля,
И можно все начать с нуля
Или продолжить в том же духе.
Мир кроток — не обидит мухи.
Тем временем, какого нет,
Он Божьей дланью был согрет —
Мир, где горит на небосводе
Звезда, которой нет в природе.

* *
*

Жизнь легка, легка, легка,
Легче не бывает,
Потому что свет пока
Только прибывает,
Потому что луг в росе
И ажурны тени,
Потому что тропы все
В крестиках сирени,
Потому что яркий свет
Ранним утром будит,
Потому что ночи нет
И, Бог даст, не будет.

* *
*

Убить бы время, ну его,
Убить бы время.
Куда вольготней без него —
Не клонет в темя.

Ему б сказать: «Тебе капут.
Прощай навеки.
Не надо нам твоих минут,
Твоей опеки.

И торопя, и теребя,
Ты всех „достало”,
Какое счастье, что тебя
Совсем не стало».

* *
*

Тишайший аквариум, дивное лето,
Избыток зеленого, синего цвета,
И сверху и снизу, и слева и справа —
Лишь небо да листья, лишь небо да травы.
Мы в этот аквариум тихо заплыли
И все, что до этого было, забыли,
В зеленом и синем от мрака спасаясь,
Податливых листьев ладонью касаясь.

* *
*

Какое там сражение,
Какой там вечный бой! —
Есть тихое кружение
Под тканью голубой.

Какое там борение,
Надсада и надлом! —
Есть тихое парение
С распластанным крылом.

Какое там смятение,
Метание в бреду! —
Есть тихое цветение
Кувшинки на пруду.

* *
*

Жизнь идет, и лето длится...
Может, надо помолиться,
Попросить: «Великий Боже,
Сделай так, чтоб завтра тоже
Зеленела в поле травка,
В гуще сада пела славка,
На окне на тонкой леске
Колыхались занавески».

* *
*

Как под яблоней неспелой
Несъедобный плод лежит...
Видит Бог, хочу быть смелой,
А душа моя дрожит.

И чего она боится
Под неспелых яблок стук?
Страшно ей, что жизнь продлится,
Страшно, что прервется вдруг.

* *
*

Все как с гуся вода, все как с гуся вода,
И года — не года, и беда — не беда,
И беда — не беда, и труды — не труды,
Ничего, кроме чистой небесной воды.
И не вздох в тишине, и не плач за стеной,
И не груз на спине, а крыло за спиной.

* *
*

А на этой акварели
Абрис виден еле-еле
И дорога чуть видна...
Сколько пятниц на неделе?
К сожалению, одна.
Если б пятниц было много
И видней была дорога,
Я по ней бы топ да топ,
Ни предела, ни итога,
Сколько пятниц, столько троп,
Выбирай хоть ту, хоть эту —
Ничему предела нету:
Можно день перебелить,
Обмелеет чаша к лету —
Можно новую налить.
Небо землю опекает,
Птица птицу окликает,
Проплывают облака,
И течет не утекает
Жизни длинная река.



ИРИНА РАТУШИНСКАЯ

*

НИЧЬЯ СЕСТРА

* *
*

Как выдает боязнь пространства
Желание вписаться в круг,
Как самозваное дворянство
Изобличает форма рук,
Как светят контуры погостов
Из-под разметки площадей,
Как бродят, царственно и просто,
Лакуны бывших лошадей
По преданным бесплодию землям, —
Так, слепком каждому листу
И каждой птице на кусту,
Хранит природа пустоту,
Подмен надменно не приема.

* *
*

Редьярду Киплингу — с любовью.

Посмотри, чужак:
Вот мой сыновья,
Вот земля — в перекате ржи.
Это ты сказал,
Но попомню — я,
Что нельзя вам любить чужих.
Что хороший чужой —
Значит, мертвый чужой:
Это правда твоя и ложь.
И ты сам, чужак,
За такой межой,
Что не спросишь и не найдешь.
Там солдату — сон,
Постой и приют.
Но за землю спорить живым.
И мои сыновья
У костра спуют
То, что ты завещал своим.

Ратушинская Ирина Борисовна родилась в Одессе. По образованию физик. Поэт, прозаик, эссеист. В 1982 году арестована и осуждена на 7 лет лагерей за публикации в самиздате и за рубежом. Освобождена в 1986 году. Была лишена советского гражданства и жила в Англии. Книги изданы в 17 странах. В настоящее время живет в Москве.

* *
*

Там, далёко-далёко,
на синем от гроз берегу,
Слышны топот, и пенье, и визги, и жаркие споры.
Что я знаю о детстве, которое я берегу?
Вот и лето, и мячик летает,
и школа нескоро.

Непонятное слово написано в лифте,
и стыдно спросить,
Но звучат водяные ступени Нескучного сада.
И неведома взрослым трава под названием «сныть»,
А в земле мертвецы,
и еще там закопаны клады.

Но отцовской руки
так уверен веселый посыл,
Что не страшно идти и не рано, а в самую пору.
Вот они и уходят — счастливые, полные сил.
Вот и осень, и воздух пустеет,
а вечность нескоро.

Водопой

Четыре ветра,
Двенадцать месяцев,
Сорок тысяч братьев,
А сестер уж нет.
Седлай до света.
Твой путь не вместится
Ни в чье объятие,
Ни в чей завет.
— Кто ты? Ау!
Чей рог поутру?
— Не тебя зову,
Я ищу сестру. —
Четыре века,
Двенадцать месяцев,
Сорок семь заутрень,
А сестер все нет.
Лишь по всем рекам —
Плывут и светятся
Розмарин, и рута,
И первоцвет.
— Напой коня,
Брат ничей.
Тут, в зеленяж, —
Ледяной ручей. —
Четыре лика —
Там, в глубине.
Цветет повилика
На самом дне.
Обовьет копыта —
Струям вспять:
Горе позабытое
Зацеловать!

— Четыре света,
 Двенадцать теменей,
 Сто царств и три волости —
 Я коня губил.

Но нет ответа,
 Не стало времени,
 Не слышно голоса,
 Только там, вглуби, —
 Розмарин и мята
 Цветут, цветут.
 Названного брата
 Зовут, зовут.

— Четыре ветра,
 Двенадцать месяцев,
 Сорок тысяч братьев —
 И никто не спас.
 Драконы и вепри
 Под копьём бесятся,
 Но ее заклятье —
 На обоих нас:
 На коне и мне.
 — Так спеши, пора!
 Свидимся на дне.
 Я — ничья сестра.

* *
 *

Полунощный взвар
 Синевы — травы —
 Буйной крови.
 Спят сыны,
 Как на гербе львы:
 Профиль в профиль.
 А на нас — года
 Налегли плащом:
 Лапы в горло.
 А к ногам — вода,
 Поиграть лучом,
 Светом горним.
 Ей подай — звезду,
 Да еще — звезду —
 До Петрова дня!
 Переклик:
 — Я жду!
 — Я сейчас приду,
 Подожди меня!
 Я приду — дожив,
 Чтоб до дна — дожечь,
 В голубой нажим —
 Всей твердыней плеч!
 Я уже в пути:
 Загадай полет! —
 Господи, прости...
 Не меня ль зовет?



ДМИТРИЙ НОВИКОВ

*

КУЙПОГА

Рассказ

«**М**оя философия в том, что нет никакой философии. Любомудрие умерло за отсутствием необходимости, — он дернул ручку коробки передач, и машина нервно, рывком увеличила скорость, — то есть любовь к мудрости была всегда, а саму мудрость так и не нашли, выплеснули в процессе изысканий. Ты посмотри сама, что делается. Напророчили царство хама, вот оно и пришло. Даже не хама, а жлоба. Жлоб — это ведь такой более искусный, утонченный хам». В ночной тишине, по дороге, ведущей за город, на север, они ехали молча. За окном мелькали старые, с облезшей краской дома, сам асфальт был весь в выбоинах и ямах, как брошенное, никому не нужное поле. Внезапно показался огромного размера ярко освещенный предвыборный щит с сияющей мертвенно-синей надписью «Поверь в добро». «Вот-вот, смотри, славный пример, досточтимый. Ничего не нужно делать. Просто в нужный момент подмалевать красками поярче, лампочек разноцветных повесить. Годами друг друга душили, душу ножками топотали, а тут одни с пустыми глазами мозгом поработали, у других, таких же лупатых, релюшка внутри сработала — и все мы опять верим в добро, тьфу!» Он выплюнул в окно окурочку вместе со слюной и выругался.

Она сидела рядом, нахохлившаяся и печальная. Ей было грустно — он опять говорил не о том. И стоило ли объяснять давным-давно говоренное, обыденное, как овсяная каша. Стоило ли в сотый раз пытаться найти первопричину, когда все просто — такая здесь жизнь. Ей хотелось радоваться, что наконец свершилось, после долгих сборов, сведений в кучу всех обстоятельств, всех вязких стечений они все-таки вырвались и едут теперь к морю. Большую воду она видела только однажды, в детстве, когда отец взял ее на юг, и с тех пор в памяти остался свежий, щекочущий горло и грудь запах, слепящая глаза пляска солнечных бликов и едкий, как укус, вкус кумыса.

А он продолжал нудить свое: «Видела, плакат на площади повесили. „Фиерическое шоу“. Ублюдки. Писать разучились, а туда же, феерии устраивать. Даже любимое и родное теперь слово „fuck“ умудряются в подъездах с двумя ошибками писать. Вообще, утонула речь, язык утонул. Как будто во рту у всех болотная жижа. Да и в головах тоже. Мозги квадратными стали. Вместо мыслей заученные схемы. Мыслевыкидыши. И утопленница-речь». Он был неприятен самому себе со всеми этими неуклюжими рассуждениями, но никак не давали успокоиться, вновь почувствовать ровное течение жизни три пронзительных в своей немудрености

Новиков Дмитрий Геннадьевич родился в 1966 году в г. Петрозаводске. Окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета. Печатался в журнале «Дружба народов», альманахе «Мир Паустовского». Живет в Петрозаводске. В «Новом мире» публикуется впервые.

вопроса: «Куда едем? Зачем едем? Ищем чего?» И, глупый, все спрашивал и спрашивал себя...

«Хватит, — вдруг попросила она. — Надоело уже. Давай про что-нибудь другое. Посмеши меня как-нибудь. Ты же умеешь меня смешить!»

У них была странная любовь. Она начиналась как чистой воды страсть. Когда он увидел ее впервые, то поразился стремительности, какой-то воздушности всех ее движений. Окружающие ее люди, события, все вокруг казалось застывшим, словно погруженным в желейную дремоту. Ему сразу представилось тонкое деревце под напором ветра, как оно гнется к земле почти на изломе, но вдруг выпрямляется при малейшем ослаблении, рассекает сабельным ударом тугую тяготину, чтобы потом снова клониться, сгибаться из стороны в сторону, отчаянно трепеща листвою, и вновь упрямо и чувственно бросаться навстречу жестокому потоку. «И создал Бог женщину», — подумалось, когда он наблюдал со стороны за силой и изяществом ее походки, красотой тонких, округлых рук и неземным почти, стройным совершенством бедер. Потом, много позже, он понял, что только живая, полная ласковой внимательности ко всему вокруг душа способна так уместить, драгоценным миром покрыть совершенное тело. Потому что полно вокруг было красивых манекенов, пляшущих свои бессмысленные, нелепые танцы и постоянно жующих лоснящимися ртами пирожные по многочисленным кофейням. Но потом страсть стала потихоньку стихать, откатываться, как морская вода при отливе, и наступило время прикидок и размышлений о чужих мнениях, полезности и монументальной правильности, и никак не могло родиться долгожданное, дерзкое и бесшабашное доверие.

«Не буду я тебя смешить», — упрямо пробормотал он и снова погрузился в унылые размышления о продажности всего и вся. Благо опыт продаж у него был изрядный. Тяжелым, скользкой тиной покрытым камнем лежала на душе торговля алкоголем, когда цены предварительно повышались на пятнадцать процентов, а потом резко и публично снижались на десять; бодряный портвейн с хлопьями осадка, распаханный в коробки с сертифицированным пойлом; расселение бичей со всем их вонючим, жалким скарбом по различным, на них же похожим халупам; переклей этикеток с новыми сроками годности на лежалую, прогорклым жиром пахнущую рыбу; склизкая дружба с «нужными» людьми, когда над всем разнообразием отношений плавают маслянистый взгляд хитро прищуренных глазок; странные, нереальные сочетания вожделеющих чиновничьих рук и их же властных ртов, вещающих о совести и доброте. А рядом с ними были молодые девчонки, отдающиеся за коробку баббл гама или за ужин в ресторане, что стоило примерно одинаково; рекламные компании в газетах, где такие же молодые и бездумные могли за деньг и сочинять сказки о чудесных похуданиях и излечениях; яркие, талантливыми красками расцвеченные плакаты о том, что «только у нас, опять в последний раз, одобрено всеми министрами и специалистами, продается столь необходимое вам, жизненно показанное дерьмо в красивой упаковке, с прилагаемым бонусом в виде еще одного, но уже небольшого дерьма». Удивительно, но сначала все это казалось ему свободой, захватывающей игрой раскрепощенной воли и могучего интеллекта, изящным противовесом системе фронтального распределения. И только много позже, когда все многочисленные, не лишённые изящества и стройности схемы стали складываться в такую же систему захлебывающегося счастья безграничного потребления, дешевой радости каждодневного закупа, он почувал неладное. Блистательным венцом его торговой карьеры стали тогда головы лосося. Многоходовая, до мельчайших деталей продуманная афера, где очень многое зависело от дара убеждения себя и других в том, что продать можно абсолютно все, натолкнулась на какую-то преграду. И вроде бы все вокруг были со-

гласны, что дешевые рыбные отходы могут послужить весомым социальным фактором в накормлении сырых и убогих, вроде бы сами голодные, судя по многочисленным маркетинговым исследованиям, были безумно рады поиметь практически даровую похлебку из голов благородных рыб, вроде бы все соответствующие строго бдящие инстанции выдали одобрения и разрешения, но предел есть даже у свободы предпринимательства. У него вдруг истощились душевные силы, и тогда сразу пропала воля, хитрый ум отказался измышлять новые кротовьи ходы. Он перестал бороться с отступающей, мусор несущей водой и поплыл в ней, словно бездумное бревно, отстранясь и впервые за многие годы сумев увидеть со стороны себя, свои придонные мотивы, чужое суетливое величие, громогласие пустоты и комичность каждодневного подвига во славу вороватости. И когда наступил день лактации пушных зверьков, которые присоединились к слоям населения, отказавшимся потреблять неискренний корм, он взял в руки пустоглазую голову лосося, все еще красивую своими стремительными, рубящими воду очертаниями, и со словами «Бедный Йорик» выкинул ее через левое плечо.

«Все на свете продается, кроме любви и голов лосося», — сказал он ей внезапно повеселевшим голосом, и она засмеялась в ответ.

Когда через несколько часов они подъехали к старинной деревне у самого Белого моря, солнце уже высоко стояло над горизонтом. Время белых ночей. Ночи белых ножей. Есть в северном лете какая-то жестокая сила. Она чем-то похожа на щедро украшенное рыбьей кровью резвое лезвие, которое без устали пластует тела, отбрасывает прочь всю нутряную смердь и одного добивается холодной своей силой — чистоты. Ни на минуту не дает солнце закрыть глаза, отдохнуть, накопить новые оправдания. Светло и тихо кругом, лишь изредка вскрикнет в лесу испуганная неприкрытой истиной птица, и ты чувствуешь сначала полную измотанность от своих же вопросов, ты наедине с огромным правдивым зеркалом белесого неба, ты словно стоишь перед могилой убитого бога и, когда наступает уже предел человеческих сил, вдруг ощущаешь, как с тела, с души словно отваливается пластами чешуя накопившейся за долгие годы грязи, и слезы наворачиваются на глаза от ощущения пусть временной, пусть предсказуемой, но чистоты и ясности. Ты становишься сильным, тебе незачем изворачиваться и лгать, ты пьешь много водки и не хмелеешь, потому что тебя заразил, захватил уже, проник во все поры, в волосы, под ногти бесконечно добрый наркотик — дух Внутреннего моря. И с перехваченным дыханием, как пойманная в сети рыба, ты поешь во славу его свои спиричуэлсы.

Они остановились у первого попавшегося дома и, постучавшись, вошли внутрь. По высоким ступеням, словно по трапу корабля, забрались в сени, потом, наклонившись перед низкой притолокой, ступили в комнату. У небольшого окна на стуле сидела крепкая старуха с живым внимательным взглядом. Лоб и щеки ее были темными, обветренными, а шея и узкая полоска вокруг лица — белые, незагорелые. «Славный черномордик», — шепнул он, но осекся.

— Здравствуйте.

Старуха кивнула в ответ и быстро оглядела их с ног до головы.

— Мы из города, не пустите ли пожить на несколько дней?

— Ну, не знаю, — хозяйка смотрела с легкой усмешкой, — а кто такие будете, туристы?

— Нет, мы так, посмотреть. — Он чувствовал себя неловко и поспешил добавить: — Мы заплатим.

— Ну, не знаю. — Старуха опять усмехнулась и замолчала.

— Мне очень хотелось на море. Я никогда не была, только один раз, в детстве, на юге. А тут ведь совсем рядом от нас, и никогда. Вот мы собрались просто и поехали. А остановиться не у кого, не знаем тут никого.

— Ладно, живите, чего уж там, Ниной Егоровной меня зовут. — Старуха уже многое о них поняла.

— А сколько стоить будет? — Он попытался свернуть на знакомую стезю.

— Нисколько не будет. Так живите.

К морю, к морю. Она торопливо собиралась, выкладывала из сумки вещи, которые могли пригодиться. Куртка, резиновые сапоги, теплые носки, комариная мазь. И постоянно неосознанно принималась — не донесет ли ветер тот давно забытый, детскими воспоминаниями раскрашенный запах. За окном начинал погромыхивать гром, в доме пахло сушеной рыбой, деревом, какой-то едой. Но того высокого, заставляющего слезы наворачиваться на глаза запаха не было. Она помнила, что на юге он был сильный, пряный, тяжелым потоком несущийся от воды, от галькой покрытого берега, от куч выброшенных на пляж гниющих водорослей. А здесь если и было что-то похожее, то совсем слабое, еле уловимое, призрачное и обманчивое. Какая-то граница, грань между жизнью и смертью, добром и злом, та, которую постоянно ищешь, иногда натыкаешься, но никогда не можешь устоять, удержаться на ней. Он с кислым лицом следил за ее сборами. На улице начал накрапывать дождь, небо затянуло тучами. «Смешно было бы думать, что можешь запрограммировать себе чувства. Да и пошло это как-то — раз к морю, значит, нужно ахать и восторгаться, производить готовый набор телодвижений. Трезвее нужно быть, циничнее. А то чуть-чуть разомлеешь, расслабишься, поверишь, как тебя тут же мордой в цветущую клумбу: хотел — на, жри свои вонючие растения». Он был давно наученным и умным зверьком.

— Собрались? — Нина Егоровна откровенно смеялась над их яркой городской одеждой. — Сядьте, чаю попейте, затем можете на убег сходить за рыбой.

— Что за убег? — недовольно спросил он.

— Ловушка такая. Пойдете направо от деревни, сначала по берегу, потом по кечкоре, там увидите. Километров пять до него.

— Кечкора какая-то. А это что за зверь?

— Дно морское. Пока куйпога стоит, нужно идти. Потом вода пойдет — не пройдете.

«Издавается, — решил он про себя, — неужели внятно нельзя объяснить. По-русски. Вроде все здесь русские, не карелы и не чукчи».

Старуха словно угадала его мысли:

— Куйпога — это когда вода уходит и стоит далеко. Отлив по-городскому. Уйдет так, что не видно ее. Все, что в море мертвого было, оставляет. Водоросли, рыбу, может тюленя выбросить. Иногда аж страшно делается — вдруг не вернется. Но возвращается всегда, всегда... — Она улыбнулась каким-то своим мыслям.

Сели за стол. Нина Егоровна взглянула в окно, затем резво вскочила и накинула крючок на входную дверь:

— Андель, телебейник идет, на хуй его.

Он фыркнул, она в веселом недоумении широко раскрыла глаза. Старуха же охотно пояснила:

— Коробейники были, знаете? По дворам ходили, торговали, а глядишь — и украдут чего. Этот же все агитирует, раньше — за одно, теперь — за другое. Вроде слова умные говорит, а смысла за ними никакого. И болтает, болтает: «Теле-теле-теле».

Вместе посмеялись, успокоились.

— А вы как, отсюда родом? — спросила она старуху, с удовольствием вслушиваясь в ее вкусную речь.

— Отсюда, милая, отсюда. Восемьдесят три года, и все отсюда.

— И как жили? — Они явно нравились друг другу.

— А как жили. Тяжело жили. Я с семи лет уже нянькой по чужим людям. А потом в море зуйком ходила, здесь в Белом, и на Баренцево ходила. На елах мы тогда рыбачили, с парусами еще.

— А где тяжелее было? — заинтересовался он, вспомнив внезапно свою службу на севере и зимние шторма, когда слоновыми тушами валялись по берегу разбитые бурей бетонные причалы.

— Везде тяжело, — усмехнулась старуха. — Первый раз как вышли в Баренцево в волну, так мне ушанку на лицо привязали, чтоб туда блевала. Зато сразу привыкла, со второго раза уже за полного человека брали. За муж в двадцать лет вышла. Вы-то муж с женой будете?

Они замялись:

— Да нет, мы так, думаем...

Старуха пронизательно взглянула на нее, внезапно покрасневшую, затем на него:

— Был тут у нас в войну один такой. Глупый. Не как все. Ходил все, думал. Как увидит красивую, вроде тебя, так потом на станцию тридцать верст пешком уйдет. Все на поезда смотрел, на женщин проезжающих, искал чего-то. — Она посмотрела на часы. — Ладно, идите уже. А то не успеете.

Они вышли из деревни, пересекли заброшенное поле, поросшее высокой жесткой травой, из которой поднимались оголтелые тучи комаров, и ступили на кечкору. Она простиралась почти до самого горизонта, лишь в еле видимом глазу далеке сверкала кажущаяся узкой полоска воды, за которой угадывались туманные очертания островов. Дно морское оправдывало свое корявое, бородавчатое название — посреди вязкой, чавкающей глины тут и там возвышались скользкие валуны, покрытые зеленой слизистой тиной, лужи мутной стоячей воды составляли аляповатый, тоскливый узор, повсюду валялись обломки раковин, мешали ступать грязнобородые кочки фукуса. На небе царил такой же раздрай. Верхний слой тяжелых, мертвенно-серых облаков не оставлял ни единого просвета. Ниже беспорядочными клочьями неслись белесые обрывки тумана. С двух сторон приближались темно-синие, безнадежные, как арестантские думы, грозовые тучи. Из них с невнятной угрозой погромыхивал гром. «Полная куйпога», — мрачно сказал он, жалея уже, что дал себя втянуть в эту беспросветную авантюру. Она же молчала, только широко раздувала ноздри, все пытаясь поймать тот свободный, вольный запах, о котором мечтала всю дорогу.

Вдалеке показался убог. Они быстрым шагом дошли до него, достали из ловушки пару десятков мелкой трепещущей камбалешки. «Пойдем назад. — Он замерз уже под морозящим дождем и с опаской смотрел на приближающиеся отвесные столбы полноценного ливня. — Пойдем».

«Нет, я хочу купаться», — решительно, со слезой в голосе сказала она. «Да где здесь купаться, в лужах, что ли. — Он говорил раздражительно и зло. — Тебе же сказали — куйпога. Да и холод собачий, замерзнешь».

Но она не слушала. Решительно сняла с себя сапоги, одежду повесила на вбитый в глину кол и, оставшись совсем голой, повернулась к нему с внезапной улыбкой: «Ты увидишь, все будет хорошо».

«Что хорошо, что здесь может быть хорошего?» — не понял он и вдруг заметил какую-то перемену. Дувший с берега ветер вдруг стих. Сначала еле-еле, словно младенческое дыхание, а потом все сильнее задул ветер с моря. Он был ровный и ласковый, как утреннее объятие, и нес в себе простые, изначальные вещи. Соль и йод были в нем, и любовь глубоководных рыб, и когда-то давно прозвучавший крик малолетнего рыбака. «Кончи-

лась куйпога, кончилась!» — кричала она, убегая, а навстречу ей сначала мелкими ручьями, а потом все сильнее, веселыми потоками пошла вода. «Не может быть», — прошептал он, упорствуя в неверии своем, и тогда сошлись две грозовые тучи, одна похожая на лысый профиль хитрого дедушки, другая — с нависшим над усами крючковатым носом любимого вождя, стукнулись лбами, и грянул гром, разметавший их на мелкие обломки. «Вера!» — позвал он, и последний раскат унес с собой рокошущее «Р», оставив «Е», и «В», и «А». «Не может быть». — Он пытался охладить поднимающуюся внутри горячую волну чем-нибудь проверенным и разумным, и тогда в разрыве туч вдруг блеснуло яростное солнце. «Не может быть», — упрямылся он, смахивая набежавшие слезы, и тогда сверху обидно, прямо в лоб стукнула его задорная сливовая косточка.

А потом вернулась она, вся покрытая сверкающими каплями воды и кристаллами соли. Длинные, прохладные и тугие листья ламинарии спускались у нее с плеча, лаская теплую, вольную кожу, и глаза ее невинные, губы ее винные что-то говорили ласково.

— ...щается всегда, — за ветром угадал он окончание.



АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН

*

ПОВЕРХ СТАРОГО ТЕКСТА

XX век

выходы кинозвезд
трупы убитых при терактах в метро дискотеках на ипподроме
запуск рекламный воздушного шара
ж/д катастрофы с куклой брошенной у искореженного вагона
освящение казино и госпиталей
мотогонки
беженцев в одеялах
улыбающихся толпе депутатов

снимает снимает снимает фотограф
меня объективы
не выпускающая жевательной резинки из рта

Бедствия войны

все так обыденно:

остановившиеся часы
показывают обеденное время

Duty free

вот выветрилась и еще любовь

только след
вроде слабого запаха духов

на рукаве
повисевшего в шкафу костюма

Примерка

с некоторых лет
 начинаешь примерять к себе чужие смерти

вроде как женщина
 прикидывает мысленно к фигуре
 висящие в витринах платья

та узка
 та чересчур расфуфырена
 а эта топорщится так некрасиво

напрасное беспокойство

сошьет на заказ
 портной с сантиметром на шее

Старик и душа

когда она явилась ему впервые
 то была в наутюженной блузке с комсомольским значком
 вроде старшей сестры

потом всякий раз в ином образе и годах
 как в новом платье

он чуть не лишился ее
 в тот раз что она была девочкой-подростком
 и убежала за укатившимся волейбольным мячом

иногда приходила как доктор в белом халате
 а в решающие минуты принимала облик мухинской Жницы

ей с ним пришлось поваландаться
 и все равно

уже на лестнице
 она оглянется уходя и увидит:

старик у окна
 и вместо Евангелия
 читает утреннюю газету

Оса, увязшая в клубничном варенье

серебряная ложка — стук!
 ...вот так и Он меня прихлопнет сдуру:
 жужжал, надоедал Ему...

Поверх старого текста

маленький банк
расположился в прежней «стекляшке» на Киевской

стриженные клерки
расставили свои компьютерные столы в хирургической тишине
клацают и шуршат

сквозь банковских
сквозь их хромированные столы

проходят прозрачные тени официантов
в грязных фартуках
волокущие подносы с разбавленным пивом

у тех и других
одинаково скуластые лица

ни те ни другие
не могут выговорить слова «палимпсест»

Литературная стратегия

Зачем шарахать дверью?
Вот я за собой тихонько притворю обложку.
И посмотрю.



ВСЁ К ЛУЧШЕМУ

Рассказы современных словенских писателей

Пару лет назад образом, как это чаще всего в подобных случаях и бывает, почти случайным завязалась переписка между «Новым миром» и Союзом писателей Словении. Результатом стал совместный проект, в рамках которого была подготовлена подборка коротких рассказов современных русских писателей (в том числе и постоянных новомирских авторов); переводы были напечатаны в словенском литературном журнале «Sodobnost». Теперь и «Новый мир» в свою очередь публикует подборку современных словенских рассказов. До сих пор проза представленных здесь авторов на русский язык не переводилась.

Эвальд Флисар (род. в 1945) — поэт, прозаик, драматург, автор ряда романов и пьес, с успехом поставленных в театрах Словении и за рубежом, главный редактор журнала «Sodobnost», пишет на словенском и английском языках. Рассказ «Агрегат» опубликован в 1997 году.

Милан Клеч (род. в 1954) — поэт, прозаик, драматург, детский писатель, автор восьми поэтических книг, двух романов, пяти сборников рассказов. Рассказ «Полной грудью» впервые опубликован в 1998 году.

Яни Вирк (род. в 1962) — поэт, прозаик, эссеист, переводчик, редактор программ национального телевидения. Выпустил пять романов, четыре сборника рассказов, поэтический сборник. Рассказ «Дверь» опубликован в 1998 году.

Руди Шелиго (род. в 1935) — прозаик, драматург, публицист, общественный деятель. Автор ряда романов, сборников новелл, работал также в жанре политической драмы. Рассказ «Всё к лучшему» опубликован в 1995 году.

Михаил Бутов.

ЭВАЛЬД ФЛИСАР



АГРЕГАТ

Вряд ли я смогу описать восторг, охвативший всю нашу семью при переезде из города в деревню. Даже тетя Мара, склонная, правда, к преувеличению, не могла похвалиться тем, чтобы когда-нибудь раньше ее так переселяли. Единственное, что можно было бы сравнить с эмоциями, не покидавшими нас во время разгрузки и затаскивания мебели в новое помещение, было, по мнению брата Петера, то чувство облегчения, которое наша бабушка испытала после окончания Второй мировой войны, узнав, что ее старший сын, муж Мары, не скончался в Аушвице, а возвращается домой. (Еще больше это наше ощущение было сродни веселью самой тети Мары, получившей вскорости уведомление о том, что ее муж — по ошибке! — был кремирован. Бумага содержала также уверения, что все произошло в полном соответствии с желанием покойного быть сожженным после смерти. То обстоятельство, что кремация мужа последовала не за его смертью, а, наоборот, смерть — за кремацией, она сочла пустяком.)

Однако эта история осталась уже далеко в прошлом, была почти забыта и вспоминалась лишь во время неизбежных семейных ссор как один из

самых горьких эпизодов семейного прошлого. Переселение целого клана, как заметили наши поразительно скромные и нетребовательные соседи, было, конечно, случаем совершенно другого рода — и у самых отъявленных пессимистов из нас появился румянец. Даже бабушке, у которой из-за инсульта больше не двигалась левая сторона лица, удалось каким-то чудом растянуть правый угол рта.

Дом не представлял собой ничего особенного, он стоял на краю деревни и больше напоминал заброшенную сельскую корчму с подвалом, в котором прежний хозяин, может, по своей воле, а может, и нет, оставил несколько бочек вина (к несчастью или, наоборот, к счастью, совершенно скисшего, в чем нас клятвенно заверила ценительница настоящей жизни тетя Мара). О назначении еще нескольких пристроек оставалось лишь гадать. В одной из них раньше явно находился свинарник. Это установила двоюродная сестра Елизавета, внебрачная дочь Мары. Елизавета ощущала не только запахи, о существовании которых большинство людей просто не подозревает, но могла «почувствовать» историю места, интенсивность и оттенки переживаний, флюиды которых продолжали витать в воздухе и после того, как событие, их вызвавшее, минуло. «Чую поросят», — сказала она, когда вошла в пристройку, которую ее мать, амбициозная, но начисто лишенная таланта самодеятельная художница, решила переделать в мастерскую.

К счастью, ее слышали только мама и я. Тогда Елизавета раздула ноздри и добавила, что чует даже смертельный страх поросят перед убоим. Мама закричала: «Ради всего святого, молчи!» В конце концов тетя Мара сама выбрала эту пристройку из-за вида на реку, долину и окружающие холмы. Кроме того, все будет перекрашено, проветрено и немедленно пропитается запахами теткиных красок и парфюмерии. И вообще, уважаемые английские семьи живут в перестроенных конюшнях!

Елизавета спокойным голосом заявила, что будет молчать за три коробки конфет средней величины. «За две», — настояла мама. «За две самых больших», — предложила компромисс Елизавета. «Но в последний раз», — заключила мама.

Тетя Мара так и не узнала, какие звуки сменились барочными ариями, в сопровождении коих она с кистью в руке и сигаретой во рту бросилась воплощать в новой мастерской свое «обновленное видение». Когда Елизавета как-то перед ужином громко заметила, что арии ее мамыши напоминают поросячье хрюканье, та взвилась, и тут в качестве отвлекающего маневра пришлось очень кстати мамина своевременная похвала теткинго новаторского стиля: даже не выбрав «ублюдка», Мара с удовольствием долго и пространно рассуждала о разнице между акварелью и маслом — к восторгу каждого из членов семьи, срочно придумавшего себе неотложное дело, чтобы убраться из-за стола до конца ужина. На следующее утро Елизавета получила от мамы еще одну коробку конфет.

Тем не менее вначале казалось, что каждому из нас жизнь в деревне даст то, чего он больше всего хотел. Бабушке — запах свежей утренней земли и отдаленное мычание коров, другие звуки и запахи, напоминавшие ей детство. «Гвоздики, — нацарапала она на листе бумаги, когда инсульт отобрал у нее возможность говорить, — везде будут расти гвоздики, и я буду спать с открытым окном, чтобы с последним вздохом унести их запах в мир иной». Мама надеялась, что в новом доме она сможет организовать личный центр медитации и здорового образа жизни, она нашла достаточно места минимум для двух тысяч книг по дзэн-буддизму, йоге, у-шу и другим важным занятиям эры Водолея. Именно им она, рано вышедшая на пенсию учительница средней школы, решила посвятить себя целиком.

Прежде всего маму воодушевили тропинки, мягко спускавшиеся в долину и поднимающиеся к лесу, что оказалось очень кстати для ее каждодневной утренней пробежки или «малого марафона» — так эту крайнюю

форму мазохизма назвал психиатр, у которого папа и мама, участники программы здорового образа жизни, долгие годы наблюдались ввиду папиного алкоголизма. После нескольких лет постоянного сопротивления психиатрическому воздействию папа неожиданно потерял вкус не только к питию, но и ко всем другим радостям жизни, в том числе и к тем, от которых мама бы еще не отказалась. И ее утренний марафон был единственным способом нейтрализовать избыток энергии, ежедневно накапливавшейся в ней из-за папиного безразличия. Папа же, прекрасно все понимавший, тем не менее каждый вечер заботливо заводил будильник, чтобы мама не проспала.

Потом, когда по его просьбе они бросили программу, он пошел к директору средней школы, где тридцать лет преподавал историю, и потребовал досрочного выхода на пенсию. «С историей покончено! — сказал он. — И не потому, что так утверждает Фукуяма, а из-за победы, которую наконец одержал наш небольшой народ. Свобода, эта самая запутанная из всех благодатей, совершенно уничтожила почву, на которой могли бы возникнуть трагические конфликты или великие идеи, и посеяла семена мелочных распрей, торгашеского коварства и стереотипов, создаваемых СМИ». Его предмет, история, из высочайшей науки за одну ночь опустился до эзотерического уровня, а уж этой новоявленной дисциплиной папе не пристало заниматься. Уйти ему хотелось бы с соответствующим вознаграждением.

Директор, мамин двоюродный брат и друг семьи, немедленно исполнил просьбу отца. Вознаграждение оказалось решающей частью суммы, недостающей для покупки дома, где бы «все мои», как нам сказал свежеспеченный пенсионер, нашли лучше поздно, чем никогда, ту реальную свободу, которая и есть единственный источник настоящего счастья. «Быть свободным — наш долг в конце концов, — добавил он запальчиво. — Свободному государству нужны свободные люди».

Папа представлял себе счастье как покой. Чем отличался от мамы, которая хотела остаться вечно молодой и готова была умереть за это. Он решил прислушаться к совету Юнга, согласно которому мужчина в шестьдесят должен распрощаться с багажом прежних лет и заглянуть в себя, дабы из воспоминаний сложить картину жизни, проясняющую смысл самого его присутствия на этом свете и связывающую его с Богом. Он подчеркнул, что останется доступным для окружающих, но так как часто будет погружен в свои мысли, то ожидает, что мы проявим уважение к этой его потребности углубиться в свой внутренний мир. «Думаю, каждый из вас получил свое», — сказал он. Петер — идеальное место для своего телескопа и наблюдения за звездами; я — неограниченные возможности для бесцельных шатаний по лесам и бесплодных размышлений о моем будущем, которое, судя по всему, ничем не будет отличаться от моего настоящего; мамин брат Винко, бухгалтер, годами снедаемый желанием вырастить самый большой кочан капусты в мире и попасть в книгу рекордов Гиннеса, — плодородную землю; двоюродный брат отца Владимир — время и покой, чтобы закончить книгу воспоминаний о своем героизме в партизанах; его жена, тридцатью годами моложе, — довольно хорошую дорогу, чтобы на «альфа-ромео» Владимира каждый день исчезать и развлекаться с приятелем, оставляя мужа в покое.

После этой речи папа удалился восвояси и оставил нас гадать, кто же из присутствующих вообще достоин излучаемого им святого сияния. Впервые в жизни мы все, как один, ощутили, что папа свои настоящие таланты взращивал тайно, скрывая до последнего, и что возле него ни с кем из нас не может приключиться ничего плохого. Ремонтные работы в доме и его шести пристройках велись с таким воодушевлением и согласием, что мы даже слегка — с двух лет до одного года — сократили срок, предусмотренный для его окончательного устройства.

Единственным человеком, не вписавшимся в то целое, в которое в ореоле папиной мудрости и маминой энергетики слилась наша семья, была, конечно, Елизавета. Это произошло отчасти потому, что мама перестала подносить ей коробки конфет, а главным образом из-за новой школы, где Елизавета, как она уверяла, по большинству предметов превзошла не только своих одноклассников, но и учителей. «Скука — порождение дьявола», — много раз повторяла бабушка, когда еще могла говорить, однако тогда никто и не подозревал, какими пророческими окажутся эти слова применительно к Елизавете.

Однажды в воскресенье за обедом эта толстенькая девица заявила, что наш дом со всеми его пристройками стоит как раз над опасным узлом электромагнитных излучений и поэтому все наши усилия создать идеальную модель семьи обречены на неудачу. Мы имеем дело с потусторонними силами, с неуправляемыми домовыми и прочей нечистью. В ответ на это заявление тихо вздрогнула лишь мама, остальные просто пожали плечами, хмыкнули и продолжали есть.

Елизавету наша вялая реакция не устроила. Она перешла в открытое наступление. Она сказала, что в доме происходят странные вещи. Что уже некоторое время тетя Мара заполняет просеки и луга на своих акварелях не овцами, а поросятами. Что бабушка почти каждую ночь бранится с кем-то в своей комнате. Что книги, заботливо расставленные мамой на полках в алфавитном порядке, уже дважды были перемешаны и теперь стоят согласно какой-то неизвестной, вероятно дьявольской, системе. Что из моей комнаты ночью доносятся горькие стоны и вздохи, как будто кто-то кого-то душит. Что она уже два раза видела дядю Владимира стоящим перед грозой голым по пояс, с поднятыми вверх руками посреди поля соседской пшеницы и заклиная гром, чтобы тот поразил его. Что на столе в комнате Петера она нашла записи, подтверждающие, что он в свой телескоп разглядел огромный метеорит, грозящий разнести Землю на куски и находящийся всего в двух неделях полета. Что дядя Винко копает землю в саду вовсе не для того, чтобы посадить капусту, а роет три глубокие ямы, похожие на могилы, куда собирается засунуть наши тела, когда злой дух, хозяйничающий в этом краю, прикончит нас всех по очереди. И выход один: продать дом и вернуться в город.

После ее слов наступила тишина. Некоторые украдкой переглянулись. Другие уставились в свои тарелки. Потом все одновременно повернулись к папе. Было очевидно, что он — единственный, кто способен прокомментировать это и вынести приговор. Папа сначала положил в рот последний кусочек говяжьей отбивной и хорошенько его прожевал. Потом аккуратно вытер губы и подбородок салфеткой. Потом, ни на кого не глядя, медленно поднялся и ушел в свою комнату. Нам показалось, что дверь он запер несколько решительнее, чем обычно.

Роль судьбы пришлось взять маме. Она сказала, что тетя Мара вольна рисовать не только поросят, но и жирафов, моржей или пятиглавых чудищ, если так подсказывает ее художественная фантазия. Что бабушка в своей комнате ни с кем не бранится, а слушает радио, потому что у нее бессонница. Что книги на полках так перемешали не потусторонние силы, а они сами перемешались, когда полки рухнули под их тяжестью. Что стоны и всхлипы доносятся из моей комнаты из-за кошмаров, мучающих меня с пяти лет, а никак не вследствие интенсивной мастурбации, смущающей юношей моего возраста. Что касается Владимира, то мы должны понимать, что у него молодая и легкомысленная жена, а иногда это слишком даже для боевого партизана, получившего кучу наград. Записка Петера о метеоритах — конечно, дело его и того профессора, у которого Петер защищает диплом по космологии, Земля же никогда не расколется на куски только потому, что маленькая проказница захотела напугать своих близких. А Винко, закончила мама, пусть сам объяснит, кто или что закопано в саду.

Дядя Винко признался, что ямы действительно похожи на могилы, но хобби для него так важно, что у него просто нет времени думать об убийстве кого-нибудь из нас. Он только хочет закопать старую рухлядь, скопившуюся в полуразрушенном сарае в саду, чтобы, отремонтировав его, хранить там семена. Зачем нам сломанные кирки, мотыги, вилы, косы, плуги, бороны, серпы и бог знает что еще, если, имея в прошлом два поколения горожан, мы вернулись в деревню совсем не ради пахотного земледелия! Все лишнее, что так явно напоминает нам иные времена, другие края, печальное прошлое, следует закопать, скрыть с глаз. Это надо сделать, чтобы избавиться от ошибок, которыми отмечены все наши усилия с момента вселения в новый дом. Мама была первой, кто при этих словах заплодировал, за ней последовали все остальные, кроме Елизаветы, показавшей нам язык и выбежавшей вон.

Не зная, чем бы заняться, я предложил помочь дяде Винко. Некоторые вещи из сарая были такими тяжелыми, что он один едва бы оттащил их к месту последнего успокоения. Вне себя от благодарности, он уступил мне самые пыльные и трухлявые обломки, что же касается громоздких предметов, требовавших двух пар рук, то более тяжелый или неудобный конец как по волшебству всякий раз доставался мне. Я обрадовался, когда к нам присоединился Петер и начал поддразнивать дядю Винко: он спрашивал, какой философский смысл дядя находит в использовании мотыги и лопаты для того, чтобы их же и закопать, и главное, — не видит ли он в этом погребении старого инструмента с помощью нового символической модели сизифовой тщетности всех человеческих усилий.

В ответ дядя Винко съязвил: умничать в пределах курса начальной школы он обычно предоставляет студентам-физикам, которые уже заваливали философию. Сам же он видит в своем начинании решающую фазу оздоровления семьи, более чем сто поколений кряду служившей бесчисленным эксплуататорам во всех их разновидностях: от графов и помещиков до церкви и социалистического кооператива, члены которого всегда пахали и сеяли с ненавистью в сердце. «Эти старые орудия словно несут на себе печать страданий целого рода, — со значением сказал дядя, — поэтому они должны быть погребены на веки вечные. Только после этого мы станем по-настоящему свободны — если мы действительно хотим освободиться. И тогда любой инструмент, который мы возьмем в руки, будь то лопата, топор, кофейная мельница или компьютер, будет вызывать чувство радости и любви к жизни, а не страха перед нищетой или неволей».

Эти слова Винко произнес скорее торжественно, чем гневно. Потом он попросил Петера помочь нам вынести из сарая последний предмет, такой огромный и несуразный, что с ним можно было справиться только втроем. Каждый взялся за свой конец, и мы с трудом выволокли его из сумеречного пространства на дневной свет. Мы положили его на траву и осмотрели. Сначала мы были удивлены. Потом поражены. И наконец, нас охватил ужас.

Это было ни на что не похоже. Прежде всего у предмета не было никакой плоскости, на которую его можно было бы поставить. Из бесформенного, непонятно для чего служащего ядра беспорядочно и асимметрично торчали во все стороны разнообразные стальные, алюминиевые и даже деревянные обрубки. При наличии некоторой фантазии можно было угадать формы кубистически деформированных лопаты, кирки, мотыги, может быть, серпа или косы, может быть, грабель и еще какой-то разновидности сельскохозяйственного инструмента, однако это тоже были только фрагменты того, чем бы это могло быть. Между тем в разных узлах можно было распознать звенья цепи, половину зубчатого колеса, унитаза, искривленный механизм настенных часов, две гири и почерневшую ручку сковороды.

Если бы эти обрубки или обломки чего-то были связаны вместе проволокой! Или подверглись сварке в единое целое! Тогда мы могли бы припи-

сать результат фантазии скульптора-модерниста и, перенесясь в сферу искусства, где допустимо все, избавиться от ужаса перед этим конкретно-осязаемым воплощением агрессии, возле которого мы застыли, как беспомощные дети.

Придя в себя первым, энтузиаст Винко предложил немедленно выкинуть эту злосчастную шутку пьяного деревенского кузнеца, закопать и забыть о ней. Петер решительно запротестовал: предмет мог быть частью космического корабля, упавшего где-то поблизости! И вообще любую незнакомую вещь надо сначала исследовать, дать ей название, определить ее смысл, чтобы она когда-нибудь потом не внедрилась в наше подсознание в форме невроза. Но Винко упорно стоял на своем. Думаю, что он и сам отволок бы этот искореженный агрегат к яме, если бы в этот момент рядом не пробежала мама, возвращавшаяся с полуденного марафона (утренний отпал из-за ливня). Она остановилась, осмотрела предмет во всех возможных ракурсах, нажала там, потрясла здесь, потянула туда-сюда. После чего дрожащим от волнения голосом она велела мне позвать папу. Через пять минут около находки собралась вся семья, включая даже жену Владимира, только что вернувшуюся с одного из своих свиданий.

Струей воды из садового шланга мы смыли с агрегата грязь. Мы хотели убедиться, нет ли под слоем слежавшейся пыли следов пайки или сварки. Петер (впрочем, совершенно напрасно) принес увеличительное стекло для изучения мелких соединительных швов.

Мы все ждали, что скажет папа. Он долго молчал. Когда наконец он открыл рот, то не озвучил спасительного резюме, а только спросил, что об этой вещи думаем мы.

Елизавета сказала, что перед нами «адская машина», которую под покровом ночи выковали духи, чтобы поселить в нашей семье раздор и выжить нас, ведь более чем очевидно, что здесь мы не найдем ни счастья, ни покоя. «Глупости, — сказала мама, — о духах мы будем говорить в последнюю очередь, только после того, как исчерпаем все возможности рационального объяснения». Каковых, впрочем, она и сама не могла найти, поэтому в замешательстве замолчала.

Скоро стало очевидно, что в поисках ответа на загадку, лежавшую перед нами, мы не столько шарим по архивам собственной памяти, сколько соревнуемся в игре воображения. Особенно отличилась жена Владимира, заявившая, что предмет возник после столкновения спортивного автомобиля с трактором, перевозившим сельскохозяйственный инвентарь: под сильным давлением и при взрыве горючего все было перекорежено и деформировалось вот в это нечто, над чем мы сейчас напрасно ломаем головы, отвлекаясь от более приятных занятий (в ее случае — от свиданий в городе, на одно из которых она сразу же потом и отправилась).

Владимир заявил, что для него как научного материалиста в этом мире нет таких тайн, природу которых нельзя было бы определить при помощи исторической диалектики. Надо только заглянуть в прошлое, расспросить прежнего хозяина и его предшественников, ведь штука-то не с неба упала, ее кто-то там, в сарае, поставил, кто-то в этом замешан, кто-то в ответе. И надо выяснить кто, ведь свобода возможна только после того, как любая, даже самая ерундовая, ответственность будет справедливо распределена между всеми.

Тетя Мара принесла мольберт и начала рисовать неизвестный предмет. «Подумаешь, с неба свалился, — сказала она, — все в этом мире начинается с художественного вызова».

«А ты?» — папа повернулся ко мне. Так как мне не хотелось показаться индифферентным, я быстренько внес идею относительно проводов, пломб и шестеренок от часов посередине. «Это несомненно бомба, — сказал я, — у которой что-то заклинило так, что она не сдетонировала, а

„ушла в себя”». Петер подтвердил, что идея представляется ему не самой идиотской, однако механизм в середине не часы, а коротковолновый радиоприемник. Он принес три батарейки, опустил их одну за другой в углубление посредине агрегата, и удивительный механизм затрещал и начал передавать программу: мужчина на незнакомом языке, скорее всего на арабском, что-то громко докладывал или объяснял.

С потухшими глазами, опустив руки, мы стояли около дьявольской машины и слушали голос, опустившийся бог знает откуда, может, из космоса, может, из недр самого агрегата или из глубин нашего пораженного воображения, которое под грузом произошедшего так же, как и предмет, стоящий перед нами, подверглось деформации, являя собой ныне сплав неизвестности и беспокойства. Пошел дождь, мы накрыли это нечто дерюгой и разбежались по своим комнатам.

Ремонт дома постепенно сошел на нет. Петер начал манкировать учебой, не пошел на выпускной экзамен, отложив его на следующий год.

Неизвестный агрегат лежал посреди сада, мозоля всем глаза. Он стойко переносил жару, дождь, град, пинки, ощупывание, химические анализы, фотографирование и главное — любопытство, поскольку наш дом постепенно превратился в аттракцион для заезжих туристов, как отечественных, так и иностранных. Какой-то американец потихоньку предложил за него папе четверть миллиона долларов. Папа сказал, что отдаст агрегат даром, если тот сначала объяснит, что это такое, откуда оно взялось и для чего служит. В конце концов, мы начали задыхаться от внимания любопытных граждан и журналистов, и вокруг дома и сада была возведена высокая стена с тяжелым запором на железной двери. Теперь мама бегала вокруг дома, она делала по двести кругов в день. Ее тень каждые несколько минут проносилась мимо всех наших окон за исключением папиного — его комната была на втором этаже.

Впрочем, папа ничего бы не заметил, даже если бы она по воздуху пролетала мимо его окна. Он по горло погрузился в изучение машиностроения, химии, агрономии, физики и смежных дисциплин. Какие-то книги он одолжил у Петера, другие набрал по библиотекам и книжным магазинам и привез домой на микроавтобусе. Он все больше худел, глаза у него горели, как будто изнутри его медленно и непрерывно пожирал адский огонь. Метод дяди Владимира тоже не дал результатов: Владимир составил доклад об истории дома и его прежних владельцах, но даже самый последний из них, у которого дом был куплен, не смог вспомнить, чтобы он когда-нибудь видел этот агрегат в сарае. И хотя бывший хозяин и сам выкидывал туда ненужную рухлядь, большинство вещей, по его заявлению, лежало там испокон веков.

Несколько месяцев спустя поиски продолжали только папа и Петер, а мы, утомившись, постепенно вернулись к старым и привычным занятиям. Тайна оказалась обременительной и даже несколько смешной, особенно когда среди ночи мы видели за окнами в саду папу и Петера, при свете карманного фонарика измеряющих расстояния и углы между частями агрегата и записывающих все данные, а потом слышали, как в комнатах над нами они до раннего утра шумно спорили и ругались. Однажды мама при всех попросила папу отказаться от такого убийственного поведения, если не ради себя самого, то ради сына-студента, который раньше был звездой факультета, а теперь находится на грани сумасшествия. «Я прошу вас, — сказала она, — прошу вас обоих от имени семьи — перестаньте».

Петер ничего не сказал. Папа же впервые после длительного перерыва обратился к семье так, как бывало в те времена, когда непонятного агрегата еще не было. Папа подчеркнул: это не семейное бедствие, как некоторые тут думают. Совсем наоборот. Все в этом мире имеет свой смысл, каждая вещь, сотворил ее Бог или человек, откуда-то произошла. И если мы отвлечемся от Бога, то у нас еще останется эволюция, квантовая тео-

рия и теория хаоса, не допускающие, чтобы нечто возникло из ниоткуда, где-то валялось и ни для чего не служило. Посмотрим правде в глаза: мы — семья, выбитая из седла стрессом большого города, чтобы выжить и сохранить наш дух, мы вернулись в деревню, к родным корням. Здесь — свежая кровь, энергия, новый жизненный импульс. Но от себя не спрячешься. Куда ни пойдешь, везде наткнешься на сфинкса, не пускающего тебя вперед. Его надо одолеть, если не хочешь топтаться на месте, или вернуться назад, где ты уже побывал. Мы, наша семья, всегда бежали: от деревенской нищеты — в город, от городской нищеты — в Америку, от чужого заморского мира — назад домой, от разочарования — к алкоголю, от алкоголя — к здоровому образу жизни, от здорового образа жизни — в мистику, оттуда — назад, к вере во всемогущество Разума. За прошедшие триста лет никто из нашего рода еще не оказывался лицом к лицу с Великой Неразрешимой Загадкой. Настал решительный для нас момент. Убежим или ответим на вызов?

С этими словами папа повернулся и ушел в свою комнату, к еде он вообще не притронулся. Мама молча заплакала. Крупные слезы тихо падали на куски цветной капусты, которые она с отсутствующим видом отправляла в рот. Мне показалось, Петер попробовал было еще что-то добавить, быть может, прояснить то, чего папа не досказал или не совсем ясно сформулировал, потому что его взгляд останавливался на каждом из нас, словно ища поддержки в надежде, что мы поймем слова, которые он собирается нам адресовать и которые он потом, видя мутный блеск наших глаз, вообще не выдавил из себя.

С тех пор тишина стала камертоном нашей жизни в полуотремонтированном доме, виноватая тишина, внешне похожая на доведенную до крайности предупредительность, она была нашей последней защитой от отчаяния, готового при первой возможности вырваться наружу и захлестнуть нас.

Папа и Петер начали приглашать в дом «ученых». Те выпили очень много вина и произнесли очень много слов. Один из них на компьютере Петера при помощи особой программы попытался сделать анализ форм и соотношений между частями агрегата. Больше всего результат удивил самого деятеля науки: после каждой его попытки на экране появлялось сообщение «Object of unknown origin»¹, что мы все и так знали. Немного позже какой-то крестьянин из деревни на другом конце края написал папе, что это тайное орудие, насколько можно судить по фотографии в газете, есть не что иное, как плуг. Он не стал ждать ответа и через три дня стоял на пороге с извинениями, дескать, эта штука не дает ему покоя, если у нас есть где-то поблизости невспаханное поле, он нам живо покажет, как здоровый крестьянский ум раскрывает любые секреты.

Поле и быка одолжил ближайший сосед, он же помог нам оттащить агрегат вверх по холму и прикрепить оглобли к двум обрубкам, один из которых напоминал часть лопаты, а другой — звено цепи. Потом крестьянин левой рукой взялся за обрубок, похожий на мотыгу, правой — за ручку кухонной сковороды, повернул предмет так, чтобы прижать колышающийся «лемех» к земле, хлопнул бичом, бык рванул, и «лемех» начал подрезать пласт земли. Позади остались глубокие, красиво выровненные борозды. «Плуг», — удовлетворенно заметил крестьянин, вспахав поле до конца. Во время работы радио в центре «плуга» передавало коротковолновую программу, не изменившуюся с тех пор, как мы ее слушали впервые: все тот же мужской голос тихо, твердо и деловито, без пауз, что-то сообщал, проповедовал, объяснял. Папа спросил крестьянина, не мешало ли ему радио пахать. Крестьянин ответил, что он бы предпочел какой-нибудь веселый народный напев, и потом конфузливо откланялся.

¹ Объект неизвестного происхождения (англ.).

Пришла осень, а с ней пора грусти. Мама еще летом бросила свои пробежки, накупила поваренных книг и начала печь потицы². Елизавета в школе до крови укусила учительницу математики, потом убежала в лес, где мы ее, заплаканную и закоченевшую, нашли с помощью полиции только через несколько дней. Дядя Владимир закончил мемуары, но был так недоволен ими, что швырнул рукопись в огонь, поклявшись никогда в жизни больше не писать. Вероятно, этот поступок был связан с тем, что его жена не вернулась с одного из своих свиданий. Зато пришло письмо, сообщавшее, что она оставляет мужа: если когда-нибудь она сама захочет написать мемуары, ей надо постараться, чтобы было, о чем писать. Дядя Винко поменял службу и работал так много, что совсем забросил выращивание капусты.

Потом, совсем перед первым снегом, умерла бабушка. В блокнотике у постели она карандашом нацарапала свое последнее слово: «Молния». Только три недели спустя перед самым Рождеством разгорелись дебаты о том, что она этим хотела сказать. По мнению мамы, перед кончиной бабушка почувствовала, что в нее ударила молния. Тетя Мара же утверждала, что бабушка хотела сказать нам нечто совершенно противоположное: молния поразит всех нас. Елизавета, которая в последнее время меньше дразнилась, сказала, что слово «молния» относится к агрегату, все еще лежащему в саду, хотя, когда снег скрыл его с глаз, мы о нем вроде бы позабыли. «В сарай, где в беспорядке был набросан всякий сельскохозяйственный хлам, старый радиоприемник, унитаз, — продолжала она, — однажды в грозу ударила молния, и огненная сила „сварила“ части предметов в „загадочный агрегат“, вот что нам хотела сказать бабушка перед отходом в мир иной». На вопрос, почему же сарай не сгорел, когда в него ударила молния, Елизавета ответить не смогла, сказав, что это уже новая история, другая тайна и ею нам заниматься не стоит.

Мы ждали, пока определится папа. Он молчал. Никто уже не надеялся разговаривать с ним, мы знали, что он снова начал пить и в нем едва заметно, но неодолимо копится быстрое раздражение. Мы тихо надеялись, что они с мамой вернутся к реабилитационной программе психиатра, сначала неудавшейся, может быть, именно потому, что она, развив в них стереотипы подсознания и пробудив слишком много веры в себя, потребовала затем смирения и готовности к непредвиденному. А вдруг во второй раз, с учетом пережитого опыта, они нашли бы общий язык с врачом и другими пациентами.

Когда снег растаял, мы отнесли неизвестный агрегат назад в сарай. Мама купила тяжелый замок и попросила меня повесить его на дверь. После того как я это сделал, она заперла дверь, а ключ бросила в колодезь во дворе. «Вот так», — сказала она.

Мы с папой начали ходить на долгие прогулки по окрестным холмам. Просыпалась весна. Мы чувствовали, как мама пытается вернуть папу назад к природе, к дыханию живых и понятных вещей, к запаху земли, в котором он сам видел некогда единственное лекарство от меланхолии, притекающей от слабости человеческого ума. Однако он все больше горбился. Его осанка выдавала всю тяжесть поражения, от которого невозможно избавиться за пару месяцев. Только в его глазах мы иногда замечали слабый блеск надежды на то, что через год-два он все же сможет примириться с непознаваемостью нашего совершенного мира.

Перевод Н. Стариковой.

² Потица — национальное блюдо, вид сдобного рулета, обычно с орехами. (Примеч. переводчика.)

МИЛАН КЛЕЧ

*

ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

Тот день был необычайно хорош. Дело было поздней осенью, и солнышко приятно припекало. И пока я ехал по проселочной дороге, сама мысль о том, что еду я на похороны и, следовательно, обязан испытывать некие горестные чувства, была мне совершенно чужда. Еще утром я проснулся в замечательном настроении. Честно говоря, мне пришлось приложить некоторые усилия и специально сосредоточиться, чтобы вспомнить, что такое скорбь. Не знаю почему; может, на меня так сильно действует погода. Именно это мы и обсуждали по дороге. Наверно, я и впрямь слегка не похож на других из нашей компании: они-то все сразу же натянули на себя личину праведной скорби и были в этом совершенно непоколебимы. Мне это вовсе не мешало, скорее я опасался, что переполнявшая меня радость потревожит их спокойствие, и последнее отнюдь не входило в мои намерения. В таких случаях я стараюсь ничем не отличаться от остальных и уж точно никогда не стремлюсь навязывать кому-то свое расположение духа, хотя вопреки моему желанию иногда случается и такое.

Как только мы приехали, я сразу присоединился к веренице людей, собиравшихся выразить соболезнование матери моего приятеля. Я слегка склонил голову, хотя все во мне кипело радостью, и, если бы не подобные обстоятельства, я вел бы себя совершенно иначе. Я косился на нашу компанию (они-то всегда и во всем ведут себя абсолютно корректно) и делал все, как они. Я тоже постарался, насколько это возможно, отдаться в руки судьбы, чтобы потом меня не в чем было упрекнуть. Однако я просто обомлел, когда оказался перед самой скорбящей, а это ведь была мать моего приятеля! Уж на что я не ханжа, но даже для меня это было слишком. Скорбящая была раздета. Это мягкое выражение используется здесь только потому, что мне не хотелось бы грубо разрушать скорбно-торжественное настроение, царившее на похоронах, в противном случае я сказал бы, что она была просто в чем мать родила. Старуха принимала выражения соболезнования, будучи совершенно голой. Моя компания тоже дождалась своей очереди, каждый склонил перед матерью моего приятеля голову и пожал ей руку. Их лица ни на секунду не дрогнули. Не то что у меня. Когда подошла моя очередь, мне пришлось буквально заставить себя проглотить слюну, иначе не думаю, что я вообще сумел бы проделать всю эту процедуру. А что началось бы, если б я не смог! Представляю, что мне пришлось бы выслушать... Надо признаться, скорбные чувства во мне от всего этого так и не пробудились, но вот обуревавшая меня до этого радость мгновенно улетучилась. Настроение мое переменялось, и меня охватило другое чувство — злость. Голая старуха жутко действовала мне на нервы. По крайней мере мне это было трудно выносить, хотя догадываюсь, что сказали бы остальные члены моей компании — «ну что поделаешь, это похороны» и все такое. Я просто не знал, куда отвести взгляд, не мог же я вообще закрыть глаза. Смотреть на ее иссохшую грудь было выше моих сил, впрочем, тонкие костлявые ноги были ничуть не лучше. А волосы под животом окончательно переполнили чашу моего терпения. Я решил полностью переключить свое внимание на покойного и окропил его святой водой. Но не вечно же мне торчать у гроба. Скрестить с ней взгляды тоже не удалось: взор ее был опущен. Я не мог поверить собственным глазам, боялся потерять сознание. Слегка повернув голову, я посмотрел назад с тайной надеждой, что виденное раньше окажется просто странным наваждением, обманом зрения. Но увы! У меня все прямо-таки поплыло перед

глазами, когда я увидел голую задницу старухи. Еще не веря своим глазам, я подумал, не подойти ли к ней еще разок, чтобы убедиться в своей ошибке. Сделать это мне, однако, не удалось, потому что на меня налетела моя чертова компания, которую я поминал про себя уже самыми крепкими словами. Я надеялся, что кто-то из них скажет обо всем происходящем хоть слово или вдруг голос у кого-нибудь дрогнет. Как бы не так. А позволь себе я о чем-то заикнуться, что-нибудь выкинуть, меня давно бы уже стерли в порошок. И я молчал, хотя такое поведение и не казалось мне верхом мудрости. А они как будто только и ждали, что я устрою какой-нибудь скандал и тем самым возьму на себя все земные грехи. Только мне это было ни к чему, мне и своих забот на этом свете хватало, тем более, что я с большим трудом и не вполне твердо держался на ногах.

Раздался колокольный звон. Похороны начались. Провожающих было много. Как это обычно бывает, за гробом шли близкие покойного. Мой друг и его сестра держали мать под руки. Она не оделась даже на похороны. Я шел за ними. По правде говоря, у меня не было никакого, даже приблизительного, представления о том, что бы все это могло значить. Обнаженная старуха шла со склоненной головой. Я не видел, закрыты у нее глаза или нет. Может, и закрыты, ведь ее вели под руки дети, а я снова не знал, куда девать глаза. Я-то их закрыть не мог — меня под руки никто не вел. Поэтому время от времени мой взгляд волей-неволей упирался в вопиющую наготу идущей впереди старухи. Компания моя тоже шла склонив головы. Похоже, только у меня внутри все переворачивалось, и я ничего не мог с этим поделать. Голый зад старухи отвратительно покачивался в такт движению погребальной процессии. Я испугался, что меня стошнит. Чтобы держать себя в руках, я стал вспоминать обо всех мерзостях, с которыми мне довелось столкнуться за свою жизнь. Но все, что мне удалось вспомнить, не шло ни в какое сравнение с тем, что я увидел сегодня. С этим, в принципе, ничто не могло сравниться (если это ощущение вообще можно описать словами). Будучи по природе аналитиком, я спросил себя, а не стал ли я свидетелем какого-то странного местного обычая, но и это объяснение показалось мне совершенно несуразным. Если бы такой обычай существовал, уж я-то наверняка услышал бы о нем одним из первых. Я не сомневался, что узнал бы об этом еще ребенком, еще на пороге юности. Тогда бы я стал ходить на похороны, чтобы смотреть на голых женщин. Мужья-то умирают не только у старух. Да и почему только мужья? Еще и родители, и всякие другие родственники. Словом, эту идею я сразу же отбросил, но никакого другого объяснения так и не мог придумать: каждая следующая гипотеза была еще глупее прежней. Мне не оставалось ничего другого, как опустить голову как можно ниже, потому что иначе меня наверняка упрекнули бы еще и в том, что я веду себя похотливо. Единственным моим желанием было, чтобы эти похороны поскорее закончились. При этом меня неотступно преследовала мысль, что только мне одному старуха кажется голой, а это значит, что я в одночасье спятил. Что, согласитесь, весьма неприятно. Не все обнаженные женщины красивы — это факт. Если бы я в своей жизни видел только голых старух, жить было бы совершенно невыносимо. Я дал себе слово, что еще вернусь в эти места. Я решил, что буду всерьез следить за некрологами в газетах и лично проверю, в чем тут дело. А начини я сейчас кого-нибудь расспрашивать, это, безусловно, прозвучит неуместно. Вы только представьте себе! Вдруг бы я обратился к своему приятелю и сказал: «Слушай, почему твоя мать была на похоронах голышом?» Хорошо, если после этих слов он всего лишь с удивлением посмотрит на меня. Но с мыслью, что я внезапно и таким странным образом свихнулся, я не мог так просто примириться.

Мы дошли до кладбища. Там нас ожидал священник. И он тоже вел себя так, как будто все было в полном порядке. Когда он выражал старухе

свои соблезновения, его лицо не изменилось ни на йоту. У меня просто волосы зашевелились от ужаса. Я пожалел, что не остался дома. За это на меня точно никто бы не обиделся. А я прямо-таки рвался на эти похороны!

Гроб опустили в могилу. Нет смысла приводить подробности, известные каждому. Нет смысла говорить о скорбных чувствах. На этих похоронах существенным было другое. Когда могилу засыпали, меня снова озарила слабый луч надежды. Мой приятель укрыл свою мать черным плащом. Ее нагота перестала существовать, и меня, представьте, это ничуть не расстроило. Только вообразите себе, как бы это выглядело, спроси я у своего приятеля: «А почему твоя мать и с похорон не идет в чем мать родила?»

Однако не знаю, как бы я повел себя, будь скорбящая красивой молодой женщиной. Захотел бы я тогда, чтобы кто-нибудь укрыл ее плащом? Не стоит осуждать меня за эту фантазию. Она означала лишь то, что в сердце моем опять зашевелилось радостное чувство.

Скорбная процессия вернулась домой. Дальше были поминки. Вино показалось мне превосходным, в нем не чувствовалось горьковатого привкуса скорби. Мне оно на самом деле очень понравилось, и вскоре я оказался под прицелом пристальных и осуждающих взглядов моей компании. Стало совершенно ясно, что мне предстоит объясниться с ними раз и навсегда. Я почувствовал, что во мне достаточно сил и достаточно внутренней свободы для этого — это слово в такой ситуации, по-моему, не нуждается в особых объяснениях.

Сын покойного вскоре оживился и разговорился. Я знал, что рано или поздно на свой страх и риск обращусь к нему с расспросами, но ждал — может, он и сам расскажет о том, что показалось мне столь невероятным. От моей компании в этой ситуации глупо было ожидать какой-нибудь инициативы. Они никогда не задают никаких вопросов и только слушают, принимая на веру все, что им ни скажут.

К большому столу подседа пожилая женщина, уже совершенно одетая. Когда она успела одеться, я не заметил: мысли мои все это время были заняты совсем другим. Я чувствовал, что испытываю к ней глубокое уважение, хотя эти похороны все-таки плохо укладывались у меня в голове. Вообще-то я люблю сразу выяснять все, что меня интересует, да и жизнь научила меня тому, что ничто не делается само по себе, и вскоре я сам заговорил со своим приятелем. Хотя мне и было неловко, я намекнул, что хотел бы у него кое-что спросить, но не знаю, как он отнесется к моему вопросу. Оказалось, он был даже удивлен, как это я ничего не знаю. Он-то был уверен, что рассказывал мне историю своих родителей. Моя компания — все, как один, — не преминули бросить на меня пронзительный взгляд. Мне стало ясно, что они и сами не имеют ни малейшего представления, о чем идет речь. И мой друг в нескольких словах рассказал мне историю, моментально перевернувшую мое представление о его матери.

С покойным она познакомилась много лет назад. Как выразился мой приятель, обстоятельства их встречи нельзя было назвать полностью безупречными, но все равно это положило начало тому чувству, которое связывало их, что называется, до конца их жизненного пути (для одного он как раз и истек несколько дней тому назад). Когда покойный впервые увидел мать моего друга, она была совершенно раздетая. По странному совпадению и в следующий раз он встретил ее в таком же виде. И так далее. И так повторялось раз за разом. На самом деле для той страстной любви, что вспыхнула между ними, нагота не имела никакого существенного значения. Нашли друг друга две родственные души, как говорится в таких случаях. Оба они действительно были неординарны. Эти встречи все повторялись и повторялись, и покойный предложил ей нечто такое, что теперь, в наших условиях, кажется невероятным. Он сказал, что хочет всегда видеть ее раздетой, и это его необыкновенное желание исполнилось. Вот какая это была любовь! Только представьте себе, им же пытались поме-

шать. Но они не сдались. Они преодолели все трудности и своим упорством добились того, что все стали преклоняться перед их любовью. Что за безмерное счастье! Что за невысказанная радость! Мысленно я тут же представил себе тысячи вариантов таких отношений. Я уже не обращал внимания на свою компанию, которая немедленно осудила меня за то, что я сую свой нос в чужие дела. Я послал их куда подальше. Что за изумительная женщина! Где были мои глаза! Я ругал себя за то, что был так невнимателен. Если бы я ушел с похорон раньше времени, я все еще блуждал бы в потемках — и поделом. А теперь я смог вздохнуть полной грудью! Я знал — в этой жизни не все еще потеряно. Я был в этом совершенно уверен. Я крепко обнял эту женщину, которую муж никогда не видел одетой. Прощаясь, я улыбался от переполнявшего меня счастья. Она крепко сжала мою руку и просто сказала: «Мужайтесь!» Я готов был кричать от радости. В ногах появилась легкость. Я почти что летел. И я сбежал от своей компании, чтобы они не испортили мне этого ощущения счастья. Для них оно было бы непосильным. Их оно могло бы раздавить, а я на всю жизнь вдохнул его полной грудью.

Перевод А. Судьиной.

ЯНИ ВИРК



ДВЕРЬ

Конечно же, зря меня тогда упрекали, да и вообще неправда, что мне в жизни нечем было заняться. По крайней мере дважды в неделю я ездил в Любляну первым рейсовым автобусом, отходившим в 5.05 утра. Это уже само по себе было непросто, сегодня я, наверное, вообще не смог бы сделать ничего подобного. Ничего не выражавшие лица моих попутчиков были хмурыми и усталыми, а их облачение напоминало проржавевшие клетки в зоопарке. Я не ощущал ни малейшей связи с ними. Хотя от моей одежды не раз несло спиртным или рвотой, джинсы были протерты на коленях, молния на вишневой бархатной куртке сломана, а левая кроссовка вот уже несколько месяцев как потеряла язык, — все равно у меня не было ничего общего с ними. Я, видите ли, человек духовный — вот в чем разница. И к людям в автобусе я чувствовал большую неприязнь, чем хотел себе тогда признаться. Даже боязнь одиночества не приблизила бы меня к ним. В эти дни я приезжал в Любляну около шести. Я шел пешком по Миклошичевой улице до Тромостовья, а потом слонялся перед газетным киоском на рынке, где до половины седьмого никогда не бывало продавца. Из стопки свежепривезенных им газет я выуживал одну и шел пить кофе к Албанцу³ над Любляницей. В четверть восьмого я сворачивал газету, совал ее под мышку и направлялся к теологическому факультету.

То, что я ходил на теологический факультет слушать курс по космологии, совсем не нравилось моей девушке. «Я не знаю этого слова», — повторяла она. Она и правда не понимала, что оно значит. «Оно не только тебе, всем непонятно», — отвечал я ей, не добавляя при этом, что существуют разные степени незнания, и непонятным, чужим что-то может

³ Кафе в Любляне на набережной реки Любляницы. (Примеч. переводчика.)

быть тоже по-разному, и есть люди, для которых чужое может стать своим. Мое поведение вызывало в ней все большее раздражение. Раньше ее не волновали мои прогулы на философском факультете, она сама приучила меня плевать на занятия и приходиться к ней на работу в детский садик во время тихого часа. Сколько раз я укладывал ее на плюшевых медвежат в комнате, где хранились игрушки, и задирали ей халат. А тут мне вдруг снова приспичило слушать лекции, на которые я не ходил уже почти два месяца, потому что нашел временную работу. У нее сразу возникла масса замечательных идей по поводу того, чем бы мне заняться. Подходило все, кроме космологии. И когда как-то раз, возвращаясь из кино, мы шли и ссорились и я не удержался и спросил ее, что, собственно, значит слово «космология», она несколько секунд упрямо молчала, а потом до крови расцарапала мне руку, что было прямым доказательством ее бешенства. В таких случаях я никогда не вел себя мягко и понимающе. Прямо посреди улицы я, действуя намеренно и с издевкой, одним рывком оборвал все пуговицы на ее кружевной блузке, под которой ничего не было. (Как раз за эту нелюбовь к нижнему белью я только что перед выходом из дома, из квартиры, которую она снимала, отчитывал ее, но, получается, безрезультатно.) Тут же добрая дюжина глупых плотоядных мужских глаз вытаращились на ее обнаженную грудь. Я пошел прочь, через несколько секунд она догнала меня, придерживая разлетающиеся полы блузки руками, приникла, и мне пришлось обнять ее за плечи. До ее машины мы шли молча. Пока мы ехали к ее квартирке в полуподвальном этаже, она плакала и, всхлипывая, призналась, что терпеть не может вещей, значения которых не знает. При всей своей наивности я только тогда почувствовал, что однажды мы, наверное, разойдемся. «Возможна ли любовь между духовным мужчиной и женщиной, таковой не являющейся?» — спрашивал я и, предвидя ответ, ощущал огромную пустоту.

«Космология, космология», — нашептывал я ей иногда потом во время пыхания на плюшевых медвежатах, и тогда мы любили друг друга так бурно, что солома в игрушках нестерпимо скрипела. «Может ли зло, имеющее позитивную цель, быть отражением духовности?» — нередко спрашиваю я себя. «А есть ли позитивная цель?» — спрашиваю еще чаще.

Каждый понедельник и каждую среду в 7.25 я сидел в аудитории теологического факультета. Лица людей вокруг меня не были особенно одухотворенными. Я чувствовал себя так же и среди бледных и прыщавых студентов строительного факультета, где несколько раз бывал на лекциях со своим хорошим другом. Преподавателя по внешнему виду можно было принять за кондуктора междугороднего автобуса. Он говорил о различных теориях происхождения Вселенной: древнегреческих, средневековых, современных. Он рассказывал о пределах космоса, об атомах и пустоте в них, о распаде Вселенной и о ее центре, о миллионах и миллиардах лет. Слова он ронял без воодушевления, с высокомерием специалиста, уставшего от постоянного пересказа одного и того же. Некоторые студенты усердно записывали в тетради фразы типа: «Как известно, Вселенная была сотворена столько-то и столько-то миллионов лет назад», «...она обладает такими-то параметрами в длину и такими-то — в ширину...», «...некоторых звезд больше не существует, но свет их все еще виден...», «...если Вселенную измерить миллионами лет, все равно трудно определить, что же находится за ее пределами», другие готовились к следующей паре, а некоторые листали под партами журналы. Преподаватель время от времени зевал. Это и понятно, ведь было еще очень рано.

Регулярно дважды в неделю с полвосьмого до девяти я сидел в аудитории теологического факультета и парил в космическом пространстве. Случалось, что дни напролет я хранил в себе это ощущение, и со временем мне вполне хватало одной лекции в неделю или даже в две недели. Моя подруга много раз упрекала меня в том, что я отрываюсь от действитель-

ности. «Ты как с Луны свалился», — говорила она, и при этих словах я каждый раз представлял себе, как однажды родители спящих детей обнаруживают нас на плюшевых медведях и меня, маленького и невзрачного, вышвыривают через окно, и я парю в воздухе, невесомый и почти бестелесный, поднимаясь все выше над Землей, и потом уплываю в открытый космос. Между нами возникало все больше непонимания, и я уже подумывал, а не бросить ли ее спокойствия ради, к тому же она не хотела больше одалживать мне деньги и машину, которая мне, парню из пригорода, много раз бывала, как говорится, нужна позарез. Вот тут и произошло то, что заставило меня отказаться от этого намерения.

Однажды в аудитории теологического факультета ровно в половине восьмого появилась девушка, которой я раньше никогда не видел. Я заметил ее, когда она усаживалась за первую парту у окна. Поднимавшееся над крышей соседнего дома солнце метнуло сноп света прямо туда, где она сидела. На какое-то мгновение мне показалось, что в этом свете она растворилась, исчезла. Напряженно вглядываясь в столп солнечного света, я снова увидел ее лишь через несколько секунд. Вообще я часто наблюдаю за понравившейся мне женщиной, знаю, что такое наслаждение эстетическое и наслаждение эротическое. Но то, что происходило тогда в аудитории, не было наслаждением. Полтора часа я не шевелясь и испытывая сладкую боль в груди пристально всматривался в спину и волосы девушки, имени которой не знал и даже лица которой ни разу не видел.

«Вечность, космос, черные дыры, взрывы на Солнце, столкновение комет», — бубнил преподаватель, и его слова, отскакивая от моего взгляда, сыпались на девушку у окна. После лекции сквозь толпу скучающих прыщавых студентов я пробрался к выходу и на лестнице догнал девушку с первой парты. Когда я заглянул ей в лицо, то на мгновение смутился. Она была явно старше меня, но я никак не мог понять, сколько ей лет. В ее лице, оказавшемся еще красивее, чем я себе представлял, было что-то трепетное, стиравшее годы. Сколько ей было: двадцать пять, тридцать, тридцать пять? Я пригласил ее на чашку кофе, и она согласилась. «Мы ведь можем выпить кофе у меня дома, — сказала она. — Я не люблю шумных кафе». Пока мы брели по пустынным улицам, она рассказала мне о своей болезни, из-за которой несколько месяцев не могла ходить в университет. «А зачем тебе вообще эти лекции?» — спросил я ее. Она не ответила. Может, не слышала? Я повторил вопрос. Она промолчала. Жила она на четвертом этаже старого дома. Мы вошли в большую комнату, где было полно старья и паутины. Под окном стояло кресло-кровать, напротив на стене висело пыльное зеркало, а рядом с ним находилась старая дубовая дверь с железным засовом, похожая на входную. Я подумал, что она ведет в ванную или туалет, однако за водой для кофе она пошла в коридор. «Туалет на улице», — сказала она в дверях.

Позже за чашечкой кофе мы беседовали о космологии. Она говорила мягко, не спеша, и улыбка на ее лице оставалась для меня загадкой. Она двигалась, словно паря в воздухе, и это возбудило во мне такое сильное желание, что я едва сдерживал себя. Заметив мое волнение, она, улыбаясь, спросила, не лучше ли мне уйти. «Конечно, — ответил я, взглянув на руку, на которой не было часов, — уже пора». Я встал, попрощался и, слегка смутившись, пошел к двери с железным засовом. «Не сюда», — прозвучал ее заботливый голос, и в пыльном зеркале я увидел, как она приближается ко мне. Она отвела меня за руку к входным дверям. С этих пор я регулярно ходил на лекции по космологии. Моя девушка беспрестанно грозилась окончательно дать мне от ворот поворот. «Ты стал каким-то чужим, ты только пользуешься мной, даже в садик больше не приходишь», — говорила она. Я этого и не отрицал, сам толком не зная, что, собственно, удерживает меня рядом с ней. Кроме ее машины, действительно облегчавшей мне жизнь, она ничего больше не могла мне дать. Меня интересовала

только девушка из аудитории. Дважды в неделю я ходил к ней на кофе, и мы разговаривали о космологии. Мы говорили, говорили, и я никак не мог разобраться, где кончается ее душевная и начинается физическая привлекательность. Да она и ни разу не дала мне повода. Но когда я начал приходить к ней в дни, свободные от лекций, она приняла это как само собой разумеющееся. Я всегда заставал ее дома, словно она меня ждала. Перед расставанием она каждый раз произносила фразу, много значившую для меня, которую я, однако, до конца не понимал. «Вечность я ощущаю физически», — говорила она, улыбаясь при этом так, что я с трудом мог усидеть на стуле. «Ты знаешь, что это значит?» — спрашивала она и наклонялась ко мне, а мой взгляд скользил от ее красивого лица прямо под блузку, почти к соскам. Все, что оставалось в моей памяти от этих встреч, был мой приход к ней и уход от нее. Моя жизнь и все вокруг было пустым и ненужным, если я был не с ней. Однажды наш разговор затянулся до вечера. Когда я собрался уходить, она, как обычно, склонилась ко мне, и я увидел легкое колебание ее груди и больше не мог себя сдерживать. Я обнял ее, и моя рука медленно скользнула под блузку. Я дотронулся до ее соска, он был твердым и шероховатым и щекотал мой палец. Она не сопротивлялась и уступала мне так мягко и нежно, что я спрашивал себя, дотрагиваюсь ли я до нее на самом деле или только в своем воображении. Я встал и отнес ее на кровать, медленно раздел и коснулся лицом ее холодной кожи. Она ласкала меня, потом начала расстегивать мне пуговицы. Мы любили друг друга долго, до поздней ночи.

«А теперь иди», — сказала она, когда все завершилось. Я оделся, она взяла меня за руку и проводила до двери. Отодвинула засов и отпустила мою руку. На языке вертелись вопросы, готовые сорваться. Она поцеловала меня в щеку и открыла дверь. Уже выходя, в пыльном зеркале я увидел ее улыбку. А потом я ступил в пустоту. И упал. За собой я услышал мягкий звук закрывающейся двери. Я падал в бездну спиной вниз и смотрел в небо, полное звезд. Раздался треск, словно где-то поблизости сломалось птичье крыло. На мгновение я почувствовал в воздухе запах вечности. И...

Перевод Н. Стариковой.

РУДИ ШЕЛИГО



ВСЁ К ЛУЧШЕМУ

Таял снег, под ногами была красно-буро-коричневая каша, коричневая от грязи, красная от вылетавшей из домны и оседавшей на землю окалинны, бурая от чада и копоти железнодорожной котельной и тяжелых локомотивов. Из окна второго этажа ветхого дома донесся резкий окрик, от которого еще сильнее подскленились колени: «Ну как ты опять ходишь!» И вот уже из детского сада напротив, в котором с утра до вечера хороводится пестрая ватага дошкольников и который всегда, с самого момента окончания мировой бойни, кичился своим авангардизмом, покатился гаденький, ехидный, по-птичьи нестройный смешок, дающий понять, насколько общеизвестно, что походка у Тимотея Видриха действительно *неправильная*, что десятилетние мальчики не ходят, смешно прихрамывая, если у них с ногами все в порядке, не вихляют всем телом, вытягивая голову вперед, словно что-то склеывая с пустынной мостовой, не сбиваются с ритма при

ходьбе и колени у них не клонятся самопроизвольно друг к другу, как у новорожденных детенышей парнокопытных.

Это докучливое щебетание маленьких пакостников, которое он, конечно же, ожидал с той минуты, как мать оказала ему свою бестактную поддержку из окна, не учитывая побочных эффектов такой громогласной подмоги, Тимотей не воспринял как оскорбление, ведь за кипарисами и смородиновыми кустами дети не видели его, а он не видел их. Но отсюда брали начало жалостливые взгляды, понимающие кивки и хлесткие замечания прохожих. Все они — ровесники и взрослые — неизбежно оглядывались ему вслед хотя бы затем, чтобы наградить его усмешкой, которая, даже если в ней сквозило сочувствие, была скорее гримасой брезгливой жалости.

Итогом такого внимания была еще более *неправильная* походка, дерганое, если не сказать рваное, неритмичное метание тела туда-сюда, особенно при шаге левой, и краска смущения, заливавшая лицо и даже ладони, как если бы на них предательски выступали стигматы великого стыда, краска стыда, которая не давала взглянуть в лицо встречному, уводя взгляд в землю, под ноги, в уже упомянутую зимнюю слякоть и летнюю пыль. Только пыли и слякоти лицо Тимотея представало таким, каким оно было на самом деле.

Вот бы стать невидимкой, спастись из паутины снисходительных взглядов, так бессловесно и безусловно проводящих водораздел, по одну сторону которого люди достойные, образцовые, а по другую — пропащие, никчемные существа, те, кому не остается ничего, кроме недостижимой мечты: зарыться в дорожную пыль или, чаще, в слякоть (не стоит, впрочем, упускать из виду, особенно по истечении безжалостных лет, то, что эта мечта, несмотря на всю ее мощь и якобы обещаемое удобство, — в действительности лишь робкое желание, с которым раненая душа десятилетнего ребенка играет и этой игрой питается)...

И было у него два исхода.

Ледник и неведомый, сверкающий, чистый, высокой голубизны звук, длящийся и длящийся нисколько не дребезжа, не меняя своей манящей силы.

Ледник с его тяжелыми сталактитами стоял ближе к дому, где жила Марьетка и где еще держали корову, которая объедала огород и лужайку с красными цветами. Каркасом ему служила огромная, выше коньков крыш, усеченная деревянная пирамида с диагональными балками, на которые из трубок тонко брызгала вода и застывала в тяжелые ледяные сосульки. Стояли — в который раз — сильные и долгие морозы, так что ужеросло много льда, и взгляду являлась лишь угрожающая, геометрически совершенная ледяная гора. В такую погоду пробраться в нутро пирамиды, чтобы под нависшими сосульками испытать судьбу, было невозможно. Но было время — и сколько угодно! — когда все журчало, хлюпало, звенело дождем и даже лилось вниз по сталактитам, когда талый лед водой стекал на неровный пол и начинал немедленно вновь затвердевать, сгущаясь прозрачными складками, так что ледяные образования снизу росли с той же быстротой, с которой сверху таяли. В это переломное время, когда воздух на высоте каких-то десяти метров был теплым, а у подножия застывал в наледь, можно было войти внутрь этой горы льда, бродить, словно в храме, по глухим ходам, запрокидывая голову и ловя ртом эту капель, подныривая под холодные струйки, как под очистительные стрелы, пряча неуклюжее тело, избавленное от необходимости присутствовать снаружи: когда Тимотей скрывался в лабиринте ледяных призраков, ни один взгляд извне уже не мог зацепить его.

Совсем рядом располагалась большая деревянная постройка, похожая на барак, только вдвое выше и длиннее. Внутри было темно, штабеля льда были укрыты соломой. Входя сюда, Тимотей сразу ощущал холодок в

утробе. Войдя же, чувствовал себя в полной безопасности: здесь не было привычных жалостливо-снисходительных взглядов, и ощущение стыда, главный признак того, что Тимотей существует, замерзло в стуже ледника, всякий раз напоминая о себе лишь першением в горле, верным симптомом ангины.

Другая возможность — чаще всего в миг сгущения всех телесных соков, в миг внезапно обостряющейся скорби от всех этих страданий, выпавших на долю маленького человека, — был тонкий, снежно-белый, прозрачный до голубизны звук где-то там вдали, неясно где, в заоблачных высях и вместе с тем здесь, на расстоянии вытянутой влажной руки, так, что за него можно было ухватиться и улететь туда, в поднебесье, где исчезают из виду птицы и облака. И тогда самые уничижительные, самые насмешливые и снисходительные взгляды не могли бы его достичь. Их клеймящее усилие было бы напрасным. И можно было бы, слегка наклонив голову, пить, не отрываясь, этот звук, словно скользя по его волне на легком паруснике. По нему можно было бы ходить, как по огромной несущей плоскости, — ходить так, как он, Тимотей, ходит всегда, и в этом не было бы ничего неправильного. И может статься, весь окрестный люд, глядя на него, сказал бы: да не может быть! А он парил бы там, в вышине, и радость бушевала бы на его лице.

Но ведь голубая мечта никогда не сбывается, она вечно томится в позолоченном футляре фантазии, откуда наружу, в мироздание, россыпью звездной пыли вырывается внутренняя энергия как возможная надежда, как великий смысл, как последнее прибежище. И вот однажды понурым утром, у подножия холма, на котором стояла церковь, Тимотей, впервые оказавшись один так далеко от дома, увидел Марьетку. Она стояла скрестив озявшие ноги и выбирая из волос комки снега. Она показала Тимотею полотняный платочек, на котором был выткан лик Того, Кто за людей принял смерть. Она долго рассказывала ему о Спасе нерукотворном, разложив платок на левой ладошке, вода продрогшими пальчиками правой руки по морщинам, по мученическим глазам, по терниям, обрамлявшим Его голову, будто борозды страдания подтверждали, придавали вес ее рассказу о долгом пути этого маленького платочка из кармана Марьеткиного прадеда, который не расставался с ним даже в плену, к его дочери, Марьеткиной бабушке, и дальше к ней, когда ей, Марьетке, исполнилось десять лет.

Ее завораживающий голос или, может быть, изображение Спасителя, обретавшее с каждой складкой платка все новые и новые черты, а скорее всего, и то и другое, слилось для Тимотея в новое чувство зачарованности, следуя которому он склонился к ее мокрым замерзшим рукам, а потом пошел вслед за ней вверх по склону и через тяжелые, окованные медью двери вошел в храм, где никогда не был раньше. Блеск убранства, кадило, орган — все это заставило его раскрыть рот от изумления. А когда он очнулся, рядом уже не было ни Марьетки, ни ее платочка, ни ее птичьего щебета.

Впереди, на небольшом возвышении, на виду у всех сидящих на отполированных деревянных скамьях, стоял стол для приношений, покрытый белой скатертью. За ним и над ним — дверцы золотой резьбы, сверху, словно затененное, — изображение Сына Божия, упавшего на колени под тяжестью креста, по бокам — мраморные колонны и опять золотая резьба — на постаменте, на стенах, на слегка сужающихся кверху консолях, возносящихся высоко-высоко под свод расписного купола, а на дальней стене — красно-сине-зеленые витражи, где-то в верхних пределах пропускающие внешний мир в торжественный полумрак храма...

А внизу, у бегого стола, старательный служитель открывает дверцы дарохранилищницы, чтобы вынуть тяжелую, драгоценными камнями усыпанную чашу, поднять ее под неотрывными взорами толпы и приложиться к ней. И вдруг с хоров, нависающих прямо над головой Тимотея, начи-

нает звучать орган, сначала его верхний регистр, так, что воздух волнами распространяется от него к алтарю, к жертвеннику, слегка затуманивая всю картину, смягчая очертания, — так видишь преображенный мир сквозь застилающие глаза слезы. А звуки, теперь уже снизившиеся до трубных, все длятся, и Тимотей вновь забывает и о том, что надо дышать, и о Марьетке, которой давно уже нет рядом. В дыму кадила, дурманящий запах от которого быстро плывет теперь к дверям и которое служитель раскачивает на трех тонких цепочках, чтобы атмосфера в том пространстве, что можно окинуть глазом, была еще более густой и пьянящей — тогда, ах, тогда орган затихает на среднем регистре, так что баритональные звуки как бы пропадают, и басы уже не дополняют полифонию, и нить перетекания неуловимой материи из одного тона в другой обрывается, и уже ничто не направит слух в другое русло, и этот во все стороны ширящийся звук, высокий и одинокий, и это парение кадила над молитвами верующих, — все поражает красотой остановившегося мгновения... Пока невидимая тяжелая рука не легла на свет и позолоту, чтобы эта возносящая, великая красота угасла, скрылась во тьме. Большая мохнатая лапа ледникового периода, сметающая все. Лапа, убившая Марьетку.

Три дня и три ночи кряду шел мокрый снег, напало более двух метров снега. Расчищены были только самые нужные ходы, и они напоминали прорубленные в снежной скале коридоры. За церковью, у холма, возвышавшегося над тесниной города, начиналась узкая извилистая тропа, которая вела к Олень-камню. Там и нашли несчастную Марьетку, опутанную проводами высоковольтной линии, вместе с опорами, обрушившимися под тяжестью мокрого снега и упавшими поперек узкой протоптанной дорожки. Тело ее обуглилось, пестрая некогда одежонка уже перестала дышаться.

Когда мир вновь вернулся в свою привычную колею и зимняя оттепель сменилась весенними ветрами, носившимися по долине с запада на восток, Тимотей зашел к Томажу и на кухне, между плитой и цинковым ведром с водой, увидел продолговатый черный футляр.

— Что это? — спросил он.

— Скрипка, — угрюмо буркнул Томаж.

Тимотей молча взвесил футляр на руке.

— Открой, — сказал он.

Тот, Томаж, пробурчал, что все это ему и так осточертело.

— Да открой же, — повторил Тимотей.

Томаж поморщился и сказал, что от этого несносного скрипа его уже с души воротит.

Потом пришел отец Томажа, одетый в темно-синюю железнодорожную форму со внушающими почтение золотыми нашивками. Тимотей забился в угол, стараясь остаться незамеченным, но глаз с таинственного предмета не сводил, так что отца Томажа просто не могло не осенить: футляр надо-таки открыть. Так и не сняв фуражки с блестящим козырьком и витым позументом, он прошелся по мажорному звукоряду.

И сказал — скороговоркой, как бы в свое оправдание — о гармонии, которой он безуспешно пытается добиться, о струнах из бараньих кишок, всасывающих ее, как бездонная воронка. Может быть, он, Тимотей, знает, где ее найти?

Тимотей еще больше вжался в темень угла и, уловив момент, когда отец Томажа отвернулся, выскочил из дома и обходными, безлюдными путями, по краешку долины, где прохожие нечасты и задумчивы, побежал домой. Всю дорогу он сквозь прерывистое дыхание твердил себе: о, вот если бы у меня была скрипка, у меня будет, будет скрипка!

Неожиданно — что Тимотей смог оценить лишь по прошествии многих лет, на которые лег зловещий отсвет его решения отказаться от всего,

хоть как-то связанного с музицированием, — его пыл, всепоглощающая вера, упрямая необъяснимая решимость встретили благосклонную реакцию дома и в широком кругу родственников, из которых можно было выудить некоторую сумму на приобретение скрипки, хотя бы маленькой, три четверти.

И вот началась лихорадочная беготня, которая должна была увенчаться обнаружением какого-нибудь завалящего экземпляра скрипки, ведь в те послевоенные времена не было ни одного магазина со столь бесполезным товаром. Кому были нужны музыкальные инструменты, если в два часа ночи надо было занимать очередь за хлебом, который начинали давать в шесть? Однако владельцы ненужного хлама — если они вообще помнили о своих сокровищах — время от времени что-то продавали, когда им случилось с изумлением узнать, что вещь, о которой они и думать забыли, имеет сумасшедшую цену.

Нашлась было одна австрийская скрипка, настоящая, но слишком большая. Поместив ее трясущимися руками между подбородком и ключицей, Тимотей не смог даже дотянуться до ее головки. Скрипку три четверти, покрытую (вероятно, в более поздние времена) темным лаком, откопали в тихой деревне, ведшей свою размеренную жизнь в глубоком каньоне так, будто история обошла ее стороной. Хозяйка, восседавшая в просторной кухне, наполненной паром от варившейся картошки, свеклы и репы, все никак не могла сообразить, кому и зачем вдруг позарез понадобилась эта диковина, и совершенно не помнила, как попала в дом пыльная и тронутая плесенью коробка. Зато ее тут же осенило, что на данный предмет можно взвинтить цену пропорционально градусу, которого достигло желание покупателя. И так как цена эта оказалась слишком высока, Тимотею, когда они вышли из дома, не оставалось ничего другого, как броситься в снег и зарыдать над свершившимся, потому что настоящая, теплая и даже сохранившая все струны желанная вещь, сулившая новую, волнующую жизнь, уплывала из рук. И тогда семейной свите пришлось вернуться обратно и заплатить цену, назначенную утопавшей в кухонном паре и все еще не пришедшей в себя от изумления владелицей скрипки.

И вот настал день возвышенной радости, долгожданный момент душевного трепета, сотканного из чистого шелка.

Перед домом растет груша. Ее ветви карабкаются по штырям, вбитым в беленый фасад. Некоторые из них, с прозрачно-зелеными майскими побегами-усиками и уже распустившимися ранимыми цветами, растут прямо в открытое окно, весенний ветерок прыгает с листа на лист, и вся внутренность комнаты наполняется ароматом, а там, снаружи, — голубое небо, и нагруженный сеном козлец, и гибкие цветы, приветствующие все и вся почтительными полупоклонами. И стоит проглянуть солнцу, пусть даже предзакатному, как искры его лучей уже пугливо скачут по комнате, воздух которой замер в ожидании, скачут по пальцам Тимотея, по струнам, по футляру скрипки, они прячутся в тени ее эф и рассыпаются, как искры от костра, который еще предстоит развести с первого удара всепорождающего кресала до столба огня.

Отблески радостного ожидания пробегают по дрожащим пальцам Тимотея, касающимся то глухой нижней деки, то запорошенной пылью области струн, то сужающегося грифа, усаженного колками. Тимотей выдыхает задержанный воздух — и начинает движение снова, всей ладонью, так что ее серединой чувствует прохладные грани, смену плавных форм, переворачивает скрипку струнами вниз, чтобы обдать ее доннышко своим нетерпеливым дыханием, он готов скулить от радости и счастья исполнения желаний. Его глаза горят, переполненные влагой возвышенного ощущения, которому начальный жар пока еще не позволяет обратиться в ручейки слез, струящиеся вниз по щекам. Этот обряд близости с инструментом тянется долго-долго, грозя стать самодостаточным и главным ритуалом; но

уже врывается в комнату предвечерний ветерок, и Тимотей наконец прижимает подбородком бедное тело скрипки и робко, дрожащей рукой, проводит смычком по струнам. Ему удается медленно провести по струне *e* так, чтобы не особенно цепляясь соседнюю *a*, и едва стихает этот успокоительный звук, как прорывается наконец невидимая преграда, и горячие слезы катятся вдоль крыльев носа к губам, к подбородку.

В те дни и месяцы, в круговороте будней, происходили даже какие-то исторические события, что уж говорить о таких частностях, как, например, экзамен в гимназию, отодвинутый на второй план переживаниями, вызванными скрипкой.

Но очень скоро эта чудесная увлеченность, эта тихая радость, эта одержимость не то чтобы выросла — нет, похоже было, что с течением недель она как-то стыдливо и робко деформировалась — словно испещрилась бородами и трещинами. Оказалось, что великая мечта о скрипке, которую он когда-то взлелеял и которая сулила ему убежище и блаженство, на самом деле есть грубовато сляпанная, составленная из фрагментов имитация. И однажды все должно было рассыпаться: так все, что соединено вместе по произволу и прихоти человека, однажды, в самый неподходящий, болезненный момент, прекращает свое существование. И даже если ему, убогому смертному, удастся еще раз собрать ту же самую конструкцию, прежнего очарования уже не будет, ведь теперь ему ясно, что он складывает и сшивает нечто из кусочков, но над целым не властен. Он знает теперь, что работа воли подчинена законам распада и незаживления ран.

Упражнения делились на мучительную отработку беглости пальцев и скольжения смычка и убийственно скучное повторение гамм в первой позиции, разнообразясь лишь с помощью интермеццо украденных, недозволенных пробежек по струнам, сливавшихся порой в какой-нибудь неожиданный мотив. И конечно же, тогда Тимотей чувствовал, как по всем его жилкам, словно с током крови, проносится буйный ветер особого предчувствия, что вот сейчас он схватит тот самый звук, с которым они все никак не могут найти друг друга.

Но звука этого — огненно-ледяного, безопасного, бесшумного, можно сказать, вечного, заветного и вместе с тем всеобъемлющего, успокаивающего, неспешного, подобного глубокой тропе, протоптанной в высокой снежной белизне, звенящего, зависшего в одной точке и, конечно, конечно, спасительного — ничего даже отдаленно похожего на него все не было и не было. Для Тимотея становилось очевидным, что *это* приходит к нему все реже и всегда неожиданно, *это* совершенно нельзя предвосхитить, и нет ни малейшей возможности создать какие-то благоприятные обстоятельства. Как бы трепетно и чутко ни прикасался он пальцем к последней струне *e* (третьему пальцу полагалось неотлучно находиться где-то там, вблизи *a2*, затаившись до поры до времени в ожидании, пока его не призовут), как бы старательно он ни канифолил смычок, как бы четко ни водил им, без рывков, строго перпендикулярно струне, — звук упорно не хотел появляться. Или же, наоборот, вдруг возникал совсем неожиданно, *на какой-нибудь струне, дававшей иную высоту звучания*. Иногда он появлялся всего лишь на один переворачивающий душу миг, иногда тянулся и тянулся, не меняя на всем своем протяжении ни тембра, ни интенсивности. Тимотей мог продолжать рассеянно и небрежно водить смычком по струне, а тот звук со всеми своими отголосками все еще присутствовал в гулкой голове и зашедшемся сердце, все тяжелее колотившемся в грудной клетке, сбивая дыхание. А бывало, этот звук посещал Тимотея среди ночи, входил в его сны, которые от этого тут же улетучивались, звук как бы знаменовал окончание сна, так что Тимотей вскакивал или садился в кровати, где никогда не чувствовал себя удобно, и зачарованно внимал. Случалось это в полнолуние, в ночь Луны, которая мало-помалу становилась постоянной спутницей его странных фантазий.

Нельзя забывать и о том, что Тимотей и после унылого *репетирования* этюдов О. Шевчика, и после глубочайших переживаний, сопровождавших тот единственный тон, как бы лишенный своего места в звукоряде и отношений с другими звуками и потому звучащий страшно и одновременно призывно, хромал все так же и все так же *стыдился* и стеснялся окружающих и все так же робко молчал, не смея проронить слова, если оно могло достичь чужих ушей. И вместе с тем, наверное, не было дня, чтобы он уже спозаранку не заглянул в стоявшую на горе церковь и, склонив голову, порой закрыв лицо мокрыми от слез ладонями, лихорадочным шепотом не исповедался перед распятием, перед Святейшим, скрытым там, за золочеными дверцами. Он исповедовался в неподобающих мыслях, одолевавших его, обращая к сиянию свеч свою надежду на то, что все будет по-другому. Его самоуничтожение и ядовитая испарина от чувства собственной неполноценности становились все невыносимее и угрожали обратить его и без того хрупкое существо в то самое хрустально-ледяное Ничто под огромными сталактитами уже известного нам ледника.

Многому суждено было случиться, чтобы воля Тимотея вспорхнула и отделилась от Единственного.

Крупное строительное предприятие, возводившее серые типовые коробки домов среди полей, по которым еще вчера шастала детвора и где женщины пололи свои посадки, нанимало на лето подростков с красивым почерком — помогать в канцелярии, а тех, что покрепче, — на подсобные работы. Тимотея определили в помощь пожилому прорабу в качестве *канцеляриста*. Его работа состояла из самых разных дел: учета материала и рабочего времени, а также курьерских пробежек с одной стройки на другую и обратно. Много было крику, сквернословия, пустопорожней ругани между возводящихся стен, наполнявших густотой воздух с шести утра до двух пополудни.

Дух утонченных чувств тонул, исчезал, искал убежище во тьме внутренностей и осмеливался подать о себе знак только в те редкие ночные часы, когда Тимотею казалось, что он спит, а дух его бодрствовал, ведомый Луной.

Через полтора месяца Тимотей получил в голубом конверте целую пачку *бонов*, бывших суррогатом денег: оказалось, что на них можно купить — в подарок маме — комплект черных, тяжелых, неуничтожимых, не подверженных разрушению, вековых чугунных кастрюль и сковородок, которыми можно было бы пользоваться и по сей день (у Тимотея, в котором горячее некогда стремление уловить Нечто извратилось в набожное, завладевшее им желание быть здоровым старичком, и доньше сохранился, к примеру, маленький сотейник, где он и до сих пор разогревает себе хлебку или кашу).

Когда он притащил домой и расставил на полу в кухне все это добро, его прямо-таки распирало от гордости, дух захватывало от переполнявшего его чувства собственного достоинства.

Победные волны этого самоуважения приливали к щекам еще многие годы, если матери доводилось обронить перед гостями или хотя бы случайными собеседниками: а ведь это Тимотей купил со своей первой полочки!

Ко всему прочему, на экраны вдруг вышел фильм «*Парень из джаза*». Толпы подростков дурели от восторга и ходили смотреть его по многу раз. И — не менее рьяно — проливали слезы отождествления, восхищения, щедрую влагу сочувствия и гордости оттого, что юноше повезло и он сделался одним из лучших трубачей на континенте, который тогда — несмотря на идеологическую контрпропаганду — казался кусочком рая, о коем местному молодянку оставалось лишь мечтать. И что же играл этот *парень*, бывший не кем иным, как Керком Дугласом? Сентиментальные песенки со слащавым вибрато и глиссандо, хотя и плохо вязавшиеся с местной обстановкой, но весьма успешно исторгавшие из легкомысленной и непри-

тязательной молодежи пылкие вздохи, стеклярусом нанизывавшиеся на жадные к жизни души и опутывавшие их подобно кишкам, вытянутым из бройлерных цыплят. В среду пропащих душ того времени неотвратимо врывается привкус пошлой Америки (куда и Тимотей в свое время пытался бежать по крайней мере трижды). Долгими десятилетиями в качестве высших музыкальных ценностей насаждались упакованное в мелодию нытье мятущихся подростковых сердец, подражание синкопированному дыханию американских негров и, конечно же, игра на инструментах — быстрые пассажи валторн, сентиментальные хроматические завывания *сакса* и почти недостижимые высоты (серебряной) *b*-трубы. Все это, разумеется, было щедро приправлено чувственным вибрато, и не беда, что мундштуками духовых инструментов был испорчен не один прикус. Да-да, был от этого и прямой медицинский, анатомический ущерб здоровью⁴.

Подсознательно Тимотей, наверное, чувствовал, что эта осязаемая, перекипающая через край котла, где бурлят чувства, эстрада — не что иное, как выставленная наружу, реализованная, всем доступная форма возвышения и воспарения духа. Как доступное и вместе с тем преходящее воплощение Его.

Время как бы раскололось надвое. На социально-исторической половине гремела классовая борьба с ее неизбежными издержками; в личном, интимном, приватном ящичке волновались, накатывали лавиной вечно влажные слезливые пары тонких, как папиросная бумага, усыпанных разящими синкопами наигрышей, называемых *джаз*, что было, по сути дела, лишь жалким подобием джаза; обман, таким образом, был тройным.

И была еще Романа, словно возникшая из сна уже после того, как Марьетку ужалила слепая змея коварного электричества.

Романа стояла на небольшом мосту, губы ее были приоткрыты, в глазах чертенятами плясали едва сдерживаемые шалости. Мостик связывал школьный двор с косогором внешнего мира, внизу извивался грязный ручеек, в котором, конечно же, не было ни рыб, ни раков. Перила моста были словно срисованы с иллюстрации к сказке: поверху был пущен березовый сук, подпираемый снизу крест-накрест расположенными в спокойной геометрической гармонии толстыми березовыми кольями, сохранившими белую кору, которая при средней силы ветре, особенно в то время, когда весна стучится в двери, обтрепывалась и висела лоскутами.

Время застыло на стыке убывающего дня и напоздающей ночи. Романа была одета в серое пальтишко и грубые башмаки; волосы отяжелели от вечерней влаги. Из-под пальто выбивалось вздымаемое дыханием клетчатое красно-зеленое шерстяное платьице длиной ниже колена. Романа стояла прислонясь к перилам, прижимая указательный палец к губам, правой рукой протягивая ему его альбомчик для записей на память. Этот жест был бесконечно долог, а когда Тимотей все же подскочил и выхватил книжицу, Романа веселым движением слегка наподдала ему коленом так, что удар пришелся промеж его колен. Тимотей стал перелистывать страницы, чтобы найти то место, где она написала ему *на память*, но она вновь наподдала ему коленом и откинулась на поперечину. Тут и Тимотей волей-неволей засмеялся, а у Романы теперь обе руки были свободны, она ухватила его за обшлага куртки, угловатым движением подтащила к себе так, что ее серое пальто слегка распахнулось. Она тянула его вниз, чтобы его губы оказались поверх влаги ее губ. В таком положении она оставалась миг-другой — упрямо-открытая, спокойная. Потом раскрыла губы еще шире, и Тимотей почувствовал, как перед ним открывается черная тайна тела, бездна, делавшая его тело еще более неподатливым. Посему ей снова

⁴ Старичок, что вел здоровый образ жизни, жалеет теперь об этом, как будто от подражания чему-то другому его судьба сложилась бы иначе! (Примеч. автора.)

пришлось пихнуть его облаченным в толстый чулок коленом, на этот раз уже чуть ли не в живот, чтобы это существо напротив наконец поняло, что от него требуется, и чтобы его губы тоже в конце концов раскрылись, чтобы вслед за этим несмело-жадная ночь и ее бездна слились в одно целое, в ночь перед сотворением мира. И — не успела она отстраниться от него и улизнуть, рассыпав по мостовой легкий, похожий на крик птицы смешок, как из ближайших летков домны повалил раскаленный, пышущий жаром шлак.

Уже дома Тимотей нашел нужную страничку и с радостью в сердце прочел:

Дай мне руку, Тимотей,
пойдем с тобой скорей,
где соловей поет
и солнышко встает.

После приобретения черной чугунной утвари, после многократных походов на фильм «Парень из джаза» и встречи с влажной тайной Романиных губ Тимотей не только больше не заходил, но даже и не заглядывал в церковь на вершине холма. Он записался на курс тромбона, поскольку все места по классу трубы уже были заняты. Инструменты предоставлял духовой оркестр, и подразумевалось, что ученики музыкальной школы будут за это играть в оркестре, то есть исполнять похоронные или бравые марши соответственно случаю.

Теперь для Тимотея наступило время облегчения, если не сказать легкомыслия, когда ощущение стыда от собственного бытия перестало быть невыносимым. Окрепла и уже не грозила расколоть сосуд жизни сила живительных соков, лишь иногда слегка бродивших, словно доброжелательно предупреждая. Теперь ему удавалось посещать парикмахерскую, не краснея и не потея уже при входе от немыслимого затруднения. Без особых хлопот он справлялся и в магазине — у него получалось достаточно четко и даже не слишком тихо выговорить, что ему нужно. При этом он даже мог взглянуть продавщице в лицо!

Он пробовал курить, гнетущее чувство ненужности собственного существования смягчилось, *неправильная* походка уже не была так заметна, хотя по-прежнему оставалась походкой *разнорабочего* из ближайшей кочегарки.

Нужно было продолжать осваивать тромбон, зубрить гаммы, отрабатывать позиции. Увы, ему достался далеко не самый удачный инструмент — очень уж было затруднено скольжение кулисы. Не помогли ни глицерин, ни мыло, ни слюна. Должно быть, там, внизу, где трубка расширилась, она была слегка искривлена, потому что именно на пятой-шестой позиции она застревала, и когда Тимотей резким движением пытался высвободить ее, то часто попадал мундштуком себе по зубам или разбивал в кровь нижнюю губу. Да еще этот тромбон необходимо было то и дело чистить специальной пастой, потому что он был из обычной латуни и быстро зеленел.

И все же в плавное течение времени все еще врывались емкие минуты, когда на Тимотея снисходила благодать увлеченности, манящая тайна, не открывавшая своего имени. Легкое, овевающее лоб дуновение при вторжении вечера в хамский, прерывистый дневной шум — и на плечи мягко ложится невидимая рука, и все желания замирают и отодвигаются куда-то на задворки сознания. Ненужный декор музыкальных интервалов как бы осыпался, терял всякое значение, и Тимотей всем существом устремлялся к одному и тому же звуку, тону, напоминавшему то звучание, какое он открыл немногим более года назад на скрипичной струне *e*, и, несомненно, близкому к истоку всех звуков, от него рукой подать было до того праздника, который не передаст ни один инструмент и которого в жизни не услышишь. Едва ему удавалось хотя бы слегка приблизиться к этому звуку, он отнимал мундштук от губ и ставил инструмент к себе на колени. Он вни-

мал, уставясь в темную пустоту, сначала Его отголоскам, а затем их следам, растворявшимся в пространстве, породившем эту неземную музыку.

Моменты обострения чувств, наступавшие, увы, все реже и реже, действовали как благодатное переселение с поверхности этого мира в иной, возвышенный, блестящий, неведомый мир, они всегда выжимали слезы из глаз и будили неизъяснимую болезненную тоску в сердце.

В школе, в духовом оркестре, где ему приходилось играть, дела Тимотея шли все хуже, музыкальная канва, лихорадочно сотканная жадной недосыгаемой спокойной красоты, которая снимает душевную боль и заживляет раны, словно разрывалась. Тромбон в оркестре был едва слышной опорой басам, тромбонистам приходилось отсчитывать по девяносто и больше тактов паузы, пока фанфары, гобои, кларнеты, флейты и пикколо вели свой многозвучный гулкий перепляс на три или четыре четверти. Это были тоскливейшие репетиции к той паре-тройке концертов в год, которые давал оркестр в дни народных гуляний. На похоронах и празднествах исполнялись более короткие произведения, и высчитывания пауз было меньше, зато вступать приходилось чаще. Хуже всего было то, что, по сути дела, совершенно все равно, сыграет ли он, Тимотей, свой жалкий аккомпанемент к звучащей на первом плане мелодии или нет. Общая музыкальная картинка оставалась неизменной и совершенно индифферентной к присутствию его инструмента.

Тимотея вновь стали захлестывать длинные волны стыда, жгучее ощущение собственной неполноценности и вины. Они погружали его в безмолвие, увлекали на окольные тропы, где редко встретишь человека. Ледник с его нацеленными вниз сосульками снова стал его постоянным убежищем, храмом безопасности и той уверенности, которую дает уединение. Поэтому редкие вспышки бунта выглядели как выброс мощной энергии, не признающей ни изгойства, ни соглашательства с миром, каков он есть. Они выливались в пронзительные вопли и скулеж, беспричинные, ни к чему не относимые, смешные в своем отрыве от чего бы то ни было. Както еще более студеной зимой, когда сосульки долгое время свисали с крыш и не таяли, дети и взрослые вечерами катались на санках с крутой горы там, где пролегал троп. Местами она была раскатана до зеркальности. Были здесь повороты, с которых можно было запросто влететь в сугроб или в ствол дерева, если этому не препятствовал снежный бруствер. В конце пути, где спуск переходил в пригородное плато, на крутом повороте стоял фонарный столб. Ледовая поверхность в этом месте была особенно гладкой, по обе стороны катка собралась толпа. Тех саночников, чьи башмаки не были как следует подбиты острыми гвоздями, прямоком выносило на доски забора или в сугроб. Поднимаясь в гору и таща за собой салазки, Тимотей увидел в галдящей толпе Сою, которая училась двумя классами старше и которая никогда, разумеется, в своей юной девичьей заносчивости не обращала на Тимотея внимания. И так уж суждено было случиться, что он, подхлестываемый дополнительным ночным задором, помчался на санках вниз и на полной скорости врезался в столб⁵. Салазки разлетелись в щепки, колено прошила раскаленная игла, лицо залила слепящая кровь. Он потерял сознание и потом, сидя на чужих санках, уже не помышлял о Соне. Сломанный нос и деформированные пазухи на несколько недель разлучили его с тромбоном и даже со скрипкой. Чтобы довершить картину его несчастья, надо сказать, что все произошло именно в тот день, когда он дал себе зарок завтра же начать серьезные занятия, по несколько часов кряду, причем относилось это и к тромбону, и к скрипке,

⁵ А чем еще это все могло кончиться, если подошвы его башмаков из свиной кожи, растоптанные, раскисшие от долгой носки, уподобились тряпке и совершенно не годились для сколько-нибудь эффективного торможения? Если бы в них остался хоть один гвоздь! (Примеч. автора.)

ведь без хорошего владения инструментом — а чтобы освоить его как следует, надо работать и работать — ни о какой музыке не могло быть и речи.

Именно в тот день, когда вызрело это бесповоротное решение играть *ту*, и только *ту*, музыку, служить высокому искусству, и подступили многочисленные испытания. Так стоит ли преодолевать столь мощный встречный огонь? Неужели право войти в эту узкую дверь, за которой — посвящение в чудо неземного звука, нужно оплачивать так называемым *ударным* трудом *на подступах к музыке*? Было ли это высчитывание пауз и зубрежка гамм на обоих инструментах своеобразным послушанием, чем-то вроде искусства, от которого никак не увильнуть тому, кто хочет в эту дверь во что бы то ни стало войти?

Теперь он начал хромать так явно, что это стало мешать даже его *товарищам* по оркестру, особенно когда они, играя похоронный марш, шли за гробом...

В винном погребке под названием «Свобода» музыканты имели обыкновение выпивать, а порой и напиваться. Там не было посуды как таковой, и из рук к губам, ото рта ко рту кочевали три-четыре поллитровые банки, в которых плескалось красное вино, называемое завсегдаятами *чернилами*, — оно считалось здесь одним из самых крепких. Обычно устроитель панихиды или праздника выкатывал им целую бочку, и среди дударей, трубачей и барабанщиков не оставалось ни одного, кто не утолил бы жажды.

После одних странных похорон, проходивших в половине второго дня при нестерпимо ярком солнечном свете, Тимотей вдруг почувствовал, как у него в висках маленький молоточек быстро и тупо стучит о наковальню. Он сидел в подвале, уставясь в окошки под потолком, сквозь растр которых били остро очерченные пучки света, и почти без передышки вливал черноватую бурду в тонкий сосуд своего астенического тела.

Через час-другой напрасных стараний отделаться от присутствия молоточка и наковальни, когда лапа застывающей тьмы накрыла не только лампочку под потолком, но и диагональные снопы, проникавшие из оконцев, Тимотея вывернуло прямо на синий мундир, а заодно на беспечно оставленный рядом с ним большой барабан и футляр его же тромбона. Затем, когда ему уже удалось выкарабкаться на свет божий и добраться по автомобильному щиту, протянутому вдоль дороги — ведь границы проезжей части и бровки тротуара он просто-напросто не различал — к порогу дома, где жил его одноклассник Андрей З., его все еще одолевали болезненные спазмы, при которых из него выплескивалась наружу горькая, окрашенная желчью слюна.

Андрей сказал: о, это будет нечто. Если тебя увидят. Такого.

Он отволоч Тимотея на крутой травянистый склон за домом, откуда поднимался Олень-камень, и уложил его на траве, словно бурдюк с «чернилами». Этот полумертвый мешок еще издавал клокочущие звуки, разобрать которые не было сперва никакой возможности. После очередного горько-зеленого выброса кое-что прояснилось. «Умру. Я сейчас умру», — сказал Тимотей. «Не умрешь», — сказал Андрей, — не блажи, умирать — дело долгое».

Тимотей произнес еще несколько булькающих слов, мол, больше ни в жисть. А Андрей — что взрослые музыканты не знают меры. Куда уж там детям с ними тягаться. Со знанием дела Андрей посоветовал есть землю и траву, упомянув про их очистительное действие. Камешков поглотай, съешь горсть земли, одуванчиков пожуй, что ли.

Оживающий мешок уже настолько пришел в себя, что смог произнести что-то вроде «съем-ка я словенской землицы»...

— Жри землю, песок, одуванчики, пусть выскребут яд из твоей утробы!

— Да, буду пожирать, как никогда прежде, тебя, земляца словенская. Где же обещанный великий гром?

Андрей З. горстями подносил ему, лежащему навзничь, землю, в которой были маленькие камешки, и вместе с надерганными вокруг одуванчиками ссыпал это все, словно из чаши, Тимотею в его страждущий мрак, так что результат не замедлил сказаться и беднягу вскоре уже можно было перенести в помещение. Домашним Андрей сказал, что Тимотей чем-то отравился.

Терпя и мучась в оркестре, Тимотей напился еще раз и, как оказалось, последний. Это было на первомайские праздники: на ближайшей лужайке, прямо пахшей деревьями, сосновым бором от обступавших ее сосен, а еще больше — от свеженапиленной, очищенной от коры белой древесины, была сооружена дощатая сцена, поднимавшая над землей ораторов и музыку и разобранная потом на скамьи и длинные столы для дальнейшего веселья. Многие с нетерпением ожидали этого праздника, да и музыканты готовились к нему заранее.

Ночь еще не совсем растворилась в свете дня, а они уже сыграли сбор и под звуки марша браво прошагали с востока на запад и обратно через весь город. Потом, с первыми лучами солнца, погрузились в автобус и приехали на ожидавшую их росистую благоуханную поляну, где все уже дымилось и бурлило. Шкворчали на кострах говяжьих, свиные оковалки, в котелках варились колбасы. Пиво и вино рвались из бочек, кранки которых готовы были в любой момент повернуться, давая веселый выход нетерпеливой субстанции, призванной утолять жажду. И когда на поляну стали стекаться потоки трудящихся масс, навстречу им уже неслись бодрые звонкие наигрыши, так что сердца не могли не петь от радостного изобилия праздника, и это продолжалось до глубокой ночи. Разумеется, ближе к вечеру, по мере опустошения бочек, мелодии зазвучали более грустно и слегка вразнобой. И никто не мог бы с точностью вспомнить, когда же все прекратилось, ибо эта река жизни (питие и веселие, вот что в те времена звалось настоящей жизнью) со вступлением ночи в свои права становилась все менее заметным ручейком, а затем лужицей, которая постепенно иссыкала, и было не ясно, в какой момент и куда она делась.

Тимотей чувствовал себя одиноким, никому не нужным. Когда музыканты делали перерыв, кидаясь к белым скамьям и столам, чтобы возместить потерю жидкости, а также растраченные жиры и белки и вперемешку с жующей толпой приятелей, родственников и прочей гуляющей публикой раскатисто хохотали над звучащими сквозь набитые рты сальными шутками или отпускали остроты сами, в то время как другие встречали их подобным же клекотом, Тимотей бродил как неприкаянный, не зная, куда приткнуться. Он присаживался на краешек то одной скамьи, то другой. И повсюду неумеренно ел. Особенно горячие сардельки с горчицей. Запихивал их в рот целиком, вытаскивая затем сломанные костяные шпажки. А то протыкал оболочку зубочисткой, так что дымящаяся сальная жижа брызгала на светлую древесину, на белую рубашку, голубой мундир и золотые пуговицы, блестящие от этого еще ярче. Доставалось и товарищам, и соседям, и цветастым блузкам их женщин и жен.

Сначала окружающие, косясь на него, думали, что он оголодал и хочет насытиться впрок. Потом их стало раздражать, что он ведет себя, как свинья. Уж хоть бы о последствиях подумал, ведь обжорство может причинить вред даже растущему организму. Тимотею делали замечания, на него орали, шипели чужие женщины и жены, смысл всего этого сводился к тому, что вот из-за его свинства, жадности, хамства другим, вместо того чтобы по-человечески веселиться и при этом культурно угощаться, приходится загоразываться картонными тарелками от распоясавшейся скотины, которая жрет, разбрызгивая колбасный сок по их одежде, и по-другому, видимо, не умеет. И кто все это будет чистить? Шел бы он куда-нибудь подальше, на травку, чтобы сюда не долетал этот жир! Не в хлеву небось! А лужок — вот он, рядом...

— Ладно, — сказал Тимотей, вытер о штаны руки, задумчиво погрузил тромбон в футляр и уже совсем шаткой, совершенно неправильной походкой побрел через лес, в долину, где расстился город. Его колени с каждым шагом подгибались все сильнее, взгляд затуманивался, слабые дрожащие пальцы разжались, и черный футляр чуть слышно упал на придорожный мох. Тимотей присел на корточки у какого-то куста, рядом со своим инструментом, и его долго колотили рыдания. Чем увенчалось это лесное потрясение с его во всех отношениях неудовлетворительным катарсисом, было выражено парой мрачных фраз, сформулированных им позже: *уж лучше быть ценным псом и все, с меня хватит.*

Выпрямляясь, Тимотей увидел вдали странный эллиптический предмет, опоясанный тонким металлическим обручем, блестящим, как экватор, снятый с небольшой планеты. Предмет парил над Олень-камнем, это не был воздушный шар, потому что воздушных шаров таких размеров не бывает, и это не был обычный самолет, какие можно было видеть в небе во время войны. Он облетел розовую шербатую вершину, и уже горизонтальные лучи солнца ярко играли на его корпусе всеми, без малейшего исключения, оттенками. Медленно и спокойно скрывшись за горой, дирижабль какое-то время спустя показался вновь у восточного склона и продолжал путь, как бы следуя своей уже очерченной орбитой. Тимотей, хватая ртом воздух, подобрал футляр и скачками помчался домой, чтобы скорей рассказать, что он видел. Когда без малого все население дома высыпало на улицу и уставилось на Караваноки, летательный аппарат уже исчез, да никто и не поверил, что он вообще был.

Так закончилась двойная жизнь в духовом оркестре. Тимотей вернул очищенную и отглаженную форму, но тромбона не отдал. Директор оркестра, хмурый старец, который, верно, всем своим оскорбленным видом выражал обиду на мир всех музыкантов, вместе взятых, вначале и слышать не хотел о том, чтобы Тимотей выкупил инструмент. Потом — может быть, поддавшись на уговоры учителя музыки — смягчился и с плохо скрываемой недоброжелательностью назвал сумму, от которой у Тимотея сперло дыхание.

Нужно было продать скрипку, сложный и нежный инструмент, с которым у Тимотея пути разошлись уже давно, так что это не было бы жертвой, скорее, наоборот, принесло бы ему облегчение, поскольку, лежа в углу, пыльная и немая, скрипка как бы стала источником направленных на него флюидов, бередивших его больную совесть. Уступить ее пришлось за бесценок, выручка не покрыла даже половины суммы, затребованной за плохой тромбон, у которого кулиса из пятой позиции перемещалась все с большей натугой.

И тут в какой-то точке ограниченного отрезка времени пересеклись обстоятельства, которые, собранные вместе, так сказать, сплетенные, подобно прутьям в корзине жизни, где ни один не вырастает из другого и ни один не порождает другого, определили будущую линию поведения Тимотея. Линию, достойную восхищения за ее цельность, линию почти *правильную*, за исключением одного-единственного сбоя, одной-единственной прерывающей ее шербины, линию, стремящуюся к конечной цели — напоенной здоровьем, спокойной, похожей на настоящую жизнь старости.

В школе его преследовали сплошные неудачи, нарекания, в двух из восьми классов — четвертом и пятом — он сидел по два года. Несмотря на все это, а может быть, на фоне всех этих неоспоримых доказательств рассеянности и скудости его ума, он продолжал находиться под обаянием фильма «*Парень из джаза*», и ничто в этом мире не представлялось ему сколько-нибудь ценным, кроме *наслаждения, которое доставляло звучание серебряной трубы*. Никакие школьные тяготы, никакая зубная боль, никакие страдания от безответной любви не в силах были затуманить сияние этой высшей ценности, ведь за счастье надо было страдать и беззаветно

стремиться к цели, как тот парень с трубой. В *красоте* этих смягчающих горчинку плодов жизни мотивчиков, пронзающих сердце и разум, насколько не похожих на похоронные марши и бодрые мелодии, исполняемые духовым оркестром по государственным праздникам, растворялась горечь от дефицита еды и модной одежды, которая как раз соответствовала бы этой музыке и этому возрасту.

Тимотей никогда еще так сильно не чувствовал, что именно теперь пришло время серьезно упражняться, часами прижимая латунный мундштук к губам, дуть, перемещать туда-сюда кулису, чтобы наконец, словно просочившись сквозь развитый навык и филигранную технику, зазвучала всевластная мелодия. Нужно было освободиться от навязчивых поисков *того единственного, всепоглощающего* звука; а заодно Тимотей распрощался наконец и с привычной задумчивостью.

Для того чтобы контролировать *сплин*, отпечаток которого оставляла на лицах подростков музыка из кинофильмов, был создан Оркестр танцевальной музыки при клубе металлургов. Это был и шанс и импульс одновременно.

Однажды Тимотея вызвал к себе в кабинет директор школы. «Ну, вот что, — сказал он и ударил ладонью по столу. — Выбирай. Или ты ходишь в школу, или продолжаешь играть свои дурацкие песенки». У Тимотея задрожали колени, перед глазами зашатался изъеденный дровоточцами стол и Фигура, восседающая за ним, во рту пересохло так, что он не мог вымолвить ответа. Перепуганный донельзя, на грани панического ужаса и отчаянной отваги, в том состоянии, когда принимаются самые дикие решения и совершаются геройства, Тимотей сказал: «Я буду играть», — и колени его сразу перестали подкашиваться, и от одеревенелости мышц не осталось и следа, и большой конторский стол, оплот порядка и безапелляционности, снова устойчиво замер на своем извечном месте.

Тимотей ушел, даже не забрав свою сумку, и больше в школу — ни ногой.

Теперь, лишь теперь перед ним открылась возможность собрать вторую половину той суммы, что назначил директор оркестра. Работа! Совмещение профессий! Трудоустройство! Так Тимотей включился в проклятый процесс неэквивалентного обмена, в результате чего в конце месяца в ладонь все же накапало энное количество так нужных ему денег.

Даже сегодня, вороша в своей здоровой памяти эпизоды из того времени, старичок находит по меньшей мере три причины, по которым он вышел на прямую дистанцию выработки своего пенсионного стажа, как бы вычеркивая этот период из жизни. Он просто не мог поступить иначе, ведь ему предстояло заплатить за инструмент. Он пошел в металлурги, чтобы посвятить себя *музыке*. Ему пришлось *пойти на производство* из-за непреодолимых проблем в школе, поскольку скопившиеся в изобилии выговоры и бесконечные ряды неудовлетворительных оценок во второй год сидения в одном классе так и так грозили ему исключением. Наиболее уязвимой была сентенция — которая, вероятно, основывалась на *искаженном сознании* более позднего периода, — что школа в те времена являлась буржуазным атрибутом, а неквалифицированный труд — пролетарской добродетелью, ценностью, стержнем человека.

Через три месяца он выплатил все без остатка.

После *смены* он усаживался перед пюпитром, смачивал кулису слюной, либо глицерином, либо мыльной водой и самозабвенно музицировал по несколько часов, пока не спускались сумерки. Вечером он шел посидеть в кафе.

Новоиспеченным оркестрантам купили черные брюки, белесые пиджаки, белые рубашки и черные галстуки-бабочки. Все это великолепно смотрелось, особенно в свете прожекторов, когда сверкающий металл саксофонов, труб и тромбонов многократно усиливал этот лоск. Они играли на танцульках, а среди недели готовились к концерту, который предстоял че-

рез год. Тимотей больше не хромал, жизнь шла быстрым темпом, и казалось, недостаток характера остался погребенным в далеком прошлом.

В мае он бросил школу, а в декабре навалилась суровая зима. В трубо-прокатном цехе, куда его определили, работал и Андрей З. Вкальывали днем и ночью, в три смены. Шестнадцатилетнего подростка особенно изматывали ночные бдения.

Их с Андреем поставили на выходе пятидесятитонного прокатного стана, где они должны были специальными баграми выуживать из желоба четырехметровые трубы, перебрасывать их на специальное ложе, подавать на них под большим напором воду и затем простукивать каждую трубу деревянной киянкой. Там, где выбивался фонтанчик холодной воды, нужно было ставить белый крестик и по конвейеру отсылать трубу обратно, на устранение дефекта. Если труба испытание выдерживала, ее перебрасывали *на отгрузку*. Случалось, трубы сыпались так часто, что Тимотей с Андреем не успевали управляться, тогда им выделяли кого-нибудь на подмогу. День на день не приходился. Один станок у входа скручивал металл в длинные-предлинные трубы, сварщики их заваривали, следующий станок резал, потом такие же рабочие такими же баграми подавали их на валки, по которым трубы, катясь с неимоверной быстротой, двигались дальше, по пути выравниваясь. На выходе их уже встречали Тимотей и Андрей З., одетые в высокие резиновые сапоги и длинные фартуки.

Настал февраль, снега выпало метра два, опять работали в ночь. К утру, когда в озябших телах стала пробуждаться рассветная надежда на то, что *смене* скоро конец, Тимотей посетовал, что из-за снегопада и резко наступивших холодов кривизна его инструмента стала еще ощутимее, так что кулиса теперь не скользит вовсе и никакая смазка не помогает — ни глицерин, ни даже специальная паста для духовых инструментов.

Андрей, взглядывая на часы, усмехнулся этой странности. Он сказал: нет, это не снег и не холод, это что-то свыше. А Тимотей ему ответил: но ведь до снега еще хоть как-то можно было играть. Андрей махнул рукой и сказал: «Ну давай свою трубу сюда, — и окинул взглядом цех. — Давай-давай, — повторил он, — сейчас мы ее разберем, ты пойдешь на ту сторону, положишь деталь на валки, чтобы она выровнялась, а я поймаю ее здесь, вот так, видишь, — сказал он и встал между станом и желобом, что категорически запрещалось, — перехвачу, чтобы она не угодила в этот паршивый хлам». Не успел он это выговорить, как со стана прикатилась пятидюймовая труба, ввинтилась Андрею в живот и, пригвоздив его к желобу, вышла со спины в области почек. Андрей уронил руки на станину и испустил дух. Когда механизм остановили, трубу пришлось перепиливать возле самого тела, только так Андрея удалось с нее снять.

Мороз не отступал. В последующие дни он даже усилился, и сухой, уже в небесах смолотый в порошок снег занес маленькие детские следы вдоль широких протоптанных троп на склонах и косогоре над церковью и дальше, у Олень-камня, где проходила высоковольтная линия, опоры которой гнулись под белыми наносами, и страшные провода свисали чуть ли не до земли.

Скрипела под тяжестью прибывающего груза и ледовая пирамида. Внутри ее оставалось помещение, залитое непонятно откуда льющим голубым светом великого оледенения и напитанное зябким теплом тишины; ее усугублял мерный ритм тяжеленных капель, падавших с фантастических сталактитов, которые свисали с невидимого потолка и угрожали пробить скорлупку фундамента и раздробить все внизу, там, куда их звала гравитация.

Тимотей деревянной походкой, с черным футляром под мышкой ковылял в почти позабытое им убежище, в свою среду обитания. Возле угловой опоры ему удалось найти щель, он пролез внутрь и неуверенно застыл на волнообразной, с наплывами, ледяной поверхности. Все еще прижимая

футляр к себе, он вслушивался в ледяное космическое спокойствие, закрыв глаза и обратив лицо вверх, к ненадежной защите каркаса. Капли капились по его лицу, собирались в ручьи, которые затем струились по пальто, стекая прямо в хлипкую обувку. Вскоре пульс Тимотея совпал с ритмом падающей прерывистой влаги, и теперь он мог открыть футляр, вынуть из него инструмент и собрать его. Потом он постукал кулисой по ледяному столбу, извлекая из него голубой прозрачный звон. *О лед, ты, подобно огню, ровняешь все и вся...* На мокром лице Тимотея возникла улыбка, в этот же момент он вздрогнул от мысли, произнесенной вслух: а ведь именно таким образом можно поправить кулису, которая все застревает и застревает. Он вставил деталь между двумя жесткими сталактитами, навалился грудью на инструмент и стал с усилием проталкивать его вперед. Сначала раздался скрежет металла, и только потом подался лед, его огромные корни там, наверху. Огромные сосульки лавиной сорвались вниз, Тимотей едва успел отскочить, чтобы неуправляемая физическая масса, всегда неизбежно стремящаяся вниз всем своим удельным весом накопленного зла, не погребла его под собой точно так же, как она смяла в лепешку его инструмент. Из-под ледяных глыб и колкой крошки наружу торчала лишь желтая, теперь очень светлая латунь той части трубки, где находился вентиль для стока слюны и сконденсировавшегося горячего дыхания, создающего тоны и звуки всей этой музыки.

Тимотей больше никогда не пытался приобрести новый инструмент, даже чтобы играть хотя бы иногда для себя. Он продолжал работать в прокатном цехе. Со временем его произвели в сварщики, затем он стал помощником главного сварщика и, пройдя специальный курс обучения, возвысился до главного. После долгой череды лет ему посчастливилось переселиться в не бог весть какой, но все же защищенный от невыносимого металлического грохота бригадирский кабинетик в углу цеха. На пенсию он ушел в чине мастера, имея за плечами сорокалетний стаж верности трубопрокатному производству.

Он сразу же и безоговорочно понял, что все жизненные цели рано или поздно находят свое окончательное и последнее выражение — как ручьи, сливающиеся в реку, — в одной-единственной форме, которая порой сродни просьбе и гласит: *быть здоровым старичком*. Ведь что бы там ни происходило в прошлом, что бы им ни двигало — все кончалось крахом, или оставалось только в памяти, или оказывалось ничтожным, и если хорошо подумать, то можно утверждать, что все, что случалось, случалось именно ради последнего соображения, которое теперь стало — не мыслью, нет, но принципом, путеводной идеей. Этой идее он подчинил распорядок дня, а также недели, месяца и даже свой сезонный жизненный ритм, и небезуспешно. Из достойных упоминания *отклонений* в состоянии здоровья он мог бы назвать лишь одну не особо серьезную операцию на желудке, и та была следствием неумеренности и беспечности в молодости. Даже стрелы Артемиды пролетели мимо, нисколько не задев его.

Когда наступает зима, он сидит в своем деревянном кресле-качалке и, если идет пушистый снег, смотрит, как кружатся в воздухе снежинки. Три года назад он купил себе музыкальный центр и теперь иногда, особенно когда за окном бушует февраль, слушает музыку. Слушает и лучший из всех струнных квартетов — квартет Равеля, f-dur.

Перевод Ж. Перковской.



РОМАН СОЛНЦЕВ



ДРЕВНИЕ РЫБЫ

Воспоминание. 1963 год

В пляшущем кузове старой машины,
плюхаясь в реки, влетая в дожди,
мы проносились через осинник,
дикий малинник... нет, погоди.
Ветром и кепки и шапки сдирало
и надувало, как парус, пальто.
Сердце орало про козни тирана...
Нет, все не то.

Просто запомнились сумерки, свечи,
двор постоянный, горящая печь,
добрых хозяев невнятные речи,
хоть и казалось, что русская речь.
Это поляки... а эти вот — венгры...
Как занесло их в Сибирь, в глухомань?
Кто-то бормочет, что нету им веры.
Ты уж молчи, душу не рань.

Хоть мы ни в чем не виновны с тобою,
но согласимся, обжегшись слезою,
все впереди, все впереди:
ненависть грянет еще, погоди.
Люди родные уедут... Но вряд ли
с радостью встретят тебя вдалеке,
как привечали, когда мы озябли
на грузовике.

Здесь по единым мы жили законам,
лагерным, дружеским... Но ведь не век
мучиться должен в краю удаленном
чужой человек.

* *
*

Уняв на сердце боль, исчезнуть, раствориться
в покое сладостном средь клевера и пчел...
Увидев, как висит недвижно в небе птица, —
улечься в тень ее, как будто в дом зашел...
И, молнию поймав над речкою, согреться...
и льдом со лба стереть всех горестей следы...
Все можно. Только лоб железным стал, а сердце —
кочует там, где ты...

В дверях

Пыль месил я на дороге и теперь вот здесь стою,
чтоб, споткнувшись на пороге, рассказать вам жизнь свою.
Ничего-то мне не надо — ни воды, ни сухаря.
Все блаженство, вся награда — ваша местная заря.
Ваши речки и дубравы, желудь желтый и резной...
Жить хотел я ради славы — глупый парень, что со мной?
Слава — красная заплатка, как сказал большой поэт.
Хватит мне плаща заката. А покоя в сердце нет.
Я пришел, чтобы проститься с тягою волшебных стран,
откусивши, как лисица лапу, влезшую в капкан...
Мне холмы у вас дороже всех вулканов вдалеке.
Здесь дремал я средь сорожек в лодке звонкой, на реке.
Здесь я пел — и вместе с тучей, вместе с молнией летел.
Я мечтал о доле лучшей. Знал бы я, чего хотел!
Как письмишко, на пороге не сквозняк меня трясет,
а твой взгляд, слепой и строгий, мой народ...
Пропустите же! Отныне буду хоть двory мести.
Ведь не зря мне на чужбине, в электрической пустыне,
снился сладкий дух полыни, и мороз шел по кости!

* *
*

Я стал просыпаться под утро — лежу в темноте,
грехи вспоминаю свои... ощущенья морозны...
Но я говорю про себя: прегрешения те
простительны и несерьезны!
И вновь засыпаю... и вновь пробуждаюсь в тиши...
И снова себя убеждаю, но вижу — напрасно.
Ах, кто же упорствует это в глубинах души?
И все-то ему непонятно, неясно...

* *
*

Вышел к берегу, смиряя в сердце ярость.
Вдруг споткнулся, спички смяв в руке.
Что ты там увидел? Это парус,
Господи, белеет вдалеке!

Средь баржей под сизой крышей дыма
и военных серых кораблей
все же это так непостижимо —
белый парус милых детских дней.
Или то волна стоит седая?
Вот обрушилась — и нет ее...
И клокочет, сладко замирая,
сердце проясневшее твое.

* *
*

Давай держаться на борту,
держаться страстно,
хоть ветер валит в темноту,
гнетет ужасно.
Давай держаться в облаках,
на гибких крыльях.
И в тесных зябких рудниках,
почти в могилах.
Легко и сдаться, и упасть,
в слезах излиться.
Но пусть над шеей волчья пасть
напрасно злится!
Себя совместно сохранят
любовь и воля.
Безверье — смерть, унынье — яд.
Держись средь поля!
Держись на бешеном ветру,
в морозном мраке.
Ты не умрешь, я не умру —
напрасны враки.
Есть сладкий труд, сад на заре,
есть тяжесть долга.
Давай держаться на земле,
вдвоем и — долго.

* *
*

Свечек кривые огарки.
Окаменевший хлеб.
Жалкие наши подарки —
так был наш мир нелеп.
Но мы горели глазами,
но мы любили метель,
но мы стояли часами,
глядя на высшую цель —
то ль на звезду-невидимку,
то ли вдали города,
то ли в кулак, в дырку,
сами не зная куда...

Поэт

А. Пчелкину.

В чем нам каяться? Мы же не каины,
 братьев рódных не убивали.
 Разве лишь муравьев нечаянно,
 да и то, признаться, едва ли.
 В чем нам каяться? В том, что верили
 и второму вождю, и шестому...
 А в итоге в очках, как Берия,
 сами ходим бочком по дому.
 Наши первые строчки туманные
 о строителях, о дорогах
 были радостно приняты мамами
 на истертых, как седла, порогах.
 Только где они нынче, те радуги,
 села детства и чистые речки?
 Вера в правду была взаправду ли?
 Иль была — как записка у печки.

А вот если б мы все, сочинители,
 все полтыщи поэтов русских,
 закричали: уйдите, мучители,
 вы, Дантесы, свиные ушки, —
 посадили бы нас, наверное.
 Но народ всколыхнулся бы — точно.
 И страна засияла бы вербная.
 И явилось бы счастье досрочно.

Ну а мы, осененные славою,
 под плитой в километр возлегли бы...
 Но молчали поэты державные,
 вот и живы, как древние рыбы.
 Так что каяться глупо, не правда ли,
 стоя в мире холодном и каменном?
 Мы — себя убившие Авели,
 тень свою назвавшие Каином...

Возвращение

Ты уехал далёко, прославлен теперь и высок.
 И народ удивленно простил: победитель, он прав.
 Но приедешь пройтись по полям — и ржаной колосок,
 оторвавшись, пролезет, как в детстве, в твой быстрый рукав.
 Ты мурлычешь, спешешь, ты руками размахивать рад,
 ну а колос крадется, на остья свои опершись,
 он под мышку прошел... вот немного качнулся назад —
 и ударил вдруг в самое сердце.
 Проклятая жизнь!
 И руками врачи разведут: непонятная смерть.
 От простого, от мягкого желтого колоса ржи?
 Или как посмотреть?
 От забвенья и лжи?

* *
*

М. Саввиных.

Ударит ветер осенний, пронесет
листву над крышами, и птицы мигом
под крыши спрячутся, тайком толкую
о предстоящем перелете... провод,
оторванный от старого столба,
ударится в другой и обовьет.
И отчего-то станет в шуме этом
тоскливо сердцу, хоть и мы с тобою
здесь остаемся, не летим далёко,
но свет мигает, телефон молчит,
и потерялась записная книжка.
Да, впрочем, адреса моих друзей —
их двое на земле еще осталось —
я помню...

Напишу сегодня снова,
что под пером не слушается слово,
как ртуть бежит, сгорает вдруг, как спичка,
подмигивает, как в окне синичка.
Коль сказано — в начале было Слово,
то и в конце не избежать иного.
Оно уже не наше — Боже правый,
мы счастливы Твоей единой славой.
Напоены Твоей рекою млечной,
разведены Твоей любовью вечной...

* *
*

Наш самолет кружился три часа,
как коршун, накренья над темным полем.
Про совесть я подумал — нечиста...
Что происходит, я мгновенно понял.
Но летчики, спалив свой керосин,
стальную дуру посадить сумели.
И вот стою в слезах среди равнин.
Так сладко жить безгрешным среди метели.

Внуково.
23.11.2000.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ

*

УЖЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СЧЕТ...

Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов

17.1.93.

Уже открыт новый счет, и семнадцатое число исчезает. Истечение срока. Минуешь, проживаешь день, как преодолеваешь пространство. От дома до редакции, оттуда — дважды, а то и трижды в неделю — к своим родителям. Да и в редакции тоже помимо времени — пространство, иногда необязательное, но я все иду и иду. Может быть, я ошибся, не уйдя в «Дружбу народов». Двенадцатого я выступал там с годовым обзором журнала (новые времена: заплатили десять тысяч; дважды я выступал с такими же обзорами «ДН», но тогда никому — ни им, ни мне — не приходило в голову, что возможна или нужна какая-то оплата), а потом было «угощение», и мы долго разговаривали, засиделись с Леоновичем, Холоповым, Зайонцом, а до этого с Денисом Драгунским, Медведевым (приехал из Душанбе, ведет публицистику) и другими сотрудниками. Тут-то я понял, что они избрали бы меня много охотнее, чем Пьецуха. Виделся тогда же с В. Кондратьевым, К. Щербаковым и др. Написал для своего журнала сочинение под названием «Иллюзия чистого листа». <...> Теперь-то я понимаю, как люди, о которых читал, умирали в бедности. Богомолу понравилась моя фраза из новогодней поздравительной открытки, которую я ему послал. Что-то в таком роде: пламенные строители капитализма не менее отвратительны, чем пламенные строители развитого социализма, но главное — это одни и те же люди.

Часто вспоминаю Кострому и жалею о той жизни. Умом понимаю: что-то бы там в моем положении изменилось бы; может быть, стал бы депутатом или как-то иначе ввязался бы в политические игры <...> В первые январские дни заходила Лариса Бочкова, привезла первый номер «Губернского дома» с моей статьей. Вот, остался бы, выпускал бы журнал или редактировал газету — вполне может быть. А теперь сохраняю верность — из чувства сопротивления, и тут Виталий Семин прав, — едва выплывающему изданию и нескольким людям, которых не хочу бросать. (И ведь понимаю, что некоторые из них, если прижмет нас сильнее, бросят кораблик, и все равно — примера не покажу: пусть глупо, но подыгрывать новым временам с их законами не хочу.)

Читаю В. Астафьева — роман «Прокляты и убиты» («Новый мир»). Астафьев излишне уверовал, что роман ему по силам. В этом — первое несчастье. Второе — он привнес в изображение далеких дней и тогдашних людей то, что хуже сегодняшнего знания, — сегодняшнюю озлобленность и несправедливость; сегодняшний публицистический обжиг старой, давно затвердевшей глины; его прежние срывы в злобу и мстительность превратились в норму повествования; оснастив же текст подлым матом, он усугубил изображаемое и всячески нагнетаемое, концентрированное непотребство; не умея вести сразу несколько героев, как бывает в романах, и удерживать их на сюжетной привя-

зи, он сочинил скорее тенденциозный «физиологический очерк» (нет, недотягивает даже до уровня Сергея Каледина), чем что-либо художественное; уверенность обличения, с какой он пишет, казалось бы, исключает предположение о какой-либо растерянности, да и здравый смысл редко когда ему надолго (в тексте) отказывал, и тем не менее в «диагнозе» слово «растерянность» должно быть непременно. В таких случаях художника спасает, по-моему, спасательный трос классической традиции: тебя стаскивает ветер, а ты, как на Севере, держишься за трос и идешь дальше, и потеряться становится невозможно¹.

24.1.93.

Читая Д. Шаховского («Звенья»):

«Так жить нельзя», — говорили мы себе тоже, но жили, абсолютное большинство жило, сознавая, что так — нельзя, и пытаюсь жить как-то иначе (не все, далеко не все, а наиболее наивные и последовательные...).

20.4.93.

На что сгодилась наша свобода? Теперь я думаю: а нужна ли она нам была?

Помню, в восемьдесят седьмом, на излете года, на Герцена, у старого клуба МГУ, наткнулся на университетского товарища, поэта и журналиста. Я долго жил в другом городе, виделись мы раза два за тридцать лет, обрадовались друг другу, и я сказал ему: «Вот мы и дожили!», и после всех восклицаний он пообещал подарить мне книжку, только что вышедшую в ФРГ, и мы расстались, побежали дальше по своим делам.

Пока стояли разговаривали, я увидел нас со стороны, и литературная моя память тотчас перебросила мостик в один из трифоновских романов, где герои встречаются летом пятьдесят седьмого, в разгар фестиваля, и, счастливые, полные новых переживаний и неслыханных надежд, разбегаются, не ведая будущего.

Тогда мелькнуло: похоже, похоже, и мостилось, мостилось еще, уже в мой пятьдесят седьмой, тревожный, невнятный, сползающий, выводящий в какую-то новую, неведомую жизнь.

Через какое-то время я прочел в эфэргэвском сборнике моего товарища стихи о железном подснежнике, и там такие строки: «Кузнецы потрудились на славу, и в железо оделась душа». И еще такие: «А душа, как прозрачный подснежник, исчерпав свою волю до дна, все надеется выбраться к свету. Но все-сила железа тьма!» (в железное время под железным небом).

Я читал про это обилие железа, вспоминал свои далекие ощущения, отыскивал и не находил сходства и чувствовал вдруг, что образ — то ли слаб, то ли блекл, что он — может быть, это и было главным — бессильно уступает другим, наговоренным, напечатанным, выкрикнутым за это время другим сильным, мощным, беспощадным, убийственным словам, словно тем и занимались, что старались покрепче припечатать.

Не забыть, как в приблизительном фильме для американцев про Сталина Юрий Карякин формулировал свою мысль посредством словечка «расстрел»: дескать, то был «расстрел совести, расстрел культуры, расстрел крестьянства» и т. д.

Как же так, подумал я тогда, мы же долго воспринимали жизнь с ее фокусами, похоже, и то, что он пытается определить, назвать, я не приемлю так же, как он, но почему меня так коробит эта неточность, едва уловимая неточность фразерства, фразы, которая хочет обратить на себя внимание.

Какая огромная неуследимая опасность заключена в словах! Еле-еле избыв одну — вспомните победоносный, не допускающий сомнений газетный стиль

¹ О романе В. Астафьева «Прокляты и убиты» см. статьи И. Дедкова в журналах «Дружба народов», 1993, № 10 и «Свободная мысль», 1993, № 14.

брежневской поры, — мы погрузились в нешуточную другую. И самый заметный ее результат — судьба слова «демократ». Как когда-то иногда говорили «настоящий коммунист», теперь впроу рассуждать о «настоящих демократах».

И это настолько серьезно, что, встретясь мы с моим старым товарищем-стихотворцем снова, я бы, пожалуй, сказал бы ему: «Наверное, мы дожили до чего-то другого, потому что радость наша была короткой». В сущности, мы дожили до чьей-то победы над такими, как мы, и это, разумеется было бы небольшой печалью, если бы таких, как мы, было бы мало, тем более что победа пока не смертельна, но смириться с этой победой трудно.

А это в самом деле — победа и одновременно поражение идеального момента, стержня, существа нашей прежней жизни, словно отныне со всякими сентиментальностями и тонкостями литературы и жизни — покончено.

3.5.93.

Вот мы и увидели побоище — на Ленинском проспекте — Первого мая с водометами, дубинками, щитами, с кровью, с разбитыми лицами и головами. О ни не подчинились власти, блюстителям порядка — вот довод. Я не раз думал о том, что власть должна быть решительной в отстаивании закона и не бояться пролития крови, если другого выхода из ситуации нет. Кажется, это тот самый случай, и надо подтвердить, что власть права. Но возникает вопрос: а точно ли не было другого выхода? И так ли верно, что вместе с законностью на стороне власти и моральная правота? Оказывается, московская и более высокая власть объективно вели дело к драматической, а то и трагической развязке. Захлебываясь антикоммунистической риторикой, российская власть отступила даже от социал-демократических традиций, отказавшись праздновать Первое мая как интернациональный праздник трудящихся людей. С приближением майских дней Ельцин издал указ о запрете демонстраций и митингов на Красной, Старой и Новой, Манежной площадях, а также на каких-то еще прилегающих улицах, с упоминанием даже какого-то переулка. Но, как бывало уже неоднократно, уступая требованиям профсоюзов, дозволили им митинговать на Манежной площади, двигаясь к ней по улице Горького (Тверской). Там они и митинговали почему-то под голубыми флагами и транспарантами, стыдливо, то есть трусливо, отказавшись от красного цвета. За границей, а также в Минске, Киеве, Алма-Ате и других городах, в спектре первомайских цветов господствовал красный цвет, и главы правительств участвовали в праздновании. Первомайская Москва на этот раз украшена не была. Коегде над улицами были протянуты транспаранты с поздравлениями москвичам с праздником «весны и труда», разумеется, тоже голубые. Точно такие же, как вывешиваются теперь к Пасхе или к каким-нибудь фестивалям и т. п. Разумеется, никакие высокие власти в празднике и митинге профсоюзов не участвовали. Судя по скудной информации, речи и лозунги на митинге носили знакомо взвешенный характер: «нет безработице», «нет повышению цен», но «да — президенту», «да — реформам». Другой первомайской демонстрации — компартии, анпиловской «Трудовой Москве», Фронту национального спасения — было отведено жалкое, в сущности, пространство: от Октябрьской площади, где памятник Ленину, до выставочного зала художников (Крымский мост был перекрыт милицией и т. н. ОМОНОм). Сообразив или зная, что Крымский мост не перейти, митингующие (в первом телерепортаже, наиболее подробном и уже более не повторенном, было слышно, как Анпилов призвал идти на Ленинские горы) двинулись по Ленинскому проспекту и прошли довольно далеко — до площади Гагарина, где им путь преградили всерьез и где произошло столкновение. Сегодня медицинские власти Москвы объявили, что пострадало около 570 человек; среди них — 250 работников милиции. Я уверен, что всех милиционеров, кто получил хоть какие-нибудь ушибы, обязали пройти медицинское освидетельствование. Что касается обычных граждан, то, разумеется, к врачам обратились не все. Столкновение было жестоким, хотя власти — с

помощью абсолютно подчиненного им ТВ — убеждают, что налицо провокация «неокоммунистов» и что все устроили их боевики. Однажды даже продемонстрировали оружие боевиков: две заточки и какой-то железный прут плюс ржавую цепь. Однако никто еще не говорил о наличии колотых ран, и сколько мы ни смотрели уже и з б р а н н ы е, то есть наиболее выгодные власти, фрагменты побоища, мы видели лишь безоружных демонстрантов, а позднее — вооруженных отнятыми милицейскими дубинками и обломками палок от флагов и плакатов. Сегодня вечером в «Пресс-клубе» (ТВ) обсуждали это событие, и хотя несколько человек осудили действия властей, многие из журналистов, демонстрируя свою замечательную отстраненность от жизни и судьбы народного большинства, толковали, что такие побоища — норма демократии и что все это нужно воспринимать спокойно. Лишь грузинка сказала, что в Тбилиси с таких побоищ началась гражданская война. Несомненно, если б власть сняла оцепление, демонстрация тихо-мирно рассеялась бы по пути на Ленинские горы.

18.6.93.

Купил книжку рассказов Ив. Касаткина и Жореса Медведова о Лысенко — т. е. историю биологической науки в СССР (когда-то читал главы в машинописи — в самиздате). Касаткин — 31 руб., Медведов — 75 руб. Для сравнения: мороженое (эскимо) — 75 руб., батон белый (сегодня) — 49 руб., килограмм сосисок — 1600 руб., бутылка молока — 94 руб.

Можно сравнить с соотношением цен прежде: на книги и на прочие товары. Т. е. книги у нас по-прежнему дешевле, чем на Западе. Слава Богу. Но соотношение цен — дикое.

28.6.93.

Уже никто не вспомнит, когда... когда я, маленький, несознательный, чувствующий, но несознательный, непонимающий, бежал, улепетывал, катился по зеленому лугу от деревни, от домов, от отца с матерью, куда-то в сторону, к лесу, к простору, — я помню себя бегущим и окликаемым, но продолжающим бег, нескладный, косолапый, а потом подхватывающие руки отца и молодое лицо матери, не знающих, то ли сердиться, то ли смеяться...

Потом, сопоставляя рассказы отца о предвоенных геологических экспедициях со своими воспоминаниями, я понял, что это было именно тогда, в одной из поездок в деревню к отцу. Или мы были в экспедиции с ним?.. Кто теперь скажет?

Никто уже ничего не скажет. Есть люди, нет памяти. Да и много ли людей? И людей нет.

А мальчик белоголовый знай себе убегает. И молодые красивые родители. И никто ничего не знал о будущем. А я убегал, не шалил, нет. Я серьезно убегал. Будто тянуло меня. Я потом видел, как бегут дети, — именно так, с непонятным упорством, и их ловят, останавливают, а они рвутся вперед — их тянет глубина простора, глубина зеленой воды луга, темная вода леса, синяя вода неба, их общая глубина.

Я убегаю, и как я счастлив, как сильно колотится маленькое сердце! <...>

У Генри Адамса: «Надо бывать везде или нигде» (речь идет о столичной светской жизни). После возвращения в Москву я очень быстро предпочел второй вариант. Исключений было не много. Если бы первый, то многое могло быть иначе (не лучше или хуже — иначе, но я этого не хотел. Это «везде» было не по мне).

19.7.93.

Кунцевская больница. М. б., я и попался? Завтра-послезавтра — испытание: попался ли? В прежний мой заезд сюда было проще: наутро — операция, и быстро домой. Что сейчас — не знаю. Когда бывает жалко себя, то не то чтобы — себя, — а дольше хочется не расставаться с родными и любимыми,

домашними... Тут-то вся и горечь. Нельзя подвести. Здесь — и в прошлый раз было такое ощущение — включаешься в некий конвейер, и там как повезет. Положили, покатали с ветерком...

День разгулялся; в палате пока один, но это — казус. Немного гулял после дождя.

Странное скоростное сокращение мира — до дома, и ничего, ничего, все отступает...

24.7.93.

Июльская гроза. Сегодня, в ночь на 23-е, гремело, грохотало, хлестало по окну, даже брызги долетали, пришлось встать, закрыть форточки. Все вздрагивало и взблескивало, и последний сон — вымученный — пропал. Чего я только не придумывал — вспоминал стихи («Во весь голос» Маяковского, что-то из Есенина — полубредово) и, главное, чувствовал: приближается утро, надо заснуть, иначе не будет сил, а когда нервничаешь, торопишься — совсем ничего не получается, а померил температуру — 39. Так и съехала операция на вторник...

Сегодня, значит, 24-е, время здесь — числа — не имеет значения: важны события: до операции, операция, после операции. Надо урезонивать свое воображение: все равно все варианты перебрать невозможно. Доверимся судьбе. Ну и выкарабкаться надо будет. Постараться.

Щельково придется отменить уже сейчас. Даже при самом благоприятном обороте дела — не успеть.

Я что-то хотел написать про июльскую грозу. Вспомнил платоновскую «Июльскую грозу». Какое счастье быть маленьким мальчиком! Или иметь сына — еще маленького мальчика. Это у меня было.

Писать всерьез невозможно — поднимаются чувства и т. д.

27.7.93.

«Июльское» «утро стрелецкой казни» переименовывается в утро августовское или сентябрьское.

Сколько раз говорил себе, что всех вариантов предстоящего не пересчитаешь: так было в пятницу, когда меня разобрала высокая температура, так и сегодня, когда сказали, что в таком болезненном состоянии операции делать нельзя.

28.7.93.

Слава Богу, вчера из Крыма вернулся Никита. Как бы из другой страны — если это будет закреплено, то привыкнут к этому только «новые русские» и «новые украинцы».

Страшная сила воображения! Разоружающая, расслабляющая, томящая, настигающая, убивающая, не знающая ни берега, ни предела!

Ее обещания и выверты могут быть бесподобны, но — как опасна! Какие разочарования они обещают!

29.7.93.

(От Матфея.) ...Вдруг представил себе, как народ тогда — влачился... Это было даже картинно — нечто растительное. (Разум включился и объяснил, напомнил, что время-то — уже новая эра и многое с человечеством уже было: и государственность, и политическая, и философская, и прочая мысль), и тем не менее — среда, внутри которой движется Иисус, — люди, которые бегут за ним, падают к его ногам, которых он ведет со всепобеждающей силой, — все это и неким видением некоего ветвления, стелющегося, колеблемого всяким ветром и всякой силой...

Друг друга спрашивают: ты верующий, веришь, крещен? И часто так все ясно: крещен, я православный, верующий и т. д.

А когда читаешь Евангелие, понятней некуда сказано: живешь по заповедям — значит веруешь, подчиняешься Божьему закону.

В мирской жизни об исполнении заповедей говорят обычно в судах (ага, попались!), да и то как о преступлениях перед людьми.

30.7.93.

Вот где материя берет свое; ее первичностью все пропитано; а где дух? И дух где-то здесь, затаенный, затаившийся, испуганный, ищущий, на что бы опереться, на какую духовную точку. Вчера я пытался опереться, скажем так, на точку, мне не свойственную, но, думалось-то, от меня не закрытую... Хотя бы потому готов без конца повторять, что грешен и виноват; я не могу причислить себя к грешникам, как великим, так и пошлым. Все-таки я старался жить (а иначе и не мог, вероятно, даже и не стараясь) по Его заветам (где-то есть про это в моих стихах).

<...> Бывало — самодеятельно, и здесь тоже, — я проговаривал, выговаривал какие-то скопившиеся, подступающие к горлу слова, и казалось, они совмещались с тишиной жизни и далью ее, к каким я зывал. На этот раз — было странное ощущение какой-то холодной пространственности. Слова были хорошие, универсальные и уже потому обнимающие и выражающие многое, но на них то ли надо было иметь право, то ли еще что.

Холодная пространственность материальности — вот что простиралось и как-то невнятно смягчалось... Или не смягчалось вовсе... Так ли они вылетали, так ли летели, или тайна не в словах, а в том эмоциональном взрыве, которым они выбрасываются?..

30.7.93.

Сколько характеров, столько способов самообороны и самозащиты. Сказать, что разум начинает сдавать тотчас, как получает неприятное известие, нельзя. Но характер, конечно, становится виднее. Это не основание для осуждения одних и восхищения другими. Но — виднее, и это интересно. За своим характером я нового не заметил, но его качества малоприспособлены для практического успеха в жизни, сказываются и здесь. Я проигрываю всегда, когда нужно быть практичнее, расчетливее, поискать максимально наилучшую для себя возможность, — вот тут я, мы, наша порода — пас, мы доверчивы и неприхотливы, мы исходим, что другие люди наделены тем же чувством ответственности, доброжелательности, честности.

Что-то вроде этого вытаптывалось в полубессоннице: не суди, не умничай, не сравнивай — и еще сверх, из прошлого опыта: не жди, не оглядывайся, не жалуйся, иди...

<...> Тут так: пошел — иди, не мудри, не оглядывайся...

Весь конец июля — в грозах, в громких, шумных, со вспышками света во все окно, в страхах соседа простудиться, в невозможности спать.

Хорошо быть молодым — это я сейчас понял, с остротой не мысли, но — ощущения. Даже не то понял: невозвратность, необратимость пути. Вся остальная необратимость (политическая и прочая) — чушь. Обратимо все, кроме жизни.

17.8.93.

Дома. Вот понимаю, что ничего не надо предугадывать и торопить. И не надо перебирать варианты (все равно может вывернуться непредусмотренный). Но ничего не могу поделать: ум бежит впереди, и следом всякие чувства. В таких случаях уму, сознанию самое подходящее — военная дисциплина: иди туда, делать то и это. И — никаких уклонений. (Так и легче.)

<...> Зачем я это пишу? Всего, что составляет меня и заполняет меня, не передать. На такую передачу ушла жизнь, и никто мне не скажет, что же передалось и осталось.

Буду читать дальше — Шпенглера, Адамса, Соловьева... как ни в чем не бывало...

22.8.93.

Состояние промежутка: между известным и неизвестным. Хотел как-то ускорить — быстрее миновать — не вышло. Оттянулось на неделю — да все равно скоро. Из-за неизвестности писать не очень хочется. Или надо делать вид, что все как прежде, или считаться, и тогда все окрасится, а мне этого не хочется: зачем скульпить? Если время у меня еще будет, то я, конечно, напишу все, что перечислил на первых страницах этой тетрадки, — очень хочется! А Кострома — целая жизнь! — иначе все ускользнет — все, что в дневниках. А в дневниках так мало поэзии жизни, поэзии дома, семьи — самого бесценного, нигде — кроме памяти чувств — не фиксированной. Как тонко это схвачено у Флоренского, при его трудной для меня сфокусированности на себе, на своих ощущениях, на сквозящей, все пронизывающей мистике...

29.8.93.

Хотел ускорить, да не вышло. Все тот же промежуток. Или, может быть, просто жизнь. Непривычная, без сосредоточенности на деле. А состояние мое такое теперь, что можно ходить на работу. Почти как раньше, если, конечно, забыть, что придется возвращаться в больницу.

Прочел за это время Пайпса, введение к «Закату Европы» Шпенглера, почти всю книгу Генри Адамса, первую часть книги Кларка о Ленине, книжечку С. Зяницкого и много чего другого. Надо бы вернуться к писанину. Это сложнее.

Заезжал Н. Б., приезжает Олег, привозят газеты, не забывают — спасибо всем. Звонил Рожанский и после — Гефтер.

Болезнь — в такие времена! Впервые занимаем деньги. Мне надо вырваться — не ради себя. Лучше не писать.

30.8.93.

Завтра день рождения отца. Думал, что буду в больнице. Все «удовольствие» растянулось. Перечитываю Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей». Вроде бы страшное, а сквозь все — очарование жизни, очень простой и ясной, очарование людей (тоже простых и ясных — вне узилища). Поразительный контраст живого, живущего, красивого, непосредственного — и вдруг проступающего жестокого, беспощадного ядра.

1.9.93.

Дни проходят так быстро. М. б., я еще буду их вспоминать — наши прогулки с Томой к университету, — когда чувствовал себя целым и здоровым. Вчера вместе с Никитой был у моих.

Сегодня — прекрасный солнечный день. Все, что видели вокруг университета сегодня, вызывает к воспоминаниям. Тома была вчера на факультете. Печальная информация Засурского. Гнусность власти?

Уже 8.9.93.

Волокита еще не окончена, или это теперь норма и я зря сетую?

К тому же не знаешь — спешить или не спешить. Или — по воле волн?

Сегодня услышал: надо суетиться. (Искать другие варианты.) Я же говорю: не надо суетиться.

² У факультета журналистики пытались отобрать здание на Моховой.

Стараюсь не думать о финансовой стороне дела. Ну а если у кого-то — нет таких возможностей, у его конторы — нет? Или живу где-нибудь в деревне? Что тогда?

Они сооружают мир, где верховодить будут деньги. Я надеюсь, что в России этот номер не пройдет. Этот призываемый ими мир именуют демократическим. Он мне отвратителен уже сегодня в своих претензиях надвигающейся реальности. (См. хотя бы про «финансовую сторону» человеческого выживания.)

Будничность всего. Я об этом гадавался и, кажется, писал. Не было — есть, и все тут. И надо выкручиваться.

Я не хотел бы подвести вас, мои милые. Вот что меня мучит.

Прочел Роберта Грейвза «Я — Клавдий»... Теперь — читаю о том же — Тацита. (Не завидуйте другим временам и широтам. Разная концентрация одного и того же.)

Дочитал Кларка — о Ленине.

14.9.93.

Жду возвращения в больницу. Долгое оформление (по правилам поликлиники — анализы и проч.) и малоприятное (редакция платит деньги; это и есть приобретение демократии; а если бы не было?). Но закончилось оформление в пятницу, сегодня — вторник... Такова хроника. А хроника души?

То ли надо было выйти на работу, не знаю. Недели две назад, что ли? А с каким настроением ходил бы, сидел бы там, разговаривал?

Что гадать? Как есть, так и есть. Надо дожидаться. И, наверное, не отчаиваться. По крайней мере раньше времени.

Прочитал «Анналы» Тацита, читаю его же «Историю» и параллельно Светония. Почему-то втянулся. Потому ли, что — далекое?

Вероятно, Тацит преувеличивает число войск и жертв. Если преувеличений нет или они невелики, то картина — ужасная. Как за день перебить 80 тысяч людей, потеряв при этом четыреста человек? Или как вообразить 50 тысяч погибших — погребенных под развалинами рухнувшего циркового амфитеатра?

Как бы то ни было, жизнь человеческая тогда ничего не стоила. У человечества XX века были достойные предшественники.

Но — какие говорились речи, какие пробивались временами достоинство и доблесть!

Ныне — речи без достоинства и блеска, люди без доблести и благородства, зато — то же невыводимое племя льстецов, доносчиков, корыстолюбцев, мелких сутяг!

И, подозреваю, случись что — жестоких людей, не гуманнее тех, кого они чествуют (чекистов, напр.)!

Придумывать ли свое печальное будущее? Прозреть ли? Или подождать? Пока еще жду.

Не стало Ю. Болдырева, В. Лакшина, Г. Комракова — всех я знал. Двух последних я бы хотел проводить, да совпало с моей болезнью. Люди одного поколения и одного, скажем так, крыла в поколении.

Слушаю радио «Эхо Москвы», телевизор сломался. Вчера давали беседу со славистом из Парижа (Герра? — так послышалось). Рассказывал, как угнетали культуру у нас и как он по возможности ее защищал и спасал (писал о ней, собрал коллекцию живописи и графики). Был включен прямой телефон, и одна из слушательниц сказала, что сегодня на «Эхо Москвы» «неприятная передача». И тут же благородный, высококультурный гость из Парижа вскричал: «Тем хуже для вас! Пошли к черту!» И после паузы: «Я бы этих старых большевиков...» — и зарычал.

Вот так и приоткрылась глубина культуры и — прорвавшаяся злоба! (И к кому? К неведомому человеку, женщине, сказавшей свои слова очень спокойно?)

Сколько же получили мы европейских и американских учителей и су-ровых наставников!

16.9.93.

† Все по новому кругу. Моя вечная наивность; условность всех прежних договоренностей («вернетесь через месяц» и т. п.); одна надежда — что к лучшему. Лишь бы хуже не было.

Я — в другой палате; на троих, но пока нас двое (86-летний старик после операции — можно позавидовать: справился!); особенность палаты — сломанный бачок, который слесарь не чинит, т. к. вся система протекает (надо сливать кувшином), — вот так теперь в ЦКБ. Но это все пустяки. Ничтожное.

18.9.93.

Сегодня впервые, лежа под компьютером, задал тот вечный общелюдской вопрос, над которым днями почти пошучивал (за его бесполезность): за что?

Больше — надеюсь — не спрошу: это слабость.

За что? — спрашивают каждый день миллионы по всему свету: убиваемые в Абхазии, в Сомали, на ночных улицах, погибающие от болезней и разных катастроф.

Ответа нет.

20.9.93.

Вдруг вчера после проливней — солнце и синее небо над еще зеленым парком. А гулять пока не решаюсь — не хочу, чтобы повторилась та пятница.

22.9.93.

Вчера Ельцин попробовал себя всерьез на попроще государственного переворота. Очень надеюсь, что ничего путного из этой затеи не выйдет.

Я словно чувствовал, что, когда буду в больнице, что-нибудь начнется — какая-нибудь городская пальба. Вот нечто похожее и происходит. Или близко к тому.

К несчастью, я частенько догадываюсь о будущем. Лучше сказать — предчувствую. <...>

Господи, не отворачивайся от меня, помилуй и прости.

Солнечные стоят дни — самые любимые мои — осенние... По Тютчеву — «весь день стоит как бы хрустальный» — за окном, где парк, еще зеленый, с едва прочерченной желтизной...

«Прорвемся», — сказал я кому-то по телефону. Нет, не так: выкарабкаемся, вытерпим, пересилим, переключим себя на жизнь — вот бы так, но пока я все чаще готов повторять: не отворачивайся, Господи, не оставляй... И вот единственная несомненность: я думаю о вас, мои милые, я люблю вас и не хочу вас подвести. Я должен выбраться.

Вечером, думая вперед, просил: чтобы повезло, а сам боялся: уже не повезло и может не повезти еще больше.

И тогда как сделать, чтобы болезнь моя меньше задевала моих милых, меньше их задевала и терзала. Как сделать, Господи! Помогите мне, не оставляйте, хотя я и виноват перед Тобой. По молодости, глупости, неопытности и превосходящей опытности и давящей силе государства. Это не оправдывает, но доказывает хотя бы не злонамеренность мою.

28.9.93.

Ну, 24-го я кое-что прошел, и теперь организм успокаивается — не знаю, как долго это продлится, предсказания врачей были нехорошие. Если сбудутся — сколько мне предстоит пройти всего впереди — Бог весть.

Задумался, что когда будет, в каком месяце, вспомнил про Новый год и т. п., а потом сказал себе твердо:

ничего ни о чем не загадывай, не предугадывай, не торопи, не забегай вперед — все мнимость, все легко опрокидывается, отменяется и т. п.;

научись жить по-новому, от ситуации к ситуации, и как-то из них выбираться, если тебе повезет и от тебя не отвернутся.

Иногда человек чувствует, что подчиняется какому-то высшему раскладу, и вдруг открывает это для себя.

Кажется, они хотят взять Белый дом силой. По ТВ нарочно с подробностями прощания показывали похороны офицера милиции, убитого боевиками. Это как бы взывало к отпущению, к наказанию виновных. Вокруг Белого дома — кольцо: никого не выпускают, только выпускают. Федор³ уехал уже дня три, как бы я поступил на его месте?

Все происходящее — даже в мелочах — отвратительно. Это и в самом деле диктатура, но кого? Кто движет Фигуру или Туловище?

Клинтон теперь — наш старший брат!

Вот он позвонил, вот он сказал!

Будет возможность и настроение — е. б. ж. (если буду жив), — напишу по записочке Оскоцкому и Нуйкину, чтобы хотя бы знали, как я на все их хлопоты и демократию смотрю.

Боже, а Черниченко — народный заступник — забыл, должно быть, когда держал в руках перо. И не стыдно торчать каждодневно на экране ТВ.

29.9.93.

Думал, что смогу ждать спокойно, что я достаточно подготовлен Гришин⁴ к худшему известию, но не получается.

Читаю Мережковского «Леонардо», а все время отвлекаюсь, думаю, хотя все уж передумал и себя уже уговорил... Ничего удивительного — все как у людей. С их последними надеждами. Но воля к жизни должна преодолеть и это.

Прочитал вчера переписку Е. Трубецкого и М. Морозовой («НМ», № 9). Дочитываю 1-й том Мережковского — романы, за которые никогда прежде не брался. (Пишу коряво — потому что полулежу.)

Слушаю радио и опять думаю: у власти — мелкие люди с мелкими чувствами и мыслями. И как легко журналистика перешла (уже давно переходила) на язык ненависти к «врагу» — официальная послушная холуйская журналистика!

Снег с дождем, а деревья еще не облетели. Второй день дождь стучит по подоконнику.

7.10.93.

Я вернулся домой 1 октября. Как спокойна и свободна была душа моя первые два-три дня дома. После всего — успокоилась. Это теперь в нее возвращается вся полнота жизни — полнота ее сумятицы, тревоги и горечи.

3 — 4-го — стрельба. Российский парламент в очередной раз упразднен. Торжествуют мои бывшие друзья и единомышленники (давние, бывлые, — Оскоцкий, Черниченко, Карякин, Нуйкин и т. д.) — стыдно. Перебито много народа.

Когда я был в больнице, застрелился В. Л. Кондратьев. Анфиногенов, разговаривая со мной по телефону, осудил его (В. К. был пьяный). Обстоятельства жизни — не в счет.

[Б. д.]

Если искусство в самом деле — а это так — преодолевает смерть, то только тогда, когда являет собой жизнь и сберегает ее и воскрешает человека. Это вечное открытие жизни и человека, его глубины, разнообразия, богатства.

³ Друг Дедкова Федор Васильевич Цанн-Кайси был народным депутатом Верховного Совета РСФСР от Владимирской области.

⁴ Врач-хирург.

Этим кажется, что все они знают, но знать можно — книги, фильмы, картины, но жизнь — никогда.

(Они увидели во всем, что им померещилось: что Толстого едва помнят, что Залыгин — серая скука и т. д. и т. п.)

Конец истории — конец литературы. Но если первое — неправда? И тотальная победа западного либерализма — миф? А если б и победа, то взрыв этой благополучной истории от скуки?

Это рассуждают люди, когда думают, обретаясь в Москве или в сфере ее тесного общения, что все кончено. Они не учитывают, что остается страна и ее народ, уже в ста верстах от Москвы — другой.

Припомним: что противостояло идеологическому мифу, внутри которого нам предлагалось жить? (Нет, мы должны были там жить, если не хотели неприятностей и вообще собирались как-то сносно просуществовать.)

Так что же противостояло?

Ответ простой: жизнь.

Не та, что в газетах, по радио, на экранах, в речах начальства, в романах, а другая, никуда не попадавшая, оттесненная, отодвинутая, как бы невидимая. Она мешала и раздражала своим несовершенством, разрушала столь совершенный миф.

И эта жизнь должна была прорваться. Некогда она составляла содержание и смысл искусства. Это про Николая было сказано, что он через Чехова узнал, какой, собственно, страной он управляет, какие в ней живут люди.

Над этим стоит задуматься: представим себе условия воспитания наследника, его образ жизни, почитаем дневник и переписку царя и сообразим, какую Россию он знал и в каком соотношении она была к реальности, к этой огромной стране.

Литература 60 — 80-х годов оказала немалое влияние на духовную атмосферу страны, потому что она вернула жизнь и подчинилась жизни как Богу.

Наставшая эра свободы наконец убрала все преграды, и жизнь представала — посредством и искусств, и документалистики — открытой. (Стали ликвидировать «белые пятна» и раскрывать разные темы.)

Эра свободы продолжилась и далее. Очень скоро оказалось, что свобода более всего нужна для «целей» не высоких, а низких. Разумеется, взялись за то, что полегче.

Теперь мы оказались там же, где и были. То есть вроде бы совсем не там, не в царстве коммунистического рабства, а в стране буржуазной свободы, но, в сущности, там же.

И первый, вернейший признак — исчезающая реальность, нарастающее отсутствие жизни [нрзб.]. (Там: страх. Здесь: а нам все равно.)

Жизнь негодна, когда она не совпадает с мифами. А новые мифы не замедлили явиться. Особенно это видно по журналистике.

Возник литературный промежуток, может быть, он естествен и был бы преодолен. Но волна критики разрушительной заполнила его; т. н. коммерция — тоже форма критики и паразитирования на плохо или хорошо сделанном предшественниками.

Энтузиасты разрушения своим криком и грохотом, торжествующим визгом постарались заполнить все печатно-визуальное пространство.

Ёрничество и беспощадность.

Почему же они говорят: поменьше жизни и подальше от правды?

Они не знают того, что знали про жизнь Абрамов и Трифонов, Астафьев и Носов, Панова, Семина, Казаков...

Оголтелость РАПП («напостовцев») — ЛЕФа была политически обоснована; оголтелость постмодернизма (высокомерие его адептов, наглость) менее очевидна, но укоренена на политической почве <...>

Заявление о себе, любимом, или сладчайшее самовыражение, заставляющее думать, а нужна ли нам четвертая власть — не чересчур ли много властей?

(Отношение к «простому» человеку.) Человек перед любой властью чувствует себя беззащитным.

И четвертая — не исключение.

21.12.93.

Опять — здесь. А здесь — совсем другой круг мыслей. Как в ловушке. Иногда понимаешь, что и здесь надо как-то устраиваться, — и люди, думаю, некоторые, устраиваются. Я же — просто иду и, что будет, не знаю.

Все — проза, все — будни.

Тяжелый день.

Так и было: полное крушение иллюзий. Мы полагаем, Он располагает.

24.12.93.

В послеполуденной декабрьской тьме вылежал: нельзя сдаваться, нельзя сдаваться, нельзя! Сдаться-то успеешь всегда. В год-то Собаки сдаваться совсем не годится. Я все же — собака, верный пес, домашний, неуклонимый от своего собачьего служения.

25.12.93.

Фильм Голдовской («Повезло родиться в России») — я понял, какое лицо у Стреляного... Когда познакомился — в 87-м, — под обаянием имени — понять не мог, что же меня в нем настораживает. Тогда он говорил: журнал («Новый мир»), каждую книжку — делать как последнюю. Чуть позже меня равно настораживало в нем (и в Адамовиче, кстати) — беспощадность (не к себе, разумеется) — к тем, кто сочтен противником. Бестрепетная беспощадность — на это меня никогда бы не хватило...

В фильме Голдовская все спрашивала про «смысл жизни».

Раньше я знал, что это такое. Теперь я заметил, что боюсь этого слова. Оно мне неприятно. Раньше для меня такого вопроса не было.

Еще заметил в этом фильме: Голдовская снимала в квартире своей подруги — жены Красавченко. Та говорила мужу по телефону (разумеется, не такому, как у нас, а — с антенной, не знаю, как он называется) и настаивала, что надо решительнее штурмовать Белый дом. Но записываю не для этой подробности, а для другой: в интерьере квартиры, в какой-то из комнат мелькнул большой фотографический портрет С. Красавченко, одного из героев «президентской команды».

Любопытно: на столе О. Румянцева — собственное фотоизображение, и здесь — в доме — тоже, много крупнее — никак не могут на себя насмотреться, налюбоваться. Такие пришли к власти люди. (Ну, О. Румянцев оказался честнее многих, у него нашлось в душе что-то поважнее любви и тяги к власти.)

25.12.93.

Нам хотят сказать, что все, чем мы руководствовались в жизни, чему следовали в поступках, — ничто.

А вот они нас превзошли. Они — откровенно богатые, откровенные приобретатели, банкиры, дельцы, собственники, — скучно перечислять...

Да, с детства, с юности и дальше я помнил, что кроме меня есть нечто большее, чему я принадлежу, — это родина, ее народ, его большинство. Меня воспитали — все, особенно книги, — что есть другие и о них надо помнить. С этим чувством — необходимости соучастия и помощи — я ездил работать в колхоз (в университете), потом поехал по распределению, и так до конца — всегда держа в голове и душе верность долгу... (Нет, это я написал плохо — лежа, словно спеша.)

Некая дама, выше средней упитанности, дорожная попутчица Голдовской (в упомянутом фильме), лет пятидесяти с чем-то, неопределенной внешности, охотно рассказывала, что у нее три квартиры, два дома, десять тракторов и т. п.

Разумеется, рядом с такими достойными людьми наше поколение — глупцы. Но пусть нас рассудят Бог и время...

26.12.93.

Воскресенье, и утром — время посещения. Такая радость и такое испытание. Трудно говорить. Завтра все решится, и как про это забыть.<...>

В Льюисе — много утешения и чистого света, и, когда я читаю, как-то легчает на душе...

Мама спрашивает по телефону, не болит ли у меня голова и как меня кормят...

И я не должен — не смею — отчаиваться. Если есть даже щель. Ко всему остальному больница готовит прекрасно... Но если щель есть, то почему она не для меня?..

М. б., писать — вообще лишнее. Но что-то заставляет.

Божественный Лев со сверкающей солнечной гривой, приходящий на помощь слабым, помоги и мне!

Но в какой рог выдохну я свою просьбу? Свой не слышный никому крик?

Болезнь ведь неприлично и жаловаться на судьбу — неприлично. Прилично — терпеть и делать вид, что все идет как надо. По плану. Пока можешь делать вид и держать лицо.

...Я беру с пояса, снимаю с пояса волшебный рог Сьюзен и выдыхаю в него со всей силой своих легких сигнал, призыв, крик о помощи!

2.1.94.

Одно хорошо: ко мне можно приезжать — праздничные дни, — и каждое утро, сегодня — третья, я со своими, милыми. А дальше — опять неведомое, и ты не в своих руках.

В сущности, что такое — мы?

Встретившиеся в бесконечности бытия маленькие живые звездочки — и родители, и дети, и близкие, — встретившиеся и сколько-то пребывавшие в счастье и печали... — скажем красиво — просиявшие! — для нас самих ведь так!

Господи, помоги мне!

10.1.94.

Вчера не стало Анны Алексеевны, «бабы Ани», Томиной мамы. Я ее любил.

И чуть ли не в тот же день в Ярославле умерла Люся, сестра Тома.

Вот так — это уже не где-то спереди рвутся снаряды, а — среди нас. Пришла беда — отворяй ворота — держи круговую оборону.

Господь когда-нибудь да поможет нам — неужели в нас настолько сошлось зло? Или — «слабое звено в цепи»?

Надо решить для себя: записывать что-либо или не записывать ничего.

Надо найти в себе какое-то равновесие.

Когда-то я писал о том, что самая большая и страшная неожиданность мгновенно становится фактом быта, бытовым явлением, как бы вживляется, и все уже у нее в плену, и начинается новый отсчет времени и всему.

Равновесие? В самой возможности, уверенности, что можно и нужно еще побороться. Но без некоторого везения, без поддержки — как? И все равно — выхода нет — держаться и держаться.

Если б я был один, было бы проще...

Вечером по телефону Тома напомнила: «Уныние — грех».

Все верно: надо так,

надо так —

изо всех сил.

12.1.94.

Господин Б. Е. в тронной речи упоминал политиков, постигших «тайны власти», и радовался, что их много среди новых парламентариев.

Тот, кто сочиняет речи этого ренегата из обкомовских секретарей, не понимает, что значит — «тайны власти». Не понимает, что через упоминание «тайн» идет худшая аттестация политика и самой существующей системы власти.

14.1.94.

<...> Как глубоко и не контролируемо разумом оседают в сознании важнейшие впечатления и переживания!

Именно сегодня ночью видел во сне <...> бабу Аню — Анну Алексеевну — и вспомнил, что я не поздравил ее с чем-то — то ли с именинами, то ли со старым Новым годом (как раз была эта ночь). И — поздравил и поцеловал в щеку.

Когда проснулся — удивился сну.

И силе внутреннего, потаенного переживания!

25.1.94.

Какое-то дикое, дикое невезение! <...> Неужели все собралось, сосредоточилось, чтобы со мной покончить?

Мало одной хвори — так еще, еще!

Упаси меня, Господи, от этих щедрот зла!

Все-таки собрался с духом и пошел гулять под вечер — два часа побродил под соснами. И думал: пока гуляешь, не чувствуешь себя больным. Конечно, помнишь, но все равно — ощущение жизни совсем не то, что в палате, когда лежишь на койке. Или правда — воздух целебен и могуществен!

И еще стоял у сосен, прижимая ладонь к их теплым стволам — живым!

27.1.94.

Вчера вечером: не стало Адамовича. В одночасье.

Снаряды рвутся вокруг.

За Кондратьевым — Алесь Михайлович.

Глядя на его лицо на телеэкране (в последнее время это было редко), я предполагал, что он нездоров. Была в лице какая-то одутловатость. И активность его упала.

Где-то в каком-то суде — значит, на пределе переживаний.

Проклятое время!

29.1.94.

— Понимаешь ли, что с тобой?

— Понимаю. Абсолютно ясно.

— Готов ли ты, понимая, противостоять до конца?

— Готов.

— Но не все же в твоих силах. Вспомни, к кому ты обращался в заснеженном парке, под соснами?

— Да. Не все. И, может быть, не так уж много в моих. Но если бы немного везения — у меня давно его не было. И главное — быть

помилованным,

поддержанным,

укрепленным...

Другого ответа у меня нет и другой надежды тоже. Только эта.

Не гадайвай, не считай, не предполагай, не планируй, не верь, не надейся, не слушай — иди вперед...

Не мечтай, не заглядывай в дальние дни, не рассчитывай, не утешай себя — иди вперед...

3.2.94.

Утро. Почему-то вспомнил, как вечерами в Костроме сидели на диване и я читал тебе книжки. И засыпал, читая, и, засыпая, читал, и получалась какая-то ерунда. И ты толкал меня в бок: «Папа, не спи!»

4.2.94.

Ну вот — жалею, что не ушел домой на субботу-воскресенье. Из-за чего не ушел? Из опаски что-то нарушить, ухудшить в своем состоянии?

Да, я хочу спокойно дотерпеть — т. е. сделать то, что могу и что от меня зависит!

Если б все остальное зависело так же от меня! Только уповать остается, что что-то изменяется в мою пользу, т. е. полезно мне и помогает.

После чтения «НГ»:

виновата сама интеллигенция (ее наиболее активная, шумная, заметная часть), что все так вышло: как всегда, спешили, как всегда, красовались, поглядывая на себя в телеэкран, как всегда, думали, что истина на их стороне, в кармане, — и крушили, высмеивали, топтали то, что следовало всего лишь изменять и перестраивать...

Они дружно убивали социалистическую идею и теперь оказались пустыми, бессмысленными, ничего не имеющими за душой — осталось все чужое, скучное, эгоистическое... «Народ» в устах этой интеллигенции — запретное, почти бранное (Ю. Карякин) слово.

Когда это произошло, права называть себя интеллигенцией не стало.

Сосед по палате отправился домой. Одному хорошо. Сосед попался неплохой — не чересчур разговорчивый — здесь это великое благо. Но когда один, еще лучше. Хотя нагрузка на душу — скажем так — сильнее: ничто не отвлекает и не заставляет с собой считаться. Я запретил себе считать, но считаю и зачеркиваю дни с сеансами...

Читаю «Войну и мир», уже третий том. Прекрасно. Читаешь — будто живешь другую жизнь; или по крайней мере участвуешь в ней, наблюдаешь ее — не как хаос и бессмыслицу и пошлость, а как исполненную и смысла, и красоты, и значения, и блага — после растерзанной этой нашей жизни, у которой пытаются отнять и порядок, и смысл, и красоту, и достоинство, и благородство...

Оставлены: деньги и пошлость. Взамен всему, что было: погоня за деньгами, их культ и — пошлость, пошлость, бесцеремонность, их гнет!

[Б.д.]

То, что происходит, — это поражение.

Я не знаю, чувствуют ли те, кто истратил много слов, ускоряя перестройку, разгоняя, т. н. «прорабы» и среди них люди, которых люблю и ценю по сей день, что мы все, кто хотел обновления жизни, потерпели поражение?

Чувствует ли это Марк Захаров, может быть, открывший для себя, что в его иронии и патетике появилась и разрасталась фальшь?

Входили в прорыв и потеряли там друг друга.

И по сей день — одно и то же: кого бы еще обвинить из тех, кто давно знаком, и стать рекордсменом обвинений.

5.2.94.

Документальный фильм «Остров мертвых» — о русском искусстве начала века (так называется одна из работ О. Берд?).

Без авторского и всякого текста — документальные кадры и фрагменты из фильмов той поры (Вера Холодная и т. д.).

Доходит и до мировой войны: одни танцуют и веселятся, другие — пригибаясь, бегут в траншеях.

Эта вечная параллельность, вечная несправедливость, и насколько больше настоящего, живого — во фронтовых кадрах (перебежки, бои, братание, солдатские митинги...).

И сколько надежды в лицах, выхваченных (оставленных!) камерой на улицах Питера (демонстрации, революционное возбуждение толпы).

Морозно сегодня. Хорошо. Гулял. Только бы выдержать...

Какая-то лестница без перил, ведущая вниз с откоса, напомнила вдруг Хосту, санаторий на высоком берегу, где был Никита... Вспомнил, как я прилетел, как встречала меня Тома с букетом цветов, как мы жили в странном доме под какой-то горой, как ходили к Никите, как гуляли с ним, как переживали за него, как спускались вниз по похожей лестнице к морю, минуя ж.-д. полотно.

Господи, думаю теперь, какие мы были счастливые...

...теперь вспоминаю как счастье... вечерние прогулки, поездки в Сочи, все настроение тех дней и вечеров, и весь необычный ландшафт, и множество деталей быта... Написать бы и это подробнее...

6.2.94.

День встреч — на прогулке по морозу. Сначала окликнула женщина паролем «Кострома» и Дедков. Я не узнал, оказалась — Торопова, жена В. И. Торопова. Когда-то мы жили в одном доме на ул. Димитрова. Торопов тогда был первым секретарем обкома ВЛКСМ. Я передал привет ее мужу. Она сказала, что он будет звонить в понедельник. Т. е. она здесь «поправляет здоровье». Она права: тогда, на ул. Димитрова, мы начинали жизнь, а сейчас, мягко говоря, «поправляем здоровье».

Потом меня еще раз окликнули, и опять я не узнал, кто это. И немудрено: не виделись более 30 лет. Оказалось, Андрей Полонский, более 20 лет проработавший за границей от АПН (Камбоджа, Бразилия, Испания).

Поразговаривали. У него стенокардия. В палате — телефон. Платит тысячу за день. Такое мне не по карману. Журналистику он оставил. Вместе с женой Ирой Шнейдер — организовал маленькую туристскую фирму для «новых русских» (Испания, Португалия, где сохранились связи и знакомства). Да, в самом деле в Андрее появилось (зацепилось) в облике нечто испанское. Ну что ж, у него вполне благополучная жизнь — можно сказать, на дистанции он обошел меня. Другое дело, что мы бежали разные дистанции; во всяком случае, не одну и ту же.

Он, как можно предположить, бежал свою с помощью госбезопасности. (АПН, особенно в ту пору — своего начала и расцвета, было хорошей крышей для агентуры.)

7.2.94.

Прочел Сараскину в «МН» (№ 5) про народ. Среди мотивов народного раздражения («одурение») рассматриваются многие, но главный, м. б., связанный с инерцией социального воспитания и социальных взглядов (справедливость!), ею опущен. Сараскина думает, что поминаемый ею народ новую мифологию (деньги как главная цель и собственность как основа благой жизни, счастливая) принял. Но, кажется, это не так, и «серые зипуны» (Достоевский в эпиграфе) еще могут кое-что сказать с а м и. Сараскина же думает, что с а м и они ничего сказать не могут.

18 февраля утром умер отец. <...>

Я запомню: как вечером собирался уходить домой и стоял у притоки дверей той комнаты, где на диване лежал отец, и он попросил: «Не уходи».

Казалось, в тот вечер ему было все равно: он почти не разговаривал, т. е. вообще не говорил. Говорили мы с Ирой, уговаривали поесть каши и т. п., а он отказывался. И тут вдруг неожиданно: «Не уходи».

И я, понятно, задержался, что-то сверх всего почувствовав — нашу связь.

Когда я ездил к ним по три раза на неделе, уставая и, в сущности, больным, лишь отец, словно пробуждаясь от своей отключенности, беспамятства, провожал меня до лифта, жалел меня, — нет, не говоря, а ясно давая понять, что он видит, как я урываю это время, отнимая от своего, чтобы быть с ними, стариками.

Сквозь все ужасающее это беспамятство, такое бытовое уже, привычное, не способное уже напугать, вдруг в редчайшие моменты, мгновения проступало в отце — из глубины, из остатков сознания — понимание своего положения, своей обреченности.

Для себя он уже был чем-то только сиюминутным; его память перешла к нам — в меру нашей памятливости, и я на прогулках напоминал ему его жизнь: Смоленск, войну, послевоенную Ухтомку...

Теперь его нет совсем. И «сегодняшнего», «сиюминутного». Я не испытываю потрясения; я был к этому готов; за время больницы я подготовлен ко всему.

Я не потрясен, но с ним перешла в абсолютное прошлое часть моей жизни. Это что-то дорогое, уходящее на дно моей души. Туда, где уже многое — многие памяти — скопилось.

В ночь на 19 февраля.

Бедный мой папа!

Было что-то фатальное в том, как уходила память. Наверное, если б в свой час мы сильно бы вмешались в вашу с мамой жизнь, можно было бы помочь.

Но человек — растение в своей почве. Почву эту невозможно было изменить.

Эта сильная последняя тяга — как в трубе: с нею не справиться.

У меня сухие глаза; я это знал, и я был бессилен тебе помочь с двадцатых чисел декабря. Прости меня...

Мои сухие глаза ничего не значат. Все во мне.

Я бы не хотел спешить за тобой. Может быть, Господь Бог мне поможет. Это же не война, чтобы косить всех подряд. Это же жизнь, и она должна продолжаться.

Я буду помнить только лучшее. Твою позднюю гордость за меня. После всех разочарований во мне. И твою любовь к литературе, перешедшую ко мне. Стена неизбежности. Вот на что надо тратить свои упрямые лбы!

22.8.94.

Пребывая в Кронштадте, А. Н. Яковлев (он привез кронштадтскому командованию радостную весть о скорой реабилитации мятежников 1921 года) беседовал с корреспондентом ленинградского ТВ о разных умных вещах. «Ну вот, — говорил А. Н., — многие жалуются, что не стало идеалов. Чепуха. Разве не прекрасный идеал — свобода?! Разве мало этого идеала?» И глаза одного из вдохновителей перестройки молодо вспыхнули...

Услышь я эти слова где-нибудь в году восемьдесят шестом — восемьдесят седьмом, может быть, и мои глаза в ответ тоже вспыхнули бы. Но сегодня ничто во мне не отозвалось. Слова были веселы не в меру; они исходили из какого-то другого, сановного опыта — не моего, не моих близких, — из опыта какой-то благополучной и сытой свободы, из чувства превосходства над людьми, не понимающими своего счастья...

Я не понимаю счастья быть одним из участников перехода к капитализму. Я к ним не принадлежу.

Свобода оказалась двуликим Янусом: она повернулась блудливой мордой к большинству моего народа.

Свобода требовала бережного обращения, но после августа 1991 года политическая ставка была сделана не на лучшие, а на худшие качества человека,

и свобода на то и сгодилась: на оправдание блуда, наглости, насилия, хамства, цинизма, агрессивной безответственности.

Это, конечно, приятная новость: вот-вот реабилитируют кронштадтских мятежников; на очереди, говорят, полное оправдание русского крестьянства (сподвижников Антонова, т. н. «кулаков», «подкулачников» и т. д.); потом, возможно, придет черед Фаины Каплан и т. п. Не могу понять Временного правительства, особенно его министров юстиции, почему они для пушкого торжества свободы в России не реабилитировали, к примеру, декабристов, моряков «Потемкина» и «Очакова», или Желябова с Перовской, или Каляева? Да и ленинский Совнарком мог прославиться на том же славном поприще. Что-то им мешало, и тем, и другим. Не хватило истинного осознания своего исторического могущества, своей безграничной власти над прошлым...

...Боже, как они пинают мертвых, мужчин и женщин!

Откуда у них это чувство превосходства? Будто они больше знают, понижают, видят? Трутся в коридорах власти, ждут в передних, ловят слухи, сплетни, жмутся к тем, кто сегодня сильнее и выше. Юра Карякин, возгласивший: «Россия, ты одурела!», давний мой знакомец (или приятель), что ты знаешь о России, когда ты в последний раз ее видел? Это Солженицын ее видел, хотел увидеть и выслушать, и теперь заступничает за всех услышанных и пытается докричаться до тупого слуха царяющей в России «демократии». Он несет весть о России, а она власти не нужна, не нужна Москве и Кремлю. Как можно было проплыть всю Волгу и лишь дважды сойти на берег! Пропустить такие города — саму Россию — как?⁵ Это все равно, что Солженицын бы в своем путешествии дважды сошел с поезда, а остальное наблюдал бы в окошко. Екатерина Великая... Борис Михайлович Кустодиев перед смертью, прикованный к креслу, плыл на пароходе по Волге в последний раз — он простился с Родиной, с Россией. Подумаешь: сантименты! У нас другие возможности: в любой момент на самолете туда-сюда; у властвующих нет времени на посторонние чувства... Россия не в чести — это так!

Обкомовские чиновники в своем большинстве были важны и как бы заключали в себе некое преимущество перед прочими. Это было писано на их лицах: они знали и ведали то, что не знали и не ведали мы. Я тоже мог оказаться среди них — где-нибудь посредине 60-х, — но мелькнувшая эта идея быстро погасла по своей, думаю, несовместимости с моей личностью. Т. е. по здравом размышлении решили, предложив как бы между прочим, не настаивать...

В обкомовских судьбах, как бы ни были несхожи человеческие индивидуальности, много общего: решающе общего. Особенно если говорить о секретарских чинах. Особенно если они воспитанники аппарата.

Уже после моего ухода из газеты взяли сотрудником активного автора — сельского учителя из близлежащего района. Проработал он недолго и оказался в инструкторах отдела пропаганды и агитации обкома. Получил право поучать и наставлять своих недавних товарищей. Я видел его в новом качестве — заматеревшим, с неподвижным лицом. Он мог бы работать в газете — чем плохо, но предпочел другое. Так делают выбор, и хотя можно потом уклониться, но непросто. Когда-то такой выбор сделал А. Н. Яковлев. Фронтовика-инвалида не осудишь, но потом, окрепнув и оглядевшись, он мог уклониться, но, возможно, и в голову не пришло. Начался подъем «наверх», и он таки дошел до самого верха, чтобы потом, когда сооружение рухнуло, отречься от всего, чему служил. Иногда меняют благополучие на гонения или гонения — на благополучие, он «менял» одно благополучие на другое, один «верх» на другой «верх». Это змея, говорят, сбрасывает кожу; может ли человек? Может ли человек, дожив до старости, забыть, как жил до сегодняшнего утра, и объявить, что с нынешнего утра он все понял, пересмотрел и т. п. и от прежних своих взглядов отказался?

⁵ Речь идет о поездке по Волге Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.

Конечно, может. Но пусть тогда объяснит, что означала его предыдущая жизнь. Или он жил в неведении и тумане — обманутым, одураченным, или то было лицемерие и лицедейство? Ладно бы, речь шла о чем-то глубоко личном: верил человек в одного Бога, потом разуверился, поверил в другого... Но он-то в некотором роде был священником, митрополитом, почти патриархом, вел за собой паству. Вина, если подумать, огромная... И — непризнанная... И осознана ли?

25.10.94.

Я ничего не хочу писать. Я заболел от запахов расцветшей «демократии».

Это фантастика, но, м. б., я даже бы выздоровел, если бы эта вся «президентская рать» куда-нибудь исчезла и вместе с ней всосались бы назад, в темные глубины, эти хамство и наглость, — черная жижа т. н. свободы.

6.11.94.

Куда не ездил, не летал, отказываясь под разными предложениями? Не хотелось нарушать привычное течение жизни, работы и т. д. Так вот куда же? На Кубу, в Чехословакию, Венгрию, Марокко, Индию.

Евтушенко (по ТВ) говорил, что побывал в 93 странах.

У Л. Гроссмана прекрасно написано о Пушкине, который дальше Молдавии не бывал, который мог бы беседовать где-нибудь в Европе с тамошними знаменитостями искусств и философии, а вынужден был обходиться знакомством и беседами с какими-нибудь молдаванами и цыганами (кажется, так у него написано, а впрочем, смысл ясен: не на той орбите вращалась пушкинская планета, не на той высоте, а вот поди ж...).

А вчера — солнечный, мартовский день — гуляли с Томой до смотровой площадки Ленинских гор и потом к университету — я шел и говорил себе: благодари за каждый день, такой или не такой, — благодари за счастье идти рядом с родным человеком и видеть над собой это ясное голубое небо и слепящие полотнища снега, за каждый миг жизни благодари!

Это прекрасно понято Т. Уайлдером в «Городке». Незабываемо понято.

7.11.94.

Солнце, то ли снежок, то ли иней, нулевая температура, хорошо хоть люди не замерзнут — те, кто пойдет сегодня на митинги и демонстрации. И мне бы пойти, да грехи не пускают. Праздник полуотмененный-полупридушенный. Это французы отмечают день взятия Бастилии как национальный праздник, наши же «демократы» по сей день захлестнуты ненавистью.

Вот благо и преимущество: судить других, особенно дельных, мертвых. Как стая ворон — расклеивают...

11.11.94.

Немало прошло дней, а забыть невозможно... Могли бы ведь и встать, подумал я, когда Солженицын поднимался на трибуну Государственной Думы. Могли бы и подзабыть на минутку свои несогласия, несоответствие взглядов и прочее. Могли бы отдать должное этому человеку, его писательскому таланту и огромному труду, его духовной стойкости и храбрости, его исторической роли в преобразовании России. Могли бы и встретить его приветственной речью председателя Думы. Но до того ли, до таких ли тонкостей?.. Встретили жидкими аплодисментами, слушали с кислыми лицами и проводили теми же жидкими хлопками. Не пятая это Дума, Александр Исаевич, а какая — не знаю, да и Дума ли?.. Но уже книжка кратких биографий с портретами выпущена, а на обложке — Пятая! Понравилось, что они наследники и продолжа-

тели, но под силу ли им наследовать Родичеву, Маклакову, Шульгину, Муромцеву, Милюкову?

В конце концов, вовсе не в том дело, сколь уважительной и сколь сознающей значение момента была Дума. Существеннее другое — отзвук, отклик слушавших, нашедшие отражение в т. н. СМИ. Особенно интересен отклик со стороны демократической и литературной. Тут есть над чем подумать...

2 дек. 1994.

<...> Наше молодое безумство: отъезд ночным поездом в Кострому (с Октябрьского поля, тогда — Первой улицы). Плацкартный вагон: наше переглядывание, касание пальцев — сверху (я на верхней полке) — вниз, снизу — вверх. Утром на вокзале Володя Ляпунов с цветами. И отплытие — до Сандогор, и карта, которая нас подвела... И ночевка в каком-то деревенском доме на полу... И переживания, и томление... И утренний выход в путь к Любиму... Не знаю, принес ли я тебе счастье, ты мне — да! Другого не хотел, не воображал, не искал. Без тебя моя жизнь, все лучшее и достойное в ней не состоялось бы. Ты всегда была моей единственной.

Это последняя запись в дневнике. 27 декабря 1994 года Игорь Александрович Дедков скончался.



МИР НАУКИ

МАКСИМ ШАПИР



ОТПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

К спорам по поводу текстологии «Евгения Онегина»

Рутилов принялся уговаривать Передонова сейчас же венчаться с одной из его сестер.

— ...Ну, послушай, я тебе сейчас докажу. Ведь дважды два — четыре, так или нет?

— Так, — отвечал Передонов.

— Ну вот, дважды два — четыре, что тебе следует жениться на моей сестре.

Передонов был поражен.

«А ведь и правда, — подумал он, — конечно, дважды два — четыре». И он с уважением посмотрел на расудительного Рутилова. «Придется венчаться!..»

Ф. Сологуб, «Мелкий бес».

Изучая поэтику, стих, язык Пушкина и многих других русских поэтов, я постоянно сталкивался с тем, как сильно тормозит работу филолога принятая текстологическая практика; мало того, она почти гарантирует поэтическим произведениям искажение их формы и содержания. За долгие годы у меня сложилась твердая уверенность в том, что устоявшийся подход к изданию литературной классики не является единственно возможным или хотя бы оптимальным с научной точки зрения. Я попытался обосновать более адекватные текстологические принципы¹, которые были положены в основу ряда изданий². Однако обсуждаемый предмет касается не одних филологов, но широкой публики: зачастую она вынуждена читать не совсем то, а иногда — совсем не то, что написал и напечатал автор. Вот почему вопрос: «Какого „Онегина“ мы читаем?» — мне показалось уместным задать на страницах «Нового мира» (2002, № 6)³.

В отличие от предыдущих работ, опубликованных в академической периодике, это мое выступление удостоилось полемической реакции: Е. О. Ларионова и С. А. Фомичев написали в ответ «Нечто о „презумпции невиновности“ онегинского текста» (см.: «Новый мир», 2002, № 12). Из того, что для критики они выбрали именно популярную статью, многие положения которой прежде были аргументированы с большей обстоятельностью, я заключаю, что

Шапир Максим Ильич родился в 1962 году в Москве. Лингвист, литературовед, доктор филологических наук, главный редактор журнала «Philologica», ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН.

¹ Шапир М. Между грамматикой и поэтикой. (О новом подходе к изданию Даниила Хармса). — «Вопросы литературы», 1994, вып. III; Шапир М. И. К текстологии «Евгения Онегина» (орфография, поэтика и семантика). — «Вопросы языкознания», 1999, № 5; Шапир М. И. Universum versus. Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII — XX веков. Кн. 1. М., 2000, стр. 224 — 240; Шапир М. И. Об орфографическом режиме в академических изданиях Пушкина. — В кн.: «Московский пушкинист». Ежегодный сборник. М., 2001, [вып.] IX; и др.

² См., например: Пушкин А. С. Тень Баркова. Тексты. Комментарии. Экскурсы. М., 2002; Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. М., 2002.

³ Дополненный вариант, предназначенный для специальной аудитории, позднее вышел в «Известиях Российской академии наук. Серия литературы и языка» (2002, т. 61, № 3).

мои оппоненты либо не читают специальных изданий, либо ученым диспутам предпочитают гладиаторские бои. А что же публика, на суд которой выносятся профессиональные споры? «А публика, как судия беспристрастный и благо-разумный, всегда соглашается с тем, кто последний жалуется ей»⁴.

Поднимая перчатку, должен заранее предупредить, что не смогу ответить моим оппонентам по существу, поскольку существа дела *их взгляд и нечто* не затрагивает. Они даже в мыслях не допускают пересмотра привычных эдиционных правил⁵ — и тем не менее направляют острие своей критики не против альтернативной текстологической стратегии, а против меня самого: начиная и заканчивая претензиями этического характера, соавторы дополняют их исчислением частных ошибок, якобы совершенных мною. Удивляться этому не приходится: ведь дуэт Фомичева и Ларионовой адресован не филологу, а широкому читателю, для которого, как ни грустно, *argumentum ad hominem* — наиболее действенный и доступный.

Ларионова и Фомичев встают в менторскую позу, с указкой в одной руке и розгами в другой: они называют мою статью «школьнической борьбой неопифита с „корифеями отечественной текстологии”» и заявляют, что построения недоучки рушатся «как карточный домик при свете знания и непредвзятого рассуждения» (последние слова — о себе самих)⁶. Что ж, готов учиться, даже если просветители норовят не научить, а проучить. Так уж устроена филология: чем дольше занимаешься ею, тем сильнее ужасаешься бездне своего невежества. Поэтому, получив урок, я тут же сел за работу над ошибками — правда, как вскоре выяснилось, над ошибками самих наставников.

Разобрать все их несообразности мне, к сожалению, не удастся: не хватит места, предоставленного редакцией «Нового мира». Соавторы ухитрились десятки раз погрешить против логики и фактов — с ходу эти авгиевы конюшни не расчистить. Но чтобы дать адекватное представление о полемической манере Ларионовой и Фомичева, одну группу их возражений есть смысл проанализировать шаг за шагом, не пропуская никаких аргументов. Они касаются вопроса о том, в какой мере последнее прижизненное издание «Онегина» (1837) может быть использовано в качестве источника текста. Этот вопрос моим оппонентам представляется самым существенным: в собственно филологической части их опуса он обсуждается первым. Я тоже признаю его важность, и поскольку до сих пор в пушкинистике он критически не рассматривался, есть надежда, что время, потраченное на дискуссию, будет потеряно не совсем напрасно.

Ларионова и Фомичев начинают с подмены оспариваемого тезиса: по их словам, «одно из главных обвинений», предъявленных мною Б. В. Томашевскому как редактору, состоит в том, что он «неверно избрал основной источник — первое полное издание романа 1833 года <...> Казалось бы, последняя авторская воля должна быть безусловно отражена изданием 1837 года. Так, в частности, думает и М. И. Шапир» (стр. 145 — 146). Нет, насколько мне известно, Шапир так не думает, и оппоненты зря приписывают ему то, чего он никогда не говорил. Во-первых, издание 1837 года, так же, как оба предшествующих, не отражает авторской воли «безусловно»: все они повреждены опечатками, которые (я не раз это подчеркивал) необходимо исправлять. А во-вторых, любое прижизненное издание романа может быть взято за основу, ибо каждое отражает культурно значимый момент в истории текста. Единственное, чего, на мой взгляд, делать нельзя, — это произвольно контаминировать рукописные и печатные варианты, отражающие разные стадии работы автора над

⁴ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 11. [М. — Л.], 1949, стр. 152.

⁵ Ср.: Гаспаров Б. Заметки о Пушкине. 1. Буква как таковая. — «Новое литературное обозрение», № 52 (2001); Строганов М. По поводу статьи Б. Гаспарова «Буква как таковая». — Там же, № 56 (2002); Фомичев С. Точка, точка, запятая... — Там же; Гаспаров Б. *Questa poi la copos<c>o pur troppo.* — Там же.

⁶ См.: «Новый мир», 2002, № 12, стр. 156 — 157. В дальнейшем ссылки на статью Е. О. Ларионовой и С. А. Фомичева даются в основном тексте.

«Онегиным» (хотя именно так поступал редактор академического собрания сочинений).

Желая принизить значение последнего прижизненного издания, Ларионова и Фомичев объявляют, что оно «делалось в большой спешке и, судя по всему, имело чисто коммерческий характер. В конце октября Пушкин еще вел переговоры о переиздании своего романа <...> с содержанием Гутенберговой типографии Б. А. Враским, а уже 27 ноября 1836 года было дано цензурное разрешение на книгу, которая должна была печататься И. И. Глазуновым» (стр. 146). Тут мои оппоненты намеренно сбивают читателей с толку. Когда сообщается, что в конце октября 1836 года Пушкин вел переговоры о переиздании «Онегина», это можно понять только так, что автор предлагал свое сочинение издателю. Однако из письма, на которое ссылаются Ларионова и Фомичев, ясно, что в это время отнюдь не Пушкин, а Враский был готов издавать «Онегина» в счет пушкинского долга: «Посылаю вам, милостивый государь Александр Сергеевич, счет за все три книжки Современника и как вы мне предлагали вместо уплаты напечатать Евгения Онегина, то потрудитесь уведомить меня, могу ли я приступить теперь к печатанию его, — у меня уже всё для этого готово; если же вы почему нибудь переменили ваше намерение, то сделайте одолжение пришлите с посланным моим следующие мне по счету деньги, в которых я терплю крайнюю теперь нужду. Вы кажется не можете на меня пожаловаться — я был необыкновенно терпелив»⁷. Это письмо человека, который долго ждал и которому вместо денег было обещано право на переиздание «Онегина»; но *сейчас* Враский подозревает, что Пушкин передумал. «Вероятнее всего, — обоснованно предполагал Н. П. Смирнов-Сокольский, — Глазунов и его приказчик Поляков приступили к печатанию <...> „Онегина“ значительно ранее, чем <...> было написано <...> письмо Враского от 29 октября 1836 года»⁸.

Насилие над фактами понадобилось моим оппонентам, чтобы искусственно локализовать период подготовки нового «Онегина» между концом октября и концом ноября. Теперь они делают следующий шаг: «Достаточно <...> вспомнить, как складывался у Пушкина этот месяц после получения 4 ноября пасквильного „диплома рогоносца“, чтобы понять: изданием 1837 года поэт просто не имел возможности заниматься <...>» (стр. 146). Довод сугубо риторический: ниоткуда не следует, что текст «Онегина» подвергся переделкам после 4 ноября. Кроме того, если в день дуэли Пушкин мог заниматься делами «Современника» или зачитываться детской «Историей России» (о чем написал ее автору, Александре Осиповне Ишимовой, прямо перед отъездом на Черную речку⁹), то уж как-нибудь в течение ноября он нашел бы время, чтобы при необходимости просмотреть онегинскую корректуру.

Легенда про «спешку» и «занятость» позволяет Ларионовой и Фомичеву мотивировать очередной аргумент: «<...> изданием 1837 года поэт просто не имел возможности заниматься, почему и текст его оказался искажен многими типографскими огрехами» (стр. 146). Последнее прижизненное издание романа действительно пестрит опечатками, но в этом отношении оно не отличается от предыдущих. Должны ли мы отсюда сделать вывод, что Пушкин вообще «не имел возможности заниматься» никакими изданиями «Онегина»? Не должны, так как известно обратное, и потому оппоненты выдвигают тезис, которому они уготовили роль краеугольного камня: «Издание 1833 года тоже далеко не было свободно от опечаток, но ни одна из них, ни грамматическая, ни пунктуационная, ни смысловая, не была в 1837 году исправлена» (стр. 146). В подтверждение приводится около дюжины совпадающих опечаток, но половина из них восходит еще к первому, поглавному изданию «Онегина» (1825 —

⁷ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 16, стр. 178 — 179.

⁸ Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина... М., 1962, стр. 394.

⁹ См.: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 16, стр. 226 — 227.

1832), и, следовательно, сами по себе они не доказывают, что автор стоял в стороне от работы над последним прижизненным изданием.

Ларионова и Фомичев особенно напевают на то, что в нем нет ни малейших следов корректуры, и на этом основании заключают: «Внимательное сопоставление <...> изданий 1833 и 1837 годов со всей убедительностью подтверждает, что издание 1837 года Пушкин не готовил» (стр. 147) — это трижды повторяется как заклинание. Боюсь, однако, что сопоставление изданий было проведено без должного внимания. Там, где Ларионова и Фомичев не увидели ни одного исправления, я нашел их свыше тридцати, и касаются они самых разных уровней — от орфографии до семантики. Ср. 1, XV, 12: *И такъ гуляет на просторъ* (1833) → *И тамъ гуляет на просторъ* (1837); 1, XXXIV, 12: *пвсенъ* (1825, 1833) → *пвсенъ* (1837)¹⁰; 1, XXXV, 14: *Ужъ отворялъ своей* васисдасъ (1833) → *Ужъ отворялъ свой* васисдасъ (1837); 2, XIII, 11: *свъжались* (1833) → *свъжались* (1837); 3, XXXVI, 9: *Татьяка* (1833) → *Татьяна* (1837); 4, VIII, 9: *утомлять* (1833) → *утомять* (1837)¹¹; 4, XVIII, 11: *иметь* (1833) → *имѣть* (1837); 4, XVIII, 12: *друзей* (1833) → *друзей* (1837); 4, XXXII, 12: *отвсюда* (1828, 1833) → *отвсюду* (1837)¹²; 5, XII, 7: *възверошенный* (1828, 1833) → *възверошенный* (1837)¹³; 5, XXI, 1: *Евений* (1833) → *Евгений* (1837); 5, XXXIII, 6: *глубое* (1833) → *глубокое* (1837); 5, XXXVI, 1: *роберовъ* (1833) → *робертовъ* (1837)¹⁴; 5, XLIV, 4: *съ Ольгой* (1833) → *съ Ольгою* (1837); 6, XXV, 4: *бельё* (1833) → *бѣльё* (1837); 6, XXV, 9: *санки бѣговыя* (1828, 1833) → *санки бѣговья* (1837)¹⁵; 6, XLIV, 7: *вправду* (1833) → *вправду* (1837); 7, XVI, 1: *Ея сомнѣнія смущаютъ* (1833) → *Ее сомнѣнія смущаютъ* (1837)¹⁶; 7, XL, 10: *калмыкъ* (1830, 1833) → *Калмыкъ* (1837)¹⁷; 7, XLVIII, 9: *нс всыпхнеть* (1833) → *не всыпхнеть* (1837); 7, LIV, 2: *Забить и свѣтъ, и шумный балъ* (1833) → *Забить и свѣтъ, и шумный балъ* (1837); Примеч. 6: *se chambre* (1833) → *sa chambre* (1837); «Путешествие Онегина», [XIII], 12: *кореты* (1833) → *кареты* (1837). В издании 1837 года дважды восстановлена недостающая точка в конце предложения (3, V, 7; 7, X, 14) и один раз — недостающая запятая между однородными членами («Путешествие Онегина», [XIX], 12), снят лишний знак препинания между сказуемым и подчиненным ему инфинитивом (6, XXXIII, 13), скорректирована пунктуация после обособленного деепричастного оборота (7, XXVIII, 1) и т. д.

Некоторые поправки таковы, что в них трудно не почувствовать руку автора. XLIII строфа 4-й главы в первых двух изданиях оканчивалась:

<...> Сердись, иль пей, и вечеръ длинной
Кой-какъ пройдетъ, и завтра тожь,
И славно зиму проведѣшь¹⁸.

¹⁰ В автографе и в копии Л. С. Пушкина — *пвсенъ* (см.: ИРЛИ РАН, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 1, № 930, л. 17; № 153, л. 18). В дальнейшем при ссылках на рукописи Пушкина указываются только единица хранения и лист.

¹¹ Не надо думать, что такие ошибки наборщик исправлял автоматически. Так, в печатных изданиях «Путешествия Онегина» дважды читаем *верблюдь*, а в обоих автографах — *верблюдь* (№ 841, л. 117 об.; № 934, л. 3; ср.: Пушкин А. Евгений Онегин. Роман в стихах. СПб., 1833, стр. 275; Пушкин А. Евгений Онегин. Роман в стихах. Изд. 3-е. СПб., 1837, стр. 297).

¹² В обоих автографах — *отвсюду* (№ 835, л. 75; № 935, л. 19).

¹³ В беловике — *възверошейный* (№ 935, л. 34 об.). С помощью черты над буквой передано удвоение согласного.

¹⁴ В автографах и поглавном издании — *робертовъ* (№ 836, л. 38; № 935, л. 47; Пушкин А. Евгений Онегин. Роман в стихах. СПб., 1828, гл. IV/V, стр. 84).

¹⁵ Автограф не сохранился. Во множественном числе прилагательного окончание мужского рода *-ые* исправлено на окончание женского рода *-ья* — для согласования с женским родом существительного *санки*.

¹⁶ Это исправление меняет синтаксическое подчинение: *сомнѣнія чьи? ея* → *смущаютъ кого? ее*.

¹⁷ В рукописи — *Калмыкъ* (№ 838, л. 75 об.); все остальные этнонимы в издании 1833 года начинаются с прописной буквы.

¹⁸ Пушкин А. Евгений Онегин... СПб., 1828, гл. IV/V, стр. 42 — 43; Пушкин А. Евгений Онегин..., 1833, стр. 124.

Это однообразное присоединение новых предложений с помощью союза *и* возникло из-за опечатки, устраненной только в 1837 году:

<...> Сердись, иль пей, и вечерь длинной
Кой-какъ проидеть, а завтра тожь,
И славно зиму проведешь¹⁹.

Союз *а* в предпоследнем стихе мы находим и в черновом, и в беловом автографе (см. № 835, л. 77 об.; № 935, л. 24).

Другой пример — описание Макарьевской ярмарки по тексту 1833 года:

Сюда жемчугъ привезъ Индеець,
Поддѣльны вины Европеецъ.
Табунъ бракованныхъ коней
Пригналь заводчикъ изъ степей,
Игрокъ привезъ свои колоды
И горсть услужливыхъ костей,
Помѣщикъ спѣлыхъ дочерей,
А дочки — прошлогодні моды²⁰.

Интонационная и синтаксическая самостоятельность двух первых стихов нарушает инерцию перечисления, все другие члены которого разделены запятыми. Пушкин ощущал это единой фразой: в рукописи после слова *Европеець* стоит точка с запятой (№ 934, л. 2 об.). В издании 1837 года целостность конструкции восстановлена: в конце второй строки точку заменила запятая. Маловероятно, чтобы такую опечатку мог выловить кто-нибудь, кроме автора: чтение 1833 года не противоречит пунктуационным нормам²¹.

Казус с опечатками, будто бы в полном составе перекочевавшими в издание 1837 года, показывает, какова цена декларациям Ларионовой и Фомичева. На одно из вышеприведенных пушкинских исправлений (1, XV, 12) мне уже доводилось указывать (см.: «Новый мир», 2002, № 6, стр. 158). Оппоненты вышли из затруднения не моргнув глазом: «<...> вряд ли это было исправлением автора <...> к тексту романа в 1836 году вообще не обращавшегося <...> видимо, перед нами просто очередная опечатка издания 1837 года, случайно восстановившая правильное чтение» (стр. 149). Что помешает точно так же низвести на положение опечаток заодно и все прочие исправления? Ведь они не могут быть авторскими, потому что Пушкин этим изданием не занимался. А откуда известно, что не занимался? Потому что ничего не исправил. В логике эта ошибка называется *retitio principii*: выводы сделаны на основе посылок, которые сами нуждаются в доказательстве.

Затвердивши, что в 1836 году «Пушкин текста не готовил» (стр. 148), мои оппоненты сталкиваются с необходимостью объяснить происхождение тех новаций в «Онегине» 1837 года, которые были канонизированы в академическом собрании сочинений. При этом, с одной стороны, Ларионова и Фомичев вынуждены всячески приуменьшать роль Пушкина в подготовке последнего прижизненного издания. Поэтому они дают полный простор фантазии и утверждают, что «вся авторская работа <...> свелась к двум композиционным распоряжениям», ни одно из которых «не предполагает даже обращения самого автора к тексту романа. Пушкин вполне мог дать устные указания лицу, непосредственно занимавшемуся изданием» (стр. 147)²². С другой стороны, нашим скептикам приходится искать ответ на вопрос, почему при всей «спешке»

¹⁹ Пушкин А. Евгений Онегин... Изд. 3-е, стр. 132.

²⁰ Пушкин А. Евгений Онегин..., 1833, стр. 274 — 275.

²¹ Здесь, как и во многих других случаях, Б. В. Томашевский предпочел автографу пунктуацию 3-го издания (ср.: Пушкин А. Полн. собр. соч. Т. 6. 1937, стр. 198), к которому, как внушают нам Ларионова с Фомичевым, Пушкин отношения не имел.

²² Непонятно, почему «композиционным распоряжением» названо изменение текста в 11-м примечании к роману. Впрочем, перестановка посвящения в начало «Онегина» тоже была сопряжена с текстуальными изменениями.

и «занятости», находясь под впечатлением от пасквильного диплома, Пушкин все же отдавал какие-то «композиционные распоряжения», вместо того чтобы просто перепечатать роман. Оказывается, нововведения были «чрезвычайно важными». Например, в издании 1837 года посвящение «обращено не к конкретному адресату, но к читателю вообще, переключаясь с заключительными строфами романа:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель...» (стр. 147, примеч. 10)

Здесь мои оппоненты попадают в яму, которую сами вырыли: не ясно, в какой мере возникшую переключку законно интерпретировать как замысел Пушкина. Если он не собственноручно правил текст, а лишь давал «распоряжения» неустановленному лицу, возможно, посредник что-то напутал и забыл выставить перед посвящением имя П. А. Плетнева? По крайней мере, в первой же посмертной републикации романа его имя появляется вновь²³.

Список осмысленных разночтений между изданиями 1833 и 1837 годов двумя упомянутыми отличиями не исчерпывается. Но все остальные разночтения Ларионова и Фомичев игнорируют, опять прибегая к *retitio principii*: «<...> поскольку <...> Пушкин текста не готовил, а перепечатывал с издания 1833 года, эти „новации“ при ближайшем рассмотрении должны быть признаны просто опечатками <...> согласимся, довольно странно представить, что в ноябре 1836 года, перепечатывая роман с издания, содержащего большое число искажений, нарушения рифмы и смысла, Пушкин, оставив все это без внимания, заменил лишь „покойника“ на „покойного“, а „Филипьевну“ на „Филатьевну“» (стр. 148). Это сказка про белого бычка. На самом деле, как уже было сказано, изменения в онегинский текст Пушкин мог внести до ноября 1836 года — и даже прежде, чем он уговорился о новом издании с Глазуновым. Затем, более 30 опечаток при подготовке этого издания было выправлено. И наконец, относительная немногочисленность стилистических и смысловых замен не есть признак их недостоверности. Так, 2 декабря 1836 года, через пять дней после того, как было дано цензурное разрешение на «Онегина», тот же цензор, П. А. Корсаков, позволил переиздать пушкинские «Стихотворения» (1829 — 1835, ч. I — IV). Цензурный экземпляр III и IV части сохранился в общем переплете. Пушкин внес сюда только два исправления (оба в «Сказку о рыбаке и рыбке»): «<...> въ стихѣ

„Пришель неводъ съ золотой рыбкою“

слово „золотой“ зачеркнуто и на полѣ написано Пушкинымъ: „одною“, а <...> противъ стиха

„Жемчуги окружили шею“

написано, карандашомъ же: „огрузили“»²⁴. Моим критикам впору воскликнуть: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда (тем более если принять во внимание «занятость» поэта и «диплом рогоносца»).

Перехожу к последнему аргументу, с помощью которого соавторы тщатся доказать, что Пушкин в 1836 году к онегинскому тексту не притрагивался: «Тот факт, что печатание романа, вероятно, было начато еще до получения цензурного разрешения, также говорит в пользу неизменности текста <...> только при простой *перепечатке* романа к повторному цензурованию можно

²³ См.: Пушкин А. Сочинения. Т. I. СПб., 1838, стр. [VII].

²⁴ Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. (Библиографическое описание). СПб., 1910, стр. 83. Симптоматично, что в первом из этих стихов Пушкин поправил эпитет, но проглядел версификационный сбой на клаузуле: *рыбкою* вместо *рыбкой* (в каждой строке «Сказки...» последнее ударение падает на второй слог от конца).

было отнестись как к формальности» (стр. 148, примеч. 13). Редкая нечувствительность к собственным противоречиям! Неужто Ларионова и Фомичев всерьез полагают, что замены «„покойника” на „покойного”, а „Филипповны” на „Филатьевну”» острее нуждались в цензурском одобрении, чем перенос посвящения в начало романа или новый текст примечания об африканском происхождении поэта? Между прочим, Пушкину и раньше случалось идти на прямое нарушение правил цензурования: напомним, что «Северные Цветы на 1832 год» прошли цензуру 9 октября 1831 года, хотя дособрать альманах удалось лишь в начале декабря²⁵. Не исключено, что, готовя последнее издание «Онегина», автор намередвался и вовсе обойтись без цензурного разрешения²⁶.

Мы видим, что попытку дискредитировать это издание Ларионова и Фомичев предприняли с негодными средствами: все их доводы не выдерживают проверки. Сами спорщики, правда, свое мнение считают «абсолютно обоснованным» (стр. 147). Их не смущает даже предание об участии Пушкина в подготовке издания 1837 года, мысль о котором поэту подал В. П. Поляков: «Пушкинъ согласился на это предложёніе, въ видѣ пробы, и уступилъ хозяину Полякова Ильѣ Ивановичу Глазунову право на изданіе Онѣгина за 3.000 руб. въ числѣ 5.000 экз. въ миниатюрномъ форматѣ. Когда заключали условіе и дѣлали пробы печати и бумаги для изданія, то Пушкинъ до того увлекся разсмотрѣніемъ разныхъ мелочей и подробностей, ему чрезвычайно въ этомъ изданіи понравившихся, что можно сказать дѣтски сталъ слушаться Полякова»²⁷. Рассказ, изобилующий деталями, занимает около двух страниц, но Ларионова и Фомичев расценивают его как «юбилейно-рекламный» вымысел (стр. 148, примеч. 13) — на том лишь основании, что «Обзор издательской деятельности Глазуновых» дает завышенную характеристику типографскому качеству издания: «Оно исполнено было такъ тщательно, такъ, какъ не издавались ни прежде, ни послѣ того сочиненія Пушкина. Корректурныхъ ошибокъ не осталось ни одной; послѣднюю корректуру самымъ тщательнымъ образомъ просматривалъ самъ Пушкинъ»²⁸. Разумеется, слова об отсутствии ошибок не соответствуют действительности, но это не значит, что весь рассказ придуман в рекламных целях²⁹. Это не значит даже, что Пушкин не держал корректуры: он мог читать ее как обычно, то есть пропуская опечатки³⁰.

Увы, по части логики Ларионова с Фомичевым не уступят персонажам «Мелкого беса». Имитируя формы научного рассуждения, мои оппоненты прикрывают этим фиговым листком полную несостоятельность своей аргументации. На протяжении всей статьи повторяются однотипные ошибки, среди которых почетное место занимает вывод из недоказанного, встроенный в порочный круг (*circulus vitiosus*). Как по нему ходят соавторы, мы уже наблюдали, поэтому ограничусь единственным дополнительным примером. В беловике пушкинской пародии на Дантовы терцины («И дале мы пошли — и страх обнял меня...», 1832) есть строка, представленная в двух вариантах, один из которых содержит неприличное слово: *И съ горя тернулъ онъ — Я взоры потупилъ* (№ 182, л. 1). Скорее всего, оборот, нарушающий благопристойность, был навеян эпизодом «Ада», где описываются кривляния бесов: <...> *Ed elli avea del cul fatto trombetta* = <...> *И он сделал из задницы трубу* (Inf. XXI, 139)³¹. М. А. Цяв-

²⁵ См.: Мурьянов М. Ф. Пушкин и Германия. М., 1999, стр. 48 — 51.

²⁶ См.: Смирнов-Соколовский Н. Указ. соч., стр. 393 — 394.

²⁷ «Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 1782 — 1882». СПб., 1883, стр. 68.

²⁸ Там же, стр. 69.

²⁹ Так, сведения о тираже и пушкинском гонораре «подтверждаются и другими источниками» (Смирнов-Соколовский Н. Указ. соч., стр. 391).

³⁰ От Смирнова-Соколового, который впервые привлек внимание пушкинистов к «Обзору», не укрылись отдельные преувеличения, идущие от «юбилейной приподнятости тона» (там же, стр. 391), однако ему и в голову не пришло поставить под сомнение самый факт участия автора в издании 1837 года.

³¹ См.: Шапир М. Данте и Теркин «на том свете». (О судьбах русского бурлеска в XX веке). — «Вопросы литературы», 2002, № 3, стр. 59.

ловский полагал, что именно процитированный вариант, оставшийся у Пушкина незачеркнутым, «представляет собою окончательную редакцию, а редакция: „Тут звучно лопнул он — я взоры потупил” <...> приписанная на полях, является вынужденной цензурными соображениями»³². Ларионова и Фомичев протестуют: «Пушкин не завершил <...> работу» над этим стихотворением «и не собирался его печатать, так что говорить о каких-либо „цензурных заменах” в данном случае вообще бессмысленно» (стр. 155). Но откуда это известно? Довод у критиков лишь такой: «О неоконченности работы свидетельствуют <...> „параллельные” варианты одной <...> строки» (стр. 155). Круг замкнулся: некий вариант нам запрещается рассматривать как следствие автоцензуры, потому что свое стихотворение Пушкин не собирался печатать — что, в свою очередь, доказывается только наличием этого самого варианта³³.

С другой уловкой моих оппонентов мы тоже сталкивались выше: пересказывая или вырывая слова из контекста, они грубо искажают мою позицию. Например, я обращаю внимание на непоследовательность, с какой редакторы академического собрания сочинений обходились с разными проявлениями цензуры и самоцензуры: одни «вольности» выпячены, другие завуалированы (если вынужденная замена носила социально-политический характер, исходный вариант, как правило, восстанавливается, а если были выброшены обцененные слова и обороты, то они восстановлению не подлежат). В «Телеге жизни» (1823) точками означен пропуск матерного выражения. Приветствуя такую подачу текста, Ларионова и Фомичев демонстрируют двойной стандарт: «Стоит <...> отметить, что в академическом собрании сочинений стихотворение напечатано в точном соответствии» с последней прижизненной публикацией, «текст которой готовился самим Пушкиным <...> это <...> соответствует и тем текстологическим принципам, которые выдвигает М. И. Шапир» (стр. 156). Так-то оно так, но в случаях, когда автоцензуре подвергнута не матерная брань, а социальная критика, последняя авторская воля нашим текстологам не указ. Я упрекаю редакторов академического собрания не за то, что они напечатали «Телегу жизни» с купюрой, а за то, что они крайне избирательно боролись с последствиями цензуры, — но критики делают вид, что этого не понимают, и уличают меня в «серьезной текстологической ошибке» (стр. 156).

В статье, вызвавшей негодование Ларионовой и Фомичева, я пытаюсь растолковать, почему в основном тексте надо восстанавливать только те цензурные изъятия и замены, неприятие которых автором подтверждается документально, — в противном случае варианты, не попавшие в печать, должны занять место среди других разночтений. Для моих оппонентов это повод поупражняться в политической демагогии: «<...> Шапир, похоже, не отдает себе отчета, куда его может привести святое уважение к цензуре» (стр. 152). Я испытываю «святое уважение» не к цензуре, а к истории поэтического слова, которую не стану фальсифицировать в угоду своей или чужой идеологии. Пушкин был «убежден [в необходимости] цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось»³⁴. По этой причине я склонен очищать текст не от любых последствий давления на автора (чего добиться все равно невозможно), но исключительно от тех, с которыми он не мог примириться. Ларионовой и Фомичеву в этом мерещится абсурдность: «<...> следующим шагом должно стать требова-

³² Цявловский М. А. Комментарии. — В кн.: Пушкин А. С. Тень Баркова..., стр. 229.

³³ Между прочим, в беловике 2-й главы «Онегина» тоже есть параллельные варианты (один помечен автором как подцензурный), но разве у Пушкина не было намерения эту главу печатать? И еще: Томашевскому случилось усматривать следы автоцензуры даже в тех вариантах, которые Пушкин зачеркнул на стадии творческой работы над рукописью (ср. № 935, л. 24); Ларионова и Фомичев это решение поддерживают (см. стр. 154 — 155). Почему же с порога отвергается аналогичное решение Цявловского?

³⁴ Пушкин Н. Полн. собр. соч. Т. 11, стр. 235 и далее. Ср.: «Цензор есть важное лицо в гос<ударстве>, сан его имеет нечто священное» (там же, стр. 237).

ние исключить из собраний сочинений Пушкина все его произведения, не печатавшиеся при жизни из цензурных соображений» (стр. 152). Силясь довести мою точку зрения «до логического конца», оппоненты который раз укрепляют меня в подозрении, что с логикой у них не все в порядке: варианты, отвергнутые цензурой, я предлагаю не исключать, а переместить в другой раздел. Аналогия была бы корректной, если бы «следующим шагом» стало предложение разграничить под одной обложкой произведения, публиковавшиеся и не публиковавшиеся самим автором. Это не обязательно, но допустимо и практикуется — ничего абсурдного в таком расположении текстов, во всяком случае, нет.

Наряду с законами формальной логики, Ларионова и Фомичев регулярно нарушают «закон достаточного основания». Например, в их статье то или иное чтение не раз провозглашается опечаткой только из-за того, что оно отличается от чтения автографов или предыдущих изданий (см. стр. 149 и др.). Однако ссылок на более ранние источники часто бывает мало: у нас нет ни одной рукописи, с которой осуществлялся набор «Онегина», не говоря о том, что поэт менял текст и тогда, когда роман уже был опубликован. Сотни вариантов не имеют рукописного подтверждения. Во всех трех изданиях напечатано: *Но, Боже мой, какая скука* (1, I, 6), — хотя в обоих автографах: *какая мука* (№ 930, л. 3; № 153, л. 3); напечатано: *Такъ думаль молодой повеса* (1, II, 1), — а в автографах повеса *мысльль* (№ 930, л. 3 об.; № 153, л. 3 об.); напечатано: *Тамъ будетъ балъ, тамъ дѣтскій праздникъ* (1, XV, 5), — при том, что в рукописи и в копии Л. С. Пушкина: *У Князя балъ, у Графа праздникъ* (№ 930, л. 9; № 153, л. 9 об.) и т. д. Мне невдомек, почему оппоненты квалифицируют как ошибку чтение 1837 года: *Филиппевна* вместо *Филатьевна* (3, XXXIII, 6); с тем же успехом ошибочными можно счесть оба этих варианта, поскольку в черновиках и беловиках няню Татьяны зовут *Фадеевной* (№ 834, л. 34 об., 36; № 835, л. 11 об.; № 931, л. 17, 20; № 933, л. 24).

Дефицит аргументов Ларионова и Фомичев восполняют словесной эквилибристикой. В рукописи и в отдельном издании 1-й главы Пушкин спрашивает, не изменились ли петербургские актрисы: *Все тѣже ль вы?* (1, XIX, 3). В более поздних изданиях вопрос поставлен иначе (*Всѣ тѣ же ль вы?*), и понять его можно двояко: 1) «все ли вы такие, как прежде?»; 2) «не изменился ли ваш состав?». Мои оппоненты категорически настаивают, что это опечатка: «Такого рода мелочная „каламбурная” правка менее всего вписывается в накопленные текстологами <...> наблюдения о работе Пушкина с поэтическим словом» (стр. 149). Но в предполагаемой правке нет ровным счетом ничего «каламбурного», а «мелочной» она может показаться лишь тем, кто привык мыслить «крупными историческими категориями». Фомичев и Ларионова путают собственный исследовательский опыт с опытом пушкинской текстологии, которой известны аналогичные случаи «каламбурной» правки в «Онегине». В первом беловом автографе 2-й главы (XXIV, 8) местоимение *всѣ* под пером поэта превратилось в наречие *все*: *Мы всѣ должны* <...> *Мы все должны* <...> (№ 931, л. 18). Эта «мелочная» поправка перешла во второй беловой автограф (см. № 932, л. 3), но в поглавном издании Пушкин вернулся к тому, с чего начинал:

<...> Иль дѣвичей. Мы всѣ должны
Признаться, вкуса очень мало
У нас и въ нашихъ именахъ <...>³⁵

Если бы поэт имел счастливую возможность посоветоваться с Ларионовой и Фомичевым, он, надо думать, ни за что не стал бы заниматься подобными пустяками.

Иногда, за неимением лучшего доказательства, мои оппоненты опираются на авторитет (*argumentum ipse dixit*). В VIII строфе той же главы последние

³⁵ Пушкин А. Евгений Онегин... М., 1826, гл. II, стр. 27 — 28.

строки, пропущенные во всех прижизненных изданиях, в академическом собрании восстановлены. Ларионова и Фомичев это оправдывают: «Не только Томашевский, но и другие исследователи признавали здесь безусловную цензурную купюру. Сошлемся, например, на мнение Ю. М. Лотмана: „Такой отрывочный текст не имел никакого иного смысла, кроме единственного — указать читателю на значимость для автора пропущенных стихов”» (стр. 154). Любый специалист понимает, что как текстолог Томашевский пользуется неизмеримо большим авторитетом, чем Лотман, но профану имя первого не говорит ничего, а имя второго на слуху. По сути, *argumentum ipse dixit* — мнимый: одним корифеям противостоят другие, а заблуждаться способен кто угодно. Скажем, Томашевский в 1937 году пропущенные стихи восстановил, а С. М. Бонди, сделавший для пушкинской текстологии не меньше, следовал прижизненным изданиям³⁶. Там, где одни видят «безусловную цензурную купюру», другие таковой не усматривают; к последним относятся Ю. Н. Тынянов³⁷ или В. С. Нечаева, порицавшая Томашевского за своеволие: «Никакого доказательства цензурного воздействия у нас нет, и включение этих <...> стихов в основной текст „Евгения Онегина” является, по нашему мнению, произволом редактора»³⁸. В конце концов, если факт цензурного вмешательства столь очевиден, как это кажется моим оппонентам, почему с 1924 по 1936 год сам Томашевский вместо пропущенных строк печатал ряды точек?³⁹

Будем справедливы — в обоснование взглядов Томашевского и Лотмана оппоненты вносят свою лепту: «На вероятность прямого цензурного вмешательства указывает <...> отсутствие <...> точек на месте пропуска в <...> отдельном издании» 2-й главы. Ларионова и Фомичев кивают на цензурный устав, который предписывал, чтобы недозволенные места «не были заменяемы точками, могущими дать повод к неосновательным догадкам и превратным толкам» (стр. 153). Вряд ли Томашевский с Лотманом обрадовались бы такой поддержке: уж больно незатейливый довод изобрели их сторонники. В отдельном издании 2-й главы лакуны недвусмысленно обозначены — пусть не точками, так пробелами, величина которых зависит от числа отсутствующих строк (при этом поле для догадок остается не менее широким)⁴⁰. С 1826 года в главном «Онегине» таким способом оформлялись почти все купюры: и цензурные, и авторские; различать те и другие по внешнему виду додумались только мои оппоненты.

Помимо логических нелепостей статья Фомичева и Ларионовой заключает в себе невероятное количество прямых фактических ошибок. Некоторые были перечислены, но список их гораздо длиннее. Так, соавторы ставят в заслугу Томашевскому, что он исходил «из всей совокупности источников текста, как печатных, так и рукописных, проанализированных и представленных им в отделе „Другие редакции и варианты”» (стр. 149). Но в том-то и беда, что десятки печатных вариантов Томашевский упустил из виду: не включенные в список разночтений, они лишают нас полной уверенности в том, что каждое текстологическое решение ученый принимал, исходя, как нас заверяют, «из всей совокупности источников».

По сведениям моих оппонентов, глагол *примолвить* в значении «сделать что-н., сказать, промолвить» «фиксируется у Пушкина лишь в форме деепричастия» (стр. 149, примеч. 14). В действительности личная форма глагола в

³⁶ См., например: Пушкин А. С. Евгений Онегин. М. — Л., 1936, стр. 43; Пушкин А. С. Евгений Онегин. М., 1957, стр. 79.

³⁷ Тынянов Ю. Пушкин и Кюхельбекер. — В кн.: «Литературное наследство». Т. 16/18. М., 1934, стр. 360.

³⁸ Нечаева В. С. Проблема установления текстов в изданиях литературных произведений XIX и XX веков. — В кн.: «Вопросы текстологии». Сборник статей. М., 1957, стр. 63.

³⁹ См.: Шапир М. И. «Евгений Онегин»: проблема аутентичного текста. — «Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка», 2002, т. 61, № 3, стр. 6, примеч. 8.

⁴⁰ См.: Пушкин А. Евгений Онегин... М., 1826, гл. II, стр. 14, 37.

этом значении встречается у Пушкина дважды: в черновике «Цыган» (*примолвит*) и в «Сценах из рыцарских времен» (*примолвил*); второе из этих словоупотреблений отражено в «Словаре языка Пушкина»⁴¹.

Едва ли не любая попытка дать лингвистический комментарий оборачивается для Ларионовой и Фомичева конфузом: «<...> в лексико-грамматическом отношении весьма сомнительное выражение „дышать критикой” очевидно уступает употребительному галлицизму „дышать свободой / вольностью” — „*respirer l'air de la liberté*» (стр. 153). Мои оппоненты усугубляют оплошность Лотмана, вслед за ним неправомерно сопоставляя выражение *дышать вольностью* с французским *respirer l'air de la liberté*⁴². *Дышать вольностью* — и вправду галлицизм, но лишь потому, что глагол *дышать* здесь использован не в прямом значении, а в соответствии с переносным употреблением французского *respirer*: по-французски можно сказать *respirer qch* (то есть *дышать чем-л.*) в смысле «служить выражением чего-л.». (Написав Н. И. Гнедичу о Ю. А. Нелединском: «Нѣга древнихъ, эта милая небрежность дышетъ въ его стихахъ», — Батюшков подчеркнул слово *дышетъ* и сделал приписку: «Галлицизмъ! — Не показывай Шишкову»⁴³.) Иными словами, *дышать вольностью* — точно такой же галлицизм, как и *дышать критикой* (что значит вовсе не «вдыхать критику», а «выдыхать ее», и в контексте французского словоупотребления звучит не менее естественно⁴⁴). Напротив, в составе выражения *respirer l'air de la liberté* «дышать воздухом свободы» глагол *respirer* употреблен в прямом значении, а идиоматичность этому обороту придает генитивная метафора «воздух свободы», которая в «Онегине» отсутствует.

Мои оппоненты систематически обнаруживают плохое знакомство с автографами. Согласно Ларионовой и Фомичеву, «нет никаких оснований считать, что окончание причастия (избранн^{ыя} вместо грамматически верного избранн^{ые}) в печати появилось в результате сознательной правки Пушкина. В данной конечной позиции начертание -я и -е в пушкинских рукописях настолько сходно, что ошибка набора вполне объяснима» (стр. 154, примеч. 40). Набор тут ни при чем; в авторском экземпляре поглавного издания рукою Пушкина четко написано: *Что есть избранн^{ыя} судьбами* (№ 936, л. 75).

Фомичев и Ларионова уверяют, будто Н. И. Измайлов в 3-м томе академического собрания «включил в текст, печатаемый в основном корпусе <...> последний <...> появившийся в рукописи вариант („Тут звучно лопнул он — я взоры потупил”)), а среди разночтений «указал, что предшествующий вариант („Тут звучно пернул он — я взоры потупил”) остался в рукописи незачеркнутым» (стр. 155). Соавторы навязывают Измайлову свою ошибку. Прежде чем учить кого-то азам текстологии, следовало бы внимательнее прочесть пушкинский текст: последнего из названных вариантов вообще не существует.

Мои оппоненты безапелляционно утверждают, что 2-й стих строфы XIX в черновом и беловом автографах 1-й главы одинаково «читается: „Сатиры смелый властелин”. Причем окончание слова „смелый” написано совершенно отчетливо и не оставляет ни малейшего повода для сомнений» (стр. 158). Это чистая дезинформация, но так как я могу быть заподозрен в предвзятости, предоставлю слово текстологу, который специально занимался источниками данной строки: «<...> перед нами три неоспоримые факта: 1) в черновике

⁴¹ См.: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 4. 1937, стр. 421, примеч. 5 в; 1948, т. 7, стр. 215; а также: «Словарь языка Пушкина». В 4-х томах, т. 3. М., 1959, стр. 750.

⁴² См.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, стр. 144.

⁴³ «Русская старина», 1883, т. XXXVIII, кн. IV, стр. 115.

⁴⁴ Ср.: <...> *Его перо любовью дышетъ* <...> (4, XXXI, 3); <...> *и теплотой / Каминь чуть дышетъ* <...> (4, XLVII, 4 — 5); <...> *Тамъ все Европой дышетъ, вѣтъ* <...> («Путешествие Онегина», [XI], 5) и т. п.

окончание слова „смелый” или „смелой” неясно, но скорее всего „смелой”; 2) в каллиграфически написанной белой отчетливо читается „смелый”; 3) в четырех прижизненных изданиях первой главы неизменно — „смелой”⁴⁵.

Не владея приемами научной полемики, Ларионова и Фомичев пускают в ход обвинения этические. Но единственное мое преступление против нравственности, по сути, сводится к тому, что я подверг критике работу выдающегося текстолога: «Зачем торжествовать с детским тщеславием, найдя ошибку в великом труде своего предшественника?» (стр. 151). Не ошибку, а множество ошибок — но при чем тут торжество?! Оппоненты сгущают и утрируют мои замечания, раскаляя их до такого градуса, какого они отдаленно не имели, — и в то же время непомерно превозносят и канонизируют Томашевского, который (как всякий подлинный ученый) в этом нисколько не нуждается: «<...> Шапир набрасывается на <...> одного из основателей современного пушкиноведения, по свидетельству всех современников, человека необычайного таланта, пронизательности, научной добросовестности и принципиальности, филологический авторитет которого никогда никем не ставился под сомнение» (стр. 145).

Ларионова и Фомичев вольны превращать историю науки в агиографию, только зачем ссылаться на «всех современников»? Достаточно вспомнить Ю. Г. Оксмана, который до ареста руководил подготовкой юбилейного академического собрания. Характеризуя редакторскую деятельность коллеги, он не раз говорил об «импрессионистически-озорных вторжениях Б. В. Томашевского в пушкинский канон», о «курьезах легкомысленного не по годам дилетанта» и даже о его «возмутительной халтуре»⁴⁶. При этом Оксман не ставил под сомнение профессиональный авторитет Томашевского: «Я всегда считал и считаю <...> Б<ориса> В<икторовича> очень талантливым и умным исследователем, самым крупным из ныне живущих пушкиноведов; но это не мешает мне видеть в его работах и рецидивы детских болезней опоязовских времен, и смешные претензии на независимость от предшественников и непогрешимость»⁴⁷. Изъяны академического шестнадцатитомника Оксман безуспешно пытался сделать предметом публичного обсуждения: «<...> мне затыкали рот, говоря, что я охаиваю высшие достижения советской науки. В. Д. Бонч-Бруевич и Н. Ф. Бельчиков заставили меня замолчать, угрожая возвращением на Колыму. С. М. Бонди и Б. В. Томашевский оказывали на меня „моральное” воздействие в том же направлении»⁴⁸. Сегодня эстафета переходит в руки Ларионовой и Фомичева.

Я не сказал даже половины того, что имею: полемика, не слишком удобная для популярного журнала, и так чересчур затянулась. В извинение пусть послужит то, что спор мне навязан и уклониться от него я не мог, привыкши следовать правилу Пушкина: «Тот, о котором напечатают, что человек такого-то звания, таких-то лет, таких-то примет — крадет например платки из карма-

⁴⁵ Берков П. Н. «Смелый властелин» или «смелая сатира»? (К текстологии строфы XVIII главы первой «Евгения Онегина»). — «Русская литература», 1962, № 1, стр. 62.

⁴⁶ Азадовский М., Оксман Ю. Переписка. 1944 — 1954. М., 1998, стр. 128, 78, 118; см. также: Гришунин А. Л. Ю. Г. Оксман о текстах Пушкина. — В кн.: «Московский пушкинист». Ежегодный сборник. М., 1999, [вып.] VI, стр. 343 — 358; Пильшиков И. А. Пушкин и Петрарка. Из комментариев к «Евгению Онегину». — «Philologica», 1999/2000, т. 6, № 14/16, стр. 18.

⁴⁷ Азадовский М., Оксман Ю. Указ. соч., стр. 78. Год спустя Оксман писал тому же адресату: «<...> вы являетесь одним из самых тонких и высококвалифицированных редакторов, с огромным чувством такта — исторического, филологического и литературного, чего не было и нет ни у Томашевского, ни у Цявловского, ни у Б. М. Эйхенбаума (что уж говорить о прочих!). На три головы выше своих коллег С. М. Бонди, но он глушит свой редакторский такт анархической недисциплинированностью мысли и почти полным отсутствием интереса ко всему тому, что сделано не им самим» (там же, стр. 129).

⁴⁸ Оксман Ю. Г., Чуковский К. И. Переписка. М., 2001, стр. 106.

нов — всё-таки должен отозваться и вступить за себя, конечно не из уважения к газетчику, но из уважения к публике»⁴⁹.

Оппоненты «нимало не сомневаются», что их нарекания «не помешают» мне «успешно продолжать работу над онегинской текстологией» (стр. 158). Во-первых, уже помешали, ибо заставили потратить на отповедь время, которым я сумел бы распорядиться с большей отдачей. Но еще хуже то, что для моих занятий текстологией «Евгения Онегина» критика Фомичева и Ларионовой оказалась практически бесполезной: в этом отношении их «Нечто» есть, по сути дела, *ничто*.



От редакции. *Не пытаясь судить о том, годится ли «отповедь» Максима Шапира на роль «последнего слова» в стихийно возникшей дискуссии, мы тем не менее видим ее возможное продолжение на страницах специальных филологических изданий, а не в рамках «Нового мира».*

⁴⁹ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 11, стр. 168.



КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



Я ИГРАЮ В ЖИЗНЬ

За полтора года пребывания в Лефортовской тюрьме Эдуард Лимонов написал шесть книг, немалое количество статей и пьесу. Прямо Болдинская осень. Лимонову, впрочем, подобное сравнение не польстило бы: Пушкин для него безнадежно устаревший банальный «поэт для календарей», «Евгений Онегин» — «убогонький вариант „Чайльд-Гарольда”», «пустая болтовня», проза — обыкновенная дворянская продукция с гусарами и прочей «традиционной». Так сказано в эссе о Пушкине, вошедшем в книгу «Священные монстры». Если верить Лимонову (а почему бы ему не верить?), она написана в первые дни пребывания в следственном изоляторе Лефортова. «Я, помню, ходил по камере часами и повторял себе, дабы укрепить свой дух, имена Великих узников: Достоевский, Сад, Жан Жене, Сервантес, Достоевский, Сад... Звучали эти мои заклинания молитвой, так я повторял ежедневно, а по прошествии нескольких дней стал писать эту книгу». (Книга до сих пор не опубликована, однако полный текст размещен на нескольких сайтах в Интернете, в частности: <http://zona-sumerek.narod.ru>)

Выбор «великих» чрезвычайно характерен. Самое ненавистное понятие для Лимонова — обыватель. А поскольку именно они составляют большинство населения планеты, то вместе с цветами к надгробию «священных монстров», бросивших вызов заведенному порядку вещей, потребовался молоток, чтобы шарахнуть по возведенным обывателями памятникам. Досталось Толстому («плоский и скучный, как русская равнина»), Булгакову («Мастер и Маргарита» — «любимый шедевр российского обывателя»), Набокову (единственная его удача — «Лолита»). И даже Достоевский, «укреплявший» лефортовского узника, одобрен лишь частично, ибо работает на одном утомительном приеме ускорения, а своих героев «никогда не умел занять... героическим делом». «Свыше ста страниц „Преступления и наказания” читать невозможно. Родион Раскольников так правдиво, так захватывающе прорубивший ударами топора не окно в Европу, но перегородку, отделяющую его от Великих, убедившийся, что он не тварь дрожащая, этот же Родион становится пошлым слезливым придурком... Великолепное... высокое преступление тонет в пошлости и покаинии».

Вообще русская литература, по Лимонову, тяжеловесна, в ней мало «шампанских» гениев, но они есть. Среди них — Константин Леонтьев, в среднем европейце «сумевший увидеть настоящую и будущую опасность человеку от буржуа-обывателя»; Хлебников, «дервиш, святой юродивый», умерший от голода в деревне, Николай Гумилев, в чьей поэзии «агрессивной жизни» и стоицизма Лимонов с радостью обнаруживает элемент протофашизма (вот перед кем надо было преклоняться молодому Бродскому и поэтам питерской школы, а не перед «вульгарной советской старухой Ахматовой»).

Большинство же «культовых личностей», в которых есть «бешенство души, позволившее им дойти до логического конца своих суждений», не принадлежит русской культуре. Их вызов обществу заворачивает Лимонова. Ему интересен де Сад, создатель «вселенной насилия», проведший жизнь в тюрьмах и умерший в Шарантонском приюте, Луи-Фердинанд Селин, «злостный правый анархист, ненавидящий интеллектуалов», Жан Жене, беспризорник, вор, вытасчен-

ный Сартром за руку из тюрьмы, Пазолини, «убитый персонажем своего фильма и книги („Рогащы“) на вонючем пляже», «правый герой» Юкио Мисима, писатель-эстет, ставший политиком и сделавший себе хакари на глазах сподвижников, когда убедился в невозможности разбудить в войсках древний самурайский дух. Писателями и художниками список «священных монстров» не исчерпывается. Че Гевара и Ленин, Муссолини и Гитлер, правые и левые революционеры, сказавшие новое слово в истории, заставившие содрогнуться мир, — все они для Лимонова герои. Разумеется, свое имя Лимонов тоже видит в этом списке — и не где-нибудь в конце.

Тюрьма часто меняет человека. Не обязательно сгибает. Перелом мировоззрения, случившийся, например, с Достоевским в остроге, — это духовное восхождение личности. Исторический беллетрист Всеволод Сергеевич Соловьев, в юности встречавшийся с Достоевским, как курьез, странность гения вспоминает вырвавшееся у Достоевского пожелание своему молодому другу приобрести тюремный опыт. Однако не такой уж это курьез. «Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили», — пишет Солженицын («Бодался телёнок с дубом»).

Право рассуждать о полезности заключения для писателя, впрочем, можно признать лишь за теми, кто имеет собственный тюремный опыт. Но отметим все же, что те, кто его имеет, — за исключением разве что Шаламова, — очень часто этому страшному опыту благодарны.

Лимонов, человек действия, ценящий в личности способность к бунту, отрицанию, глубоко презирает религию и всякие там духовные искания. Зато (недаром столько размышлял о судьбах знаменитых узников) он прекрасно знает, как успешно тюремный опыт конвертируется в литературную славу. «Тюрьма дает право на величие. Я думаю, судьба меня особо отметила: в пошлый век без героев быть обвиненным в таких „преступлениях“, в которых и Разину с Пугачевым было бы не стыдно быть обвиненными», — говорит Лимонов в диалоге с Александром Прохановым. «Ты остался позади, Иосиф, — обращается он к Бродскому в воображаемом диалоге. — Я тебя уделал в нашем соревновании. Тюрьма меня возвеличивает»; «Мне моя отсидка только прибавит звезд на погонах, а если еще умру в тюрьме, обеспечит бессмертие и культ. Я уже культовая фигура, статус мой теперь недостижим»; «Время, проведенное мной в русской Бастилии, в Лефортове, будет всегда приводить в восторг моих биографов» («В плену у мертвецов»); «Тюрьма и статус государственного преступника сделали меня „беспорным“, „отлили в бронзе“» («Книга воды»).

Порой думаешь, что те, кто борется за освобождение Лимонова, оказывают ему медвежью услугу. В особенности когда журналист начинает говорить, что Лимонов плохо выглядит, удручен, подавлен, и вообще — стыдно держать в тюрьме старого человека, никого не убившего, ничего не укравшего, по сомнительному обвинению в покупке автоматов. Да и разве способна его эксцентричная карликовая партия на что-то большее, чем закидывать помидорами и яйцами малосимпатичных персонажей? Все их акции — не более чем хеппенинги.

Во всех тюремных книгах Лимонов рисует себя несгибаемым узником Бастилии, политзаключенным, непримиримым революционером, энергичным, стремительным, молодым, свежим, мускулистым, он делает гимнастику по особой системе, он никогда не пропускает прогулок, его не может сломить стукач, пугающий ужасами общей камеры. Его любят юные свежие женщины — любая из них за счастье почтет прыгнуть в постель к седому неувыдающему героическому красавцу. А тут вылезает молодой Сергей Шаргунов, пишет статью в защиту узника Лефортова и невзначай называет его седым стариком, — да можно ли задеть больнее?

Первые из опубликованных Лимоновым тюремных книг (изданные весной 2002 года) о самом заключении рассказывали мало. «Книга воды» («Ad Marginem», 2002) — это летучие фрагменты воспоминаний, шампуром для ко-

торых служит такая пластичная субстанция, как вода. Так как почти все книги Лимонова — это «главы его жизни», как замечает он сам, в новой книге оказались перетасованными страницы предыдущих. Еще в рукописи она выдвигалась на премию «Национальный бестселлер». Тогда Лимонова обошел друг и союзник по борьбе Александр Проханов с романом «Господин Гексоген», зато Лимонову достался утешительный приз в виде премии Андрея Белого. Почти одновременно с «Книгой воды» в издательстве «Амфора» вышла «Моя политическая биография». Мысль, что Лимонова занесло в политику случайно (весьма популярная среди тех, кто относится с симпатией к писателю, но не к его идеям), и раньше казалась мне нелепой. Сам Лимонов, кстати, упорно настаивает на том, что всегда был «социально-политическим автором», лишь проясняя с годами свое видение мира. Однако и призрак собственно политической карьеры не раз ему являлся. В давнем лимоновском рассказе («В сторону Леопольда») пожилой парижский гей допытывается у героя, что он думает делать дальше. Не через час после обеда в ресторане, а вообще в жизни. «В ближайшие несколько лет я не собираюсь совершать никаких революций в моей жизни. Буду писать книги и публиковать их, становиться все более известным», — серьезно отвечает герой. «Ну а потом?» — «Когда ты очень известен, можно употребить известность на что хочешь. Можно пойти в политику, основать религию или партию...» («Кончался октябрь 1983 года» — такова последняя фраза рассказа).

Религию Лимонов пока не основал, а вот партию, как к ней ни относиться, — создал. Однако повествование о первых шагах писателя на родине, о партстроительстве, союзниках, противниках, съездах НБП, их акциях и расколах внутри партии — на редкость монотонно на фоне других — взрывных, шокирующих книг Лимонова. Кончается оно сценой ареста — писателя везут в Лефортово, обыскивают, осматривают и под конец открывают железную дверь камеры. «В камере были три металлических кровати, окрашенные синей краской. Я положил на одну из них матрас и сел. Сцена из классического романа».

Книга «В плену у мертвецов», вышедшая в конце 2002 года в таинственном издательстве «Ультра. Культура», кажется, начинается там, где кончается предыдущая, — с описания тюремной камеры. Но это не продолжение «Моей политической биографии». Скорее это продолжение литературной традиции (как ни дико звучит слово «традиция» применительно к книгам Лимонова), заложенной «Записками из Мертвого дома» Достоевского, сплав автобиографии и очерка. Не случайна и перекличка названий. «В плену у мертвецов» — наверное, первое в русской литературе описание тюрьмы, написанное в самой тюрьме.

Тихие коридоры следственного изолятора ФСБ, прогулочные камеры на крыше крепости, покрытые сверху решеткой и сеткой, молчаливые Zoldaten (как коротко называет Лимонов охранников, избегая слова «вертухай», чтобы «не давать себе труда разбираться в их разнокалиберных звездочках»), однообразный тюремный быт.

Сокамерники: персонаж маркиза де Сада, стукач Леха, стриженный кабан — «низкий лоб, круглые глазки, жесткое лицо» (Лимонов — мастер лаконичного портрета), засланный следствием, чтобы «закошмарить» арестанта ужасами Бутырки (где, мол, его непременно «опустят», припомнив эпизод с негром из романа «Это я, Эдичка»); молчаливый чеченец-боевик Аслан, молодой бандит Мишка, аккуратненький, с обманчивой внешностью юного бизнесмена, «мальчик из хорошей семьи», решивший жить по воровским законам. Лимонов не был бы Лимоновым, если бы не затасил в тюрьму — «место, где живут оставленные женщинами мужчины», — «пирамиды женских тел», анонимных суккубов и реальных Лиз-Маш-Насть, о совокуплениях с которыми рассказано с постфрейдовской свободой и дотошностью; если б не вел воображаемых диалогов с друзьями, Бродским и Шемякиным, не сводил сче-ты с издателями, не клеймил Америку (поделом ей досталось 11 сентября), не

обрушивался на русскую интеллигенцию, на радио, телевидение, масскульт, на предавших соратников — всего не перечислить. Но все же главное в книге — сама тюрьма.

Это совсем другая тюрьма, чем та, которую мы помним по книгам Солженицына. В «Архипелаге» нередко исторические параллели с дореволюционной практикой содержания политических заключенных. Либеральность режима царских тюрем на фоне жестокостей ГУЛАГа действительно поражает. Получали передачи. Читали книги. Писали статьи. «Короленко рассказывает, что он писал и в тюрьме, однако — что там были за порядки! Писал карандашом (а почему не отобрали, переламывая рубчики одежды?), пронесенным в курчавых волосах (да почему ж не стригли наголо?), писал в шуме (сказать спасибо, что было где присесть и ноги вытянуть). Да ещё настолько было льготно, что рукописи эти он мог сохранить и на волю переслать (вот это больше всего непонятно нашему современнику!)», — иронизирует Солженицын. Самому ему, одержимому желанием писать, приходилось идти на невероятные ухищрения, чтобы утаить от ежедневных обысков крохотный кусочек бумаги, да обозначать пропусками самые опасные слова: ну как все-таки при шмоне бумажку отберут, что и случилось, а потом заучивать текст наизусть, уничтожая оригинал. «Так я писал. Зимой — в обогревалке, весной и летом — на лесах, на самой каменной кладке: в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора и мне ещё не поднесли других: клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша (таясь от соседей) записывал строчки, набежавшие, пока я вышлепывал прошлые носилки». (Заметим, что Достоевский, в отличие от Короленко и даже Чернышевского, не имел возможности писать в остроге, да и после выхода из него в 1854 году, когда уже начал работать над «Записками...», не был уверен в возможности публикации, несмотря на амнистию политическим ссыльным 1856 года.)

Лимонов находится в условиях куда более сносных, чем его великие предшественники. Никто не отнимает ручку и тетрадку, никто не препятствует передаче рукописи на волю, не применяет санкции к арестанту после выхода книги из печати. Более того — Лимонов даже добивается права писать в отдельной комнате и «выбивает» у администрации настольную лампу — «зеленую, кагэбэшную, с красной кнопкой выключателя и бронзовым штативом». Следователи не мучают бессонницей, не бьют и не пытаются. В камере есть радио, разрешены газеты и даже телевизор. Голодом не морят. Правда, тюремные щи, каши и вареная ржавая селедка аппетита не вызывают, но остатки хлеба сокамерники по утрам выбрасывают и передачи («дачки», как говорят нынешние зеки) не запрещены. «Мы с Мишкой объединили наши дачки и, как правило, первую неделю наслаждались поеданием свежих салатов и колбасы». Это вам не советские лагерь, где жизнь зависит от тощей пайки.

И все же у Лимонова вырывается: «Я не знаю, сколько мне суждено сидеть за решеткой, — в государстве беззакония, каким является Россия, срок непредсказуем; не знаю, как долго я проживу, но вряд ли будет у меня когда-либо впоследствии опыт тяжелее тюремного». Это человеческое признание трогает больше, чем привычная героическая поза.

Вообще в книге много удивительных замечаний. «Существование своей тюрьмы у службы безопасности противоречит всем возможным правам человека». «Военно-репрессивная структура (ФСБ) сама по себе реакционна и неуместна в контексте демократического государства». Странно слышать слова о «правах человека» и о «демократическом государстве» от автора лозунга «Сталин, Берия, ГУЛАГ», который скандируют нацболы во время своих акций. Или Лимонов меняет взгляды под влиянием тюрьмы? Одно дело говорить в интервью о проекте будущего России: «Будет континентальная империя от Владивостока до Гибралтара. Тотальное государство. Права человека уступят место правам нации... В своих и во всех прочих рядах будут производиться чистки, чтобы не допустить вырождения правящей верхушки» («Независимая газета» от 23 мая 1996 года). И совсем другое — ощутить себя объектом чистки.

«Тюрьма учит меня именно тогда, когда я уже думал, что всему научен в мои 58 лет», — произносит Лимонов. Что ж, перерождение убеждений в заключении — вещь обычная. Но повременим делать поспешные выводы.

Одновременно или почти одновременно с книгой «В плену у мертвецов» Лимонов пишет работу «Другая Россия» — своего рода «Майн кампф». Вождь отвечает на «настырный» вопрос партийного «пацана», пробившегося со своим письмом в Лефортовскую тюрьму: «что мы хотим построить?». Отсюда нарочито облегченный стиль изложения, чтобы не перегружать нетренированные молодые мозги, короткие главы-лекции для удобства публикации в партийной газете «Лимонка» (где книга и была напечатана, а теперь висит на сайте НБП).

Вождь НБП как никто входит в положение «активных пацанов». На Западе, в СССР и в современной России — им всегда плохо. Тусклые поганые родители, жиреющая мать, пьяный отец, жалкая квартира. Семья — «липкая теплая навозная жижа». Разве не хочется из нее вырваться? Школа еще хуже. Ничтожные, тупые, дурно пахнущие учителя вбивают в детей никому не нужные знания, а на самом деле — стремятся подавить «естественную агрессивность». Школа — это «репрессивное учреждение».

Помимо семьи и школы вас, пацаны, подавляет общество. Молодежь — самый угнетенный класс. Власть и собственность неравномерно распределены между поколениями. «Средний возраст... украл у молодежи ее долю власти и собственности». Что же делать молодым, энергичным, активным, обделенным? Работать на революцию, которая всегда победа «детей над отцами, молодежи над средним возрастом». Китайская культурная революция, когда молодые ребята, руководствуясь директивой Мао «огонь по штабам», «водили по всей стране в шутовских колпаках высших чиновников государства, избивали, плевали, пинали и усылали на перевоспитание в деревню», — великолепный реванш молодежи.

Должна ли совершаться революция в интересах большинства? Нет. Ведь большинство — ничтожные обыватели, они боятся очистительной крови революции. «Поэтому мы станем ориентировать нашу цивилизацию на агрессивное меньшинство — на маргиналов. Они есть соль земли».

Должна ли революция восстанавливать справедливость? Нет. «Революция должна быть... несправедлива, когда отнимают, пинают, обижают, изгоняют. Тогда будет достигнута нужная эмоциональная температура в обществе». Только «всеочищающее насилие» может освободить пространство для нового. Тут мы подходим к решающему моменту — для какого нового? Из Лефортовского замка видятся Лимонову очертания грядущей цивилизации: «Я не только чувствую, что пишу пророческие фразы, я знаю: судьба избрала меня объявить будущее».

Будущее, которое «объявляет» Лимонов, большинству покажется кровавым кошмаром. Принцип старой цивилизации — принцип труда, обещающий сытую жизнь «умеренно работающего домашнего животного», — отменяется. «Основным принципом новой цивилизации должна стать опасная, героическая, полная жизнь в вооруженных кочевых коммунах, свободных содружествах женщин и мужчин на основе братства, свободной любви и общественного воспитания детей. Мерзлые города должны быть закрыты, а их население рассредоточено». «Образование станет коротким и будет иным. Мальчиков и девочек будут учить стрелять из гранатометов, прыгать с вертолетов, осаждать деревни и города, освежевывать овец и свиней, готовить вкусную жаркую пищу и учить писать стихи».

Как будет поддерживаться производство в цивилизации, где отменены города? И на этот вопрос есть ответ. Сфера производства должна быть ограничена. Зачем строительство, если жить будут в кочевых жилищах? Зачем одежда, если предполагается введение формы на манер коммунистического Китая? «Общество будущего вполне может ограничиться черными джинсами, черными куртками да черными ботинками». Короче, всех оденут в нацболовскую форму.

Тут возникает еще один вопрос: как именно будет «рассредоточено» население запрещенных городов? А вдруг большинство мужчин не захочет «героической» жизни в кочевых коммунах, а вдруг большинство женщин не пожелают стать общим имуществом коммунаров, рожать в обязательном порядке множество детей во время репродуктивного периода и отдавать малышей на общественное воспитание? (Товарищ Пол Пот относительно недавно столкнулся с некоторыми трудностями, когда «запретил» города, ненужное образование, лишнее производство и разнообразную одежду, в результате появилось много лишних людей, которых пришлось бить по голове мотыгой.) На вопрос нет прямого ответа, но «агрессивный маргинал», которому и адресовано пророчество вождя, сможет вычислить его сам: «Давно пора отказаться от заискивания перед толпами граждан... Так откажемся же... Важно ориентироваться на удовлетворение интересов героической, сверхчеловеческой части населения нашей планеты, а большинство — приспособится».

Я понимаю, что большинство (которое и должно приспособиться) не слишком будет встревожено этой программой разрушения цивилизации. Уж больно смахивает на пародию. После утопий Платона, Томаса Мора, Кампанеллы, Фурье и Шигалева, героя «Бесов», после попыток Ленина, Сталина, Гитлера, Мао и Пол Пота претворить собственные утопии в жизнь, после томов страшных свидетельств того, во что обошлись человечеству грандиозные проекты переустройства, кажется, что мир должен был выработать вакцину от очередной утопии, как от чумы или черной оспы.

Вакцина-то есть, а вот вспышки оспы все равно периодически случаются. И внимают «активные пацаны» слову вождя. Да, их немного, да, их не принимают всерьез. Лимонова это не смущает. В самых разных книгах проводит он параллели между «великими партиями XX века», фашистами, большевиками, нацистами, которые вначале тоже были изрядно «лунатическими и офонарированными», и нацболами собственного изготовления. «Есть отличная фотография, где запечатлены провинциальные фашисты, которые ждут приезда Муссолини. Боже, как они смешно выглядят...» («Моя политическая биография»).

Дело Лимонова скорей всего развалится в суде. Он обвиняется в приобретении оружия, но автоматы нацболам, возможно, подсунули сами же спецслужбы. Лимонов заявляет, что его партийцы — взрослые люди и сами могут отвечать за свои поступки, приказа же приобрести автоматы он не отдавал. И одновременно обвиняет в предательстве парня, который дал на него показания. Предателем называется человек, выдавший врагам соратника или тайну. А человек, оговоривший другого, называется лжесвидетелем. Лимонов очень чуток к слову, но давших на него показания обвиняет в предательстве, а не во лжи, оговоре, навете.

Что и говорить — ситуация у него нелегкая. Как подсудимый, желающий сбить с толку суд, он должен отпираться от любого пункта обвинения. Как историческая личность, основатель партии или даже религии («В уголовном деле, возбужденном против меня, я играю роль Христа») он должен быть тверд в убеждениях и не сгибаться перед судьями. А поскольку житие Лимонова пишет он сам, то ему приходится все время преувеличивать значимость своих деяний. Две противоречивые установки все время сталкиваются. Лимонов намекает читателю, что на Алтай его и команду нацболов привели очень важные дела, что партийные пацаны зимовали на уединенном хуторе для пользы общего дела, — и отвечает следователям, что ни о какой попытке создания партизанской базы на Алтае речь не шла, а ездил он туда просто так, дом для себя прикупить хотел. Он отказывается от авторства манифеста «Вторая Россия», напечатанного в бюллетене НБП — ИНФО № 3, и одновременно включает его в книгу «Другая Россия», рассуждая о том, что это и есть один из возможных путей для восхождения к «новой цивилизации».

Идея проста. Поскольку шансы НБП захватить власть вооруженным или легальным путем невелики, а террор тоже не приведет к успеху, надо создать очаг партизанской войны на сопредельной территории с большим процентом

русского населения. Прибалтика для этого не подходит, Украина, Крым, Кавказ — по разным причинам тоже. Идеально подходит лишь Казахстан. Там — при 15 миллионах населения 6 миллионов казахов и столько же русских, русскоязычная масса недовольна политикой вытеснения русских со всех сколько-нибудь значимых рабочих мест и постов (что истинная правда), вооруженные силы слабы — вот там и можно поднять восстание, создать «Вторую Россию», «пусть вначале движущимся островком», а уж туда перетекут сами из России «самые яростные элементы», туда будут бежать, «как в свое время крепостные на Дон, в поисках свободы». Что ж — при всей трудноосуществимости этого проекта нельзя сказать, чтобы он был вовсе фантастическим. С партизанских баз начинали Мао в Китае и талибы в Афганистане.

Где кончается литература и начинается партийная программа? Дело Лимонова в изображении ФСБ — это заговор террористов. Дело Лимонова в изображении сочувствующих СМИ — это очередной нацболовский хеппенинг, игра в «Зарницу», воспринятая всерьез хмурыми стражами государственной безопасности, лишенными чувства юмора и не понимающими эстетики протеста.

Лимонова часто упрекали в том, что он писатель с бедным воображением, что ему не удастся художественный вымысел, и, компенсируя этот недостаток, он конструирует свою жизнь по законам литературы, чтобы потом описать ее. Лимонов хладнокровно подтверждает: «Я не писатель. Я репортер моей же жизни... Коллеги до сих пор не признают меня своим, потому что их до сих пор забавляет примитивная старая игра в слова. Я играю в жизнь». Что ж — благодаря этой игре Лимонов, с его отчаянным революционным фанфаронством, с безумными идеями мирового переустройства в духе Пол Пота, с культом силы, с презрением к человеку думающему и симпатией к человеку действующему, с точно рассчитанными, чтобы вызвать шок, откровенностями Казановы, место свое в реестре «священных монстров» уже застолбил.

Но игра обошлась недешево. Тюремная камера в Лефортове, душный, вонючий, набитый людьми, как селедками, автозак (описанный в пьесе «Бутырская-сортiroвочная»), суд в Саратове оказались вовсе не бутафорскими. За игру в жизнь приходится платить жизнью. И не только своей. Но и жизнями (в прямом смысле слова) поверивших учителю пацанов.

Сегодня Лимонов — жертва. Даже злопыхатели Лимонова притихли, даже его противники говорят публично, что пора бы освободить писателя. Жертва вызывает сочувствие. Я тоже была бы готова подписаться под воззванием «Свободу Лимонову!». Но на полях петиции все-таки хотела бы сделать пометку: не дай бог увидеть Лимонова победителем, устанавливающим новый мировой порядок. Уж в тех казематах будущего (вспомним лозунг «Сталин, Берия, ГУЛАГ») никакой писатель не сможет требовать для своей работы отдельный кабинет (пусть в виде пустой камеры), настольную лампу и публиковать без всякой цензуры шокирующие тюремные дневники.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ДВОЕНЬЕ ЮРИЯ НАГИБИНА

Из «Литературной коллекции»

Весь 1955 год лучшими силами московской пишущей интеллигенции готовился как либеральная бомба сборник «Литературная Москва», обещавший, при новых веяньях, разорвать нудный поток советской литературной казённости. К печати он был подписан в феврале 1956 — как раз в канун XX съезда компартии.

И ему-таки досталось много резкой брани от официальных надсмотрщиков литературы, хотя — в отдалении времени — видим, что ничем замечательным сборник не обогатил нашу литературу. А вскоре за XX съездом последовал 2-й сборник «Литературной Москвы» — уже действительно со взрывными «Рычагами» Александра Яшина и с добротным честным «Деревенским дневником» Ефима Дороша. Тут-то и стояли два рассказа весьма успешливого прозаика Юрия Нагибина — с литературным стажем уже лет в пятнадцать, а в общественном звучании весьма аккуратного.

Рассказы эти могут сослужить верным термометром того года: они показывали точную ту температуру, до которой московская интеллигенция разрешила себе нагреться и проявиться. Рассказ «Хазарский орнамент», неплохой в разряде «охотничьих» («чайного цвета озёра», «тьма населилась звёздами»), — однако вот вбирает и социальную тему, в меру разрешённого в тот миг (что бы о том да два годика назад, вот бы фурор): как бессмысленно укрупнение колхозов; что телята, вот, поели колхозную гречу с поля — а крестьяне и рады: не трудиться убирать; «мы-то сведомы, да вот город о нас не больно сведом». Из двух собеседников — охотник-интеллигент, знаток орнамента, запуган и сегодня, язык за зубами, а другой — энергичный, с отчаянно-смелыми взглядами («сколько понастроили никому не нужной дряни — колонны, арки, доматорты»), оказывается новоназначенным секретарем райкома, несущим новую жизнь в заглушенные места, притом передвигается пешком, и даже без сопровождающего, — опять иконный портрет, только на новый лад. — А второй рассказ, «Свет в окне», ещё смелей: социальное разоблачение на самой неопасной теме — дом отдыха. Долгое время там неприкасаемо хранился отдельный благоустроенный флигель на случай внезапного приезда начальства. Но *теперь* (то есть в отблесках XX съезда) «в отношениях между людьми всё более укреплялся дух взаимопонимания и доверия» — и уборщица самовольно впускает в запретные покои обслугу дома отдыха, повеселиться при телевизоре и биллиарде, и директор чувствует, что это — хорошо, справедливо. (Он и сам собственную свинью отдал зарезать на прокорм отдыхающих.) Такая робко-возвышенная советская слащавая картинка. (Долго надо мучиться от «нету тем», чтобы такое придумать? Не так-то просто.)

Такие рассказы — в тот судьбоносный момент — уже достаточно представляют нам автора. И мы тут, минуя его ещё потом сорокалетнюю благополучную литературную жизнь, — шагнём сразу к финалу её, в 90-е годы, — и этот «Свет в окне» высветится нам по-новому.

За пройденные годы мастерство Нагибина усовершенствовалось и оттачивалось, но всегда в рамках советской благопристойности, никогда и ни в чём, ни литературно, ни общественно, он не задевал вопросов напряжённых и не вызывал сенсации. Такое он совершил лишь в 1994 выходом своей последней, уже посмертной, книги из двух повестей: «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая тёща». Это, вероятно, наиболее интересное из всего, что Нагибин написал за всю жизнь. Весьма любопытна первая повесть, а вторая приобщает лишь дополнительные краски для впечатлений о писателе, прожившем более 70 лет в СССР.

Материал «Тьмы» — сплошь автобиографичен, и можно поверить автору, да это и видно: он старается, с большой психологической самопроработкой, быть предельно откровенен о себе, своих чувствах и поступках разных лет, но отобранных по стержню одной темы, именно: еврейской в СССР. Эта тема, как мы теперь узнаём, кипела в нём десятилетиями, никогда не прорвавшись вовне. «Тёща» — тоже автобиографична (жизненные обстоятельства повествователя легко совмещаются там и здесь), но события и чувства отобраны по другому стержню, эта вторая повесть — «история моей сексуальности», в преодолении «тошнотворных сексуальных табу»; повествователь находится в неотступном эротическом бреде, и: даже «старый, больной, умирающий, я трепещу быллым трепетом», хотя уже, глядя в зеркало, «не верится, что так можно износить свой земной образ».

Да и мы от прочтения «Тёщи» испытываем пустоту. Однако и признаем: тут Нагибин достиг своего лучшего. Силы слога он не утратил до самой смерти, весьма изобретателен в словесности, не всегда, но в аккордных местах, куда вкладывает главное чувство: «округлая дароносица живота» (желанной тёщи), «кудрявый этот лес рассекало опаловое ущелье с живым, будто дышащим кратером; скважина и глубоко запрятан зев вулкана», «накалывал её [тёщу] через потолок [совокупляясь с женою на 2-м этаже] на раскалённый шампур страсти»; впрочем, и не всё же на прямых откровенностях: «несовершенно представление о женской красоте, если из него изъято средоточие тайны». — Встречаются яркие портреты, в изложении ему не отказывает остроумие, мелькает и юмор. В «Тёще» оставил он нам несравненные картинки замкнутой номенклатурной среды; не побывав там, среди них, такого не выдумаешь, не догадаешься (жадный расхват ношеного американского тряпья, крайняя грубость пиров, шуток, и это — «брэнча орденами, как коровье стадо колокольчиками»). Отмечает у себя «большую любовь к природе», и правда же чувствовал её, тут его питали и многочисленные охотничьи переброды, вот у него и гроза хороша, и «зелёные облака вокруг брачущихся сосен, осыпая пылью восковистые свечки». Лексические возможности у Нагибина изрядные, использует он их неровно, но и без натуги; даже из этих повестей можно выписывать и выписывать: *ножевой выблеск взгляда, людская несметь, оскальживать взглядом, бездождный, вманчивый, рухнув сердцем, навдиг, наволочь, громозд, в обставе, скрут, вздрог, промельк, укроме, наподлив, взвей (сущ.), посмеркло, вклеиться, безпреградность, непрокашлянный голос, изнеживающее безумие* и др.

Автобиографичность обеих повестей, и страсть их, и художественная яркость «Тёщи» (повествование плотное, и фразы плотные, отработанные, местами их фактура вполне бунинская и лексика находчивая, хотя во «Тьме» о 1949 году — совсем газетный язык) никак не дают проминуть саму личность автора.

О характере и мировоззрении его разбросаны лишь скудные замечания. «Мгновенно никнувший перед даже малыми бытовыми трудностями», он считает, однако, что «даже уцелевшие жертвы [стихийных бедствий] не слишком переживают гибель родных стен, имущества, близких. Плачут, конечно, для порядка, даже голоса, требуют „гуманитарной помощи“, но как-то не от души, словно актёры на тысячном спектакле». Сам он не знал скудости в детстве, а с юности уже был в писательском доме в Лаврушинском у отчима-писателя, который и направил пасынка на писательский путь, по гладкой дорожке (интеллектуальное наследование, типичное для многих столичных семей круга искусства). Из писательского быта он более всего описывает свои куте-

жи, скандалы и драки в ЦДЛ: «блаженная тяжесть удара», «лежачего не бьют? чепуха» — и бьёт упавшего противника каблуком в ребро. Целая глава («Тьма», гл. 16) о серии его драк производит впечатление животное. Не намного чище и сцены разврата в киносъёмочной группе. В ЦДЛ он различает «чистую публику» и «нечисть, протертъ» (писателей начинающих и студентов Литинститута). Заявляет о своей «слезе о Христе», но в юности — по снесенной церкви Николы в Столпах, «где было столько намолено» (так понять, что с матерью он в детстве ходил в церковь), — «никакой печали, ни тени лирического чувства не испытал — этот мир давно изжил себя». И два его упоминания о спасениях Руси Владимирской Божьей Матерью звучат несомненно иронично. — Ещё новый жизненный взлёт ждал Нагибина *после* краткой беглой первой женитьбы (не обрисованной сколько-нибудь): через женитьбу вторую он вошёл «в круг советских бонз» — до маршалов и министров, в «жизнь разгульную, залитую вином». И не так чтоб любовь к жене укреплялась в нём, сколько неутолимая страсть к теще и домоганье её. Однако изрядно «боялся своего сановного тестя» — как, впрочем, и «к любому начальству, встречавшемуся мне на моём пути... я относился с ненавистью, презрением и *почтением*». (Были затем — третья и четвёртая жёны, о которых почти нет подробностей: с третьей «отказался соединиться», четвёртая «обременяла мою душу».) Вторая женитьба решительно повернула ход жизни Нагибина во время войны. Вообще-то на войну он «попал с чёрного хода как сын репрессированного», и несколько странное объяснение к тому: если поставлено ему было в отягощение, что сын репрессированного, — то должен бы неуклонно попасть в голодный и работный трудбатальон. Но взамен того ему дали «белый билет по психиатрическому поводу» — и тут же, в противоречие с тем, он взят в ЦК комсомола, в тайный штаб (хотя в юности «я сумел избежать комсомола»). Там во множестве писал какие-то секретные отчёты *наверх* и воззвания к оккупированному населению — «о чём была эта писанина, убей бог не помню», — мыслимо ли такое? или уж такая отстранённость от страдающих людей? (Характерно и что его тамошняя начальница Хайкина — комсомольская Жанна д'Арк, «на тощей заднице болтался маузер», — «через много-много лет в виде... всё время плачущей еврейской бабушки» пришла «попрощаться в связи с её отъездом на историческую родину в США», — какая ироническая, но и закономерная передвижка судеб!) Но дальше ещё невероятнее — вскоре же наш герой взят *без проверки* (!) в отдел контрпропаганды Главного Политуправления Красной Армии — «у меня даже не спросили документов» (?), — сразу перешёл в офицерский чин, дальше оказался в редакции фронтовой газеты, ещё за тем — военкором центрального «Труда», весьма видное положение. (И как это всё сочеталось с его убеждениями? Хотя ему от слова «чекист» «веляло героической молодостью революции», но по повести рассеяны суждения — «советская скверна», советская «всеохватная ложь», «я ненавидел этот строй». И этого же, отчего же это благородное сознание *ни разу и никак* не отразилось в его книгах за несколько десятилетий?!) — Но карьера Нагибина в войну не слишком задержалась и на том. Из сановной семьи он совершал лишь «поездки на фронт», на подмосковной даче у тестя «кропал статейки об очередных победах нашего оружия», захватно изнуряемый своей похотью к теще, так что вот: «мне никак не удаётся вспомнить, шла ли ещё война или уже кончилась», — сливаются для него год военный и послевоенный. Да и правда, разве для тех номенклатурных семей война существовала? Для того ли, чтоб ослабить ущерб своей чести, Нагибин вообще обливает всю ту войну презрением, оправдывая своё равнодушие к её исходу тем, что «фашизм не уничтожить. Его добивали в Германии, а он заваривался насвежо в Москве», — будто бы такое понимание было у автора уже тогда.

Кажется, весьма живописная картина жизни преуспевшего советского писателя? Но истинного сюжета мы ещё и не коснулись. Теперь, нарушая хронологию, придётся обратиться вспять, к детству писателя, ибо именно детство заложило в него тяжёлый излом на всю жизнь, он-то и вылился в «Тьму». А

ещё сперва — несколько слов о родителях автора. Мать его — потомственная русская аристократка, отсюда её привычное о народе: «холуи» (вслед за ней и сын: «масса, то есть стадо идиотов»). Отец (каким долго считает его автор) — еврей, «незадачливый биржевик», в конце НЭПа угождает в сибирскую ссылку, в начале 30-х возвращается, но не получает московской прописки, в 1937 дают ему ещё новую ссылку — недалёкую, но до конца дней. Мать тут же и выходит замуж за упомянутого писателя (нравы её такие: по несогласию бросает в мужа раскалённым утюгом), в 1941 тот эвакуируется, а мать остаётся в Москве, явно ожидая прихода немцев, — и без видимого труда убеждает сына остаться с собою. Детство мальчика (20-е — начало 30-х) проходит в старом московском квартале у Чистых Прудов. В их семье — благополучный быт, избранные игрушки, но по нраву тянет мальчика в компанию и подвиги дворовых мальчишек; однако никакими смелыми подвигами он расположения их добиться не может. И у него накапливается обида: «Чужак. Чужак, что бы я ни делал». Сейчас, по его поздним воспоминаниям и характеристикам, можно угадать, что причина была в нём самом: он описывает многих мальчишек, и всех в неприязненном, неприятном тоне: тот — глист, извивающийся под фуражкой, те — «стрижены от вшей; в чиряках и прыщах пролетарские дети деревенского вида», они все — ему чужи раньше, чем он им чуж, — и тем не менее «причина их нерасположения оставалась до времени темна для меня» — и, мнится ему, разъяснилась, когда кто-то из них назвал его, по отцу, «жидом». И мальчик полностью определил тут и только в этом причину отчуждения. Но вот он переходит в школу, о которой тоже пишет с надменностью, следует поток жалоб и на неё; брезглив и неприязнен он к окружающим его мальчикам и девочкам — так что и удивляться не надо, что враждебны и к нему, хотя он первый физкультурник в классе; и всё равно: «холуйский состав нашего класса», хотя «наш класс уступал разве что синагоге по чистоте неарийской крови». Эти еврейские дети «живут припеваючи, их никто не преследует, не шпынует». Такими свидетельствами Нагибин сильно подрывает своё национальное объяснение — но настаивает именно на нём, из него развивается и весь сюжет, из него родилась и повесть «Тьма». Рассказчик всячески растревляет себя. «На моей стене начертаны огненные письма: жид... жид... жид». У него, пишет, широкоскулое, чисто русское лицо, в произношении и поведении — ни следа еврейства, но вот: «Я узнал, что я недочеловек, и во мне сменилась кровь, я стал трусом»; «против стаи [дворовых мальчишек] я бессилён. Так постигал я науку трусости». «С чем можно сравнить страдания, которые причиняла мне моя недорусскость?! Вот трагедия: быть русским и отбрасывать еврейскую тень», — никогда не забывал этого, — «я чувствовал себя человеком, отбрасывающим чужую тень»; мысль о еврействе — «кошмар моей жизни». (Благодаря ли этой чувствительности, он откровенно свидетельствует, что в Москве в октябре — ноябре 1941 были антиеврейские настроения.) Но затем «еврейская тема надолго закрылась для меня», а через номенклатурную женитьбу «я чрезвычайно укрепился в своей русской сути», там его принимали, по матери, за совершенно русского. И, может быть, на этом сюжете бы и закончился, если бы в 50-е годы мать внезапно не раскрыла бы ему, что его истинный отец — не тот, кого он считал всю жизнь, и стало быть не еврей — а некий русский студент, в Гражданскую войну убитый крестьянами за какую-то (не объяснённую читателю) агитацию. И первая реакция автора была, что ему такой отец — «третий лишний», это «физиологическое разгильдяйство», «надо было гондон надеть». Итак, автор — полностью русский по происхождению? Но тут же: «я начал как-то глухо сопротивляться столь желанному дару». «Как только я окончательно и бесповоротно установил свою национальную принадлежность, сразу началось резкое охлаждение к тому, что было мне вождельно с самых ранних лет». «Узнавание [истинного отца] прибавило мне ненависти, омерзения», — так понять, что к простонародной русской толпе, за расправу её с отцом, — «но не любви»; «сбросив [прежний душевный груз еврейства] испытывал не облегчение, а утрату державшего меня стержня»; «вме-

сто ожидаемого чувства полноценности испытываю чаще всего стыд». И — обратное душевное движение: «Я хочу назад, в евреи, там светлей и человечней»; «почему я не могу быть евреем как все?» — в смысле: вернуться в более тяжкий жребий? Отца-еврея — «люблю... восхищаюсь им». И ещё так: «Никто нас [русских] не любит, кроме евреев», они, даже оказавшись в Израиле, «продолжают изнывать от неразделённой любви к России», — и эта любовь «была единственным, что меня раздражало в Израиле». — И ещё дальше: «Итак, я сын России», но «не обременён излишней благодарностью к стране берёзового ситца, ибо видел её изнаночью, нет, истинную суть». (Заметим: однако продолжал и продолжал кормить её благосоветскими изделиями своего пера...) «Прилив русскости неизменно ожесточал меня»; «Моя русификация пошла по дурному пути, я оскотинивался на глазах. Неужели я для того рвался в русские, чтобы стать свиньёй?»

И этот мучительный излом жизни даёт в Нагибине плод, который можно оценить уже как психическую болезнь: он начинает вымещать своё чувство на России и на русских. Теперь «со сладью и с зубовным скрежетом» он кидается в драки: «Теперь пришла пора расплаты, страна тоже возвращала мне должок [за тех дворовых мальчишек]. Я бил в нос и в Уральский хребет, в скулу и в Горный Алтай, в зубы и в волжские утёсы, по уху и по Средне-Русской возвышенности», — реакция довольно-таки поразительная и даёт удручающие выводы для возможностей русско-еврейского взаимопонимания, которое, однако, столь ведь несомненно! «Я не только дрался, но и безобразно много пил, кутил как оглашенный, не пропускал ни одной бабы, учинял дебоши... моя квартира попеременно была то кабаком, то бардаком, а нередко совмещала...» (деньги были от обильных заработков в кино). А если в драке не добил противника — это оттого, что «я слишком долго носил отравленную ядом жиновского мягкосердия шкуру...». В этом новом состоянии автор снова ворошит в памяти и переосмысливает свои жизненные наблюдения. Детство: «Твои самые близкие друзья — евреи, наши знакомые почти сплошь евреи», — и вот «они все несли в себе нечто такое, что объединяло их в единый клуб. Какое-то изначальное смирение, готовность склониться, их взгляд был вкрадчив, улыбка словно просила о прощении». Приводит распространённое объяснение ненависти к евреям как следствие их незащитности. «Есть замечательное высказывание: „еврей — тот, кто на это согласен“», однако же и: «я победил мозгами, чисто по-еврейски». Отмечает «решительное преобладание евреев» в «литературно-киношной» среде; присоединяется к формуле, что «отношение к евреям — лакмусовая бумажка любой политики». И даже так запальчиво выводит: «Казнив Христа, евреи дали миру новую религию».

А что же — о русских? С первой же главы настойчивое словоупотребление «холуи», «холуйство» — по сути обо всех, кто не входит в узкое окружение автора, его семьи, затем его киношного круга. Уничтожительные оклики потом в повести ещё и ещё выплывают, — то «люмпены», то «саблезубое мешанство», «холопы». Тут нет снисхождения равно — и «Пржевальскому, Кулибину и прочей нечисти», и собственной няне с её мужем: якобы, «когда по утрам нечем было опохмелиться, они пили собственную проспиритованную мочу из ночного горшка». «Гений Кутузова, героизм армии, народное сопротивление» в 1812 — «официальные мнимости». — А можно ли жить в российской глубинке? «Отвечу: нельзя. Случайный сброд, осевший на болотистой, смрадно дышащей подземным тлением почве, исходил скукой, злобой, завистью и доносительством». И «не надо думать, что [это место] являлось каким-то монстром, вся страна сплошное [такое место], но в Москве и в Ленинграде можно было создать себе непрочную изоляцию». — Да «скажу прямо, народ, к которому я принадлежу, мне не нравится». Даже вот что: «самое удивительное то, что русский народ — фикция, его не существует», «есть население, жители, а народа нет», его объединяет только «родимое „...твою мать!“»; «не произношу слова „народ“, ибо народ без демократии — чернь», «чернь, довольно много-

численная, смердящая пьянь, отключённая от сети мирового сознания, готовая на любое зло. Люмпены — да, быдло — да, бомжи — да, охлос — да», — и вот «этот сброд приходится считать народом». «Сеятели и хранители попрягались, как тараканы, в какие-то таинственные щели» и «по-прежнему ничего не делают». Да вот поразительно: «даже на экране телевидения не мелькнёт трудовое крестьянское лицо» (кто ж его туда допустит? там свои штатные вешатели) и, поноснее того: «сельское население живёт вне политики, вне истории, вне дискуссии о будущем, вне надежд, не участвует в выборах, референдумах». А вот и прямой монолог: «Во что ты превратился, мой народ! Ни о чём не думающий, ничего не читающий, нашедший второго великого утешителя — после водки — в деревянном ящике... одуряющая пошлость [а — чья?], заменяющая тебе собственную любовь, собственное переживание жизни». Хуже того: «ты чужд раскаяния и не ждёшь раскаяния от той нежити, которая корёжила, унижала, топтала тебя семьдесят лет», «он же вечно безвинен, мой народ, младенчик-убийца», «самая большая вина русского народа, что он всегда безвинен в собственных глазах. Мы ни в чём не раскаиваемся, нам гуманитарную помощь подавай». Да и «едва ли найдётся на свете другой народ, столь чуждый истинному религиозному чувству, как русский», «липовая религиозность», «вместо веры какая-то холодная остервенелая церковность, сухая страсть к обряду, без бога в душе», «неверующие люди, выламываясь друг перед другом, крестят детей».

И этот весомый, глубоко прочувствованный приговор о русском народе — особенно непререкаем в устах русского писателя, чей нравственный облик нам прорисовался на предыдущих страницах, с большим опытом цэдэловского ресторана, драк и разврата, лёгких денег от кино, — он на высоте, чтобы судить как имеющий моральную власть. Он-то и явил нам образец желанного раскаяния — какая типичная фигура для столичной образованщины 80 — 90-х годов!

Чем дальше читаешь — начинаешь угадывать: да ведь это ещё один Печерин через полтора века лет! И ждать нам недолго, Нагибин и не скрывает: «Как сладостно отчизну ненавидеть», прямо и ссылается на источник.

И «что же будет с Россией? А ничего, ровным счётом ничего. Будет всё та же неопределённость, зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это — в лучшем случае. В худшем — фашизм. С таким народом возможно и самое дурное». Да ведь когда этот народ всё же миру понадобился — Нагибин из солдатского котелка с ним не ел, он плавал в сексуальном тумане сановной семьи. Сочетанием своих двух предсмертных повестей он поставил выразительный памятник герою нашего времени. Ну, так и быть, для подсластки: «Надо бы помнить и дать отдохнуть русскому народу от всех переживаний, обеспечивая его колбасой, тушёнкой, крупами, картошкой, хлебом, капустой», — это же всё в Москве производится, — «кефиром, детским питанием, табаком, водкой, кедами, джинсами, лекарствами, ватой», — остановиться не может в перечислении: «... и жвачкой».

Конечно, такое восприятие русского народа не может не соседствовать, или даже не иметь своим истоком убеждённую в неискоренимом злобном антисемитизме этого народа — причём от самых давних времён: «древний русский клич „Бей жидов!“» — *древний?* предполагает несколько столетий тому назад, во всяком случае прежде XVII, столетия за два до прихода евреев в Россию. «Извечный русский вопрос: уж не начать ли спасти Россию старым проверенным способом [то есть еврейским погромом]?»; *извечный* — это уже что-нибудь от века X — XI, или даже ранее самой Руси. Антисемитизм — это «нечто, довлеющее самой глубинной сути русского народа, такое желанное и сладимое»; «русский шовинизм. И никакой другой эта страна быть не может». «Всё же есть одно общее свойство, которое превращает население России в некое целое... Это свойство — антисемитизм», «страсть к душегубству», «антисемитами были Достоевский, Чехов, З. Гиппиус...».

И вот, укромно промолчав на сколько-нибудь важные общественные темы сорок лет своей литературной карьеры, во внешней смиренности осторожно

обойдя истинные горечи советской жизни, — вдруг, когда дозволило мание царя, с «перестройки», с «первым ведем свободы», — Нагибин распрямился в могучую высоту и в это разрешённое свыше время выплеснул всё накопившееся негодование, а именно: теперь он «не был молчаливым свидетелем фашистского разгула», но «кажется, единственный из всех пишущих ввёл тему национал-шовинизма в беллетристику», — поклонимся этому подвигу... Но что дальше? «При личных встречах я слышал немало прямо-таки захлёбных слов: мол, выдал по первое число черносотенной банде!» Однако, увы, увы, даже «у единомышленников и единосочувствующих» сложилось мнение «не считать это литературой», этакая «фальшиво-брезгливая гримаса мнимых ревнителей изящной словесности», и даже, даже: «на страницах газет — ни упоминания, будто этих моих рассказов и повестей не существует», — к чему Нагибин за свою успешную литературную карьеру никак не привык. Правда, «в нескольких отзывах, прорвавшихся на страницы пристойных газет», признавали, что «хоть в сатирическом жанре», но «это настоящая и хорошая литература». Картина довольно ясная.

Вряд ли мы обогатимся, листая эту его сатиру. Да даже, вероятно, и всю пятидесятилетнюю даль его произведений. Чего напрочь не было и нет в Нагибине — это душевности, тёплого чувства. Вот уж в самом деле — Тьма в конце...

Сам он выделяет из своего творчества, считает выдающимся успехом некий журнальный очерк 1949 года о председательнице колхоза, который дальше переделал в киноповесть, а из неё родился фильм «Бабье царство», и имел премию в Испании, из него же — и пьеса в театре Ленинского Комсомола, из него же и опера, и та опера и записана, и хранится навеки (только не транслируется) в сокровищницах Радиокomiteта. Уже такой шумный успех в советской обстановке внушает основательное сомнение в доброкачественности: вряд ли «Бабье царство» далеко ушло от «Кубанских казаков»... Знающие деревню писатели говорят: пейзажное, да ещё по-советски вымороченное. (И другой, за тем, свой фильм Нагибин оценивает как «истинно народный».)

Опубликованный в 1995 многолетний «Дневник» Нагибина с усмешкой объясняет мотивы литературного поведения: «...стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать... тогда... хочется марать много, много». Тут и прямо о кино: «Я делаю в кино вещи, которые работают на наш строй, а их портят, терзают, лишают смысла и положительной силы воздействия. И никто не хочет заступиться»; и даже вот его «вычеркнули из едущих на летнюю Олимпиаду... А ведь я объездил двадцать пять стран... и вёл себя безукоризненно во всех поездках», я «заслужил у властей». *Безукоризненно вёл, положительное воздействие!* — всё по меркам ЧК и ЦК — какой автопортрет преуспевающего советского писателя-хряка и сколько сотен их он объясняет!

«Истинная народность» «Бабьего царства» рельефно дополняется его оценкой «деревенщиков». Хотя он и обривает однажды: «великолепная деревенская проза 70-х», но пишет и: «их [„деревенщиков“] кряжистость, независимость духа, земляная силушка — не более, чем личина». И хотя Нагибин одно время входил в редакцию раннего «Нашего современника» — но с отвращением это переносил: «как пленительно воняло на долгих наших редколлегиях», «у нас воняло грязными носками, невымытым телом, селёдкой, перегаром, чем-то прелым, кислым, устоявшимся, как плотный избяной дух», и «наши корифеи» из провинции и одеты были бедно, неумело. (Слегка меня фамилии, он высказывает недоброжелательность и к отдельным из них, и особенно с явной завистью к успехам Шукшина.)

Вообще же краткие описания литературной и киношной среды — нечистые, и с поверхностной стороны: заработки, пьянки, скандалы — и ничего близкого к сути писательства. Кольцо образа замыкается.

Фигура нашего автора не будет дорисована, если упустить его политические высказывания, начиная от «Перестройки». Нелишне добавить их сюда.

«Восемьдесят пятый год сдёрнул „ткань благодатную покрова” с нашей страны, народа, общества... Обнажилась истинная сущность власти, институций...» — того строя, на который «работали вещи» его, — так ли понять, что и Нагибину открылась лишь тут? миллионам и миллионам она была видна давно. — Демократические демонстрации 1989 — 91 годов и кровь трёх случайно погибших в августе 1991, когда «мальчики и девочки пошли грудью на танковые колонны своей армии», — «единственный залог спасения России». Что касается армии и милиции, то, «слегка поколебавшись во время октябрьских событий [1993], они выполнили свой долг на высшем профессиональном уровне» (армия — стрельбой по дому парламента, милиция — избиением прохожих). И как вершина — «мужественный и умный Егор Гайдар», не чета «несчастному придурку Николаю II», которого «недаром же называли в старой России „крававым”».

И это — пишется после всех большевиков и после ГУЛага...



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

ИСПОВЕДЬ ГРАНТОСОСА, ИЛИ КОНЕЦ УМБЕРТО

Олег Юрьев. Новый Голем, или Война стариков и детей. Роман в пяти сатирах. — «Урал», 2002, № 8, 9.

Сколько бы ни говорили все вокруг, что черное — черно, а белое — бело, все впустую до той поры, пока ты сам — без подсказок и заглядываний в академический словарь — эту самую черноту-белизну не уразумеешь. Оттого-то и появляются статьи из серии «Мой Пушкин» (Лермонтов, Набоков, далее всюду...). Есть, дескать, общий для всех творец Алеко и Гуана, а значит, ничей, внушенный, нашептанный, я же наконец открываю своего, подлинного, почувствуйте разницу... Помню, Бог весть в какие старые и глухие аспирантурные годы раздумывал я долго — поехать ли мне жить и работать в один далекий город на реке Томи. Поехал, и первое, что увидел на берегу той самой славной шахтерской реки, — сгоревший ресторан под едва сохранившимся обугленным названием «Сибирь». Почему «Сибирь»? — пожал я плечами и тут только понял, где предстоит мне провести молодые лета. Такая вот «*моя Сибирь*».

Тут вы наконец осторожно спросите, при чем здесь все-таки роман Олега Юрьева. Рискуя нарваться на повторный вопрос, отважусь рассказать еще одну историю. В семидесятые — восьмидесятые выросло целое младое племя, воспитанное на литературе «стран Европы и Америки». Да и как было иначе, ежели в популярных «русских» журналах печатался привычный Рекемчук, ну, в лучшем (?) случае «Альгист Данилов», а в «Иностранке», глядишь, то «Черный принц», то «Степной волк», а то и «Шум и ярость» в нашумевшем переводе О. Сороки. А сейчас (то есть после явления мировых бестселлеров Эко — Павича — Кундеры) читать переводные книги мне лично как-то скучновато. Все думал — отчего бы, может, старею? Или уж совсем достала беззастенчивая попытка навесить классический ярлык на писанья Коэльо? И вдруг — вот он, *мой «конец постмодерна!»*. Ну вот, дошло-доехало, как же все-таки набили оскомину потуги имитировать двадцатилетней давности мировые бестселлеры! И мастеровиты бывают сии опусы, и читаются порою взхлеб, да после остается в памяти только симулякр литературного продукта, этакий обманчивый синтетический привкус экзотических фруктов после употребления жевательной резины «Риглис»... И знание это настигло меня именно по мере перелистывания страниц романа Олега Юрьева, хотя и раньше приходило в голову, что перечень тактико-технических, как говорят военспецы, характеристик подобного чтения сравнительно короток и прост.

Что нужно? Прихотливость стиля, барочное смешенье имен, языков и культур, легкая (либо тотальная) авантюренность сюжета, нити которого непременно ведут в прошлое, желательно как раз в эпоху европейского барокко, часто — в пространство Центральной Европы, где и до сих пор ощущается вавилонское столпотворение легенд и легендарных же персонажей: от мутьянского воеводы Дракулы до Эндрю Уорхола, тоже выходца из этих мест, носившего почти гоголевское имя Андрий Вархола. Чего еще недостает в этом вареве? Детективной остроты, примеси восточной магии (иногда тесно увязанной с современной политикой) и, главное, мотива таинственной книги, «текста в тексте», как говаривали тридцать лет назад мэтры литературоведения.

В приговлении беспроигрышных литделикатесов преуспели многие и многие, из сравнительно недавних примеров упомяну роман «Перверзия» яркого прозаика с Запада Украины Юрия Андруховича¹. И вот вам — пожалуйста: старый клон стучит в стекло!

Питерский литератор Олег Юрьев, ныне проживающий в Германии, напечатал в «Урале» роман с приличествующим, пардон за выраженье, *дискурсу андерграунд-*

¹ См. рецензию Инны Булкиной на этот роман в № 10 «Нового мира» за 2002 год. (Примеч. ред.)

ного мейнстрима интригующе заверченным двойным заглавием. Ну и?.. — раздраженно и с нажимом промолвит читатель, утомленный ожиданием ответа на неукоснительный для любой рецензии вопрос: «про что?». Э, батенька, вы слишком прямолинейны, ведь дать представление о содержании и стиле романа можно по-разному — например, надевши маску его сочинителя. Да-да, вы не ошиблись, именно это я и хотел сказать: стараюсь изъясняться столь же многоречиво, как юрьевский герой-рассказчик, «простой петербургский хазарин Юлик Гольдштейн», который пишет пьесы, идущие кое-где в Европе и Азии. Писатель, значит... Нет, больше про него покамест ни слова, держите карман... Бесконечные путаные отступления — мой литературный прием: лучше уж замедлить темп приближения к «заключениям и выводам», удариться еще в парочку сопутствующих историй, прежде чем выговорить в трех фразах всю фабулу романа — ведь тогда уж и писать будет вовсе не о чем. Вот-вот, и «роман в пяти сатирах» точно так же перенасыщен изысканными полунамеками и таинственными поворотами сюжета. Главное, коллеги, не путать Гиршовича с Юзефовичем, а также Георгия Адамовича с Лазарем Кагановичем, иначе слишком скоро сказка скажется.

Так вот, в середине восьмидесятых годов, кажется, две соседних экзотических африканских страны — Берег Слоновой Кости и Верхняя Вольта — вдруг стали называться еще более загадочно — соответственно Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо. Тогда же и родился сам собою калькированный советский лозунг: «Да здравствует Кот-д'Ивуарско — Буркина-Фасойская дружба!» Эта чеканная формула как нельзя лучше подошла бы для мест и времен, описанных в романе Юрьева, который (роман) начинается знаменательными словами: «Молчаливый чех с немецкой фамилией пригласил меня на еврейское кладбище». Здесь речь идет о Праге, а вообще-то основные события романа происходят в начале девяностых, в местности Эрцгебирге на границе бывшей (а затем надвое распавшейся) Чехословакии и обеих (для родившихся поздно и счастливо напоминаю — ГДР и ФРГ) Германий, ныне, наоб от, слившихся воедино. Местечко соответственно носит два параллельных названия: Юденшлюхт — Жидовска Ужлабина. И правят этим заковыристым местом два бургомистра — «юденшлюхтский д-р Хайнц-Йорген Вондрачек» и «жидовско-ужлабинский пан Индржих Вернер». Это — объясняю — не случайно, что чех носит немецкое имя, а немец — чешское, это чтоб выглядело позабористей. Ну, ясное дело — может ли в мировом-то бестселлере-бис ходить в героях какой-нибудь, Господи прости, синцов-серпилин? Не-е-ет, конечно, герои нашего времени тут иные — оказавшиеся в Шлюхте-Ужлабине двойники: «хазарин» Юлик, выбривший в поезде ноги и (напялив наспех купленную юбку) сошедший за литературную даму по имени July Goldstein, а также срочно сменившая пол на мужской «Джулиен Голдстин, из Цинциннати, гость Института Центральной Европы и Африки» (так!).

Оба занесены в Рудные горы не ветром приключений, но прибыли с целью академической. «Наш» паломник, например, в недалеком прошлом атаковал нюрнбергский стипендионный фонд «Kulturbunker e.V.» убедительной просьбой о выделении гранта для написания «исторического романа-исследования о деятельности особой группы СС „Бумеранг“ по разработке секретного оружия на основе големических преданий». В фонде, свято блюдушем политкорректные заповеди, была в наличии лишь стипендия для литератора-женщины, оттого и пришлось Юлику спешно брить ноги. А прикинувшись к тому же *немой* дамой, он вызвал у фондового клерка бурный приступ восторга: оказывается, не только феминистская квота наделенных грантами соискателей срочно нуждалась в пополнении, но и задание «по инвалидам» «Культурбункер» тоже никак не мог выполнить...

Литератор из Северной Пальмиры отправляется в Европу, чтобы переждать там неурядицы, воцарившиеся в родной «Скифопарфии» — так назван рушимый союз братских социалистических республик. Вообще-то Юлик-Юлия намеревался писать роман «Война стариков и детей» — о некоем хазарском племени, попавшем «в двенадцатом или тринадцатом веке через Венгрию в богемские горы». Однако, чисто сердечно признается «хазарин», «опытные *грантососы*... сказали мне как один человек, что на Западе под такие сюжеты стипендий отнюдь не дают, вот если бы что-нибудь такое, крутое, ну ты понимаешь... И поделали в сыром московском воздухе пальцами, точно вкручивали и выкручивали электролампочку».

Дальше — понятно: писатель-трансвестит все равно думает только о своем заветном романе про мадьярских хазар, каковым произведением словесности — как должен *не сразу* догадаться читатель — и является лежащая перед ним книга. Предания о попытках гитлеровцев вновь оживить и использовать в военных целях изготовленного рабби Лёвом глиняного человека по имени Голем на первых порах интересуют счастливого обладателя стипендии «Культурбункера» весьма умеренно. Однако постепенно выясняется, что его двойник из Цинциннати занят именно этой темой, причем то и дело на полшага опережает конкурента — в том числе в Петербурге и Нью-Йорке, куда оба поочередно приезжают по следам Голема, якобы сперва вывезенного из Германии советскими спецслужбами, а потом — из СССР американскими. Все это, в общем-то, не играет никакой роли, загадки в романе загаданы таким образом, что у них и не может быть разгадок, иначе выяснилось бы, что тщательно и прихотливо выстроенное здание — всего лишь карточный домик. Изобретателен рассказчик, говорлив и непрост: добросовестно веселит он собеседника на каждом шагу. Непременно сообщит, например, что использует для защиты от шума «беруши бытовые обоюсторонние, пр-во кооператива „Филармония“, Ленинград, 1987». Или — что курс «Modern Jewish history» читает профессор Бенджамин *Джихад* (курсив мой. — Д. Б.).

Все так — и, однако, непонятная грусть тайно тревожит меня. Ну, подтверждается почти наверняка, что цинциннатский Голдстин — истинный двойник ленинградского Гольдштейна, и ... ? Уж не затем ли питерский драматург раздвоился и стал дважды гермафродитом, чтобы сразу две стипендии ухватить?

Но подойдем с другого конца.

Всякий эзотерический текст порождает смысл не внутри самого себя, не от одного фрагмента к другому, но означает нечто целиком, нерасчлененно, разом. Непонятно? Заклинание «крибле-крабле-бум» бесполезно разлагать на смысловые элементы, можно только предполагать, в чем его значение для реальности, разгадывать умысел чародея.

Умысел Юрьева прост и содержателен: воссоздать стремительно промелькнувшую и теперь уже бесповоротно ставшую историей эпоху начала девяностых. В эти годы время не шло, а несло, и после всех путей вдруг оказалось, что мы снова живем не в минуты роковые, когда в мгновение ока меняется вокруг абсолютно все, а во времена относительно спокойные, вынашивающие (по Томасу Манну) перемены в медленном и тягучем темпе хода часовой стрелки — обычному глазу почти незаметном. Кто сейчас помнит, что волна послепутчевых переименований была настолько бессмысленной и беспощадной, что несколько станций московского метро успели за пару недель *дважды* сменить названия, что нынешние «Чистые пруды» возникли не сразу после «Кировской», а был еще промежуточный вариант «Мясницкая» и даже таблички были изготовлены и развешаны? И «Калининская» была поначалу переименована в «Воздвиженку», а уж потом появился привычный сегодня «Александровский сад».

В эти несколько лет (особенно с девяностого по девяносто четвертый) были разрушены все годами формировавшиеся социальные иерархии, исчезли ориентиры общественного престижа, контуры профессиональных, возрастных и иных корпораций.

Юрьев, отдадим ему справедливость, мастерски воссоздает приметы этого второпях перелицованного мира, его противоречия и неурядицы. Плохо ли, что молодые люди смогли в двадцать пять лет стать владельцами «гигантов советской металлургии»? Вовсе нет, однако ж честными путями этого трудно было достигнуть, да и квота на подростков-беспризорников сильно повысилась. Так ли, иначе ли — помните, какими глазами тогда взирали родители на своих в одночасье повзрослевших детей?

Столь же кардинальные изменения претерпело и сословие академических ученых. В прежнее время все было ясно: удалось попасть в ИМЛИ-ИРЛИ и дальше — можно было либо светилом становиться, либо баклуши бить десятилетиями, — статус сотрудника ведущего академического института шел на полшага впереди научных достижений. И вдруг — гранты, возможность хотя бы частично не зависеть не только от парторганизации, но даже от «научного» начальства, целевой тематики сектора или лаборатории... Снова шок. Хотя и тут обратная сторона улучшений высветилась немедленно. Многие гуманитарии, впервые пересекавшие океан,

чтобы принять участие в конференциях тамошних славистов, были потрясены конъюнктурной монотонностью тем читавшихся докладов. Львиная доля — про кровосмешение, гендерные проблемы да гинекологию, шла ли речь о Генри Миллере или о Тургенева. Даже особый фольклор по этому поводу объявился².

Тогда-то и возникла целая армия искателей научных приключений, годами перебивавшихся с гранта на грант и предлагавших в заявках беспроигрышные с точки зрения фондовой конъюнктуры темы исследований.

В финале романа Юрьева упоминается очередная заявка, предполагающая «сбор материалов к историческому роману „Охотники за крайней плотью” о еврейских индейцах, живших в XVII в. на территории Нового Амстердама, и о их вожде, лже-мессии Мордехае Эспиноза, голландском купце из португальских марранов».

Все это очень смешно, но для романа не спасительно.

Читатель ждет уж «Имя розы», много лет ждет, однако чем вернее получает сделанное по всем рецептам мирового бестселлера криминальное чтиво, тем более кажется оно вторичным, неестественным, запоздалым. Для 2002 года — очень несвоевременная книга...

Дмитрий БАК.

*

«ВСТРЕЧЬ ВЕТРА ЖГУЧЕГО...»

Ирина Василькова. Поверх лесов и вод. Стихи разных лет. М., «ЭРА», 2001, 64 стр.

Ирина Василькова. Белым по белому. М., 2002, 76 стр.

Ирина Василькова. О первородстве. — «Вышгород», Таллинн, 2002, № 3 — 4.

Ирина Василькова. Темный аквалагист. — «Знамя», 2002, № 9.

«Ирина Василькова» — зазвучало в литинститутской молве начала 80-х как имя талантливой студентки из семинара Евгения Винокурова, но затем лишь изредка появлялось в печати стихотворными подборками. Первые две книги стихотворений Василькова выпустила уже в новом тысячелетии, представ ярким, сложившимся поэтом.

Вычитывая из текстов Ирины Васильковой биографию ее лирической, как говорили раньше, героини, я поняла, несмотря на сдержанность автора в поверении читателю перипетий собственной жизни, что это человек, судьба которого состоялась и помимо писания стихов. О родовых корнях («моя бабушка была крестьянкой»), о профессии (название одного из стихотворений — «Осенние размышления о русской душе, написанные вечером в холодной учительской»), о сыне, о счастливой и о несбывшейся любви написаны эти стихи. И с иронией, без обиды — о позднем своем обретении литературного имени: «Просроченным поэтессам / живется плохо — / перебродил кураж, заиндевила звезда».

² Дроля мне шепнул, что я
сексуально развита.
Не прошу ж я ни черта
ентова харрасмента!

Мне батяня рассказал,
что я грациозная.
Ох ты жисть, ты моя жисть
вся инцестуозная!

Меня мамка назвала
семейною обузою.
Так и есть, не избегаю
подлого эбьюза я!

Говорит, я слабый пол,
смотрит с укоризною.
Ой, подруженьки, помру
от ево сексизму я!

Меня дроля обозвал
чукчею, поверите?
Пострадала ж тут моя
нейшенел идентити.

— Пшел ты, черный мой бой-френд,
говоря лирически!
— Я те дам — не соблюдать
корректность политическу!

На гулянку не зовет —
не мила осанкою.
Ну, подружки, ничаво —
стану лесбиянкою!

Художественный дар Васильковой преображает и празднично расцветчивает даже подробности тоскливо-привычной нашей жизни. В ее стихах есть такие редкие ныне восхищение жизнью и творческий азарт:

Этот праздничный сад, / этот солнечный плод абрикоса,
этот пристальный взгляд / на дорогу, лежащую косо,
словно тень от луча, / эта берега кромка литая,
где волна, грохоча, / в одичалые гроты влетает!

Переполнены дни, / и глаза от восторга устали,
и куда ни взгляни — / все детали, детали, детали
восхищают, спелят, / подчиняясь команде заочной,
наугад, невпопад, / а точнее механики точной, —

упоение материнством:

Морю навстречу глаза открывает дитя,
влагу вдыхает и соль, оставаясь на месте.
Сядем, обнимемся — и полетим очертя
голову — весело, быстро, а главное, вместе! —

поэтические свидетельства о переживаемых минутах дружеского и семейного душевного единения: «Исполнено смысла и веса / короткое слово „семья“. / Идем по осеннему лесу — / Мой муж, мой ребенок и я», но и о всегдашней одинокости поэта, внутренней отъединенности даже и от своих родных: «Вот сын. Вот отец. Все понятно. / А эта, чужая, при чем?»

В то время как многое из написанного отмечено победительным звучанием, стихам присуща и достоверная обращенность к горестной действительности:

Из ночных глубин рыбаку не поднять сетей,
точно тянут вниз миллионы чужих смертей.
И с любой из них заодно умирать должна
я — солдатская мать, невеста, сестра, жена.

Стихи Ирины Васильковой — экспрессивные, точно воплощающие зрительный, сенсорный и физиологический опыт и впрямую, и в метафоре («То ли скрип колыбельный так мерен, что хочется спать, / то ли смысл затерялся в трехсложном кружении бальном, / то ли жизни телега взаправду хромает опять, / и противно мутит на подскоке ее вертикальном»), — принадлежа современности, естественно связаны с традиционной русской поэзией, с тем, что знакомо и любимо, и что, несмотря на ревизию представлений, произведенную литераторами последнего времени, живет в сознании и подсознании человека русской культуры как незыблемая архетипическая матрица.

Провозглашая свое поэтическое кредо: «Наследницей классических традиций / Мне никогда не ощутить себя», — в этом же стихотворении говорит поэтесса о том, что всегда было нравственным основанием великой отечественной литературы:

Мне горький стыд навеки завещали
Глубинные мои учителя.

Кто же они, эти «глубинные учителя» Ирины Васильковой, чьим влиянием освещено ее творчество?

В гармонической устремленности поэтесса, несомненно, наследует русской классике и акмеизму, как и в попытке обдумать судьбу своей страны и место ее среди других наций:

...Сумрачное племя,
жужжим не в лад ни с этими, ни с теми
и знаем — мы не запад, не восток,
мы — север!

Остроумно, с подлинным блеском приводит она блоковскую тему к «ландшафт-ной» концепции Льва Николаевича Гумилева:

Встречь ветра жгучего стоящие на страже
невозмутимости, окутавшей умы, —
мы часть безмолвия, мы длительность пейзажа
заснеженного, дым печной и даже
дочеловеческий какой-то отблеск тьмы.

«Легучество» и полногласием строки, артикуляционной насыщенностью Василькова ориентирована на поэтов пушкинской плеяды; а пытаюсь в поэтическом размышлении коснуться онтологических идей, она — с Тютчевым:

И тот из нас блаженной, кто постиг
сокрытый смысл гармонии великой —
не тысячу оттенков, граней, ликов,
а вечность, отразившуюся в них.

Свежестью мироощущения Василькова в родстве с Пастернаком, если тем не менее помнить, что на него оказал непосредственное воздействие Языков:

А осень яблоком крутым и теплым спела,
пока в ней жизнь на сто ладов цвела и пела
и отзывалась на мою любовь.

Надо сказать также, в некоторых стихах поэтессы — пьесах, написанных после Бродского, есть явный отзвук его неподражаемой скептической тональности:

Лихорадка жизни, ты сводишь меня с ума!
И не то чтобы без толку, а все-таки мимо смысла,
едва светящегося, насколько позволит тьма,
пролетаю. Меня донимают числа,
буквы, заумный бред, лексическая шелуха,
благообразие формул, истерика, виртуальные сети.

В поле современной литературы Василькова — автор из числа тех, кто пытается вернуть художественному слову его эстетическую действенность, для чего использует она средства одической и романтической поэзии, хотя принципиально и отказывается от романтизма как мировосприятия, в пределах собственных текстов преодолевая пафос и порою демонстративно сталкивая в соседстве велеречивые стихотворные периоды с ироническими пассажами, а в свой богатейший словарь вбивая современные жаргонные выражения или жесткие научные термины.

Черпая из многих источников, Василькова радует внимающего ей разветвлением синтаксических построений, разнообразием ритмов с использованием классических размеров и сломом их, когда путем пропуска метрических ударений ускоряется движение стиха, вариациями рифмовки, щедрой звуковой организацией текста, — хотя кому-то поэтика ее может показаться избыточной.

Иногда впечатлению вредит стремление автора все до конца в стихах растолковать. Так, в прекрасном стихотворении о Крыме «Когда моя юность слонялась подростком дебильным...», где говорится о вине перед крымскими татарами и караимами, которая отнимает у героини право на счастье любви:

Муллы и воители и караимские девы!
Какая банальная рифма — но все-таки где вы?
Чьи жесткие пальцы безжалостно сжались на горле,
Вас выдрали с корнем, развеяли, вымели, стерли:
Из люльки, из брачной постели, со смертного ложа... —

после выразительнейших строк:

Я эти останки за жизнь и любовь принимаю,
справляюсь с возвышенным слогом, а не понимаю,
что строки мои не моим откровением жарки —
они лишь подарок какой-нибудь старой татарки,
а все для того, чтоб она из иного предела
моими глазами на край свой несчастный глядела!

повторно появляются слова о «зверушке дебильной» (явный перебор), а прямое заявление о невозможности прощения неподобающе легковесно.

Василькова — самозабвенный строитель текста, мастер описывать экзотические предметы и состояния:

Если в стеклянный шарик¹ глядишься долго,
Опрокидываясь в глубину и меняясь в лице, —
Там плавает размагниченная иголка
С Кошечевой смертью, мерцающей на конце.

Но она умеет и обычное увидеть как новое резким своим художественным взглядом: «а в стеклянной банке живая дрожит звезда» — и бунтарски разбить устоявшиеся смысловые и образные представления, как, например, в стихотворении «Не отогреться на звездных, на резких ветрах...», где поэт, обращаясь к Всевышнему, на свои вопрошания не получив «ни звука, ни знака в ответ», оставленный Богом, говорит так о небесном своде, символическом вместилище Божества:

...звездное небо, как черный дырявый платок,
наспех наброшенный на соловьиную клетку.

Хотя у Васильковой формальные поиски, как правило, органичны, слишком дерзкие эксперименты в таком же роде представляются мне опасными с точки зрения затемнения смысла, и, на мой взгляд, версификационный азарт может грозить появлением невнятицы, когда установка на эмоциональное внушение преобладает над логикой текста.

Так, пространность метафоры в антимилицаристском стихотворении «В полдневный жар в долине Дагестана...» приводит, мне кажется, к искажению исходной идеи и смысловому сбою: «мой смрадный страх... дивясь уступкам матерей, / все матерел и, головой вертя, / — жрал мимо пролетающие пули, / как маленьких птенцов бритоголовых, / пока еще не выросших в солдат». По моему представлению, если здесь подразумевается готовность матери защищать сына от гибели — вплоть до физического поглощения смертоносного свинцового града войны, — то сильная гипербола не работает на исполнение заявленного замысла.

Надежда Яковлевна Мандельштам, читая стихи современных авторов, указывала на иные строки: «А это — эффекты». При таком, как у Васильковой, даре стихосложения может возникнуть автоматизм письма, искус говорить ради красот самой речи.

Смерть, голубая девочка, что ты шляешься перед нами,
не таясь, выглядываешь, попадаешься на глаза?
Твоя туника вышита рунными письменами,
шуршит в ее складках высохшая стрекоза.

Героиня Пикассо, твоя грация угловатая
кого хочешь растрогает, античность уже не в счет...

Это кажется мне отказом автора от своей индивидуальности. И тогда, вопреки ставшей для меня уже узнаваемой горячей васильковской интонации, строки несут отпечаток холодноватой рациональности на тех местах, где обычно голос Васильковой никогда не равнодушен:

...А пока я тут разговаривала, вчера погиб у соседа
единственный сын, мальчишка семнадцати лет.

Среди написанного в последнее время есть у Ирины Васильковой стихи большой простоты и прозрачности, я думаю, на сегодняшний день — вершинные ее творения, где преодолена тайная цензура нынешнего вкусового диктата, который, сложившись в конце двадцатого столетия, декларативно пытался вообще отменить исповедальную лирику:

¹ Аллюзия на книгу стихов Ирины Ермаковой с таким названием.

Разве я умею плакать?
 Это кровь во мне стучит.
 Жизни розовая мякоть
 Перезрела и горчит.
 Начиналось райской кушей —
 но изношены давно
 полдень жгущий, мак цветущий,
 золотое полотно.
 Оброни меня, Господь,
 в пустоту меж временами,
 где сухими семенами
 веет маковая плоть.

И это, по-видимому, ее главный путь — путь самопостижения, откровенного высказывания и религиозного упования.

Ольга ПОСТНИКОВА.

*

КРАБ, КОТОРЫЙ ПЯТИТСЯ

Гюнтер Грасс. Траектория краба. Новелла. Перевод с немецкого В. Хлебникова. — «Иностранная литература», 2002, № 10.

Вышедший в начале 2002 года роман (или новелла, как настаивает автор) «Траектория краба» стал общегерманским и, похоже, общеевропейским событием. В первую же неделю в Германии было продано полмиллиона экземпляров. Русский перевод появился уже в октябре.

Причина отнюдь не в художественном уровне романа (он достаточно скромн), все дело в его проблематике, в изображаемом здесь конфликте поколений — «сегодняшние», «вчерашние» и «завтрашние» немцы, заново определяющие свое отношение к собственной истории. Историческим событием, которое разделило героев романа, стала трагедия немецкого судна «Вильгельм Густлофф», потопленного 30 января 1945 года советской подлодкой. Судно шло из Данцига и имело на борту около 10 тысяч человек, беженцев, уходивших от советских войск. Спасти удалось чуть больше тысячи человек. Остальные — сколько их, историки не могут установить до сих пор — погибли. Основную часть погибших составляли женщины, дети, старики. По количеству жертв это самая страшная морская катастрофа в мировой истории.

Трагичность этих событий оттеняется в романе еще и многолетним запретом на тему, в ГДР — по причинам идеологическим, в ФРГ — этическим (мешал комплекс вины). И вот к трагедии «Густлоффа» обратился один из самых авторитетных писателей Германии, нобелевский лауреат Гюнтер Грасс, поставивший эту трагедию в контекст сегодняшней общественной и идеологической жизни.

Выстроен роман сложно. В первой же его фразе автор разводит себя («Другой», «Старик») с повествователем. «Другой» (Грасс) курирует историческое исследование и соответственно изображение идеологической атмосферы Германии конца 90-х, за которое берется герой-повествователь. Читатель может относиться к последнему как alter ego писателя, но только — до известной степени. И не всегда можно определить, до какой. Вот эта усложненность конструкции предопределяет в романе не только его стилистику, но в конечном счете и идеологическую двусмысленность.

В герои романа выбран подчеркнуто «типичный» представитель послевоенного поколения немецких интеллектуалов, определявших общественную жизнь Германии в последние десятилетия. Биография почти знаковая. Родился в 1945 году, в тот самый роковой день и в том самом месте — 30 января, во время катастрофы «Вильгельма Густлоффа», пассажиркой которого была его, тогда еще совсем молоденькая, мать. И соответственно вся последующая жизнь героя — история послевоенной Германии: детство-отрочество провел в ГДР с матерью, шестнадцатилетним юношей сбежал в ФРГ — выбрал свободу. И похоже, что внутренней опорой

всей его дальнейшей жизни стало самоощущение подлинно свободного человека. Свободного от всего. Мать пытается подвигнуть его на описание гибели «Густлоффа» — он уклоняется. Сотрудничая с разными изданиями, и левыми, и правыми («я... был шустрым писакой»), к тому, что пишет, относится, скажем так, легко. Не позволяет «закабалить» себя женщине — несколько интрижек, кратковременная семейная жизнь, развод, и он снова — свободный человек. Рождение сына воспринимает очередной угрозой своей свободе, и сын воспитывается сначала бывшей женой, а потом — матерью героя. Его понимание свободы включает как необходимейший элемент — легкий цинизм, отказ относиться к чему-либо слишком серьезно. За исследование гибели «Вильгельма Густлоффа» он берется как бы против собственной воли, по настоянию «Другого».

Романный сюжет строится на том, что, собирая материал для книги, герой обнаруживает в Интернете неонацистский сайт, посвященный гибели корабля. Герой морщится, читая помещенные здесь материалы, ему претит тенденциозность в подборе фактов, его воротит от примитивности языка, от натяжек и упрощений. Сам-то он пытается описать трагедию «без гнева и пристрастия». Заочное противостояние двух исследователей неожиданно становится очным — герой угадывает в авторе сайта своего сына. Герой потрясен. Он стремится поговорить с сыном. Но сын избегает контактов с отцом. Сын, похоже, презирает отца, который постоянно пытался укрыться от жизни в иронию, который пишет о страшном и серьезном, боясь быть серьезным. Сын в отличие от отца серезен и истов. Сын отдается нацистской идее целиком — в финале романа он убивает своего сверстника, немецкого юношу-юдофила. Убивает по идеологическим соображениям. В заключающих роман абзацах сообщается, что в Интернете появился еще один нацистский сайт, посвященный уже сыну героя. Последняя фраза романа — сокрушенный вздох героя: «Никогда этому не будет конца. Никогда».

Повествование как бы изначально рассчитано на разные уровни восприятия. Во-первых, для всех немцев это пусть запоздалое, но — поминание памяти погибших, своеобразный общегерманский мемориал. А во-вторых, особо продвинутые могут читать «Траекторию краба» еще и как роман-обвинение — обвинение целому поколению немецких интеллектуалов, не выполнивших, по мнению автора, своей исторической миссии, не сумевших в полной мере осмыслить свое прошлое. А могут и — как роман-покаяние, в данном случае покаяние за многолетнее игнорирование части своей истории, что стало в конце концов подарком для неонацистов (правда, здесь мешает игра с двумя авторами — если автор-повествователь еще готов каяться, то «Другой», его «Работодатель», выбирает позу скорее обвинителя, чем кающегося).

В качестве мемориала роман производит достаточно сильное впечатление — привлечен и обработан значительный материал, созданная картина передает трагизм и масштабность катастрофы. Что же касается обвинения и покаяния, с этим сложнее. Мешает уровень авторского — уже самого Грасса, а не только его героя — осмысления трагедии.

Совмещая (на мой взгляд, достаточно органично) поэтику хроникально-документального повествования и поэтику идеологического романа, Грасс-художник настаивает и на некоем символическом прочтении образов романа. Автор-повествователь, родившийся в момент и на месте гибели судна, должен, видимо, восприниматься как сын Немецкой Трагедии, слишком поздно признающий свое сыновство и потому проигрывающий. Ну а соответственно центральный образ романа — трагическая судьба «Вильгельма Густлоффа» — дается как чуть ли не метафора трагедии Германии. Если это так, то метафора получилась хоть и емкая, но предельно двусмысленная.

Описывая детей, тонущих в ледяной воде, девушек, разорванных взрывом второй торпеды, писатель рассчитывает на непосредственную реакцию читателя. И я, например, не вижу ничего противоестественного для себя, русского, в сопереживании с автором. Чисто читательское мое расхождение с Грассом возникает дальше, когда он начинает эту трагедию осмысливать. В отличие от автора, ужасаясь гибели десяти тысяч людей, я держу в голове еще и сожженную Белоруссию или, скажем, гибель четырех миллионов, уничтоженных фашистами только в одном Освен-

циме, уничтоженных деловито, буднично, почти спокойно. Повествователь от этого контекста уходит, точнее, он как бы играет со мной в некую игру: мы с тобой, читатель, и так все это помним, зачем лишний раз повторять прописные истины; я-то сейчас — о трагедии немцев. Да, разумеется, война — это еще и трагедия. У меня язык не повернется сказать о детях, которые умирали в ледяной воде, что «так им и надо». Боже упаси! Но я не могу не помнить, что вина в смерти этих детей лежит еще и на их отцах.

Можно, конечно, поразмышлять сегодня над тем, что было бы, если б... Ну, скажем, если бы Гитлер задержался с началом войны лет на пять и войну в сорок третьем или сорок четвертом начал Сталин (почему нет? — была же финская война, был же совместный с Гитлером передел Европы). Но для истории важно только то, что было, а не то, что могло быть. Нам никуда не уйти от факта, что границы сопредельных государств перешли именно немецкие войска. И уже этим актом взяли на себя полноту ответственности за все последующее. Вот обстоятельство, которое всегда признавалось современным немецким обществом и которое игнорируется сегодня неонацистами. Герой Грасса как бы полемизирует с нацистами. Однако, пытаясь разобраться в смысловом наполнении грассовского символа Страдающей Германии, я обнаруживаю, что писатель пытается перерешить вопрос: «Страдающей от кого?» Иронически-брезгливая интонация, с которой повествуется о немецких нацистах, не может перевесить в романе жесткость и однозначность, с какой выстраивается, например, образ Александра Маринеско, командира той самой подводной лодки, что потопила «Вильгельма Густлоффа». Герой протестует против однозначности определения «лодка-убийца», которым пользуется его сын. Но и в его изложении подлодка предстает именно как «лодка-убийца». Каждое появление Маринеско в тексте повествователь сопровождает упоминаниями о том, что подводник был пьяница и бабник. Загулы его сильно раздражали начальство. И соответственно, чтобы не пойти под трибунал, Маринеско должен был стараться особенно. А тут как раз подвернулся «Вильгельм Густлофф». То есть мотивы действий Маринеско представлены в романе как мотивы сугубо личные, более того — шкурные. И вот здесь трудно понять, в чем, собственно, отец расходится с сыном-нацистом. По сути, они оба отказываются помнить, что шла ВОЙНА и что если бы «Густлоффа» встретила другая советская подлодка, с другим командиром, трезвенником и женоненавистником, произошло бы то же самое. Правда, писателю тогда труднее было бы выстраивать в романе лобовой контраст немецких девушек, разорванных взрывом второй торпеды, или тонущих в ледяной воде детишек и советского алкаша-распутника.

Тот уровень осмысления исторической трагедии Германии, который демонстрирует в романе Грасс, возвращает его — хочет он этого или нет — все в те же символические ряды, неприятие которых декларируется героем. Вот, скажем, ситуация с названием погибшего судна. Туристический лайнер «Вильгельм Густлофф» уже изначально, то есть в момент, когда он сходил со стапелей, должен был стать неким общегерманским символом. Судно назвали именем нациста-«мученика», партийного функционера, ничем особо не выделившегося, кроме того обстоятельства, что он был убит. Убит — и это принципиально важно здесь — евреем. Именно поэтому судно, которому первоначально предназначали имя Гитлера, стало «Вильгельмом Густлоффом», то есть символом страдающей от еврея и противостоящей еврею Германии. Грасс как бы намеревается заменить нацистскую символику общенациональной, сделать имя судна символом гибнущих в 1945 году немцев. Обратившись к фигуре реального Густлоффа, писатель пытается развеять нацистский миф о «мученике» — нацист изображается как личность предельно ordinaria. Параллельно в романе воссоздается и образ Давида Франкфуртера, студента-медика, стрелявшего в 1936 году в Густлоффа, а затем отправившегося в полицию с заявлением, что стрелял он, протестуя против преследований евреев в нацистской Германии. Франкфуртер, по мнению автора, тоже личность достаточно заурядная — в повествовании особо подчеркиваются нелады со здоровьем (воспаление костного мозга), проблемы с учебой и т. д. Ну и вообще, небрежно замечает автор, «возомнил себя героем, который жертвует собой, чтобы дать своему народу пример мужественного сопротивления. Может, то убийство изменило для евреев что-нибудь к лучшему? Наоборот! Террор был узаконен. А через два

с половиной года, когда еврей Гершель Грюншпан застрелил в Париже дипломата Эрнста фон Рата, ответом на это стала Хрустальная ночь¹. Ну и чем логика этого пассажа отличается от логики сына-нациста? Разве только жеманной позой «беспристрастности»: «...мне чужд, у меня вызывает недоумение любой человек, который упорно преследует одну-единственную цель...»

Не раз и не два, вспоминая об обстоятельствах своего рождения, герой восклицает: да, я не хочу помнить об этом, не хочу разбираться в этом. Тональность этих восклицаний как бы подразумевает отказ от наследия *их* (предыдущего поколения) нацистской идеологии. Но вот ему самому пришлось погрузиться в прошлое, и оказалось, что и сам он не вполне свободен от идеологии тех, с кем вроде полемизирует.

А жаль — в романе был обозначен очень перспективный, на мой взгляд, ход мысли. Он связан с образом матери героя, занимающим в системе символов романа одно из центральных мест. Писатель изображает, так сказать, типичную немку «из народа», главным событием своей жизни считающей войну, точнее — гибель «Густлоффа». Много лет она надеялась, что сын расскажет миру о той катастрофе, и, потеряв надежду, сосредоточилась на воспитании внука. Ее жизненная цепкость, пластичность и вместе с тем несокрушимость внушают герою и его сверстникам почти страх — всю жизнь проработав на социалистическом предприятии ГДР, будучи активисткой и непоколебимой сталинисткой, мать преданно хранила память о нацисте Густлоффе, тайком носила цветы на остатки его мемориала (кстати, на этих же руинах ее внук казнит «еврея»), в ней сочеталось, не противореча друг другу, советское и нацистское. Парадокс такой цельности ставит героя в тупик. В конце романа герой уже ненавидит мать — именно она сделала внука нацистом. Черты матери герой видит в своем сыне, повесившем над письменным столом фотографии Вильгельма Густлоффа и Александра Маринеско как равно почитаемых им фигур.

Обозначенный здесь ход мысли, получи он полноценное художественное воплощение, возможно, и избавил бы Грасса от необходимости размышлять исключительно в координатах или — или: Германия — или преступник, или жертва. Совместить эти понятия, осознать «преступника» еще и как «жертву» у автора не получилось; если и есть попытки представить воодушевление немцев гитлеровской идеей как национальную трагедию именно немцев, то попытки эти выглядят слишком декларативно. И только вот эта пара — бабушка и внук — могла бы вывести разговор на принципиально другой уровень. И для бабушки (у которой усвоенные в молодости нацистские взгляды не приходят в противоречие с гэдээровским социализмом), и для ее внука Густлофф и Маринеско (каким он себе его представляет) — герои. Так же как Сталин и Гитлер — великие люди. Здесь мы сталкиваемся с ориентацией на Людей Силы (если позволить себе вольное использование терминологии Симоны Вейль²), то есть на тех, кто поставил себя *над жизнью*. С годами лобовое противостояние советских и нацистских идеологов и военных стратегов потеряло остроту, а вот то, что роднило эти идеологии, стало более явным. И для нынешнего нациста, то есть человека с комплексом государственной и национальной ущемленности, Сталин и Гитлер понятнее и роднее, чем образ Человека Жизни (человека созидания, любви, творчества, открытости другому). Отсюда исступленная, неостывающая ненависть к тому образу еврея, который создается и пестуется нацистами (и не только немецкими), как к образу «вырождения» самого дорогого для нациста — идеи чистоты нации и ее порыва к Силе. Нам никуда не деться от истории, содержащей множество свидетельств того, что любой национальной идее необходима, хотя бы гипотетически, ситуация противостояния

¹ Этот пассаж поставил в тупик многих, кто помнит, с каким состраданием описывал ранее Грасс судьбу евреев в Германии. Возможно, объяснение тут простое: прежде Грасс ощущал себя юдофилом. А разница между юдофилом и юдофобом в конечном счете снимается тем обстоятельством, что и тот и другой относятся к евреям как существам другой породы. Только один «любит» эти существа, а другой нет. Есть люди, которые кошек любят больше людей, но все же кошек они любят как кошек, а не как людей.

² Эссе Симоны Вейль «„Илиада“, или Поэма о силе» было опубликовано «Новым миром» в № 6 за 1990 год.

и — соответственно — опора на идею Силы. Это героя-«либерала» логика Грасса-художника делает выродком. Выродком в буквальном смысле слова — как выпавшим из рода. А вот мать его и сын — они плоть нации. И для внука единственным способом «вернуться в род» становится в романе служение «национальной идеи немцев», то есть нацизму.

В кругу этих понятий (к сожалению, только обозначенных автором в романе) и следовало, на мой взгляд, искать ответ на вопрос: почему произошло так, как произошло?

В названии романа — «Траектория краба» — автор воспользовался образом краба, который, для того чтобы двигаться вперед, производит движения, имитирующие возвращение назад. Мы обязаны возвращаться к своему прошлому, чтобы увидеть настоящее. Увы, движение вперед в осмыслении немецкой трагедии, продекларированное названием романа, осталось неосуществленным — автор постоянно соскальзывает с заявленного им уровня историко-философского исследования в историческую и идеологическую публицистику. На мой взгляд, в осмыслении трагедии «Вильгельма Густлоффа» «краб» Грасса остался в исходной точке. Это в лучшем случае.

Сергей КОСТЫРКО.

Продолжение разговора см. в «WWW-обзоре», помещенном в этом номере журнала.

*

ЖИЗНЬ ФИЛОСОФА

Рюдигер Сафрански. Хайдеггер. Германский мастер и его время. М., «Молодая гвардия», «Серебряные нити», 2002, 615 стр. («Жизнь замечательных людей»).

Хайдеггеровская биография Рюдигера Сафрански залетела к нам как-то вдруг. За кадром для большинства читателей остался весь европейский полемический контекст, в который была включена эта работа (она впервые вышла в Германии в 1994 году). В нашем же контексте она была сразу помещена на более чем определенное место — эта первая вышедшая на русском языке биография Мартина Хайдеггера попала в серию «ЖЗЛ». И авторский текст оказался трогательно обрамлен примечаниями, рассчитанными на совсем уж неосведомленного читателя, — разъяснениями, кто такой Гёльдерлин (нем. поэт, автор лирического романа «Гиперион»...), Гуссерль (австрийский философ, математик... работал в Германии...) или Файхингер (нем. философ-идеалист...).

Надо сказать, что в каком-то смысле эта книга действительно попала в привычный канон жэзэловских изданий. Биография «героя» здесь выступает рельефом на фоне значительно более широкой панорамы событий времени. Мысль как бы «выводится» из этого контекста. Что вызывает сомнение у автора предисловия к книге — Владимира Библихина. Переход от непосредственного жизненного опыта к основопонятиям мысли вообще, по его определению, «не относится к удачным биографическим приемам». Действительно, здесь подчас все держится на удачной метафоре. Скажем, во время Первой мировой войны Хайдеггер служил по призыву в армии, исполняя работу метеоролога и даже цензора. Ну и какие выводы следуют отсюда для мысли Хайдеггера?

Задача написания биографии философа на самом деле очень сложна, и тема эта требует специального обсуждения. Хайдеггер — мыслитель без «особой» биографии. Жизнь, размещенная в рамках академической карьеры. Разве что неординарный для ординарного профессора эпизод с Ханной Арендт — их встреча могла направить его личную жизнь по иному пути. И, конечно, нацистский ангажемент... Однако Сафрански настойчиво пытается идти по некоему пунктиру хайдеггеровских «душевных состояний», возводя их к событиям времени, событиям жизни своего персонажа и к его кругу чтения, связывая все это с «появлением» тех или иных «идей». Некоторые эпизоды выглядят совсем уж опасно близкими связ-

ками... Лето 1929 года, влюбленность в Элизабет Блохман, невнятное письмо к ней, упоминающее о совместной поездке в Бойрон и посещении церкви аббатства бенедиктинцев. Хайдеггер объяснял ей тогда свое отношение к католичеству. Здесь же, в письме, — переживание, испытанное им во время всеобщей в Бойроне: экзистенция, «выдвинутая в ночь», философия Ничто и связь ее с категорией зла, чего не было в докладе «Что такое метафизика?» того же 1929 года... «Не потому ли Хайдеггер именно в письме к Элизабет Блохман заговорил о присущем Ничто аспекте зла, что не мог не видеть в себе самом соблазнителя?» Такова догадка Сафрански. Здесь как бы устанавливается двойное движение. Реальное событие жизни признается непосредственным истоком мысли и, с другой стороны, уже отправляясь от самой мысли, утверждается необходимое «офилософствование» Хайдеггером всего, происходящего с ним. Удобная навесная конструкция. Из вязи разноплановых событий — «реальных», «психологических», «мыслительных» — и состоит текст этой попытки биографии.

Однако за этой биографией следует признать одну особенность. При ближайшем рассмотрении оказывается, что автор жизнеописания всякий раз, и, пожалуй, прежде всего, занят поиском и установлением собственной критической дистанции в отношении своего интеллектуального визави. Иногда даже кажется, что он подспудно и шаг за шагом решает одну, главную, задачу: объяснить скандальный «эпизод» хайдеггерской биографии — его личную вовлеченность если не в дело нацизма, то в нацистский миф. Так или иначе, появление книги Сафрански пришлось на середину 90-х, когда эта тема продолжала активно обсуждаться европейскими интеллектуалами.

Заметно, как биограф, достаточно подробно излагая историю близких взаимоотношений Мартина Хайдеггера и Ханны Арендт (на основании книги Эльзбеты Эттингер, получившей доступ к неопубликованному личному архиву Арендт), обнаруживает и, акцентируя, обсуждает те «черты характера» Хайдеггера, которые в конечном итоге «прольют свет» и на его идеологические амбиции. В своем первом письме к Ханне Хайдеггер «явно видит себя в образе психагога», но и позже, обращаясь к ней уже «дорогая Ханна», жестко устанавливает правила их отношений. Важнейшее и строжайшее из них — сохранение тайны. Заставлявшее Арендт испытывать мучительное ощущение собственного не-присутствия. (Кстати, Сафрански и здесь не упускает напрашивающегося перехода — к тому, что позже, в «*Vita activa*», Ханна Арендт назовет «срединным пространством мира», которое пролегает меж нами и другими, опосредованно соединяя нас с ними, но «сгорает» между любящими, особенно теми, кто принужден окружать свои отношения покровом тайны.) Она не ставит Хайдеггера перед выбором между собой и Эльфридой (женой Хайдеггера). Но тайна нужна Хайдеггеру, не ей. Он не намерен принимать ответственность за судьбу возлюбленной... И более того — что было ясно для Арендт всегда и без всяких слов, — он даже не подозревает, что мог бы у нее чему-то научиться. (Сафрански цитирует здесь известный пассаж из письма Арендт Генриху Блюхеру от 1955 года, накануне выхода ее «Истоков тоталитаризма»: «...я, в общем, готова вести себя с Хайдеггером так, будто за свою жизнь не написала и не напишу ни единой строчки. И это есть не облекаемое в слова, но неперемное условие — *conditio sine qua non* — всех наших взаимоотношений».) И еще — его реакция на рассказы ее о своих любовных историях: он желал ей счастья и назначал новое свидание, давая понять, что его высокая страсть не принадлежит миру мелких страстишек. Он выходил победителем: «...уклоняясь от нравственной обязанности самому принять ответственное решение, он .. добился того, что „судьба“ по-господски распорядилась ее, Ханны... притязаниями...» Безграничное высокомерие, в котором Сафрански увидит психологический исток хайдеггерской претензии быть глубинным идеологом нации.

«Нацистский» эпизод так или иначе растянут более чем на треть книги. Сафрански стремится вычитать у Хайдеггера малейшие намеки на его будущую политическую ангажированность. Скажем, в 1930 году Хайдеггер заявляет, что философия должна «владеть своим временем»; в лекциях 1931/32 года, посвященных чтению Платона, говорит об обязанности философа «со-участвовать в историческом действии». Хайдеггер опьянен, по словам Сафрански, картиной гигантомахии,

открывшейся ему на этот раз в сочинениях Платона, и «хочет быть вестником историко-политической и одновременно философской эпифании». Хайдеггер ждет того мига, когда политика должна будет стать философской, а философия — политической... Иначе говоря, биограф «ловит» своего героя на необузданных честолюбивых самопроектиях. Даже стиль изложения здесь становится пародийно-патетичным. По появлению этой интонации можно безошибочно определить те эпизоды, которые, с точки зрения биографа, выявляют этот самый «личностный изъян», то, что послужило пресловутой «вовлеченности». Правда, одновременно Сафрански называет «движения Хайдеггера на политической сцене» «сомнамбулическими движениями философа-мечтателя». Пожалуй, это наиболее «снисходительное» объяснение. Однако заметим, что и оно — скорее психологического свойства.

Сафрански подробно, привлекая известные документальные свидетельства (в том числе впервые опубликованные в 1987 году в вызвавшей скандал книге Виктора Фариаса «Хайдеггер и национал-социализм») и хайдеггеровские тексты 30-х годов, рассказывает всю историю поведения Хайдеггера и старается выказать себя если не обвинителем, то, во всяком случае, сурово-объективным судьей. Суммируя свои претензии, он изобличает Хайдеггера в том, что последнее, предложенное им в интервью журналу «Шпигель» в 1966 году, объяснение сотрудничества с нацистским режимом «тоже не до конца правдиво»: «...сама национал-социалистская революция, как он ее тогда понимал, представлялась ему *обновлением*... одно время он видел в таком *обновлении* событие эпохального значения... переворот бытия всего Запада. Он не сказал, что... поддался опьянению властью; что, желая защитить чистоту революции, иногда занимался доносительством; что вступил в конфликт с вышестоящими национал-социалистскими инстанциями и с собственными коллегами... именно потому, что хотел „двигать“ революцию дальше... Хайдеггер скрывал тот факт, что одно время был убежденным национал-социалистским революционером, и умалчивал о философских побуждениях, которые сделали его таким». И наконец — наиболее откровенная и жесткая характеристика биографа: «Тот, кто мыслит о великом, легко может впасть в искушение и принять самого себя за великое событие». Философ, впавший в ошибку самовеличия, — такой вердикт угадывается в книге Рюдигера Сафрански.

На самом деле спор о личности Хайдеггера, как и о «вине» Хайдеггера, мне кажется, малопродуктивен, а возможно, с нашей стороны и незачтен. Со своей виной разобраться. Поэтому я вполне сочувственно отношусь к замечанию Бибихина: «Когда мы, не отдав себя делу мира, которым он [Хайдеггер] был занят, переводим взгляд с вещей, к которым он шел, и начинаем смотреть на его личность, то мы уже не с ним». Владимир Бибихин говорит это о жизненном деле Хайдеггера, но — не о том «деле», которое рассматривала Комиссия по денацификации и которое обсуждают в СМИ и на страницах книг авторы, подхватившие общественный скандал. И все же. Хайдеггер остается академически и неакадемически признанным авторитетом в качестве мыслителя XX века. Вот и автор предисловия к биографии — Владимир Бибихин — призывает нас применить хайдеггеровскую мысль к продумыванию настоящего — *hic et nunc* после 11 сентября. Как произошло, что жизнь человечества рассталась с Бытием?.. Так формулируется вопрос. И здесь же хайдеггерское: «Только Бог еще может нас спасти». Нам надо не спешить судить, не мстить, надеяться на мудрость тайны. Эту презумпцию нам предлагается соблюсти в отношении Хайдеггера. А вот и защитительная речь: «Рано, уже к концу... 1933 года, почувствовав непоправимость срыва, Хайдеггер ушел в обдуманное молчание. В отличие от Ясперса, отвернувшегося не только от политики, но и от ее невидимой глубины, Хайдеггер связал себя долгом вынести в слово поворот исторического бытия. Благодаря в первую очередь ему и таким, как он, Германия в жуткое двенадцатилетие своего безумия осталась народом мыслителей и поэтов...». Фактически Бибихин защищает не только Хайдеггера лично, но и хайдеггеровскую мысль, вполне последовательно поддерживая великого философа в деле сохранения глубины и охранения бытийной тайны. Действительно, говорить о социальной вменяемости мысли Хайдеггера — дело тонкое, сложное и небезопасное в самых разных отношениях. Но все же по этому пути направились и Жак Деррида, и Филип Лаку-Лабарт, и Жан-Люк Нанси, и Жан-Франсуа Лиотар

(я привожу имена тех, чьи тексты сегодня доступны русскому читателю). Их критический подход далек от того, что предлагает Сафрански, позволивший себе в конечном итоге интонацию разоблачителя и обвинителя. Разве главное для нас сегодня в выяснении отношений? В изобличении или оправдании?

И все же мы не можем сбросить со счетов факт сближения высокой философской мысли XX века с нацизмом. И пусть, как скрупулезно высчитали Нанси и Лаку-Лабарт, эпизод сотрудничества с нацистским режимом длился всего десять месяцев (см.: Нанси Ж.-Л., Лаку-Лабарт Ф. *Нацистский миф*. СПб., «Владимир Даль», 2002, стр. 25), — вопрос о мысли, впавшей в эту ошибку, слишком серьезен (по словам Лаку-Лабарта, Хайдеггер оказался замешанным в политику ненадолго, но основательно), и касается он нас сегодняшних. Речь идет не о частном дурном «приключении» великого мыслителя. Это вопрос о нашем общем мыслительном опыте. Нацистский миф — его часть, и уверены ли мы в том, что опыт этот не располагается и сегодня слишком близко к нам, не составляет ли он даже часть нашего существования? Пример Хайдеггера в этой связи подлежит жесткому обдумыванию — так, как если его ошибка являлась бы нашей собственной.

Елена ОЗНОБКИНА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ОЛЕГА ПАВЛОВА

+10

Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Записки из Мертвого дома. Скверный анекдот. Записки из подполья. М., «АСТ», 2001, 640 стр.

Собственно, все давно было прочитано, кроме «Записок из Мертвого дома». Чтение — это путь в неизвестность, да его и прокладываешь как слепец. Достоевский к тому же создатель огромного художественного мира, в котором можно не то что заблудиться, а пропасть. В его основании — Россия. Странно открывать ее заново. Но это открытие происходит, как только начинаешь читать. Все им описано, Федором Михайловичем... Вот же и каторга! Не узнаешь по его романам разве что о войне и высшем свете, как будто нарочно было оставлено это для Льва Николаевича Толстого, чтобы он написал «Войну и мир». Достоевский был (после каторги) солдатом, служил, но только не случилось ему побывать на войне. А за высшим светом подглядывал в какую-то щелку, воображая своих «княгинь» да «князей» с той искренностью, с какой дети порой играют во «взрослых», представляя себя своими собственными родителями. Написанное Достоевским обладает силой влиять на судьбы людей. Он в главном заставляет своего читателя страдать и через страдание это, уже вовсе не книжное, приводит к вере, к Богу. Так он заставляет страдать и своих героев. Наверное, читая Достоевского, мы волей или неволей станем его *героями* или понимаем, что все это написано о нас. «Записки из Мертвого дома» я читал взглядом лагерного охранника... Последнее, мне еще неизвестное произведение Достоевского, оказалось, мог я вдруг прочесть почти что как свидетель. Даже через сто с лишним лет его каторга и тот лагерь, где пришлось мне служить в конце восьмидесятых годов, были поразительно схожи в деталях, которых никак уж нельзя сочинить... У нас так же охрана барыжничала, продавая

От редакции. Книжная полка Олега Павлова представляет собой некоторое отступление от утвердившегося на страницах «Нового мира» жанра. Фактически это писательский «библио-дневник» — заметки прозаика по поводу прочитанных за последнее время книг, независимо от того, когда они были написаны или изданы и получили ли они уже оценку на страницах нашего журнала. Нам показалось небезынтересным предоставить автору известной трилогии возможность такого свободного от заданных условий высказывания.

зекам на зону водку с наркотиками, как у них там торговали тайком на каторге винцом... Тот же механизм действия, выверенный и отлаженный, как часы! И ни одного сбоя за целый век! Начальство говорит одним языком, как будто аукается через века... И тот случай с собачкой начальника: понимаете ли, такое же самое, точно такое, происходило почему-то уже тысячи раз, да и будет происходить. Но «лагерная» проза Достоевского страстно убеждает своего читателя в том, в чем его, читателя, с той же страстью и болью убеждала лагерная проза всех других времен. От «Жития» Аввакума, с его земляной ямой, до «Моих показаний» Анатолия Марченко, с их описанием жизни и смерти этого, наверное, еще и не последнего в нашей истории мученика, изображается страшная картина страданий человеческих: обезображенные муками человеческие лица, а жестоким, беспощадным абсурдом происходящего — сам наш мир. А что же Федор Михайлович? Он утешает и воспитывает... Не лжет, нет, но страстно хочет разглядеть во всем этом х о р о ш е е да еще пристыдить тех, кто думал по-другому. Ему-то и было стыдно — там, на каторге. Стыдно, потому что увидел в народе, который и стал для него потом уж, без сомнения, образом *народа русского*, не каких-нибудь там «маленьких», а очень значительных и душевных людей.

«Записки из Мертвого дома» — это, пожалуй, самое назидательное произведение Достоевского. Чувствуется, что хотел воспитать этой повестью читателя; скажем, воспитать в тогдашнем читателе чувство вины перед народом, которое сам он вынес с каторги. Не потому ли пронзительны все сцены, где много людей, народные: госпиталь, Рождество на каторге и спектакль. Только здесь что-то вдруг обрывается... потому что народа этого больше нет. Нет. Лучшие типы, какие сегодня встречаются в народе, как будто сбежали с этой каторги Достоевского. Но это лучшие, а в массе средних, плохих и никудышных совсем людей за все время произошло невероятное падение: они уже как обезьяны, хуже каторжных. Современный лагерный режим заметно мягче — вот и ходят у нас-то по зонам не в кандалах, но отношения между заключенными стали бесчеловечней. И в преступлениях сегодня бросается в глаза то, что почти все они совершаются с каким-то бессмысленным садизмом. Помню, меня на зоне удивил только один мужичок-конокрад. А удивил тем, что была в нем какая-то крестьянская любовь к этим животным, то есть и крал-то их как будто из-за этой любви. Один человек с любовью в душе на несколько тысяч воров и убийц, даже не понимавших, что творят, озлобленных уже на все человечество. Из того, что называется «преступлением», как будто исчезла своя неизбежность и логика. Появилось даже понятие «немотивированное убийство»: когда совершенно непонятно, почему же человек вдруг начал убивать... Просто так, как обезьяна с бритвой: к примеру, шел по улице с топором — заходил в дома и рубил всех, кто попадался, и стариков, и детей... А помните у Достоевского, «Акушкин муж»? Непорочную мужик зарезал от невыносимости мысли, что она опороченная. Зарезал потому, что любил.

Ф. Сологуб. Собрание сочинений в 6-ти томах. М., НПК «Интелвак», 2000 — 2002.

Выход собрания сочинений — событие, но Сологуб, конечно же, обессмертил себя «Мелким бесом». По сути, роман есть один бесконечный анекдот про Передонова. Все основные события, маскарад этот, письма княгини и остальное — анекдоты. Анекдот в русской действительности — это нечто большее, почти жизнь. Или так: вместо жизни — анекдот. Неумение жить. Нехотение жить. По части разврата очень верится. Разврат в русской жизни порождается тоской. И потому этот наш разврат такой сам по себе тоскливый, бездеятельный. Людмилочка с Сашей тут даже вспыхивают на фоне этого тоскливого разврата — это все же история любви, а не разврат Передонова с Варварой. Пускай педофилическая, но любовь. Но есть за что Сашу любить, именно полуробенка: он чистое, непорочное существо. Вот парадокс — полюбишь непорочное, так изгадишь да извратишь, то есть и рождается от любви к непорочному желание всяческих извращений (таков же Свидригайлов у Достоевского).

Александр Вампилов. Избранное. Составление О. М. Вампиловой. Предисловие В. Г. Распутина. Вступительная статья В. Я. Лакшина. Примечания Т. В. Глазковой. М., «Согласие», 1999, 778 стр.

Редчайшее сочетание легкости и трагизма, жизнелюбия — и уныния. Моцарт, но только в драматургии, да и русский к тому же. Ему бы, Вампилову, быть путеводной звездой для современной русской прозы.

Михаил Булгаков, Елена Булгакова. Дневник Мастера и Маргариты. Литературные мемуары. М., «Вагриус», 2001, 544 стр.

Почти обывательский интерес к политическим событиям. Трудоголик. Полное одиночество в литературе. Проживал свое время как самое обычное. Кругом расстрелы, аресты — а его если и мучают фобии, то неврастенические: боится выходить один на улицу или толпы, открытых публичных пространств. Мало читал своих современников, если только не по работе — правил пьески и либретто, сочиненные разными графоманами. Дружил с Эрдманом. Хлопотал о квартире. Трогательно любил жену и пасынка. Ужасная смерть. Ослеп. Полный крах в профессии — все, что писал, запрещено одно за другим. А потом последний запрет — на постановку «Батума», пьесы о Сталине, — и ожидание ареста, окончившееся смертельной болезнью. Писал перенапряжением сил. Не участвовал в советской жизни — и почти целиком выпал из той эпохи. Почему-то обратил на себя внимание Сталина, как и Пастернак, даже был обласкан: один из немногих. Наверное, Сталин действительно хотел от него пьесы о себе, но чтобы он написал ее с любовью. Сталин хотел, чтобы его любили. Ему, Сталину, не хватало в жизни любви. Булгаков же вывел его в отстраненном романтическом образе да еще юношей. Не полюбил, отстранился, как бы побрезговал, — а Сталин его за это убил. Отшвырнул — и уничтожил мучительным страхом. Умер в сороковом году, но и невозможно представить, как бы он пережил войну. Был бы военкором, как Платонов? Нет, не вынес бы... Но и не смог бы, наверное, спокойно отсиживаться в тылу, оберегая полубарский писательский быт... Судьбы русских писателей — это как житие, какие б грешные ни были. Удивительно схожие если не по событиям, то по смыслу судьбы.

Интервью и беседы с Львом Толстым. Составитель В. Я. Лакшин. М., «Современник», 1987, 525 стр.

Понимаю всю неожиданность и, возможно, неуместность появления почти букенистического издания в актуальной журнальной рубрике, но дело в том, что я не могу без этой книги обойтись; как и было — долго искал, еще и не зная даже, что она существует.

Я хотел узнать, что же Толстой мог говорить свободно, то есть с голоса. Но интересны оказались эти беседы не столько его изречениями (они, в общем, однообразны, поскольку затрагивают круг одних и тех же вопросов, которые модно было Толстому в те годы задавать, — дело Бейлиса, отношение к англо-бурской войне, кайзеру Вильгельму), сколько духом своим. Удивительно видеть эту череду репортеров — такое чувство, что Россия кишит этого рода людьми, как муравьями. А что же за муравейник они громоздят — нельзя понять. Поза каждого очень смешна — «я и Толстой». В этой книге можно прочесть, вероятно, более двух десятков описаний приездов в Ясную Поляну. И снова ощущение — что сходишь с ума, как в абсурдистской пьесе: двадцать два раза описаны «башенки», двадцать два раза описан «прешпект» и прочее, и прочее. Мнение репортеров разделяется только относительно крепости физической Толстого, да так резко, точно было в природе два Толстых: по мнению одних — богатырский старик, чтолучился силой да удалой, а по мнению других — сухонький, хилый старичок. Порой кажется, что есть некто, ряженный под Толстого, — что Россия выдумала Толстого и с этой выдумкой, куклой, и беседует. Есть опереточность, особенно в сценах, где репортеры подглядывают за общением Толстого с мужиками, то бишь «с народом». В общем, все это производит впечатление ненастоящего, однако позволяет вполне осознать,

как же был настоящий Толстой в своем времени одинок. Непонятно, отчего он соглашался на свое тиражирование посредством подобных опереточных публикаций; отчего не ощущал, что его личность закруживается в этом балагане?

Вероятно все же, что это тиражирование было ему необходимо: он мог хотеть объяснить свою личность России и притом ощущал себя, что было ему приятно, одним из рядовых ее граждан... Это по сути своей сентиментальная книга, и Толстой в ней — сентиментальный герой.

Эмма Герштейн. Мемуары. М., «Захаров», 2002, 768 стр.

Читал мемуары Герштейн¹ и почувствовал: перед лицом вечности все помнят о какой-то совершенной мелочи, о чем-то суетном, что и называется «вспоминать». Притом чем больше суеты да мелочи вытряхивает из памяти мемуарист, тем ведь его мемуар бывает и ценней. Мемуары бывают низменные и высокие. В первых вспоминается, что подавали к чаю, а во вторых — что говорили за чаем, то есть исключительно мыслительный процесс. Во взгляде, скажем, на Ахматову Чуковская пишет мемуар о ней высокий, а Герштейн все же низменный. И первое, и второе одинаковую ценность имеет, чтоб воссоздать личность той же Ахматовой, но в последнем взгляде все же куда больше неминуемой жизненности. Этот вот взгляд низменный — самая святая правда. Так устроен человек — из мелочей, из повседневности. А все мелочное существование человека возвышается только упованием на вечность. И что несут в эту вечность как на духу? То самое, чем и всегда дорожили, как при крике «пожар» человек бросается спасать, порой даже жизни-то не жалея, не мысли ж свои и раздумья, а вещички. И настойчивей перед лицом вечности помнится именно мелкое, суетное, и воскрешается естественно, будто бы травой прорастая, и без всякого записывания впрок.

Мемуар — это явление сродни биноклю. Нечто, где главное — стереоэффект. Мемуар, если глядеть с общепризнанной точки зрения, есть увеличение и приближение далеких событий жизни, но в то же самое время взгляд мемуаров — это все же взгляд на мелочный, всегда близкий и даже насущно-болезненный свой мирок, а не на что-то далекое и прошлое. Стало быть, это взгляд на прошлое вовсе с другой стороны «бинокля»: со стороны преуменьшения и отдаления, преуменьшается и удаляется притом что-то близко-болезненное. Здесь не большое видится на расстоянии, а малое обретает непомерное для себя «расстояние», то есть значимость во времени.

Татьяна Егорова. Андрей Миронов и я. Любовная драма жизни в 4-х частях. М., «Захаров», 2001, 562 стр.

Написано о любимых людях цепко и сильно, а о нелюбимых зло, манерно. История отношений мужчины и женщины рассказана так, что захватывает дух и рождает уважение. Одна струна звенит во всей книге, но какая! О том, как люди любили друг друга, были родными и прочее, а в жизни вышло так, что жить им-то вместе оказалось и не дано... Андрея Миронова характер — страдальческое занудство, человек с блестящей актерской судьбой, но без личной судьбы и личного счастья. Мария Миронова в этой книге — характер столь же парадоксальный. Вообще, в этой книге стихийно выныривает Достоевский, парадоксальный герой, без «психологии», но с чувствительной психикой. Парадоксальный герой — это плод насилия, совершенного жизненными обстоятельствами над человеческой натурой и судьбой. Что плохо временами — кокетство и жеманство авторши. А когда сердцем пишет, как бы и неумно, но без притворства и желания понравиться, то сплошь все выходит неподдельным. Как это странно — где человек хочет выказать ум, тут же становится глуп. Или где женщина рассуждает сама о своей красоте или даже намекает на нее — тут же это делается пошлостью, рождая только жалость и чувство неловкости.

¹ Первое издание этих воспоминаний: Герштейн Э. Мемуары. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998. (Примеч. ред.)

Анатолий Найман. Славный конец бесславных поколений. М., «Вагриус», 2001, 416 стр.

Автору, как мне кажется, удалось написать настоящий интеллектуальный роман, вообще-то пародируя модные эпохальные жанры: эссе вложил в мемуары, а мемуары мистифицировал выдуманным героем. Близка сама интонация, и я не соглашусь, что она высокомерна или неискренна. Напротив, все, кто описан, даже подлецы, вызывали чем-то или удивление, или восхищение автора. Это важная книга. Как мостик из одной литературной эпохи в другую. Также в ней можно открыть для себя механизм будущей романистики: роман как камера-обскура, сочетание документального и выдуманного, обрамленное личным переживанием, мыслями. Что было главным в традиционном романе — у Наймана лишь обрамление, оформление. А в главное выделяется, напротив, всякое подспорье, как бы подстрочник. Вскрытие литературных приемов. Роман — как русская изба, где видно каждое бревнышко, но сложенная без единого гвоздя.

Дмитрий Бортников. Синдром Фрица. Роман. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 224 стр.

«Синдром Фрица»² — это повесть о том, что счастье, даже самое обыкновенное, которое дается с чувством ясности и покоя, оказывается достижимо лишь ценой величайших испытаний и утрат. Дано было это познать, конечно, тому человеку, который сам ходил по мукам, бедствовал, голодал... Жизнь соскабливает с человека боль и страданиями душевную подлость, притворство, чтобы он отчистился. Это подлинное в книге Бортникова — монотонной по интонации, натуралистической и одновременно несколько эстетской, похожей на многое, что уже было в литературе от Сартра до Мамлеева. Когда я уже прочитал Бортникова, узнал, что то же самое издательство намеревается выпустить в свет повесть Рубена Гальего «Белое на черном»³. В журнале «Иностранная литература» я набрел на ее публикацию, прочитал — и с тех пор не могу забыть. Написано без всякой литературщины. Эту повесть «сочинила» сама жизнь, как и судьбу человека, создавшего ее при помощи компьютера, одним действующим пальцем на левой руке. Рубен Гальего — испанец, родился в России, прошел по всем кругам интернатов, что созданы у нас для детей-инвалидов. И если жизнью что-то сочиняется, так это — боль и кровь. Ничего подобного еще не читал... В школах надо изучать именно такие книги, если уж преподают литературу, — а Тургенева и многое все же бессмысленно. Потому что и Тургенева, и Толстого ребяташки поднимают на смех во время этих уроков, находят смешное, анекдотичное. Конечно, потому что не доросли еще, однако это очень показательно. А дай прочесть такое — беспомощен окажется даже детский, самый естественный и неискоренимый цинизм. И поймут, что же такое литература, на всю жизнь свою вперед поймут, что это не анекдот. Повесть Рубена Гальего переполнена страданиями, болью, но читая — не расплачешься, не разжалобишься. Не дает она себя пожалеть, мужественно все в ней написано, даже отчасти заносчиво, хотя пишет человек о том, как его превращали в животное. Нет в ней плаксивой жалости к самому себе. Но есть человек. Его воля, так и не сломленная. Его судьба, которая тягается с роком. Подлинная трагическая проза не может выдавливать слезки, вымалывать жалость: она беспощадна, упряма и честна до последнего слова.

Книга самурая⁴. [Юдзан Дайдодзи. Будосесинсю; Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ; Юкио Мисима. Хагакурэ Ньюмон.] Перевод Р. В. Котенко, А. А. Мищенко. СПб., «Евразия», 2001, 320 стр.

«Хагакурэ» — это проповедь насилия, но вложенная в кодекс чести. В ней та высокая праведность, которая искупает содеянное зло. Самое главное в этике этой

² Куда более резкий отзыв на роман Д. Бортникова см. в «Книжной полке Никиты Елисеева» («Новый мир», 2002, № 11). (Примеч. ред.)

³ В настоящее время эта книга уже издана. См. рецензию на ее журнальную публикацию: Меньшикова Е. Заложник. — «Новый мир», 2002, № 7. (Примеч. ред.)

⁴ Та же книга включена в «Книжную полку Андрея Василевского» («Новый мир», 2002, № 10). (Примеч. ред.)

книги — неприятие в равной степени страдания и сострадания. Даже казнив себя, вспарывая живот, *самурай* не испытает мучительной агонии: его голову должны тут же отрубить. Тех, кто презирает даже мысль о возможности каких бы то ни было терзаний, принимая решение погибнуть, тоже жалеть не станут, а проявлением сострадания разве что окажется — палаческий удар мечом, прекращающий уже, однако, не жизнь, а чужую муку. Роль *кейсаку*, этого своего рода палача, навлекает позор лишь тогда, если таковой не справляется со своей работой, то есть неловким ударом продлевает мучения, а не прекращает их одним махом.

Жизнь воина принадлежит лишь его Господину. Не семье, не родителям, не Богу, не обществу — а тому, кто нанял служить. В служении Богу, или обществу, или родителям мы не отрицаем так вот до конца своей личности. Но в каком-то смысле путь воина — это самый прямой и очевидный путь превращения поступков в судьбу, то есть путь к обретению единственно возможной судьбы.

Путь к смерти — неизбежный для мужественного, решительного и, главное, благородного человека. Такое благородство противно христианской морали, но оно между тем воспитывалось, и очень жестко, — а к осознанию своей слабости, греховности, малости, покаянию приходят, естественно, те, в ком не было воспитано подобной воинственной решимости. Воспитанию поддается всякий человек, притом и воспитать в нем возможно все то, чего даже не помыслил Господь. Лучше всего люди воспитываются в соревновании, противоборстве, в неравенстве — и в стремлении к превосходству. Уже поэтому, очевидно, невозможно воспитать «добротного христианина», все воспитание Церкви в этом смысле — в прощении кающихся, отпущении грехов, то есть в действии, обратном наказанию и ковке железной, беспощадной даже к самому себе воли сильного человека. Но слабые люди, в чем они могут победить, или иначе: что с ними может в мире победить?

Сильные будут побеждать в этом мире, побеждая при этом и тех, слабых... Но не значит ли, что защитник слабых и униженных, Бог, — он тоже воин? И если воин, то по какому пути он сам-то идет? И почему верой в себя проповедует уже в нас, в людях, смирение? Потому что должен быть суд от Бога, а суд от людей — это своеволие, порождающее зло, и такой суд не вершится по справедливости. Потому что нельзя признать справедливостью лишь силу одних и слабость других, но таких же людей на этом суде не от Бога. Это не может быть справедливостью уже потому, что решение такого суда как бы всегда готово поменяться только оттого, на чьей стороне окажется больше силы, отнюдь не правды. Но, по-моему, в «Хагакурэ» все же есть попытка соединить правду и силу одним судом — карой за несправедное применение силы уже от Господина. Господин решает в конце концов судьбу своего слуги, но такой суд, его, вершится уже только по правде, то есть не в поединке, не в борьбе, а исходя из сути нравственной того или иного поступка. Для самурая его Господин — это живой бог. А *сетуку*, то есть самоубийство, или вскрытие живота, — это Ад, куда он может быть послан Господином во искупление своего позора; но при том, что избавление от позора — для него и подвиг, и счастье. И так наказание тоже превращается в прощение или в избавление от какого-то греха, но ценой жизни. Господин миловал или прощал своего слугу только тогда, когда находил в его проступке нечто оправдательное, если и не праведное. Но в тех грехах, о которых каются на исповеди в Церкви, оправдательного ничего нет и быть не может, однако же большинство из них отпускаются, прощаются... Бог должен быть милостивее людей, будучи сильнее их, чтобы вершить суд по правде. И поэтому он — истинный Господин.

«Хагакурэ» донельзя принижает женщин, даже любовь к ним, внушая, что любовь мужчины к мужчине — более высокая, как бы духовная, чистая, потому что это любовь сильного к сильному. Стремление первенствовать естественно для мужчины. И в проповеди христианской смирения не главное ли, но и скрытое — это посыл к мужчине смирения перед женщиной? Они уравниваются перед Богом в наказании так, как будто и в правах. И вот оказывается: служение Богу, а по сути, и вера — есть смирение перед женщиной и обретение в нем любви. Скрытый пафос и смысл всякого насилия — в обладании женщиной. Женщину можно взять силой или просто ею обладать — и это главное торжество силы, понимаемой как мужская и ведущей к смерти. Если бы в «Хагакурэ» допускалось, что Господином

может быть женщина, а не мужчина, то служение ей, а значит, и смирение пред ней стало бы по духу не службой, но верой. Служба — это церемония, постановка, и в ней что-то есть уже от смерти, которая всегда похожа на отдельную сцену, на какую-то церемонию, если не требует сама некой церемонии (казни). Вера же — это жизнь; и путь веры — это не путь к смерти, а путь к любви.

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

ЯРЛЫКИ

В Берлине старый принц Витгенштейн сказал Брессону...

А. Пушкин, «Table-talk», 1836.

Первооснова кино — не съемка, а проекция, актуализирующая непрерывность киновремени. Попробуйте остановить проекцию — лампа сожжет пленку, а на экране расплзется грязное пятно. Подчинившие время дети компьютерной эпохи, пересмотревшие сотни тысяч хороших и разных картин в режиме управляемой видеотехнологии, не понимают в классическом искусстве кино главного. Главное — это именно луч света из-за спины и твое, зрительское, соинтонирование. Твое подчинение времени проекции, со-бытие. Но сегодня, деформируя первоисточник, ценят, смотрят, обсуждают и описывают литературную составляющую.

В конечном счете кино ничего не означает, не означает, кино — показыва-ет. Означивают речистые интерпретаторы: авторы, критики, журналисты. Кино — не кладовая смыслов, но машина по уничтожению времени. Как подлинный миф кино превращает Историю в природу. Природа — непрерывность, нерасчлененность, История, равно как и история, — означенная дискретность.

Кино — никогда не свидетель, ибо свидетель — тот, чей рассказ располагается между мной и неким явлением. Не так с кино: я располагаюсь внутри его. Оно организует и *сжигает* мое время. Зато его «авторы с идеями» в свою очередь пытаются это время остановить, размещая смыслы и концепты, организуя наррацию. Однако технология кинопроизводства делает полный контроль над «природой» невозможным. Во всяком более-менее приличном фильме идет сражение авторской воли, насаждающей историю и культуру, с кинематографической природой.

Будто бы современный Дон Кихот пробрался в кинобудку и, точно с мельницей, воюет с электрической машиной, препятствуя проекции. Иногда ему удается притормозить движение, тогда на экране расплзется причудливое смысловое пятно. Обессилив, он на какое-то время позволяет времени развиваться по собственному закону... Если смотреть внимательно, нетрудно обнаружить в каждой кинокартине следы пресловутой борьбы, которые зачастую бывают интереснее всего прочего. Целостность фильма — иллюзия, создаваемая позднейшими интерпретаторами, в том числе самим «наученным» зрителем.

Это особенно заметно в случаях, когда фильм или его литературная составляющая хорошо известны. Подлинным кинопроизведениям, в которых «природа» не выведена до конца, не вытравлена нарративным дустом, не вырублена под корень, это лишь прибавляет обаяния и, как ни странно, содержательности, смысла. Там, где смысл не предписан, не «потреблен» в качестве литературной составляющей, мы вольны искать и означивать бесчисленное множество маргиналий. В подконтрольной автору литературе — дело невозможное, а в кино — нормальное.

Эти, не бог весть какие оригинальные, соображения пришли мне в голову во время вчерашнего просмотра хорошей, середины 70-х, телекартины Виталия Мельникова «Старший сын», ясное дело, по Александру Вампилову. История известна, фильм пересмотрен неоднократно, тем удивительнее было автору этого кинообзора в очередной раз поймать себя на *интересе*. Причем всякий раз выделяешь новые «необязательные» детали, внепостановочные маргиналии. Режиссер и

соратники не организовывали их специально, но те просочились в фильм между пальцев, потому что без этих маргиналий в кино никуда. Без материального фона, без реального жилого фонда. Плюс не менее значимое — манера актеров общаться с представителями другого пола или иного поколения. Плюс манера обниматься, двигаться, носить прическу, сопеть носом или держать паузу. В правильно, я бы сказал, бережно организованном кино именно внесистемные элементы впоследствии начинают доминировать.

Отсюда не вполне закономерный вывод. Если фильм как неравновесное сочетание технологии и природы все равно не поддается адекватному описанию, если всякий разбор кинопроизведения — неизбежные произвол и волюнтаризм, доведем методологию до логического предела и, проявив вопиющую нечувствительность, в каждой из выбранных кинолент абсолютизируем тот или иной, единственный признак и понавешаем ярлыков.

Впрочем, по отношению к пресловутому признаку всякий раз постараемся проявлять гипертрофированную, любовную чувствительность. Практически чувственность.

Самый глупый фильм минувшего года. В этой роскошной номинации безоговорочно побеждает картина американца индийского происхождения М. Найта Шьямалана «Знаки» (2002).

Что мы знаем про автора, Шьямалана? Практически все. Шьямалан — типичный заокеанский вундеркинд. Родился в Индии, но вырос в Пенсильвании. Его жена Бхавна, родители и еще девять членов семьи имеют докторские степени, полученные в американских университетах. Подобная воля к научному знанию и сопутствующим регалиям, подобная, выдающаяся, концентрация остепененных в рамках одной семьи, согласитесь, настораживает. На мой непросвещенный взгляд, в семье Шьямаланов что-то не в порядке. Какая-то нездоровая карма. Зная семейную историю, нетрудно догадаться о причинах культурной катастрофы под названием «Знаки».

Впрочем, начиналось за здравие. В двадцать с небольшим выпускник епископальной академии и знаменитой киношколы «Тиш-скул» при Нью-Йоркском университете поставил дебютный фильм «Пробуждение». Совсем скоро, в двадцать восемь, Шьямалан сделал «Шестое чувство» (1999) с Брюсом Уиллисом, которое имело бешеный успех, уступив по сборам лишь очередной серии «Звездных войн». Следующая работа Шьямалана, «Неуязвимый», также претерпела прокатный триумф. В мировом прокате две ленты Шьямалана собрали более миллиарда долларов.

Так и не посмотрев ни одной из перечисленных картин, я тем не менее горячо сочувствовал *молодому* заокеанскому человеку, решительно растолкавшему старших и, между прочим, установившему гонорарный рекорд: десять миллионов долларов за сценарий «Неуязвимого!» Однако мое ликование было недолгим. Вот — «Знаки», грустная история падения. При ближайшем рассмотрении авторитет свою состоятельность не подтвердил.

История чудовищна: планета подверглась нападению инопланетян-каннибалов! Высокие, эластичные черти, до боли напоминающие баскетболистов Эн-би-эй. Они атаковали *весь мир*. Почти одновременно. Что это значит? Правильно, Шьямалан отработал социальный заказ национальной администрации США, которая настаивает на необходимости сплочения всех и каждого в битве с международным терроризмом. То есть теперь и навсегда у *всех* землян один и тот же противник. В фильме «Знаки» говорится о солидарной борьбе человечества с внезапной межгалактической подлостью, но американцы правильно понимают, о ком идет речь. Впрочем, быть может, пришельцев они тоже боятся. Короче, враг Америки автоматически становится врагом всего человечества. Ловко!

Но начинается с загадочных знаков на кукурузной плантации одного американского фермера (актер Мел Гибсон, чья неизменная, но выразительная гримаса будто бы выполнена по эскизу комикс-художника). Кто-то ровно и терпеливо выстриг посреди плантации огромные геометрические фигуры. Дисциплинированные прежде немецкие овчарки бросаются на людей, в воздухе разлиты одиночество и тоска. Мел Гибсон живет с младшим братом и двумя детьми: мальчиком постарше

и девочкой помладше. Вот как понимает эту диспозицию сам Шьямалан: герои, дескать, символизируют четыре ключевых возраста человека. Дочь — детство, пору непосредственных эмоций. Сын — подготовку к взрослой жизни. Брат — собственно взросление, еще окрашенное юношеской наивностью. Глава семьи, то бишь Мел Гибсон, — олицетворяет трезвую зрелость.

Лучше бы наш вундеркинд этого не объяснял! Фильм и без того претенциозен, но автор заставляет думать о нем еще хуже. Пролез в кинобудку, остановил пленку, пересчитал, означил живую природу. Оказывается, люди, персонажи у него — стерильные сущности, понятия! Пленка горит, пятно расплзается по экрану, зритель в смятении выбегает из зала. Но я досмотрел, чтобы испытать себя и поведать страшную правду читателю кинообзора, который, не исключено, все еще питает иллюзии относительно состояния дел в нынешнем Голливуде. Не питай, все продано, с потрохами.

В прошлом герой Мела Гибсона — «преподобный», то бишь пастор. Некоторое время назад его жена попала в аварию и, произнеся какую-то квазифилософскую сентенцию, скончалась. Пьяный водитель, по виду индус, спровоцировавший гибель, теперь то и дело попадает на глаза, стыдится. А почему персонаж Гибсона — «экс»? Потому что, обидевшись на Бога, изменившего ему с негодным индусом, священнослужитель снял с себя форменную одежду священнослужителя и полномочия протестантского пастыря, «отца». Вот именно, капризничает: «Не называйте меня отцом!»

Вот что интересно: о тотальном наступлении инопланетян герои узнают из телевизионных новостей. Впрочем, в окрестностях кукурузного ранчо бродит свой локальный отряд инопланетных агрессоров, загоняющий славную семейку в глубокий подвал. Потом выясняется, что враги чего-то испугались и, внезапно погрузившись в инопланетные корабли, отбыли восвояси. Последний, раненный Гибсоном, отбыть не успел и теперь мечтает полакомиться младшеньким, сыном, которого бережно держит на руках, попутно усыпляя сновидческим газом. И что же? Братец Гибсона, закомплексованный бейсболист, хватает свою призовую битку и хорошенько охаживает ею несговорчивого инопланетного каннибала! Нашествие отражено, сына откачали, преподобный снова поверил Небесам и вернулся в лоно Церкви.

Беспрецедентный сюжет. Вполне допустима такая интерпретация: материализовавшись, коварно похитив и плоть, и кровь, на человечество напали черти. Кстати, не менее допустимо, что телевизионная информация — пропаганда (вроде той, что агенты «Аль-Каиды» повсюду), ложь, воспаленный бред главных героев или попросту морок. Так или иначе, единственного черта, предъявленного нашим органам чувств, сразила бейсбольная битка, неотъемлемый атрибут американской национальной мифологии! То есть бейсбол предшествует вере в Господа. Вдобавок замечу: вполне вероятно, что в рамках индуистской традиции демоны беспрепятственно отождествляются с инопланетянами. Честно говоря, не вижу особенной разницы и я.

Едва фильм расколдован, невольно меняешь гнев на снисхождение. В таком ракурсе он приобретает некоторые симпатичные черты. Если бы вся эта тягомотина не рядилась в одежды глубокомысленной «философии», она вполне сошла бы за сухую, строгую, протестантскую версию «Вечеров на хуторе...» и тому подобного малороссийского легкомыслия.

Рифма. В конце 30-х годов прошлого века молодой Орсон Уэллс осуществил радиопостановку «Войны миров», стилизовав ее под программу новостей с полей сражений. Утверждают, что Соединенные Штаты, кстати же, осуществлявшие сугубо изоляционистскую внешнюю политику, сошли от ужаса с ума. Полстраны паковало чемоданы, намереваясь бежать от инопланетного агрессора. А куда бежать теперь? *Некуда*: враги Америки повсюду, ибо национальные американские интересы везде. Но заметьте: управа на врагов есть только у тех, кто в совершенстве овладел национальным оружием, призовой битой, то бишь у самих американцев. Снова ловко. Ой, ловко. Пропаганда!

Рифма номер два. Пишу в начале января, России угрожают морозы. Кое-где — до 50 градусов ниже нуля! Выходят из строя теплотрассы, отдельные граждане промерзают до костей. Конечно, свои черти, то бишь инопланетяне, есть и у нас,

конечно, их следует выявлять и выводить из строя всеми подручными способами. Однако, несоизмеримость стоящих перед нашими странами задач — очевидна. Поди-ка помаша битой перед лицом Дедушки Мороза, надолго ли тебя хватит? Все же тут нужна какая-то другая, повседневная, кропотливая, напряженная, малозаметная работа. После картины «Знаки» я сильно сомневаюсь в плодотворности всемирного антитеррористического союза.

Наконец, рифма третья. Знаменитый рассказ Кортасара, где таинственные силы последовательно захватывают одну комнату за другой, ненавязчиво выживая героев из некоего Дома. Все же этот рассказ — стерильная наррация, метафора вне Истории, вне реального социального контекста. А у Шьямалана — и это единственное достоинство его опуса — исторический фон нечаянно присутствует, мерцает, возбуждая гнев, сарказм, интерес. Важно правильно считывать информацию, не обращая внимания на фабулу и тому подобные жанровые обманки. А я что говорю: в кино не так-то просто вытравить подлинную природу вещей. Ты ее — жанровым дустом, а она все равно найдет, где разместиться, как себя предьявить.

Самый жестокий фильм десятилетия. Чешский фильм «Otesanek» (2000) у нас обозвали «Поленом», что не вполне точно. Полено — ровненькое, гладкое, цивилизованное. Полено — это в западной, вполне западной Италии, откуда родом Пиноккио. А в межуемочной Чехии — уж скорее «Неотесанный». Не бревнышко, а дикая, необузданная коряга с торчащими во все стороны света ветками, корешками, сучками, проблемами. Такова чешская национальная сказка, первоисточник. Такова и картина, поставленная героем моего прошлого обзора, сюрреалистом и аниматором Яном Шванкмайером. Его четвертая полнометражная лента. Кроме описанных два месяца назад «Заговорщиков сладострастия» (1996) это еще и «Алиса» (1987) по Льюису Кэрроллу, и «Фауст» (1994), источники которого не нуждаются в представлении.

Почему я рифмую последнюю работу Шванкмайера со «Знаками»? Во-первых, потому, что для нас это совсем свежая картина, добравшаяся в Россию лишь к концу 2002-го. Во-вторых, ключевая тема «Отесанека» — все тот же неуступчивый каннибализм. Право слово, укорененная в обывательском сознании антропологическая модель претерпевает мутации. Что-то многовато стало каннибализма. Вот даже на страницах новомирской «Периодики» (2002, № 6) читаю воспоминание о 1921 годе: «...опасались ходить по улице — могли накинуть сзади на шею петлю и запросто съесть. Или: сложат штабелями трупы, поставят рядом часового. Тот стоит, качается от ветра, держится за свою винтовку. А кругом люди ждут, когда он сам от голода упадет, чтобы растащить трупы...»

Конечно, правильно, что про такое, предельное, пишут и говорят. Человек должен знать о предельных вещах, хотя бы на назывном уровне. Чтобы не очень-то заносился, не выпендривался. Сложнее художникам: как, да и зачем такое изображать? Это задача задач, но с нею справляются и Шванкмайер, и еще один, ни-жеследующий, герой кинообзора.

Идентичность человека под большим вопросом. Эпоха гуманизма заканчивается. «Хаос шевелится» все более активно, архаика, дремучая архаика переформирует массовые представления о добре, зле, человеческих правах и возможностях, заново конструирует человеческую телесность. Об этом сделано достаточное количество картин, великих, хороших и разных. Положим, эпохальный английский «Чужой» (1979) Ридли Скотта, где похожий на все того же традиционного черта инопланетянин откладывает свои личинки в человеческом нутре, прорастая затем из человечесьего живота монструозной слизистой гадиной, которая в конечном счете воплощала активное, фаллократическое мужское начало, на правах «чужого» смертельно пугавшее самодостаточную героиню-астронавтку, которую удачно изображала высокорослая (выше 180 см), волевая Сигурни Уивер. У Ридли Скотта пожравший всех мужчин-конкурентов «чужой» — это, по сути, неизбывный кошмар непокорной феминистки. Не менее важный фильм канадца Дэвида Кроненберга «The Fly» (1986), крайне неудачно, односторонне поименованный в России «Мухой», представляет «чужое» мужское в образе отвратительного и снова влажно-

го, слизистого (точный, осязаемый, физиологичный признак желания, секса) мутанта, сочетающего черты сознательного человека и неутомимого насекомого.

В конечном счете архаическая, фольклорного происхождения метафора Шванкмайера вполне рифмуется с современными построениями Кроненберга и Скотта. Важно, однако, что у Шванкмайера минус меняется на плюс, а взрослая женщина — на несформировавшуюся девочку. Конечно, это обстоятельство наглядно демонстрирует, насколько радикально отличаются постиндустриальный западный стандарт и межуточный восточноевропейский! (Что уж говорить о полуазиатской России!)

Итак, девочка, которой вот-вот предстоит скачок в новое физиологическое качество, защищает от взрослых пресловутого «Отесанека» — едва обработанную мужской рукой, вскормленную женской грудью корягу, превратившуюся в прожорливое, гигантское деревянное чудовище! Смешно, но не случайно: Отесанек — древесное, а значит, сухое, не знающее подлинного Желания существо. А лишь бы пожрать! Помните, «у нас в СССР секса нет!». Боже, как смеялись, дескать, и мы, советские, не лыком шиты. Смеялись зря. Секса, желания — в западном смысле слова — у нас не было и не скоро будет. И здесь я апеллирую единственно к кинотексту. Повторюсь: в кинотекст природа вещей просачивается и укореняется там столь надежно, что можно многое увидеть!

Короче, архаика Шванкмайера — это инфантильный, неполовозрелый (причем с обеих сторон, Отесанек ведь тоже ребенок!) вариант проработанного в деталях, высокотехнологичного западного сюжета. И в «Мухе», и в «Чужом», и в десятке других, менее впечатляющих западных работ — Желание и новая телесность актуализируются посредством высоких технологий: киберпространство, космические путешествия в напичканных электроникой кораблях, уникальные устройства по телепортации физических тел, отменившие законы времени и пространства. А вот вам Шванкмайер: суп из топора! Топор — единственно доступная технология, запускающая механизм архетипического сюжета.

Напомню то, о чем говорил в предыдущем кинообзоре: скромные, почти домашние картины Шванкмайера, сделанные в постсоциалистическую эпоху, предлагают массу возможностей для социокультурных и даже геополитических интерпретаций последней фазы «холодной войны». Идеологи восточного блока так и не решились признать Желание, придать ему легитимный статус хотя бы в пространстве культуры. В результате не удалось сохранить ни реально существовавшие высокие технологии, ни более-менее структурированный социум, ни ощущение самодостаточной силы и уверенности в завтрашнем дне.

А ежели говорить об отдельно взятом постсоциалистическом индивиде, то этот уникальный антропологический тип, возжелавший сразу всего, но так и не повзрослевший, не доросший до своих желаний, — *самая большая проблема* восточных территорий. Здесь Шванкмайер и проницателен, и безжалостен. Преданный, запертый своими «родителями» в подвале, сходящий с ума от нечеловеческого аппетита Отесанек находит единственного союзника в лице девчонки, которая потихоньку скармливает ему одного обитателя подъезда за другим!

Делается это так. Девочка гадает на спичках, среди которых одна — короткая. «Мама?» — Нет. «Папа?» — Повезло. «Сторож?» — Мимо. «Господин Жлабек?» — Пресловутая «короткая» приходится на похотливого старичка, который то и дело заглядывал недоразвитой девочке под юбку и всякий раз терял сознание от обилия впечатлений.

Приходит очередь соседей. Девочка, которая чего-то напряженно хочет, но не знает чего, а уж тем более не может, педантично скармливает своему латентному любовнику половину подъезда. Шванкмайер предельно жесток: невинное постсоциалистическое дитя готово в приступе неартикулированной страсти продать кого угодно, даже родителей!

Согласно каноническому сюжету, который девочка вычитала в сборнике сказок, Отесанека должна зарубить старуха с мотыгой, которой, обезумев от голода, он разорил капустную делянку. А вот кто поможет горемычным нам — непонятно.

Короче, на территории, где реально функционируют лишь топор и мотыга, следует осторожничать с Желаниями. Ограничивать Интересы. Развращенное неадекватностью полено — не подарок.

Но самое обидное, несмотря на заклинания и революционные реформы, по спору, как говорится в рекламе, — сухо, сухо и сухо! Ни страсти, ни секса, ни любви, и даже дружба какая-то странноватая. С детством пора завязывать, расставаться.

Лучший роман воспитания наших дней. Свою первую полнометражную картину Дамьен Одуль снимал без финансовой поддержки телевидения, что во Франции большая редкость. Цветная пленка была впоследствии обесцвечена, а ее 16 мм были «растянуты» во вполне профессиональный формат, 35 мм, что обеспечило фильму новое качество. Черно-белое пространство стало вязким, немного ирреальным, слегка сновидческим.

Проблемы взросления волнуют и без того «взрослых» (в социокультурном плане) французов. «Дыхание» (2001) получило один из главных призов престижного фестиваля в Венеции. «Дыхание» — простая и в хорошем смысле очевидная работа, которую было бы невозможно сделать у нас. Наши подростки, распределяющие деньги, осуществляющие культурную политику, никогда не признаются себе в своем подлинном возрасте. *Tina взрослые*. А значит, проблема взросления и воспитания на нашей повестке не стоит. Зато к ней внимательны французы.

Всего одни сутки из жизни городского мальчика, подростка, во французской деревне. Мать осталась дома. На летние каникулы парня приняли два дяди, два настоящих крестьянина, реально кормящихся с земли. Женщин нет, группа мужчин устроила себе праздник — с вином и поджаренным на вертеле бараном. Инициация. Стремительно опьяневший подросток, идентифицирующий себя в качестве молодого волка (рисунок на руке, игры и сны), соприкасается с миром. Соприкосновение дается через множество микрособытий. Исключительно изящная и внимательная работа. Ближе к финалу природное прорастает социальным: словно доигрывая «в индейцев», словно по инерции, герой стреляет в ровесника-друга, бравирующего тем, что местная железная дорога, да, вот эта, под ногами, — принадлежит его отцу. Друг падает, герой долго пытается взвалить бездыханное тело на грузную лошадь, неожиданно проявившую норы и не дающуюся в руки, — длинный, драматичный общий план, перенасыщенный эмоциями. Все же такого развития событий мы не предполагали. Все же деревня, в своем роде райский уголок, теплая мужская компания, опека, вино, природа...

Очень хорошо, здорово, не удержусь, повторю только что родившуюся формулу еще раз: природное на наших глазах прорастает социальным конфликтом. «Эта железная дорога тоже принадлежит моему отцу!» — кстати, быть может, всего-навсего бахвалится, врет? А герой, волчонок, тем не менее стреляет. Но ты же волк, что тебе железная дорога, чужая собственность? А вот поди ты, стреляет не раздумывая. Поступок зверя или человека? Этот фильм не дает никаких ответов, ставит вопросы. Пристально вглядывается.

«...взгляд язычника. Я не верю в мораль. Есть правила, мораль же — система фикций», — так режиссер говорил в Москве. Но, как всегда, фильм режиссеру подконтролен не до конца. Потому что идеология плохо приживается в настоящем кино, отторгается. Стержень фильма — поиск Отца. Главный герой расспрашивает об Отце дядю, другого дядю, знакомых. Отца нет. Отец спился. Его иногда видят, и он неизменно пьян, но мальчику про это не говорят. А как жить без Отца? Как одинокому волку выжить в человеческом мире? «И запомни, что скажу: отцы всегда бросают сыновей, балда!» — внушает герою один из мужчин. Так ли это? Герой явно озадачен этим обобщением.

В фильме есть реальное метафизическое напряжение, реальная метафизическая проблема. А вот набор событий небогат — так, вибрации повседневности. Даже друг, похвалившийся своим отцом, не умер, только потерял сознание, в худшем случае будут проблемы с рукой. И тем не менее «Дыхание» — глубокое. Если не отвлекаться на пустяки.

Я внимательно прочитал интервью Дамьена Одуля, который много лет путешествовал по Камбодже, по миру. Мне показалось, ему не удалось ничего из того, что он задумывал. Получилось другое, много лучше.

Сарказм десятилетия. Малобюджетный американский фильм «Coldblooded», «Хладнокровный», снят в 1994-м, но на российских видеоносителях появился совсем недавно. На кассете жанр определен так — «боевик». По сути, антибоевик. Очень черный, очень грубый, предельно изысканный юмор. Фильм, который хочется про-пагандировать и дарить. Режиссер М. Уоллес Володарский, в первый раз слышу.

В сущности, это тоже роман воспитания. Главный герой, совсем молодой человек Козмо (очень хороший актер Джейсон Пристли), трудится в какой-то полукриминальной организации. Работа непыльная, на телефоне: принимать ставки на результаты спортивных соревнований. Но однажды в организации произошла смена босса, видимо, один теневой лидер ликвидировал другого и сам занял его место. Новый лидер вызывает Козмо и сообщает, что парню сильно повезло, он получает повышение, теперь ему предстоит стать... *стрелком*. Парень напрягается, но против воли босса не поперешь. Киллер-профессионал, который натаскивает новичка, крайне удивлен: у парня поразительный талант, он попадает в любую часть тела на бумажном макете человеческого организма. И с любого расстояния!

Парень удачно включается в практическую работу, уничтожая несколько человек. Его немного мутит, он слегка переживает, но дезертировать некуда, разве что в собственную смерть. Да и нет пока особых оснований менять образ жизни. Чтобы отстраниться от своей убийственной работы, Козмо, по совету знакомой проститутки, отправляется в клуб, где практикуют индийскую йогу. Парень симпатизирует девушке-инструктору, хладнокровно, с помощью пистолета заставляя ретироваться ее любовника, чтобы занять его место. Предварительно, разбив конкуренту лицо, в подробностях выпытывает, «что любит Джасмин, какие цветы, какие позы предпочитает... Ну давай, Рэнди, помоги мне!» Поверженный, окровавленный любовник рассказывает детали точно старому, доброму приятелю. Кстати, до этого главный герой встречался лишь с функциональными женщинами, с проститутками и за деньги, так что урок хороших манер ему насущно необходим. «Как ты заставил его уйти?» — изумляется девушка. «Просто объяснил, что теперь моя очередь показать тебе, как надо с тобой обращаться».

Теперь у Козмо есть причина бросить свой кровавый бизнес: «Я хочу любить, я еще никого не любил!» Ради этого ему приходится хладнокровно, в своей обычной манере, убить напарника, научившего его секретам мастерства, босса и вице-босса, наследника престола. Вот он является к любимой девушке и признается в том, что зарабатывал заказными убийствами. Девушка его прогоняет. Парень является в очередной раз и приставляет пистолет к своему виску: «Я тебя люблю, теперь мне незачем жить. Но сначала тебя!» — переводит пистолет на вчерашнюю партнершу.

И вот здесь происходит самое главное, то, ради чего эту картину стоило посмотреть. Джасмин, которую совершенно устраивает богатый, молодой, вежливый, обходительный Козмо, у которой нет к нему *никаких личных претензий*, должна всего-навсего примирить свой частный интерес с нормами общественной морали. Выясняется, что это не так уж и сложно, достаточно воли и сообразительности.

«Дай слово, что ты всегда будешь ко мне хорошо относиться!» — «Обещаю». — «Люди, которых ты убил, они были мерзавцами, правда?» — «Да». — «Настоящими негодяями, убийцами, насильниками, психопатами, кто там еще?» — «Хуже, гораздо хуже!» — не теряется Козмо. «Ладно, это можно понять», — соглашается юная красотка. Он: «А ведь мы едва не наделали дел!» — «Да». — «Шампанское?!»

Не бог весть что, но с каким вниманием к человеческому эта история рассказана! С каким неподражаемым сарказмом, с какой пронизательностью! Не страшно умереть, страшно поступить неполиткорректно, не «по совести». Важно правильно с собою договориться. Даже в малобюджетном пустяке, не выходя за рамки примитивного жанра, умные американцы сумели рассказать о человеческом космосе. Что называется, пустячок, а приятно.

Самое значительное кино минувшего года. Атом Эгоян — выдающийся канадский режиссер армянского происхождения. «Атом» — это в честь атомной энергетики. Его последняя картина «Апарат» (2002) была отобрана в конкурс Каннского фестиваля, любимцем и заведомым фаворитом которого Эгоян является с начала

90-х годов. В последний момент картину из конкурса исключили. Опасаясь протестов Турции. Картина касается очень сложного эпизода, который, впрочем, эпизодом назвать неловко, — геноцида армян на территории Османской империи в 1915 году. Завершающий титр картины прямо говорит о том, что Турция так и не признала факт истребления более чем миллиона граждан своей страны. Я буду касаться реальной политической истории в минимальной степени, тем более, что фильм, к моему бесконечному удивлению, оказался гораздо шире заявленной темы. Как и полагается крупному художнику, Эгоян обобщил настолько, что получилась работа всемирно-исторического значения.

Посмотрев эту сложно организованную картину только один раз, я не решаюсь на ее подробный анализ. Всего несколько наблюдений.

Стержень «Арарата» — фильм в фильме, игровая, костюмная лента о геноциде 1915 года, которую снимает пожилой режиссер армянского происхождения (играет эту роль Шарль Азнавур). Поначалу такое фабульное построение сильно меня отпугивало. По мне, «фильм в фильме» — это позор, катастрофа и нарциссизм. Эгоян — едва ли не первый, кто обошел все возможные ловушки и наполнил этот формальный прием реальным художественным смыслом, использовал его во благо художественного целого, а не отразился в нем. Игровое кино — разве это не тотальный обман, фикция, прихотливая фантазия, притворившаяся «природой»?! Эгоян начинает с того, что «подставляет» армянскую версию, пробует ее на разрыв, оформляет посредством срежиссированного костюмного действия, обильно политого клюквенным соком.

Как всегда у Эгояна, многочисленные незнакомые друг с другом персонажи оказываются включенными в сложную систему взаимоотношений. Юноша, чья мать консультирует режиссера, возлюбленная юноши, торгующая наркотиками, актер турецкого происхождения, играющий в фильме Азнавура непримиримого и жестокого защитника турецкой государственности, пожилой таможенный инспектор, подозревающий армянского юношу в пособничестве наркоторговцам, — все эти герои, несущие свою правду, свой опыт, свой взгляд на мир, пересекаются и обучают друг друга, проверяя критерий истинности на прочность. В очередной раз не перестаешь удивляться, каким образом Эгоян умудряется оживлять и делать достоверной всю эту громоздкую драматургическую конструкцию.

Разделяя точку зрения и боль своего народа, Эгоян тем не менее дает высказаться противоположной стороне. Турки полагали и полагают, что в ситуации мировой войны, когда мечтавшая о Константинополе, проливах и объединенной Армении Россия противостояла Османской империи, союзнице Германии, расселенные на востоке страны армяне являлись «пятой колонной», готовой поддержать российских армян и возможное российское наступление. Армян как потенциальных врагов депортировали, а не уничтожали. Некоторые, не такие многочисленные, как утверждают армяне, жертвы, — неизбежное следствие депортации. Единственным свидетелем, на которого опираются «фильм Азнавура», да и фильм самого Эгояна, является некий американец, оставивший страшные мемуары о своем пребывании в самом сердце геноцида. Предпоследние титры картины ссылаются на них как на исторический фундамент.

Я не обладаю информацией относительно мотивов, масштабов, методов и форм. Я безусловно сочувствую армянам, сколько бы их ни погибло. В конечном счете фильм Эгояна — не историческая иллюстрация, а болезненная метафора, сомнение, густо замешенное на реальной человеческой крови. На трагедии, которую нельзя увидеть. О которой невозможно договориться. Потому что киношный клюквенный сок — не аргумент, а национальные интересы слишком, болезненно, разнятся.

«Армяне торгуют, они скупили всю мою страну!» — примерно так высказывается свирепый османский офицер из «фильма Азнавура». Или не высказанная явно, но реально существовавшая точка зрения: армяне мечтают присоединить к Великой Армении часть Османской империи. Это — аргументы или нет?

Актер турецкого происхождения так хорошо играет свирепого офицера, что удостаивается похвалы юноши-армянина: «Обычно я с подозрением отношусь ко всему, что должно спровоцировать во мне какие-то чувства. Но вы так блестяще

играли, что к концу эпизода я вас возненавидел. И я наконец понял, что произошло тогда, в 1915-м. Понял и то, почему мой отец стал в свое время террористом и покушался на турецкого посла через семьдесят лет после трагедии!» Что же, разве аргумент — киношный клюквенный сок, горько усмехается Эгоян. Но как же тогда отдифференцировать правду и, добавлю от себя, *что делать с этой правдой потом?* На этот вопрос нет ответа ни у Эгояна, ни тем более у меня.

В завершение один потрясающий эпизод, в полной мере иллюстрирующий качество кинематографического мышления канадского постановщика. Современный Торонто. Армянский юноша провожает актера-турка до подъезда. Только что мы были свидетелями той самой сцены, где персонаж турка в полной мере проявил свою волю к жестокости. Мы, зрители, вполне сочувствуем праведному гневу юноши, но тут Эгоян корректирует нашу реакцию на гляцевую, павильонную киношную клюкву. Он демонстрирует лестничный пролет внутри подъезда. Ненавязчиво, за спинами беседующих героев. Ободранная, облупившаяся, грязная стена. Единственный раз в гляцевую буржуазную действительность вторгается сигнал о *социальном неблагополучии*. Ну, конечно, турок, полукровка, одиночка, изгой — в чужой, благополучной Канаде. Плохо с деньгами, снимает полунищую квартиру. Без колебаний согласился играть «плохого» соотечественника. Никогда ничего не слышал о геноциде 1915 года, никогда: «Было ли?» И чем этот конкретный турок виноват перед армянским юношей, отказавшимся распить с новоиспеченным врагом бутылку шампанского? Только тем, что убедительно сыграл негодяя?

И на эти тревожные, страшноватые вопросы у меня тоже нет никакого ответа. Меня впечатляют изящество и мужество, с которыми их задает Эгоян.

Самый тупой фильм всех времен и народов. Я ли не клялся в вечной любви к Альфреду Хичкоку? Тем убедительнее мой жест доброй воли: в данной номинации первенствует давняя лента Хичкока «Поймать вора» (1955), которая попала мне только теперь. Зачем, спросите вы, тащить в очередную номинацию подобную архаику? Да потому, что «Поймать вора» с Кэри Грантом и Грейс Келли — самая актуальная из самых глупых картин мирового экрана. Чтобы полностью со мной согласиться, вам будет достаточно посмотреть картину от начала до конца. Впрочем, вот лишь одна вопиющая деталь.

Действие происходит во Франции. Главный герой, которого играет Кэри Грант, американец, издавна проживающий в Европе. Когда-то давно он был известен как виртуозный вор по кличке Кот. Проникал в дома и гостиницы богачей и освобождал тех от бремени богатства, похищая бриллианты, золото и т. д.

Но потом случилась Вторая мировая война. Все «приличные люди» вроде бы вступили во французское Сопротивление. Вот и Кот, и другие воры участвовали в справедливой борьбе. Естественно, после такой инициации все они перестали воровать и преступничать. Все, да не все. В 50-е кто-то, имитируя манеры Кота, взялся за драгоценности нуворишей. Но сам Кот ни при чем! В это не верят его бывшие подельники, ступившие на дорогу чести. Подельники собираются жестоко расправиться с человеком, нарушившим законы священного военного братства (прямо какой-то «Белорусский вокзал!»). А Кот в свою очередь собирается изловить и сдать полиции того, кто его подставляет.

Короче, кончается так. Воровали, подставляли Кота, предавали военное братство исключительно европейцы. А единственный американец в Сопротивлении их блистательно разоблачил, попутно овладев сердцем любимой актрисы Хичкока, красавицы Грейс Келли (в смысле, сердцем ее героини).

Снова — нечеловеческая ловкость! Вот так, еще в начале 50-х, отказавшись от политики изоляционизма, американцы приватизировали и движение Сопротивления, и благородство. Теперь, столетия спустя, они приватизировали еще и победу во Второй мировой, и три четверти мира.

А начиналось — с предательства Хичкока, который все же был европейцем по происхождению.

Самое пронизательное отечественное кино. Смотрел его в последние часы уходящего, 2002-го, на ОРТ, после многолетнего перерыва. Конечно, наряду с Мура-

товой, самый пронизательный — Гайдай! «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), с минимальными комментариями.

«Кемскую область? — отвечает шведскому послу плебейский „совок” управдом, волею судеб оказавшийся на месте российского Царя. — Да берите на здоровье!»

Ср.: «Берите суверенитета, сколько унесете!»

«Воображаю, какая сейчас драка — на Изюмском шляхе!» — усмехается *вор* Жорж Милославский в исполнении Куравлева, легким и безответственным движением руки направивший в ад спровоцированного корыстью побоища русские полки.

Без комментариев.

«Дорогой царь, мы пропали!» — «Как пропали? Я т-требую продолжения *банкета!!!*»

Без комментариев.

Наконец, вот вам *реальный Иоанн*, оказавшийся под перекрестным огнем милиции и „совков”: «Квартиру Шпака вы брали?» — «Казань брал. Астрахань брал. Шпака — не брал!»

Как говорится, почувствуйте разницу.

СД-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

СТРАННОСТИ НА ЗАВТРА

Blood Axis & Les Joyaux De La Princesse, «Absinthe, La Folie Verte», Athanor, 2002

Какую только музыку не объявляли фашистской на моей памяти.

Однажды (в 1977 году) Дэвид Боуи сфотографировался для обложки своей пластинки в кожаной одежде, напоминавшей нацистскую форму, и в провокативной позе, намекавшей на гитлеровский салют рукой. Это повлекло за собой дикий скандал. Евроамериканский мир был еще настолько закомплексован на теме фашизма, что любое напоминание, всякое прикосновение вне зон патентованно «серьезного», «глубокого» искусства или философствования вызывало крайне болезненную реакцию. Элементарное прочтение жеста «от противного» просто никому не пришло в голову. Классический случай для психоаналитика. А обложку, конечно, запретили, и диск продавался в другом конверте.

Приблизительно в те же годы французской группе «Магма» приписывали фашизоидность на основании того, что во время выступлений они не скачут по сцене, а стоят в «надсмотрщицких» стойках, да и костюмы тоже были подозрительные (ср. отечественный «Наутилус Помпилиус» и галифе его лидера Бутусова). Интуитивно связь действительно ощущалась, но всерьез разобраться, в чем тут дело, — это было, конечно, не под силу таким убогим жанрам, как рок-критика или рок-журналистика.

Помнится, даже наши писатели-почвенники в конце восьмидесятых выглянули из кокона своей унылой, всегда позавчерашней проблематики и публиковали в толстых журналах пламенные статьи, где с обычным для своего клана пустопорожним всезнайством обвиняли в фашизме и сатанизме главную тогдашнюю «пугалку» — хэви-метал; причем под одну гребенку гребли что ни попадя. Забавно, что с сатанизмом они, в общем-то, попали довольно близко к цели. А что касается фашизма — тут и хочется над ними посмеяться, да не выходит. Пятнадцать — двадцать лет назад даже очень искушенный в вопросах современной музыки человек вряд ли мог предсказать, каким именно окажется музыкальное творчество будущих фашистов.

Нынче фашизм принят культурой как элитарное контркультурное течение (таякая вот, как известно, у культуры и контркультуры призрачная грань). И ситуация — зеркальное отражение ситуации семидесятых. Теперь уже «приемлющая»

сторона никак не может смириться с отсутствием в откровенно фашистских работах «второго дна» и, часто вопреки здравому смыслу, изо всех сил старается читать жесты только от противного, уверить себя, что здесь-то именно культурный (контркультурный) жест, посредством которого вскрывается, будто нарыв, лицемерие современной западной цивилизации, социума, господствующих идеологий. На что сторона «производящая» поглядывает с несуетным достоинством — они не против числиться в элите (здесь уже обязательно контркультурной), но не испытывают никакой необходимости в оправдательных интерпретациях и не стараются выдать себя за что-нибудь другое, дабы подстроиться под правила, существующие в обществе, и войти в общественную систему.

Речь будет о мощном и весьма серьезном течении, влияние которого заметнее день ото дня. Оно отзывается во многих мозгах и, несомненно, само резонирует на латентные, но устойчивые, распространенные настроения. При том, что интеллектуальный истеблишмент его либо просто не замечает, либо трактует как новые (забытые старые) культурные игры, в итоге ведущие все-таки к благой цели: способные, например, обновить «кровь искусства». У этого течения нет самоназвания, и я бы выбрал для него: «правая контркультура». Здесь оба слова влияют друг на друга, существенно меняя смысл, лишая, например, слово «правая» его парламентских значений, поскольку речь идет именно об андерграундном, контркультурном бытовании; а «контркультуру» — большинства обычных левацких ассоциаций, крепко прилипших к слову в шестидесятые. Вообще «правая контркультура» стоит скорее в оппозиции к «левой» (ну и, конечно, к массовой, телевизионной культуре оболванивания), нежели к «большому» европейскому культурному наследию. Хотя между контркультурными правыми и культурной Европой лежит на полполя камень непрестанного преткновения: христианство.

Два главных для контркультурных правых вопроса:

вопрос традиции (в геноновском смысле, но не обязательно в значении собственно геноновской «великой традиции»);

и вопрос о негосударственном насилии, раскрывающийся в метафизику насилия вообще, любого.

Вот интонация отношения «внутри» андерграунда: «Мы, конечно, не разделяем политические взгляды музыканта имярек, однако это не мешает нам наслаждаться его звукотворчеством и признавать его гением». Имярек посмеивается: мол, вряд ли они имеют адекватное представление о моих политических взглядах. И верно — вряд ли. Мне, например, потребовалось время, чтобы разобраться: в привычном для западного мира смысле у контркультурных правых (прямой фашизм и сатанизм представляют здесь крайний предел или передовую линию — с какой стороны посмотреть) просто нет политических стремлений и позиции. Они не собираются бороться за места в парламентах, создавать оппозиции, бойкотировать правительства, а затем сидеть обсуждать бюджет и закон о запрете курения на рабочих местах. Эти общественные забавы отвергаются вместе с обществом. Они были бы, пожалуй, не прочь распалить мировой пожар, но с тотальностью, недоступной никакой революции, преследующей хотя бы внешне рациональные цели. Они не ищут «масс», на которые можно было бы опереться, потому что их идеология крайне индивидуалистична, сами понятия «масс» и «классов» в ней отсутствуют, а расширяется индивидуальность только до «родов» и «племен»; на заднем плане мелькают «нации» и «расы», но не очень убедительно, ибо «нацию» очень легко редуцировать до «племени» (ср. антиглобалистскую концепцию «ста флагов Европы»). Потому-то глаз приличного, «культурного» интеллектуала скользит здесь не останавливаясь, не цепляясь. Ибо интеллектуал читает газеты, где написано о выборах в парламент, оппозиции, бюджете и запрете курения, об исламских террористах и даже о революции — где-нибудь в Африке, в результате которой один негр в ордене сменяет в президентском кресле другого. А на досуге листает еще глянецкий журнал про искусство, где ближе к началу благообразный исполнитель Вивальди со скрипочкой в обнимку, а ближе к концу — «ужасный» авангардист и

завсегда светских раутов, рисующий на стенах слоновьими какашками (я это не придумал, читал). И от такого чтения, год за годом, начинает интеллектуалу казаться, что мир, состоящий исключительно из подобных сущностей, накрепко, навсегда расчислен, снабжен по любому, даже трагическому, поводу обязательно внятными для него, интеллектуала, причинами, объяснениями, только до времени, может быть, скрытыми, удобно расположен между слоновьими какашками и бюджетом. Что только движение знакомых вещей способно производить в мире значительные изменения. Вот какой-нибудь Хайдер в Австрии — тут все как полагается: парламент, экономика, национальный вопрос, — недаром «высоколобая» Европа в полном составе встала на рога. Но стоит выбраться из купленных-перекупленных, заведомо тенденциозных газетных страниц, полистать, например, в Интернете сайты, посвященные постиндустриальной музыке, или сатанинские сетевые издания, или радикальную пропаганду — в расчисленности мира возникают сомнения. Мне-то представляется, что не слабость контркультурных правых в как бы отсутствии у них политического оформления, а, напротив, — сила. Отнюдь не мало людей, больше не усматривающих в «традиционных» формах политической деятельности неких неотменимых, единственно возможных, возникших эволюционно общественных механизмов, без которых сразу — всё, хаос, обвал, кранты, никак не просуществовать. Наоборот, политические игры и механизмы выглядят в их глазах полностью себя скомпрометировавшими, импотентными, не способными приводить ни к каким истинным результатам и осуществлять чьи бы то ни было интересы, кроме интереса малого числа политиков и денежных людей, непосредственно в механизмах этих задействованных. Вызывает расположение уже сам по себе отказ контркультурных правых вступать в это известное вещество.

Излишне, думаю, говорить, что все это — не про Россию. Российский национал-фашизм, конечно, представляет опасность, и не только для ЛКН, которых бритоголовые молотят на рынках. И русские сатанисты, собирающиеся в глухом лесу, чтобы целовать под хвост козла, сведенного с огорода у бабы Клады, опасны не только для монахов и младенцев, которых, нацеловавшись, отправляются в ритуальных целях резать. Но в России как-то вообще все опасно, и ты не можешь быть уверен, что сосед, с которым мирно прожил бок о бок двадцать лет, на двадцать первый не уколошит тебя национальным инструментом — топором. На общем фоне, честно сказать, ни наши фашисты, ни наши сатанисты особенно не выделяются — они остаются вполне на среднем уровне глупости, а действия их, по сравнению с действиями обычных уголовников, покрытых отнюдь не сатанинскими пентаграммами, а синими крестами, какой-нибудь отдельной жестокостью не поражают. В большом русском болоте (это я не плюнуть пытаюсь в свою многострадальную родину, а вспоминаю выставленную в Русском музее картину Саврасова — «Закат над болотом» — лучший, на мой взгляд, живописный и метафизический образ России) и злое и благое тонет одинаково мерно.

А то ли дело в Норвегии, где неосатанизм впервые полыхнул всерьез. «Тяжелые» музыканты, «металлисты» издавна заигрывали с брутальностью, кровью, демонизмом и трюпадеством. Однако здесь по рок-н-рольному обычаю принято было спешно расшаркиваться и разяснять, что все это — только карнавные костюмы, а на самом деле металлисты любят традиционный секс, пиво, деньги и телевизор — и вообще они лучшие друзья всех людей доброй воли. Возможно, так оно и было. Некоторое подозрение, правда, вызывали персонажи совсем уже зашкалившие, выпускавшие на сцене свинячьи кишки из распоротых манекенов, — их выступления и продажу альбомов даже кое-где запретили. Но в целом — мало кто (кроме русских почвенников) относился к металлистам сколько-нибудь серьезно. И вдруг — на тебе: убийства, самоубийства, поджоги церквей, громкие судебные процессы, сжимающие сердце добропорядочного норвега в холодном кулаке ужаса. Поклонники сатаны, чьим идентификатором стал *black-metal*, тяжелая музыка определенного извода (участвовали в этих делах и собственно музыканты), перешли к чаемому всеми контркультурными правыми «прямому действию». И не в Вавилоне — Нью-Йорке, не в столице заново формируемой в западном созна-

нии империи зла — Москве, даже не в Париже с Берлином. Мне, честно говоря, просто трудно вообразить, где в малонаселенной Норвегии злым сатанистам удалось окопаться и возрасти. Эту историю я рассказываю в ответ на сомнения по поводу жизнеспособности контркультурных правых и возможности их воздействия на ход событий в мире. Существует много факторов, спрятанных в глубине, способных проявляться отнюдь не там и не в том, где мы предполагаем.

«Приятно увидеть людей, которые не лицемерят в своем поведении», — сказал по поводу норвежских сатанистов Майкл Мойнихан — это альбом его проекта «Blood Axis» (странное название, что-то вроде «Ось крови» с аллюзиями на внешнюю политику Третьего рейха) стал поводом для настоящих заметок. О норвежском *black-metal* Мойнихан написал целую книгу-исследование.

Но в музыке типа *black-metal* хотя бы ясен экспрессивный код — прямо, агрессивно, неблагозвучно низкий, как бы уже нечеловеческий рев вместо пения. Тексты — кстати, не всегда глупые — с большим количеством разной нордической символики: змеи-вороны, всяческие битвы и, разумеется, «господин-повелитель».

Постиндустриальная музыка, предоставившая средства выражения правой контркультуре, расширяется отнюдь не так легко.

То есть она точно не оправдывает ожидания тех рейхофилов, у кого понятие «фашистский» строго связано со звучаниями гитлеровских маршей¹. Да и вообще — опять-таки в отличие от русского — действительно современный фашизм мало напоминает хрестоматийный гитлеровский, разве что приверженностью к кожаной одежде и галифе, в чем тоже есть смысл — о нем позже. Например, Мойнихан с уважением отзывается о гитлеровских инициативах, особенно в отношении холокоста, — однако без выраженной расовой подоплеки. Ибо для гитлеровцев расовая теория, в сущности, являлась способом телеологического оправдания массовых истреблений. А современному Мойнихану оправдания не нужны, потому что уничтожение множества ни в чем не повинных людей, с его точки зрения, отнюдь не обязательно должно оцениваться негативно. Мойнихан старается не сливаться с «формальным» сатанизмом, но ненависть к наличному человечеству — главная черта последовательного сатанизма — присуща ему в полной мере. Гитлер, конечно, относится к числу важных (так и тянет написать — «культовых») для нынешних фашистов персонажей, однако стоит в их пантеоне вместе с такими фигурами, что, наверное, ворочается в гробу. Надо полагать, Чарльза Мэнсона и ему подобных Гитлер однозначно объявил бы выродками, порочащими расу и вообще человеческий облик, и отправил бы в газовую камеру вне очереди. Кстати, посвящен последний альбом «Blood Axis» самому упадническому напитку — абсенту, а тексты на альбоме — из английских декадентов. Только вообразите: Гитлер — и декаденты!

Мойнихан сказал однажды: «Я определенно хотел бы жить в месте, в котором присутствовали бы мои корни, и с удовольствием предпочел бы такую жизнь той, лишенной всякого смысла, мультикультурной скороварке, которую мы имеем на сегодняшний день». Это и в музыкальном плане вполне определяет позицию «правой» музыки по отношению к почти уже официозному политкорректному мультикультурализму.

Понятно, что важнейшим качеством рок-музыки, по крайней мере поначалу, был ее бунтарский характер. В золотой юности она впитала в себя и хиппианскую проповедь всеобщего братства и любви, и что-то такое расплывчато-христианское,

¹ Ух какой замечательный юношеский я слышал однажды — а мне переводили. Это песня, которую поют отправившиеся в туристический пеший поход из Баварии, наверное, в Австрию немецкие школьники. И пока они движутся по родным горам-долам — все хорошо: цветочки правильные, птички щебечут в строгом идеологическом соответствии. Но стоит пересечь государственную границу — школьники чувствуют онтическое неудобство и хором сетуют в том же темпоритме: «Жаль, что кончилась Германия!» Вот это, я понимаю, патриотизм! Только за чем, спрашивается, так далеко ходили-то?

и троцкистско-маоистские идеи шестьдесят восьмого года, и веселые идеи сексуальной революции. Насилие, даже индивидуальное насилие, тут не вовсе отвергалось, имелись свои радикалы, — но рассматривалось лишь как средство борьбы с прогнившим буржуазным миром за ту или иную свободу (концептуально, может, и нет большой разницы с крайне правой точкой зрения на предмет: дозволенность насилия именно ради свободы такой дозволенности; но в реальности, исторически, по всем культурным признакам, левые находились на другом полюсе). Берет Че Гевары гордо реял над волосатыми массами в облаках канабисного дыма; не быть бунтарем, революционером (хотя бы сексуальным) у продвинутой молодежи считалось так же позорно, как сегодня — не иметь мобильного телефона.

Собственно, едва ли не единственной группой конца шестидесятых, державшей правых (но тоже отнюдь не консервативных) идей, был американский ансамбль «Changes». Особенно подчеркивалась его одиночество тем, что действовали «Changes» на ниве фолк-рока, пели баллады под акустические гитары, а этот «текстовый» стиль был промаркирован в целом такими патентованными леваками, как Боб Дилан, Джоан Бааз и множество еще других, масштабом поменьше.

Тем не менее совсем чужими на празднике жизни психоделической эпохи «Changes» себя не ощущали. Потому что была у эпохи своя «зона тени». Это разного рода религиозные, оккультные, языческие течения и организации, зачастую весьма неприятные на взгляд нормального человека, о существовании которых теперь практически не вспоминают, потому что они не озвучили себя в рок-музыке, не включены в миф о шестидесятых и плохо согласуются с образом полихромного хиппи, вставляющего цветочек в направленное на него автоматное дуло. «Changes» выступали на соответствующих мероприятиях и принимали участие в ритуалах. К тому же лидер группы Роберт Тэйлор являлся членом военизированной организации «Minutemen», желавшей следовать традициям «вооруженного либертарианизма» американских революционеров. А когда ФБР уничтожило «Minutemen», Роберт Тэйлор прекратил музыкальную деятельность (возобновив ее, что показательно, только в наши дни — ветер меняется) и сделался центральной фигурой американского одиностического (от имени скандинавского бога Одина) движения. С самого начала правая контркультура, музыка, через которую она себя выговаривает, и оккультное язычество, сатанизм, реже — католичество специфического извода даже не то что идут рука об руку, а, по сути, представляют собой одно.

В середине семидесятых годов зарождается так называемая «индустриальная сцена» — может быть, самое интересное художественное течение последней четверти века. У индустриальной музыки (если звукотворчество индустриальщиков вообще можно назвать музыкой — хотя многие из них проявили потом недоужинный музыкальный талант и в более традиционном смысле слова) не было рок-н-рольных корней. Она пришла скорее из переживавших мощный взлет на переломе шестидесятых — семидесятых перформансов, хеппенингов, авангардного театра. Собственно, индустриальные концерты всегда оставались в большей степени импровизационным перформансом, нежели музыкальными концертами в привычном понимании. Жест имел здесь большее значение, чем конкретное звуковое воплощение. Самоназвание «индустриальная» появилось скорее случайно — футуристические идеи подражания звукам машин и производств этим артистам не были чужды, но и не исчерпывали их программы. Индустриальная музыка противопоставляла себя «музыке, основанной на блюзе и рабстве», как выразился один из зачинателей движения, известный под именем Дженезис Пи-Орридж. Занимали индустриальщиков весьма небанальные материи: например, структура и ролевая позиция высказывания, превращающие его в приказ (то есть что заставляет нас воспринимать надпись на двери «Нет выхода» именно как запрещение, а не как суицидальную подсказку). А также атрибуты говорящего, сообщающие его высказыванию власть, — вот она, фашистская форма и «надсмотрщицкие» позы². Воз-

² Однажды известный провокатор от рок-музыки (с индустриальщиками ничего общего не имевший) Фрэнк Запа приехал выступать в Западную Германию. Зал набит нонконфор-

действие на психику и поведение человека агрессивных звуковых сред. Вообще насилие, любая агрессия как элемент культурной игры (пока) и средство вывода человека из-под контроля. Контроль — ключевое для индустриальщиков слово. Общество, сложившаяся цивилизация выступают прежде всего как контролирующиеся механизмы, и чтобы избавиться от контроля, любые средства хороши (вот и такой «нефашистский» абсент с его легендарным галлюциногенным действием у Мойнихана³; тут есть и другие смыслы — абсент сейчас в большой моде, сделался едва ли не символом «классического» и «высококультурного» модернизма, с коим Мойнихан и пытается посредством темы встать вровень, да и вообще продемонстрировать свою причастность к культурному наследию, умно оберегая при этом свою злую отстраненность от утонувшей во лжи и деньгах культуры современной; кроме того, важно, что абсент не имеет сугубо левацкой маркировки, как, например, ЛСД). С насилием работали и более ранние перформеры — но это было аутонасилие: артисты на глазах у зрителей полосовали себя бритвами, протыкали иглами интимные части тела и т. п., однако присоединяться никому не предлагали. Индустриальные исполнители, напротив, стремились вызвать на себя агрессию слушателей — ибо человек, проявляющий агрессию, в этот момент контролю неподвластен, чего, собственно, и добивались. Конечно, и рок-н-ролльщикам в бурные времена доводилось выступать за металлической сеткой, чтобы ненароком не получить в лоб пивной бутылкой, запущенной поклонником; но здесь такие проявления оценивались — несколько лицемерно при явной агрессивности музыки — как неприятный побочный эффект (сейчас приблизительно в таком же тоне говорят о вандализме футбольных фанатов: спорт — он, конечно, мир, однако имеются несознательные элементы...). Индустриальщики же откровенно объявляли подобную реакцию своей целью и весьма энергично ее преследовали⁴.

Индустриальные исполнители колотят в железные листы, играют на гитарах электродрелью, используют вместо музыкальных инструментов лабораторные генераторы; учиняют умопомрачительные выступления в старых железнодорожных депо, где звуки раскопегаренных паровозов, гул станков, какие-то маршевые ритмы, выколачиваемые на пустых бочках, становятся частью общей звуковой картины. Здесь соорудили первый протосэмплер — прибор для работы с заимствованным звуком: это были несколько кассетных магнитофонов, соединенных с клавиатурой. Американец Бойд Райс, в будущем главный фашист от мира музыки (сегодня Майкл Мойнихан активно оспаривает у него это почетное звание), но — ничего не напишешь — один из самых интересных, скажем так, производителей звука и концептуального жеста в современной культуре, первым записывает на пластинку достаточно равномерный по спектру шум (то есть ассоциирующийся при восприятии именно с понятием «шум» вообще, а не с конкретным шумом того или иного механизма или природного явления). И если тогда важен был как раз жест, сам факт записи звука подобного типа, сегодня «шум», *noise* — это уже отдельный электронный стиль, в котором работают многие и у которого есть свое развитие; прошедшие двадцать лет крепко приучили слушателя-нонконформиста к специфическому раздвоенному восприятию (в какой-то мере присущему всякому звуковому минимализму): одновременно понимать, что здесь всего лишь шум, или скрежет, или примитивные попев-

мистской молодежью, приятное оживление. Выходит Заппа, один, без музыкантов, и молча вскидывает руку в фашистском приветствии. Зал притих. Заппа делает рукой снова и кричит: «Хайль!» Зал молчит. Еще раз. Раздаются отдельные «хайли» в ответ. Еще раз. Ответов уже больше. Минуты через три «хайль» вместе с Заппой радостно выкрикивает и машет руками весь зал, очевидно, принимая это за веселую игру. «Вот подозревал я, что вы как были свиньи, так и остались, — сказал Заппа в микрофон. — А теперь убедился в этом воочию. И играть я для вас не буду». И ушел. И не выступал.

³ Честно говоря, человеку, регулярно покупавшему в девяносто первом году с рук на Белорусском вокзале схожий цветом сорокаградусный напиток «Тархунный» (являвший собою, судя по всему, эссенцию, из которой готовится известная газировка), абсент представляется надувным чудовищем.

⁴ Наставшим с некоторым опозданием моментом истины индустриальной музыки можно считать вот какое событие: в восемьдесят пятом году диктор официального словенского телевидения заявил в эфире, что таких людей, как музыканты словенской группы «Laibach», необходимо просто убивать. Это, конечно, был ранний и суровый «Laibach», еще не ставший широко известным благодаря переработкам популярных песен.

ки, — но и, балансируя между автоматизмом и осознанностью, слыша — не слыша, включаясь — выключаясь, получать удовольствие от этого баланса. Кстати, исполнители, занятые электронным шумом, чаще других декларируют свой интерес к садомазохизму, который как альтернативное поведение входил в моду приблизительно в то же время, когда создавалась «индустриальная сцена», — это к теме насилия. Бойду Райсу вообще не откажешь в изобретательности. Он придумал закольцовывать на своих дисках дорожки (то есть игла проигрывателя могла бесконечно бежать по одному и тому же маршруту), он выпускал пластинки с большим центральным отверстием, которые невозможно отцентровать, чтобы «не било», или с нормальными отверстиями, но двумя — ставь как хочешь. Самое удивительное, что все это полуприкольное-полубезумное звуковое движение не вылилось, как ему вроде бы полагалось, в совершеннейший и бесструктурный гром, крик, хаос и сумятицу, напротив, у исполнителей все сильнее проявлялось стремление к методам пусть и необычным — но все же именно методами организации своих радикальных и агрессивных звучаний в некие цельности, структуры, произведения (хотя над этим устаревшим словом сами индустриальщики хохотали бы во все горло). По идее, пластинки, записанные в ранний индустриальный период, слушать сегодня должно быть невозможно. А на деле — интересно.

Кроме того, индустриальщики замахнулись на святая святых — систему распространения информации. Для нормального артиста СМИ — это данность, некие предсуществующие божества, необходимо научиться прилаживаться к ним, чтобы они обратили на тебя благосклонное внимание и сделали тебе имя — тогда потом имя начнет работать на тебя. Индустриальные артисты так неподдельно ненавидели общество, что старались с ним вовсе не соприкоснуться, тем более с самой прокаженной его частью, и никаких общественных богов, разумеется, не признавали. Говорят, однажды Бойд Райс появился в телешоу у какого-то популярного евангелического проповедника — и тут же превратил шоу в собственную проповедь чело-веконенавистничества, насилия и сатанизма. Зато индустриальные деятели прилагали немалые усилия для создания собственной, автономной информационной сферы — причем доходили здесь не только до газет-журналов, но даже запускали в эфир альтернативные телевизионные каналы (продержавшиеся, впрочем, недолго), а также создавали разного рода «церкви» с более-менее жесткой организацией. Таким же полным отчуждением характеризуются отношения этих артистов с музыкальным бизнесом. Они не выпускают альбомов на крупных звукозаписывающих фирмах и по большей части даже не продают их в «общих» музыкальных магазинах. У них собственные издательства, система распространения — все свое.

В начале восьмидесятых «классический» *industrial* был признан исчерпавшим себя — стремление музыкантов к менее абстрактным формам перевело стрелки музыкального циферблата на новый, «постиндустриальный» час. Исполнители резко меняют манеру, причем многие — весьма неожиданным образом, и после электродрелей и генераторов переходят, например, к песням под гитару, или электрогитарной музыке в духе жесткого постпанка, или к совершеннейшей — по крайней мере внешне — поп-музыке. Но при всем многообразии стилистик у постиндустриальных музыкантов сохраняется много общего во внемузыкальной сфере. В первых, достаточно тесные личные контакты, сложившиеся в этой изолированной от прочего музыкального мира и даже от прочего андерграунда среде. Далее — как уже не раз говорилось — полное неприятие существующего общества, стремление к пересмотру вроде бы самых незыблемых основ современной цивилизации; в той или иной степени проявленное чело-веконенавистничество (в максимальной степени — у сатанистов, отрицающих заодно и природу, и весь мир — в гностическом духе; в меньшей — например, у единистов, которые природу, сотворенный мир, напротив, уважают, а вот человечество в нынешнем виде тоже вызывает у них большие сомнения⁵). Еще — идеальный проект «мистического, анархического цар-

⁵ Не могу не вспомнить очень уж подходящий к случаю анекдот. Сидит в песочнице девочка лет пяти и методично выдирает шерстку у визжащего у нее на коленях щенка. Подходит дядя и возмущается: девочка, что же ты делаешь, разве ты не любишь животных? Девочка поднимает на него тяжелый взгляд и задумчиво произносит: «Да я вообще-то и людей не очень...»

ства, управляемого иерархией семейной, национальной и расовой традиции, наложенной на постоянную революционную переоценку ценностей» (Роберт Тэйлор). (Опять-таки, в крайнем случае сатанизма речь идет об абсолютно индивидуалистическом мире, где человек уже стал сам себе богом и строит мир под себя — отметим, что с таких позиций насквозь сатанинскими получаются виртуальная реальность и Интернет.) Почти обязательна (за исключением упоминавшихся и немногочисленных на общем фоне специфических католиков) жесткая антихристианская позиция, причем христианство представляется не опасной силой, с которой необходимо бороться, а устаревшим, импотентным, да и изначально совершенно искусственно перенесенным на чужую почву учением, а его многовековое господство — исторической случайностью. Ну и общий интерес к Северной Европе, признаваемой единственной (во всяком случае, единственно значимой) колыбелью культуры, а то и самого бытия.

В целом постиндустриальная музыка располагается стилистически между двумя полюсами. На одном — акустические баллады, тут самый яркий представитель — Дэвид Тибет с группой «Current 93». Католик Тибет отказывается выступать вместе со стилистически близкими язычниками из «Changes». Что, однако, не мешает ему или музыкантам его группы различным образом объединяться с декларативным сатанистом Райсом, с тем же Мойниханом или с недавно навещавшей Москву и тоже далеко не свободной от фашизоидности группой «Death In June». На другом полюсе — плотные электронные звучания, иногда уходящие почти в чистый шум, но как будто смешанный с гулом множества далеких голосов, пульсирующие, чаще крипторитмичные, нежели с откровенным ритмом, всегда очень напряженные (в отличие от электронной эмбиентной музыки, ориентированной на релаксацию), обычно выполненные «свернутыми в себя», как будто не в полную мощь раскрывшимися. Как правило, музыканты довольно вольготно плавают между полюсами, но крайние радикалы так или иначе постоянно возвращаются, словно в тонику, ко второму типу звучания. Еще посередине может располагаться эдакая неоклассика с гобоями, скрипками, средневековыми аллюзиями и чистым сопрано или мрачно-романтическая, пафосная готика. Но во всем обязательно привкус ритуала. Вообще здесь явно стараются добиться ощущения, будто музыка нарочно сдерживает себя, словно наслаждается своей утаенной силой. Потому и внешней агрессии в ней не ощущается — ей не требуется никого специально пугать. Она просто есть, но этого «есть» уже достаточно. Представьте себе некий объект из иного мира, зависший перед вашим окном. Он ничего не делает, просто висит, разве что вращается, — но вы не можете не чувствовать угрозы.

Как говорил один мой приятель — это звук, с которым рвется ткань мира. Я не встретил пока еще ни одного человека из тех, кто хоть как-то разбирается в современной музыке, на кого работы контркультурных правых не произвели впечатления. Более того — они откровенно всем нравятся. Потому что, похоже, именно в них действительно озвучил себя мир такой, каков он сегодня. Набухшие хтонические силы, стоящие при дверях, которых нынешняя «легитимная» культура либо вовсе не замечает, замкнувшись на сексуально-психологических проблемах, выдаваемых за экзистенциальные, либо снисходительно отмахивается: мол, произнесем политкорректное заклинание, отправим американскую армию — и черт сгинет. Цель правой контркультуры — дверь открыть. И восторженно принять то, что через нее войдет. Здесь рассчитывают на мощь и власть этого в будущем мире.

И недаром эта музыка обладает странным и сильным эффектом: если слушать ее достаточно долго, любая другая попадает под сомнение; как-то даже трудно себе представить, что можно после «Blood Axis» или «Deutsch Nepal» засунуть в плеер диск с битлами или с Рамо — зачем?

Но, может быть, речь все-таки о специфической шоковой терапии, о своего рода «черной клоунаде», посредством которой общество ставится лицом к лицу с собственным замаскированным человеконенавистничеством, демонопоклонничеством, скрытым фашизмом? Тем паче, что имеются какие-то знаки, намеки в эту

сторону. Например, в программном альбоме «Blood Axis» под названием «Проповедь бесчеловечности» (видимо, именно это «inhumanity» и дало отмашку нынешней суровой атаке на само слово «гуманизм», которую можно наблюдать на радикальных интернет-сайтах — и не только), где на лицевой стороне обложки картина Фон Штюка — некий юберменш на мрачном косматом мерине едет по грядам голых человеческих тел, — а на обратной — групповая парадная фотография какой-то современной нацистской партии в кожаных одеждах и со штандартами; где использованы известные тексты Ницше, малоизвестные Лонгфелло и голос Эзры Паунда, записанный в сумасшедшем доме; где Бах и Прокофьев опрокидываются в темный электронный эмбиент, — в самом конце откуда-то возникает, коротким росчерком, темка американского хита на все времена «I'm Singing In The Rain», в чем так и тянет усмотреть самоиронию, с образом фашиста, конечно, несовместную. А музыканты группы «Laibach» некогда объясняли свою тактику, названную ими «ретрогардизмом», как своего рода общественную психотерапию, метод излечения социума от болезней путем повторного переживания событий, в результате которых эти болезни сформировались. «Laibach» устраивали театрализованные выступления на темы истории Югославии, активно употребляя нацистскую и советскую символику. Автор одной из немногих на русском языке информативных статей об индустриальной музыке, откуда я почерпнул много существенного, Дмитрий Толмацкий⁶ заметил: «Возможно, это совпадение, но Словения, в которой действовали „Laibach” и в которой к концу 80-х они и их последователи, сформировавшие движение „Neu Slovenische Kunst” (NSK), получили широкую известность, стала, наравне с Македонией, республикой, мирно отделившейся от Югославии и не принимавшей участия в гражданской войне».

Итак, я захожу кому-нибудь из знакомых «Blood Axis», а потом рассказываю о человеке, который эту музыку сделал. Я гарантированно слышу в ответ — не может быть, тут какая-то подстава, маска, это они не всерьез. Я думаю, здесь дело не в том, что хочется оправдать музыканта, дело в себе. Читая, например, уже приведенное в этом тексте высказывание Мойнихана о холокосте, я должен бы испытать приступ гнева и негодования, а испытываю недоумение, позиция Мойнихана прежде всего обескураживает меня и обезоруживает. Потому что я вообще не способен почувствовать горящего, наладить хоть какой-то контакт, не за что уцепиться. И помимо воли воспринимаю его суждения словно коаны, темные, бессмысленные, — и уже мерещится, что они предназначены будить во мне новое, небывалое мировидение...

Имеет ли тут вообще смысл вопрос о «натуральности» и «сымитированности» позиции, о маске и лице? Правая контркультура выбрала такие методы действия и такое расположение относительно мира, что маска была обречена к лицу прирасти. Вот ты художник, недовольный обществом, ты ищешь средства его как можно сильнее, глубже потрясти, шокировать. Но чего ты хочешь добиться? Чтобы общество оглянулось на тебя и хором воскликнуло: ах да, поступало плохо, теперь исправлюсь, чтобы твоим требованиям соответствовать? Не будет ведь этого.

Полвека назад — еще можно было бы надеяться, однако с той поры культура странным образом развивалась в направлении самодискредитации и весьма помогла заинтересованным силам вытравить самую мысль о том, что можно откуда-нибудь «извне» влиять на сферы политики и экономики, представленные как чуть ли не религиозные действия, требующие чуть ли не эзотерических знаний (давайте вместе вспомним экономистов эпохи перестройки и дружно посмеемся!), посредством которых только и двигаются рычаги мира, — а что там бормочет какой-нибудь лабух или писака, это может быть забавно, но к серьезным-то делам, конечно, отношения не имеет... Критиковать общество — пустая задача, имитация действия. Либо ты заранее с ним и всего лишь ищешь путей выгодного для себя

⁶ Дмитрий Толмацкий, «Industrial Culture Extended FAQ» на <http://rwc dax.here.ru/>

примирения, после того как немного пощекотал ему нервы (так в меру непутевые дети возвращаются под родительское крыло), либо уж веди свое отрицание, противостояние до логического конца — до сомнения в самых основаниях даже не общественной системы, а всей сложившейся цивилизации. И совершенно ниоткуда не следует, что проходить такой пересмотр будет в рамках расхожего гуманизма и уважения к правам человека.

«Когда устранили великое дао, появились „человеколюбие” и „справедливость”» («Дао дэ цзин»).

Современная нефилармоническая музыка, весьма консервативная в ядре, на краях быстро и чутко реагирует на глубинные изменения, теллурические течения в социуме. Музыка правой контркультуры сегодня, пожалуй, самая серьезная в нефилармонической музыке область. Ее деятели не имеют ничего общего с массовым шоу-бизнесом (хотя многие могли бы), соответственно некупаются в деньгах, но будь даже иначе, они, очевидно, не стали бы демонстрировать телекамерам свои розовые «кадиллаки» и перламутровые унитазаы на виллах. Они намеренно лимитируют тиражи своих пластинок. Их мыслительная деятельность не ограничивается сексом, деньгами, кокаином и защитой мохнатых животных — даже на андерграундном фоне они откровенно умны и куда основательней подключены к «высокой» мировой культуре, нежели подавляющее большинство рок- или поп-музыкантов. Судебные процессы они ведут не по разделу имущества с бывшими женами, а с правительством США, дабы отсудить у индейцев, которым по закону принадлежат любые археологические находки в Америке, новонайденные останки древнего человека и доказать, путем анализа ДНК, его евразийское происхождение. Они обладают такой заинтересованностью в осмысленности жизни, до какой почти никто не поднимается, — и очень активно ищут ее в той стороне, где она им мерещится (и еще очень большой вопрос, а сохранилась ли вообще какая-то другая сторона). Наконец, музыка их многопланова, непроста, затягивает в себя, дает пищу уму — о многом ли в современной музыке можно сказать такое? И давайте на мгновение забудем про фашистскую форму и высказывания о холокосте — получаются, откуда ни глянь, в высшей степени привлекательные персонажи, с несомненно удавшейся эстетической системой. Вот это и есть настоящая провокация. Так провоцируют строить картину мира, в которой должно найтись место и неперечеркнутому холокосту, приглашают, доказывают — смотрите, ведь у нас получилось, и еще как получилось, и отнюдь не хаос бесструктурный, бескультурный, с животным бессловесным ревом, как вас всегда пугали...

Говорящие из телевизора головы, с недюжинным культурологическим и публицистическим запалом, считающиеся сегодня интеллектуальной элитой, умудрились за болтовней просмотреть пресловутый «мусульманский вызов», а едва заметили его — тут же подняли лапки, расписавшись в полной потере уважения к своим культурным корням, начисто съеденным политкорректностью — идеологией дезертиров и предателей, постоянной сдачи чему ни попадя. Никого не нашлось, кто смог бы вовремя произнести *noli turbare circulos meos!* — от имени европейской культурной памяти. Новый зреющий вызов им уж точно не по зубам — потому что не определяется в привычных для политического дискурса понятиях и чертежах не трогает, напротив, как будто оберегает, да почти никого пока еще и не убили — с чем бороться? Но для того, чтобы почувствовать масштабы влияния на умы, скажем, главного американского сатаниста Антона ЛаВея, достаточно лишь набрать это имя — даже по-русски — в окошке интернетной искалки. И совсем не исключено, что двадцать лет спустя очень важную роль в устройстве мира будут играть силы, о которых большинство из нас пока даже не подозревает.

Если больному льву ничто не приносит облегчения,
единственное лекарство для него — съесть обезьяну.

Элиан.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

По «траектории Грасса» — в немецком и русском Интернете: о виртуальном бытии Сталина и Гитлера, о лагерной памяти и о новейшей разновидности молодых «романтиков войны», грозящихся переписать историю

В художественном строе романа Гюнтера Грасса «Траектория краба»¹ значительную роль играет образ немецкого Интернета как информационного пространства, не обремененного «политкорректностью», и потому идеального инструмента для возрождения и пропаганды нацистской идеологии. Русскоязычному пользователю Интернета не нужно слишком сильно напрягаться, чтобы понять, какая реальность стоит за этим образом. Приобретая статус одного из самых влиятельных сегодня информационных пространств, Интернет сохраняет в стилистике и идеологическом наполнении разрыв между традиционными СМИ (в первую очередь газетами и телевидением) и, так сказать, эксклюзивно интернетовским информационным пространством. Цензуры нет — или почти нет — и в газетах, и в Интернете. Но в газетах, скажем, осталась редаKTура. Там как минимум отцеживается лексика, там есть некая ориентация на политкорректность и на ответственность высказывания. В Интернете же, особенно на форумах или на личных страницах, — ничем не стесненная свобода слова, идеологическая, лексическая, тематическая. «Безязыкая улица» обрела свой язык. Здесь люди не стесняются быть тем, что они есть или чем хотели бы быть. Более того, крутизна лексическая и разухабистость идеологическая становятся чуть ли не метой нынешних «молодых интеллектуалов», вопросом престижа. На это провоцирует, особенно на форумах, возможность высказываться анонимно. В последние два-три года началось активное взаимодействие традиционных СМИ и эксклюзивно интернетовских страниц. И ситуация, когда один и тот же автор (скажем, публицист или культуролог) выступает в относительно респектабельном виде на страницах традиционных СМИ и одновременно выстраивает свой имидж «крутого» на личной странице в Интернете, — уже не кажется чем-то неслыханным. Эта ситуация выглядит пока еще чем-то вроде кукиша в кармане, чем-то вроде снисходительной усмешки над уже обреченными правилами политкорректности. Но кукиш скоро из кармана вынут — газетная стилистика все больше начинает смещаться по направлению к «эксклюзивно интернетовской».

Иными словами, без обращения к эксклюзивно интернетовскому пространству для замера нынешних умонастроений уже не обойтись.

Вот этот эффект противостояния «традиционного» культурного пространства и интернетовского (в данном случае — неонацистского) включен Грассом в контекст противостояния поколений. Герой-повествователь возникает здесь как представитель «традиционной» культуры, а его сын-нацист — как человек интернет-поколения. При более внимательном рассмотрении можно говорить и еще об одной оппозиции в романе, связанном с «интернетовским мотивом», — сознания и под-сознания героя «Траектории краба». Всю жизнь декларировавший свое отвращение к нацистскому прошлому Германии, герой сам включается в работу с прошлым и в итоге обнаруживает, что, выговорив вслух то, что лежало, так сказать, на дне его сознания, он оказался неожиданно чуть ли не единомышленником вроде бы ненавистных ему нацистов-интернетчиков.

...Дочитав роман Грасса, я, естественно, отправился в Интернет для знакомства с его (романа) бытовыми подстрочниками.

Те сноски, которые содержатся в тексте Грасса, в частности, главная — <http://www.blutzeuge.de> — условны, об этом предупреждала сноска в «Иностранной литературе». Blutzeuge.de открывает рекламную страничку «Траектории краба», а единственный выход с нее — на страницу писателя Гюнтера Грасса на сервере издательства Steidl (<http://www.steidl.de/>); здесь помещены несколько эссеистских текстов Грасса и аннотация на новый роман.

¹ Рецензию на роман см. в этом номере.

Что касается представления Гюнтера Грасса в немецком Интернете, то интересующимся я бы порекомендовал страницу <http://www.goethe.de/os/hon/aut/degra.htm> Это портал Грасса в Интернете с выходом на сайты, представляющие и сами тексты Грасса, и его подробную биографию, фотографии, статьи литературных критиков о нем и о его месте в немецкой литературе.

Но в данном случае я искал материалы не о Грассе и его романе. Я последовал примеру героя романа — вбил латиницей в окошко немецкой поисковой системы MetaGer (<http://meta.rzn.uni-hannover.de/>) название корабля. Сильное впечатление производит уже само количество сайтов, посвященных трагедии «Вильгельма Густлоффа». А особо то обстоятельство, что большинство из них помещено на home pages — домашних страницах. И эти домашние мемориалы и мемориальчики сделаны тщательно и с любовью. Типичная для таких сайтов страница: <http://home.broadpark.no/~aduu/gustloff.html> — текст на черном фоне, описывающий трагедию, множество фотографий круизника и его пассажиров в разные годы (в основном в предвоенные), репродукция картины, написанной по рассказам водолазов: в синей мгле на дне разломанный остов бывшего корабля-красавца. Черный свиток с текстом и фотографиями завершается живописным изображением Скорбящей. Сайты на немецком и английском языках. Иными словами, Грасс отнюдь не первооткрыватель темы, она активно присутствовала в Интернете до появления «Трактории краба». Немецкие и англоязычные сайты, которые я смог посмотреть, посвящены были в основном трагедии судна. Материалы же о Вильгельме Густлоффе как человеке я встретил на сайте еженедельной газеты «Русская Германия». На выход книги газета (2002, № 16) откликнулась рецензией Натальи Зильбер, сосредоточившейся на документальной основе книги и закончившей представление романа упоминанием о мнении, высказанном «компетентными немецкими историками: катастрофа с „Вильгельмом Густловом” началась не в тот момент, когда по нему были выпущены советские торпеды, а гораздо раньше, когда Германия сошла с пути, намеченного еще Бисмарком: всегда быть вместе с Россией, иметь с ней единую историческую судьбу...» (http://www.rg-rb.de/2002/16/north_5.shtml). Чуть позже, в № 19, 20, «Русская Германия» вернулась к теме в очерке Якова Черкасского «„Вильгельм Густлов”: гибель легенды» — но уже в жанре, так сказать, «историко-мистическом»: «Уж слишком много тайн и загадок, трудно постижимых на рациональном уровне, сопровождало гибель лайнера...» Что касается собственно исторических оценок, то автор очерка следует за Грассом: как быть «с тысячами невинно убиенных душ? Разве они не на совести Маринеско? И не за них ли расплатился Александр Иванович своей нескладной, разбитой, неприкаянной жизнью и своей ранней мучительной смертью?». Здесь же помещено несколько фотографий, в том числе и фотография самого Вильгельма Густлоффа, очень выразительное фото, глядя на него, веришь процитированному тут же высказыванию этого человека: «Больше всех в мире я люблю свою мать и жену. Но если фюрер прикажет убить их, я это сделаю без колебаний».

Откровенно нацистских сайтов, связанных с историей «Густлоффа», в немецком Интернете я не встретил — в основном это были, повторяю, сайты мемориальные. С историей нацизма я столкнулся, поставив в поиск слово «Hitler». История нацизма представлена на сайтах не менее полно — не могу судить, с любовью к нацизму или нет, но с определенным уважением, выразившимся хотя бы в тщательности. Возникает ощущение, что во всех этих «гитлеровских» сайтах сквозит ностальгическое чувство, которое двигало их устроителями: для кого-то, видимо, — их молодость, а для большинства — некий притягательный миф о прошедшей славной эпохе. Типовой сайт, посвященный фигуре Гитлера, содержит хронику жизни и деяний, фотографии, речи, которые фюрер произносил, причем читателю предлагаются не только тексты, но и их звуковое воспроизведение. На идеологически близких сайтах приводятся биографии соратников Гитлера, нацистских организаций и институтов. Для примера — сайт Die Hitler-Jugend (HJ) (<http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/organisationen/jugend/index.html>): история гитлерюгенда, структура, идеология этой организации, а также воспоминания немцев о проведенных в ней годах; некая Урсула Сабель, скажем, описывает самые дорогие для нее моменты из прошлого («На последней открытой машине стоял Адольф Гитлер. Он

видел нашу радость и приветствовал нас поднятой рукой. Мы, дети, отвечали на его приветствие своими поднятыми руками и криками „Хайль!“»). (Технологическое отступление: поскольку я не владею немецким языком, да и английский мой более чем скромнен, то при знакомстве с немецко- и англоязычными сайтами я пользовался услугами расположенного в Интернете сайта машинного перевода «Лайкос». Очень удобно. Открыв титульную страницу (<http://translate.lycos.ru/>), кликаете в предложенном меню по надписи «Перевод WWW-страницы» и загружаете страницу <http://translate.lycos.ru/index.php?mode=url> И уже затем, вставив в специальное окошко под надписью «Укажите URL» адрес нужной вам страницы, в другом окошке обозначив, с какого языка следует сделать перевод, щелкаете по надписи «Перевести». Сервер «Лайкоса» загружает для вас искомую страницу уже в русском переводе, сохранив весь дизайн оригинала. И если далее вы будете двигаться по Интернету с помощью линков с переведенной уже для вас «Лайкосом» страницы, все остальные страницы этого или других серверов будут появляться на вашем экране в переводе на русский. Естественно, перевод будет не слишком литературный, но он вполне даст возможность ориентироваться в тексте. «Лайкос» переводит на русский язык с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, а также предлагает варианты англо-немецкого, англо-испанского, англо-французского и немецко-французского переводов. Я так подробно описываю технологию еще и для того, чтобы пояснить осторожность моих дальнейших характеристик немецких и английских сайтов — машинный перевод позволяет составить только общее впечатление, и, возможно, какие-то идеологические оттенки в их стилистике остались мне недоступны.)

Просмотрев несколько немецких сайтов, посвященных истории нацизма, я вставил в окошечко все того же поисковика «MetaGer» слово **Auschwitz** (немецкое название Освенцима). Судя по количеству ссылок, и эта сторона истории Германии представлена в Интернете достаточно основательно, упомяну хотя бы сайт **Konzentrationslager Auschwitz**.

Вернувшись в отечественный Интернет и погуляв по его сайтам, я обнаружил картину вполне сопоставимую. Функционируют несколько сайтов, посвященных Сталину. Сделаны они уже без того стилистического и интеллектуального кокетства, с которым делается, например, сайт «Ленин» — тоталитарный сталинистский пафос подается здесь в лоб, но персонажи все те же. Представляя несколько лет назад сайт «Ленин», я вынужден был цитировать Дугина как одного из его идеологов. Тот же Дугин значителен и в числе основных защитников сталинской идеи. Скажем, на сайте «За Сталина» (<http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/7231/>) выставлена его статья «Иосиф Сталин: великое „Да” бытия». Автор исходит из убеждения, что Сталин был крупнейшим евразийцем-практиком и выдающимся, ключевым деятелем мирового социализма. Прибегнув к теории итальянского социолога Вильфредо Парето и сославшись на то, «что немецкие романтики, органицисты и русские славянофилы называли „холизм” или „соборность”», автор обнаруживает в явлении Сталина присутствие некой высшей исторической необходимости, некую «важнейшую духовную, сотериологическую истину», которую утверждал Сталин практикой репрессий. Воздействие его на нашу историю автор считает исключительно благотворным.

Вслед за Дугиным на титульной странице сайта (в разделе «Сакральное») значится текст отца Д. Дудко «Из мыслей священника»: «...настало время реабилитировать Сталина. Впрочем, не его только, но само понятие государственности. Сегодня мы сами воочию можем увидеть, какое преступление есть безгосударственность и какое благо — государственность! Как ни кричат, что в советское время много погибло в лагерях, но сколько гибнет сейчас без суда и следствия, безнаказанно, неизвестно, ни в какое сравнение не идет та гибель. Весь ограбленный и обманутый народ теперь вздыхает: был бы Сталин, не было бы такой разрухи. Но эта реабилитация, так сказать, с человеческой точки зрения, а мне предстоит — с духовной, поскольку я священник».

Кроме раздела «Сакральное», есть еще разделы «Сталин как личность», «Правда о репрессиях», «Великая Отечественная» и др., ну и, разумеется, библиотека с собранием сочинений Сталина. На титуле сайта в качестве программного вывешен следу-

ющий текст: «Незадолго до смерти Иосиф Виссарионович Сталин предсказал, что на его могилу неблагодарные потомки навалят кучи мусора, но потом ветер истории их развееет. Именно сейчас, после сорока лет непрерывной лжи и клеветы, этот ветер наконец начинает дуть в полную силу. Так почувствуем же свежесть его дыхания!»

Нюхнув этот ветер в сочинения Дугина и Дудко, я заглянул на форум сайта посмотреть, чем и как дышит рядовой сталинист. Должен сразу сказать: дышит нервно. И привести какую-нибудь характерную для этого форума выдержку я просто не в состоянии. Нет, там встречаются, конечно, нейтральные словосочетания вроде «С новым годом, дорогие товарищи», но основной массив текстов состоит из плотного мата, в котором слова «суки» и «жиды» выглядят образцом политкорректности. Для специалистов по ненормативной лексике могу дать адрес (<http://webboard.land.ru/wb.htm?board=836>).

Это, можно сказать, типовой сайт отечественных сталинистов. А вообще, листая эти сталинские сайты, я не мог не вспомнить реплику героя Грасса: нет, это уже не вечно вчерашние, это — молодые, это — сегодняшние. Причем держатся они куда как активно и напористо: «...все больше и больше историков и инженеров подвергают сомнению общепризнанную историю Освенцима... убедительные свидетельства, которые они представляют, доказывают, что Освенцим не был истребительным центром и что истории о массовых убийствах в „газовых камерах“ являются мифом», — цитата с как бы православного сайта «Русское небо», разместившего у себя статью американского журналиста-историка Марка Вебера «Освенцим: мифы и факты» (<http://rus-sky.org/history/library/articles/veber.htm>).

Возрождение нацистских идей, пересмотр недавней истории идет параллельно и в немецком, и в русском Интернете, соответствующие сайты открывались примерно в одно время — вторая половина и конец 90-х годов.

Поставив в поиск «ГУЛАГ», кроме сносок я получил статистические данные: «страниц — 33 739, серверов — не менее 767». Обозреть все это я, естественно, не смогу. Я просмотрел около десятка сайтов и убедился, что сайты эти — отнюдь не дань политкорректности. В большинстве своем они сделаны людьми, которые хорошо понимают, как важно для общественной нравственности сохранить правдивую память о сталинской эпохе. Есть сайты авторские, историко-художественные, как, скажем, сайт «ГУЛАГ» с девизом «Кто старое помянет, тому — глаз вон, а кто забудет, тому — два» (<http://ieie.nsc.ru/gulag/index.html>) — география лагерей и анализ 58-й статьи, иллюстрированный воспоминаниями и рисунками Евфросиньи Керсновской.

Есть историко-документальные, и я особо должен отметить целую систему сайтов, обустроенных в Интернете обществом «Мемориал», — центральный сайт <http://www.memo.ru> и сайты региональных отделений. Центральный сайт содержит разделы «Книга памяти», «Места захоронений», «Московский мартиролог» (списки расстрелянных), «История репрессий», «История ВЧК — КГБ. Руководящие кадры. Структура. Ведомственные награды», «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР», «ОСТ: жертвы двух диктатур» и так далее. И каждый раздел имеет массу подразделов. Здесь же открыт доступ к мемуарам 179 бывших зеков.

Все это — профильные сайты. Есть множество страниц на непрофильных сайтах, скажем, страница, посвященная колымским лагерям на городском сервере города Магадана; на сайте «Колыма» (<http://www.kolyma.ru/gulag/>) в разделе «ГУЛАГ. Общая история» выставлены воспоминания Е. С. Гинзбург, А. Козлова, А. Н. Бирюкова, К. Б. Николаева (всего 18 позиций). В разделе «Трагические судьбы» — 7 позиций; в разделе «Лагерная литература» — книги Нины Вайшвиллене «Судьба и воля» и «Черные камни» Анатолия Жигулина.

Ну и, разумеется, остающийся главным в этом контексте полный «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Книга выставлена на разных сайтах, самый доступный — «Библиотека Максима Мошкова» (<http://lib.interline.ru/koi/PROZA/SOLZHENICYN/>).

Однако, поставив в поиск слово «ГУЛАГ», вы можете открыть, например, и такое: «„Архипелаг ГУЛАГ“ — римейк геббельсовской агитки»: «Многочисленные переиздания антисоветского, а в сущности, и антирусского опуса заложили основу материального благополучия автора... возникает вопрос, как мог написать

А. И. Солженицын книгу, претендующую на документальность, не имея доступа к материалам... В 1942 году немецкое издательство Франца Зегера выпустило достаточно большим тиражом книгу Кайетана Ключа „Самое величайшее рабство в мире”. Удивляют текстуральные совпадения „Архипелага ГУЛАГ” и „Величайшего рабства”... термин „литературный власовец” не содержит ничего обидного, это просто констатация факта». Ну и так далее ([http:// thewalls.boom.ru/gulag](http://thewalls.boom.ru/gulag)). Нет, это не воспроизведение какой-нибудь статьи 70-х годов из «Правды» или «Литературки» — это «Лимонка» на сайте thewalls.boom.ru/gulag

Возвращаясь к изначальной теме — взаимоотношениям с исторической памятью, которую так болезненно поставил Гюнтер Грасс, здесь необходимо затронуть еще одну ее сторону. Уже как бы не идеологическую. Отношение к истории вообще и к истории войн в частности.

Гуляя по англо- и немецкоязычному Интернету в поисках информации о «Вильгельме Густлоффе», одной из первых я открыл страницу «**A Memorial to the Wilhelm Gustloff by Jason Pipes**» (<http://www.feldgrau.com/wilhelmgustloff.html>). Все как и обычно — фотографии, краткая история корабля, подробности трагедии, поминальные слова и венок в финале. Оставив корневую часть адреса этой страницы, я зашел на титульную страницу персонального сайта Джейсона Пайпса «**Feldgrau.com — research on the German armed forces 1918-1945**». Это сайт для всех, интересующихся историей немецкой армии 1919 — 1945 годов: форма, оружие, история полков, соединений, военно-морской флот, корабли, войска СС, вспомогательные военные организации, иностранные добровольцы и т. д. На первой же странице особо оговаривается: сайт сугубо исторический («nonpolitical»). В принципе, нормальный, видимо, сайт, я ходил по его страницам и, насколько позволяли возможности, ничего «фашистского» не обнаружил. Может, и есть в выставленных здесь материалах историков-любителей и профессионалов ностальгическая нотка по славным временам нацизма, но в целом — как бы нормальное дело: изучение истории.

Неожиданное продолжение эта тема получила у меня после того, как я поставил на поиск в Яндекс «Gustloff» и оказался на странице с текстом календаря немецкого воина времен Второй мировой войны. Так я попал на московский военно-исторический сайт «**OSTFRONT**» (www.ostfront.ru). Создан сайт силами военно-исторического клуба «22-й пехотный полк». Клуб объединяет интересующихся Второй мировой войной, точнее, немецкой военной историей: «В группу „22-й пехотный полк” входят люди, по-настоящему увлеченные историей и исторической реконструкцией. На нашей странице нет политических оценок и призывов к возрождению фашизма. Мы не стремимся переписать историю, мы принимаем ее как она есть. Что такое „Историческая реконструкция”? Это воссоздание с помощью одежды, предметов обихода, продуктов питания духа той или иной исторической эпохи или исторического события. По сути, это действие, которое погружает в историю, чтобы почувствовать, как все происходило на самом деле». И еще цитата: «Мы очень хорошо знаем, что война страшна и как важно сохранение истории о ней. На мой взгляд, наш главный изъян в том, что мы немного идеализируем войну. Но мы были и остаемся романтиками».

Не думаю, что эти молодые люди — обязательно нацисты. Скорей всего, действительно играют. И похоже, слова «Вермахт», «Третий рейх» и т. п. для них уже ничем не отягощены. Просто такой немного инфантильный жанр «военных приключений», чуть приперченный нацистской символикой, формой, оружием. Так же как играют их «лучшие друзья и достойнейшие „противники” из Московского военно-исторического клуба реконструкции Красной Армии» с сайта RKKK.MSK.RU (Хотя некоторые высказывания «остфронтовцев» заставляют усомниться в их абсолютной деполитизированности: «Почему по Москве могут свободно ходить люди в белогвардейской форме или напыщенные казачки, увешанные своими орденами и побрякушками? А если человек в знак уважения наденет форму Русской Освободительной Армии, то его просто распнут как предателя?»; «...к концу войны... общая численность восточных добровольцев, сражающихся на стороне Германии, было 1,2 миллиона человек».)

Здесь же, на сайте «Остфронта», помещена страница «Независимого общественного неполитического исторического портала [LIVING HISTORY.RU](http://LIVING.HISTORY.RU)»: «Про-

ект подразумевает содружество сайтов, объединенных общим интересом к истории, реконструкции и военно-патриотическим играм». В означенное содружество входят кроме самого «OSTFRONTa» и «Истории Красной Армии» сайты: «www.cavalry.ru — война во Вьетнаме и войны периода „холодной“»; www.monino.ru — музей ВВС; www.budenneyi.ru — страница Семена Буденного; www.borodino.ru — Музей войны 1812 года; www.platoon.ru — интернет-магазин униформы и аукцион; www.militmag.ru — военно-исторический журнал „Военная иллюстрация” и т. д.».

Играют везде примерно одинаково. Скажем, на сайте Военно-исторического страйкбол-клуба «The First Team» (<http://www.cavalry.ru/>) изучают вооружение, обмундирование, знаки отличия и т. п. американской армии времен войны с Вьетнамом. Но, как признаются члены клуба, для них «мало изучить интересующий нас период, собрать униформу, экипировку, оружие и документы. Гораздо интереснее, и у нас с успехом это получается, все это надеть на себя, вооружиться „почти настоящей” винтовкой М-16, запастись палатками и продовольствием и окунуться в мир джунглей, болот, насекомых — словом, познать насколько можно близко мир, быт и ад Вьетнамской войны».

Программа сайта «The First Team» заявлена в стиле игривой телерекламы «Хочешь?»:

«Хочешь?!

Утонуть по пояс в болоте и быть изъеденным москитами?!

Почувствовать запах напалма и вкус песка на зубах?!

Познать грусть поражения и упоение победой?!

Сжечь маленькую деревню Сонг-Ми?

Тогда это для тебя!»

Чем бы дитя ни тешилось, да?.. Вряд ли легко удастся объяснить этим ребятишкам, что «маленькая деревня Сонг-Ми» — это не название компьютерной игры, что за этим топонимом реально сожженные люди. И что не все из тех бравых американских парней сильно гордились впоследствии своим подвигом — во всяком случае, в поддержке антивоенных настроений США 70-х годов большую роль играли как раз вьетнамские ветераны.

И потом, эти ребята не только играют — они ставят перед собой и задачи по серьезнее: «За последние сто лет профессиональные историки переврали отечественную историю до такой степени, что пришло время нам, любителям, реконструкторам и коллекционерам вступить в борьбу за истину». О том, какие истины они преподнесут с помощью своих методов изучения истории, см. в начале нашего разговора о романе Грасса. Тут, увы, тянет повторить фразу, которой писатель завершил свой роман: «Никогда этому не будет конца. Никогда».



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



10/30. Стихи тридцатилетних. Составитель Глеб Шульпяков. М., «МК-периодика», 2002, 160 стр., 3000 экз.

Стихи Максима Амелина, Дмитрия Воденникова, Михаила Гронаса, Инги Кузнецовой, Александра Леонтьева, Андрея Полякова, Бориса Рыжого, Дмитрия Тонконогова, Санджара Янышева и Глеба Шульпякова. См. рецензию Владимира Губайловского в «Русском Журнале» от 17 января 2003 года: <http://www.russ.ru/krug/kniga>

Светлана Кедрина. Обречена любить. Стихи. М., «СИП РИА», 2002, 242 стр.

Книга избранных стихов московской поэтессы, избегавшей (на наш взгляд, напрасно) публичности (в качестве дочери Дмитрия Кедрина) и потому более известной как художник-график; «Какое счастье: дом, забор, / Ворон крикливых разговоров, / И яблоки гремят по крыше, / Как гром, ниспосланный нам свыше...».

Кристиан Крахт. 1979. Роман. Перевод с немецкого. М., «Ad Marginem», 2002, 286 стр., 3000 экз.

Роман культового немецкого писателя, приписываемого то к «поп-литературе», то к течению «нового дендизма», то к представителям «антипопа» и т. д. Энергично написанное повествование, действие которого начинается в Тегеране 1979 года в момент Иранской революции (путешествующий по Востоку герой мучается охлаждением спутника, своего бывшего любовника, оба развлекаются на вечеринке — выпивка, нацистская музыка, гашиш, кокаин; а где-то за окнами в глубине непонятного для них восточного города что-то такое происходит с участием танков и вооруженных людей). Завершается повествование в концлагере Северного Китая, куда героя привели его «духовные» поиски: похоронив в Тегеране умершего от передозировки друга, он совершает паломничество в Тибет, попадает к китайским пограничникам, а затем — в лагерь, где обретает внутренний покой, согласившись стать лагерной пылью, то есть сумев стереть из сознания все, что связывало его с прежней культурой. Крахт пишет что-то вроде романа воспитания, герой которого проживает процесс инициации «в обратном направлении» — от недоволощенности человеческого к абсолютной его развоплощенности. В послесловии переводчик романа Татьяна Баскакова разбирает переплетение в нем современных и традиционных культурных символов — привлекаются: рок-музыка и рок-поэзия, европейский миф о мистике Тибета, «онтологический анархизм», «поэтический терроризм», декадентская ветвь английской колониальной литературы и немецкий социолог Карл Мангейм, секта ассасинов и Нагорная проповедь и т. д.

Аста Пылдмяз. И меркнет свет. Перевод с эстонского Наталии Калаус, Елены Каллонен, Светлана Семенов. Таллинн, 2002, 230 стр.

Современная эстонская проза — рассказы одного из ведущих прозаиков среднего поколения. «По сути, все рассказы писательницы — о любви. Даже если ее, любви, трагически недостает. О ней, как о потерянном рае...» (из послесловия Людмилы Глушковой).

Август Стринберг. На круги своя. Повести и рассказы. Составитель Ф. Мацевич. М., «Текст», 2002, 349 стр., 3500 экз.

Август Стринберг. Серебряное озеро. Повести и рассказы. Составитель Ф. Мацевич. М., «Текст», 2002, 365 стр., 3500 экз.

Две книги в едином оформлении — фактически двухтомник избранной прозы шведского классика в переводах, выполненных для данного издания Н. Федоровой, Т. Доброницкой, С. Белокриницкой, С. Фридлянд, А. Зайцевой и М. Людковской. Часть текстов публикуется в России впервые.

Суры Корана, расставленные по мере ниспослания Пророку и переведенные с огузского наречия Чингизом Гусейновым. М., «Три квадрата», 2002, 496 стр., 800 экз.

К уже известным в России современным переводам Корана М. Н. Османова, И. Ю. Крачковского и Валерии Прохоровой добавилось еще одно переложение Корана на русский язык, отличающееся от канонического расположением сур в хронологиче-

ском порядке, а также большей, чем позволяли себе авторы научных переводов, лексической и поэтической свободой. В аннотации сказано, что Гусейнов представил на русском языке труд средневекового богослова Ибн Гасана, преданного забвению как еретик за восстановление поэтической логики Корана и перевод на огузский (тюркской группы) язык. «Ибн Гасан свидетельствует, что арабский язык следует почитать не потому, что он *священный*, как толкуют ортодоксы, а потому, что он *родной язык* пророка Мухаммеда. Язык Бога неведом нам, это *знаки и символы*, и лишь те, кто наделен особым даром и причислен Им к пророкам, обладают способностью *видеть и слышать* эти знаки и символы, как бы *переводить* их на свои родные языки, так что Коран *озвучен* Мухаммедом на арабском. А для Бога все языки, на которых говорят люди, созданные по Его образу и подобию, священны» (из «Предпослания»).

Ефим Ярошевский. Провинциальный роман. Избранные произведения. Одесса, 2002, 157 стр.

Сочинения поэта и прозаика, долгое время (70-е и 80-е годы) бывшие фактом жизни исключительно андерграундной литературной Одессы и «вышедшие в люди» — на страницы журналов «Крещатик» и «Арион» — только в 90-е. В книгу помимо романа вошли рассказы и подборка стихов.



Марк Алданов. Большая Лубянка. Составление, вступительная статья и примечания Ст. Никоненко. М., «ОЛМА-Пресс», 2002, 414 стр., 3000 экз.

Мемуарные очерки.

Вадим Вацуро. Готический роман в России. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 543 стр., 2000 экз.

Последняя книга известного филолога Вадима Эразмовича Вацуро (1935 — 2000) посвящена жанру «готической» прозы, роману «тайн и ужасов» и восприятию его русскими читателями и русскими писателями конца XVIII — первой трети XIX века.

А. В. Елпатьевский. Испанская эмиграция в СССР. Историография и источники, попытка интерпретации. Тверь, Издательство «ГЕРС», 2002, 290 стр.

Не только историографическое (как сказано в подзаголовке), но и историческое, социологическое, бытовое, психологическое исследование испанской эмиграции, построенное на анализе самых разных данных (от партийной переписки и постановлений СНК СССР, списков и анкет отдельных групп эмигрантов до их личных писем и воспоминаний). «Поведение испанских коммунистических лидеров в СССР было недостойным во всех смыслах... В то время, как они жили, окруженные всеми удобствами, и пользовались материальными привилегиями, испанская колония, состоявшая из остальных коммунистов и членов их семей, была жертвой голода, холода, туберкулеза и самого мрачного отчаяния... Особенно постыдной была позиция Пассионария и ее компании в отношении детей... которые удерживались в СССР, „чтобы воспитать их как хороших большевиков“, — поскольку, говорила Пассионария, „мы не можем вернуть их родителям превратившимися в бродяг и проститутток, ни позволить, чтобы они выехали отсюда яростными антисоветчиками“», — свидетельствует в книге Элено Саньи.

Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2001 — 2002 гг. Под редакцией М. А. Колерова. М., «Три квадрата», 2002, 880 стр., 1000 экз.

Издание составили статьи Николая Плотникова, Татьяны Резвых, Анны Резниченко, Модеста Колерова, Натальи Автономовой и других. В разделе «Публикации» — тексты листовок Гапона и «Христианского Братства Борьбы», 1905; статья Л. П. Карсавина «Церковь, личность, государство», соображения Н. С. Трубецкого по поводу статьи Карсавина, ответ Карсавина на письмо Трубецкого; дискуссия о церкви в переписке евразийцев, 1925 — 1927; из эпистолярного наследия С. Булгакова, Л. Шестова, С. Франка, П. Новгородцева, Л. Карсавина и другие материалы. В конце номера — некролог, написанный Н. В. Котрелевым, «Памяти Александра Алексеевича Носова (1953 — 2002)».

Рышард Капуцинский. Черное дерево. Перевод с польского С. Ларина. М., Издательство «МИК», 2002, 272 стр., 1000 экз.

Книга известного польского журналиста, около четверти века проработавшего корреспондентом Польского агентства печати в Африке. Взгляд европейца — хорошо информированного и многое пережившего в Африке лично — на события, свидетелем ко-

торых он стал (в частности, речь идет о начале 60-х, когда заканчивался антиколониальный процесс в Африке); на сложнейший комплекс проблем, связанных со взаимоотношениями белых и черных, а также на историю и особенности менталитета некоторых африканских народов: «...великие антропологи никогда не говорили „африканская культура” или „африканская религия”, зная, что ничего подобного не существует, что суть Африки — это ее бесконечное разнообразие», «...европейские колонизаторы под руководством Бисмарка на Берлинской конференции, деля между собой Африку, захватили около десяти тысяч королевств, федераций и безгосударственных, но суверенных племенных союзов... в границы едва лишь сорока колоний».

Перевод этой книги стал последней работой переводчика и пропагандиста польской литературы в России Сергея Ивановича Ларина (1926 — 2002). Сергей Ларин был нашим коллегой, много лет редактировал публицистику в «Новом мире» и оставил о себе память как об исключительно надежном, культурном редакторе, как об интеллигентном и глубоко порядочном человеке (и не только в редакции «Нового мира» — см. некрологи Феликса Светова «Такой красивый человек...» в журнале «Новая Польша», 2002, № 9, и Владимира Британишского «Он любил Польшу...» в газете «Литературные вести», 2002, № 63).

Е. Кацева. Мой личный военный трофей. Повесть о жизни. Вольный перевод с немецкого. М., «Радуга», 232 стр., 3000 экз.

Мемуарная проза Евгении Александровны Кацевой, многолетнего сотрудника журнала «Вопросы литературы» (а также «Нового мира», «Советской литературы» и «Знамени»), из рук которой как переводчика и составителя мы получили книги и собрания сочинений ведущих писателей Германии и Швейцарии XX века (Бертольда Брехта, Генриха Бёлля, Макса Фриша, Фридриха Дюрренматта, Гюнтера Грасса и многих других); особых усилий и многолетней работы потребовал перевод и издание полного корпуса текстов «Дневников» и «Писем к отцу» Франца Кафки, а также подготовка его сборников и собраний сочинений. В первой части книги — история жизни еврейской деревенской девочки из-под Гомеля, затем — студентки Ленинградского университета; матроса и курсантки спецрадиокурсов, готовивших радисток для работы в тылу немцев; военной переводчицы на Ленинградском фронте и, наконец, — культурофицера в советской зоне Германии с 1945 по 1949 год, откуда Кацева и привезла свой личный трофей — прекрасное знание немецкого языка и интерес к современной немецкой литературе. Эпизоды жизни, связанные с работой автора в ведущих толстых журналах, воспроизводят атмосферу редакционной Москвы с 50-х по начало 90-х годов. Вторую часть книги составили воспоминания о писателях, дружба и творческое сотрудничество с которыми во многом определили судьбу автора, — о Константине Симонове, Генрихе Бёлле, Максе Фрише, Петере Вайсе, Гюнтере Грассе, Франце Кафке. Журнальный вариант воспоминаний публиковался в «Знамени» (2002, № 1, 3). Книжное издание дополнено множеством фотографий из личного архива автора, часть которых, особенно относящихся к послевоенной Германии, уникальна.

Е. В. Маркова, В. А. Волков, А. Н. Родный, В. К. Ясный. Гулаговские тайны освоения Севера. М., 2002, 326 стр., 1000 экз.

Коллективная работа группы историков, а также бывших политзаключенных, воссоздает историю так называемой «Заполярной кочегарки» — освоения природных богатств Севера (нефть Ухты, уголь Воркуты) силами заключенных системы Ухтинско-Печорских и Воркутинских лагерей.

В. Непомнящий. Пушкин. Избранные работы 1960-х — 1990-х гг. Том I. Поэзия и судьба. М., «Жизнь и мысль», 2001, 496 стр., 20 000 экз.

В. Непомнящий. Пушкин. Избранные работы 1960-х — 1990-х гг. Том II. Пушкин. Русская картина мира. М., «Жизнь и мысль», 2001, 496 стр., 20 000 экз.

Избранные работы одного из ведущих современных пушкинистов — своеобразный итог сорокалетнего изучения жизни и творчества Пушкина. Несмотря на то, что в издании, особенно в первый том, вошли ранние работы исследователя, в целом двухтомник представляет именно сегодняшнего В. Непомнящего — для этого издания отдельные работы «заново отредактированы, а в иных местах очередной раз доработаны и дополнены».

Д. В. Ольшанский. Психология террора. Екатеринбург, «Деловая книга». М., «Академический проект», «ОППЛ», 2002, 320 стр., 3000 экз.

Исследование феномена терроризма ученым — политологом и психологом.

Сергей Чупринин. Новая Россия: мир литературы. Энциклопедический словарь-справочник. В 2-х томах. Том 1. А — Л. М., «РИПОЛ-КЛАССИК», 2002, 832 стр., 500 экз.

Завершается один из самых значительных литературных проектов прошедшего десятилетия — работа над двухтомным энциклопедическим словарем современной русской литературы в уникальном для России варианте — авторском. Издания, которое представляло бы реальную современную литературу, у нас нет. Так же как и надежды на обновленную фундаментальную литературную энциклопедию. Время не то — энциклопедии обычно создаются в ситуации устоявшейся, прошедшее же десятилетие было временем перемен (рушились традиционные литературные институты, создавались новые, кардинально менялась «карта русской литературы»). К тому же подготовка новой энциклопедии — работа тяжелая, на редкость кропотливая, требующая высокой филологической квалификации, а также широкой ориентации в современной литературе. Для выполнения такой работы необходим коллектив высококвалифицированных специалистов. Не иначе как потому всю работу по составлению энциклопедического словаря Сергей Чупринин проделал один, потратив на это несколько лет. Первый том уже вышел. На выходе из печати — второй. Словарь содержит более 25 000 словарных статей (прозаики, поэты, драматурги, критики, «организаторы литературного процесса» — журналисты, издатели, переводчики, редакторы и т. д.) — с такой полнотой современная русская литература (метрополии и зарубежья) представлена у нас впервые.

Ирина Шевеленко. Литературный путь Цветаевой. Идеология. Поэтика. Идентичность автора в контексте эпохи. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 463 стр., 2000 экз.

Литературная биография Марины Цветаевой.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Время новостей», «Государство и антропоток», «Global Rus.ru», «Дело», «День литературы», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Итоги», «iпоСМИ.Ru», «Коммунист.Ру», «Лебедь», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературный дневник», «LiveJournal», «Москва», «Московские новости», «НГ Ex libris», «НГ-Религии», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая Юность», «Новый Журнал», «Огонек», «Отечественные записки», «Подъем», «Российские вести», «Русский Журнал», «Русский Удодъ», «Смысл», «Со-Общение», «Спецназ России», «Стетоскоп», «Топос», «Трибуна», «Труд»

А рифма — «лопнул!» Анекдоты из жизни Ю. М. Лотмана. Предисловие Григория Амелина. — «Смысл». Иллюстрированный аналитический журнал. Выходит два раза в месяц. Главный редактор Сергей Старцев. 2002, «нулевой номер», 2 — 15 декабря.

«Зара, — сетовал ЮрМих, — с тобой соглашаться длиннее, чем спорить!»

Владимир Александров. Биография воображения. — «Русский Журнал», 2003, 9 января <<http://www.russ.ru/krug>>

«Воспоминания о великих — дело не из легких. Даже если отбросить два абсолютных полюса безвкусица: с одной стороны, Надежду Мандельштам, у которой на два тома всего один хороший человек, да и тот свинья в ермолке, и Ирину Одоевцеву, у которой все „холосие“, как меню кондитерской лавки, с другой стороны, и тогда золотая середина может быть не обозначена никак».

Лев Аннинский. Душа в сугробах. — «Литературная Россия», 2002, № 52, 27 декабря <<http://www.litrossia.ru>>

«Катастрофическое по фактуре самосознание [Николая] Тихонова начисто лишено отчаяния...»

Дмитрий Бавильский. Эмпирика. — «*Paslen's LiveJournal*», 2002, 15 декабря <<http://www.livejournal.com/users/paslen>>

«Нет ничего приятнее и душеполезнее чистки собственного унитаза».

Татьяна Бек. Книга стихов как единство. Неакадемические заметки. — «Литература». Еженедельная газета Издательского дома «Первое сентября». 2003, № 2, 8 — 15 января <<http://www.1september.ru>>

«Грандиозная книга Пастернака „Сестра моя — жизнь” (в ранних редакциях название печаталось без тире), имеющая подзаголовки „Лето 1917 года”, — такой же уникальный шедевр между стихотворением и поэмой...»

Андрей Битов. Сутулость в зимних спинах сограждан, или Что делает клей — клеем? — «Новая газета», 2003, № 2, 13 января <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Какая же толерантность, когда у нас „истовый” и „неистовый” — это одно слово?»

Леонид Бородин. Бесиво. Повесть. — «Москва», 2002, № 11 <<http://www.moskvam.ru>>

«...Предосенняя хмурота тошна всякому».

Хорхе Луис Борхес. Стихи и миниатюры разных лет. Перевод с испанского и вступление Андрея Щетиникова. — «Иностранная литература», 2002, № 12 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

«<...> еще и яркий поэт <...>» (из предисловия переводчика).

Питер Брайль, Роман Апокриф. С вывернутыми руками: «русский фонтаст» Иван Ефремов. Из книги «Песнь о Великом Отстое». — «Русский Удодъ». Вестник консервативного авангарда. № 18 <<http://udod.traditio.ru>>

Часть вторая — «Стать Индией!». Первую часть статьи см.: «Русский Удодъ», № 17.

См. также: **Никита Петров, Ольга Эдельман,** «„Шпионаж” и „насильственная смерть” И. А. Ефремова» — «Логос», 2002, № 2 (33) <<http://www.ruthenia.ru/logos>>

Дмитрий Быков. Дети Чехова. — «Огонек», 2002, № 50, декабрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«Пиши про Чехова, скажет мне иной злобный читатель. Нам неинтересно про тебя. Пошел к черту, скажу я такому злобному читателю, вон в журнале еще шестьдесят страниц, там про меня нет ни слова. А говорить о Чехове для советского интеллигента — значит говорить о себе <...>».

«<...> а ради денег — „Драму на охоте”. (*A propos*: ведь это первый в мировой истории детектив, где убийцей оказывается рассказчик! Агату Кристи за такие штуки — за „Убийство Роджера Экройда” — из Британской ассоциации детективщиков исключили, считая прием нарушением фундаментальных конвенций жанра. А у нас хоть бы что — „Драма...” считается проходной повестью начинающего автора и известна большинству только благодаря вальсу из фильма „Мой ласковый и нежный зверь”»).

«Была генетиком, а стала писателем». Беседу вела Наталья Анохина. — «Трибуна». Общественно-политическая газета. 2002, № 222, 18 декабря <<http://www.tribuna.ru>>

Говорит **Людмила Улицкая:** «Мне скоро шестьдесят, и я знаю, что есть молодежь, которая читает мои книги. А будут ли читать мои книги их дети, право, я об этом не задумываюсь».

Walter. Как сейчас преподают философию? — «Коммунист.Ру». Интернет-еженедельник коммунистов СНГ. 2002, № 61, 9 — 15 декабря <<http://www.comunist.ru>>

«В западной социологии это явление получило название „давящая терпимость” или „репрессивная терпимость”. <...> В этой системе „терпимого” фашизма находится место всему. Всему, кроме истины. <...> В сегодняшних условиях студентам придется бороться за право отделять истину от лжи, за право занять самостоятельную позицию, называть белое белым, а черное — черным, за право иметь цельное и последовательное мировоззрение. И эта борьба отнюдь не ограничится стенами университетов и академий».

Алексей Варламов. В седьмом круге. Заметки о современной прозе. — «Подъем», Воронеж, 2002, № 11 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>

«Убийство сделалось такой же неотъемлемой частью романного сюжета, какой в литературе прежних лет была история любви <...>».

Алексей Варламов. Убитое время. — «Литературная газета», 2003, № 1, 15 — 21 января <<http://www.lgz.ru>>

«До той поры, пока Рождество было праздником, государством не признанным, разность гражданского и церковного календарей воспринималась как вещь сама собой разумеющаяся и по-своему осмысленная, но теперь двоевременно выглядит нелепо».

См. также беседу на радио «Арсенал» **Сергея Бунтмана**, историка **Владимира Ковальджи** и ответственного редактора «НГ-Религий» **Марка Смирнова**: «Между „Старым” и „Новым” годом» — «НГ-Религии», 2003, № 1, 15 января <<http://religion.ng.ru>>

«Господи, пронеси!» Беседу вел Александр Никонов. — «Огонек», 2002, № 49, декабрь.

Говорит **Глеб Павловский**: «<...> атеизм имеет определенные очертания, это определенная философская вера, мировоззрение. А безверие — некое психологическое состояние, разновидность невроза, наверное. К атеизму я уважительно отношусь: атеизм ведет к Богу, а безверие не ведет».

Владимир Губайловский. О «Журнальном зале». — «Русский Журнал», 2002, 19 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>

«Читатель „ЖЗ” [<<http://magazines.russ.ru>>] — этот компьютерно продвинутый интеллект — очень мало похож на провинциальных пенсионеров — основных читателей литературных журналов в офлайне».

См. также беседу **Александра Левина** с Юлией Рахаевой («Известия», 2002, № 214-М, 25 ноября): «На каждом литературном сайте есть своя тусовочная иерархия, со своим локальным гением. Но я, например, во многом ориентируюсь на литературные журналы и сайт „Журнальный зал” „Русского Журнала”. Это „ценностей незыблемая скала”, пусть и не абсолютная».

Владимир Губайловский. Еще два «Гамлета». — «Русский Журнал», 2002, 30 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>

«Сюжет стихотворения [Владимира Строчкова] представляет собой протокол допроса Горация спецоперуполномоченным и комментарий последнего к показаниям свидетеля. Весь сюжет „Гамлета” укладывается в 65 строк (а не в два полноценных сценических акта, как у Акунина)».

Олег Дарк. В жанре «встречи». Из записок посетителя. — «Русский Журнал», 2002, 28 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>

«Когда слушаешь [Дмитрия] Воденникова, хочется ему отдаться, причем тут же, на усилителях, расставив ноги. Некоторые, правда, говорят, что не ему, а вообще отдаться. Через час после „вечера” желание тает. Через два — вовсе пропадает. <...> Я одинаково не сомневаюсь и в необыкновенной одаренности его, и в том, что то, что он *делает*, — не поэзия. Да и почему *поэзия* — обязательно *хорошо*? Но поэзия не может держаться одним напором соблазна, только личной сексуальной энергетикой такого рода, что заставляет прощать то чрезмерность образности, то ее тривиальность».

Ср.: «<...> даже Блок, в сущности, был уже не совсем самостоятельным поэтом-творцом, а уже, в определенном смысле, и актером-исполнителем. В русской культуре начала века тоже, на мой взгляд, имел достаточно серьезные последствия для ее дальнейшего развития», — пишет **Маруся Климова** («Топос», 2002, 25 декабря <<http://www.topos.ru>>).

См. также: **Ольга Иванова**, «Соловей в снегу: абсолютная лирика» — «Литературный дневник». Свободная трибуна профессиональных литераторов. 2002, 6 декабря <<http://www.vavilon.ru/diary/index.html>>

Олег Дарк. Ночь иудейская. — «Русский Журнал», 2002, 25 декабря <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«Все кацисовское *пословное* комментирование Манделъштама [в книге „Осип Манделъштам: мускус иудейства”] — монументальная пародия на источниковедческий анализ. <...> У [Леонида] Кациса вы наблюдаете почти захватывающее зрелище: постепенно, медленно распадается смысл на слова, представления, сведения... — и уже не собирается. Результат: некогда гениальное стихотворение становится *посредственным*. <...> Чтобы *вернуться* к гениальному стихотворению (к его гениальности), нужно забыть *этот* комментарий».

Ярослав Добролюбов. Если война послезавтра... — «Отечественные записки». Журнал для медленного чтения, 2002, № 8 <<http://magazines.russ.ru/oz>>

«<...> завтрашняя война выиграна или проиграна вчера. <...> Военная футурология — т. е. искусство сочинять красивые фантастические саги о войнах будущего — необходима именно для послезавтрашней войны». *Тема этого номера «Отечественных записок»: «Армия и военная организация государства».*

Александр Дугин. Новый интеллектуальный порядок. — «Русский Журнал», 2002, 20 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

«В России понятие „интеллектуал” точнее всего соответствует понятие „эксперт” в его нынешнем смысле — человек, берущий на себя задачу выносить синтетические и репрезентативные суждения по разным поводам. Интеллектуал — это не столько подготовка, сколько темперамент, склад характера. <...> Их достаточно в Москве, очень мало в Питере, а глубже в провинцию следы их явного присутствия теряются».

См. также: **Александр Дугин,** «Искусство смотреть телевизор. Эссе о медиакратии» — «Литературная газета», 2002, № 52, 25 — 31 декабря.

Борис Евсеев. «Частный суд, или Роман о душе». Беседу вел Аршак Тер-Маркьян. — «Литературная Россия», 2002, № 51, 20 декабря.

«Да-да, я не оговорился. Литература как таковая может вскоре и вовсе уничтожиться!»

Евгений Евтушенко. «Лучшая история России — ее литература». Беседу вел Александр Неверов. — «Труд-7», 2003, № 2, 9 января <<http://www.trud.ru>>

«Если говорить откровенно, то подстрочник „Слова [о полку...]” мне всегда нравился больше его переводов».

См. также стихи **Евгения Евтушенко:** «Неоправдываемость зла» — «Литературная газета», 2002, № 49, 11 — 17 декабря <<http://www.lgz.ru>>

«**Жизнь по законам джаза.** Беседовали Наталия Попова и Дмитрий Дмитриев. — «Российские вести», 2002, № 44, 18 — 24 декабря <<http://www.rosvesty.ru>>

Говорит прозаик **Михаил Бутов:** «„Высокие” политические понятия, такие, как „государство”, „народ”, „патриотизм”, „гражданин”, в осмысленности которых нас по старой памяти пыгаются убедить, сегодня являются пустыми понятиями, созданными СМИ. При их помощи люди, обладающие властью, деньгами и контролем над информацией, используют нас в собственных корыстных целях. С моей точки зрения, единственно возможной сегодня гражданской позицией является индивидуализм (в смысле трезвого понимания, что в жизни необходимо тебе, а что кому-то другому за твой счет и стоит ли ему это предоставлять), защита своих интересов и „незапроданность” той или иной идеологии, той или иной культурной группе. Ты можешь исповедовать эту идеологию и принадлежать к группе, но не обязан всегда поступать так, чтобы это устраивало товарищей по партии. Гражданственность литературы в том и заключается, что это одинокое занятие».

Михаил Золотоносов. Проект «Афродита». Сексуальный туризм Мишеля Уэльбека. — «Московские новости», 2002, № 49 <<http://www.mn.ru>>

«В сущности, Уэльбек — модный писатель всего лишь потому, что постоянно, умело и увлекательно щупает эту рану, возможно, не боясь выносить в роман детали собственной фрустрации от неудач с женщинами и обобщая этот опыт. Пока другие фантазируют на темы мачизма, он из романа в роман со знанием дела показывает мир как глобальную сексуальную неудачу и кризис мужской культуры, что выглядит правдоподобнее».

См. журнальный вариант нового романа **Мишеля Уэльбека** «Платформа» в переводе Ирины Радченко: «Иностранная литература», 2002, № 11 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

О предыдущем романе Мишеля Уэльбека «Элементарные частицы» («Иностранная литература», 2000, № 10) см. рецензию **Валерия Липневича:** «Новый мир», 2001, № 12.

Михаил Золотоносов. Две левые ноги. Феномен по имени Хармс в шести томах, дневнике и записных книжках. — «Московские новости», 2002, № 50.

«<...> подсознательный страх, типичный для многих дневниковых записей [Даниила Хармса], который вызывается не столько фантазией о хирурге, который отрезает другой орган, сколько действительностью в целом (противно все, что вокруг, причем это „экзистенциальное” чувство, независимое от социального контекста)».

Андрей Зорин. Скульптурный миф русской демократии. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 5 (25) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

«Объектом исторической ностальгии в данном случае является вовсе не героическая эра, когда Дзержинский расстреливал заключенных и опекал беспризорников, а куда более памятные всем времена, когда он стоял посередине площади и взирал с постамента на „Детский мир” и Политехнический музей. <...> В сущности, Дзержинский, изваянный Вучетичем, был воплощением незыблемости советского космоса, оказавшегося на поверку столь хрупким. Пока он стоял на своем посту, мир сохранял знакомые и неподвижные очертания. <...> Когда уже к вечеру [22 августа 1991] подогнанный кран оторвал памятник от постамента и потащил его к скверу у Дома художников, стало очевидно: „начальство ушло”, как некогда выразился Розанов, для России настали дни исторических перемен. Пытаясь сегодня вернуть Феликса в его давнюю вотчину, начальство хочет сообщить нам, что оно само пришло обратно и готово нас контролировать, а под революционными девяностыми подведена окончательная черта».

Ср.: «Восстановленный на месте свергнутого Дзержинский — это не реставрация, это политическая реакция, и признаемся, мы в России хотим именно реакции. Умеренной, разумной, систематической реакции — в культуре, в политике, в гражданском быту. <...> Дзержинский один из тех, кому Москва обязана возвращением статуса столицы и переездом в нее правительства России в 1918 году — подальше от параноидальной „Питерской коммуны“, с ее Кронштадтами. За одно это он заслужил памятник в восстановленной Москве. <...> Коли есть Россия, то Дзержинский — это тоже она. А вот Немцову еще предстоит это ей о себе доказать», — пишет Глеб Павловский («Выбрванное из контекста» — «Русский Журнал», 2002, 31 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>).

Святослав Каспэ. Империя под ударом. Конец дебатов о политике и культуре. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 5 (25).

Россия должна войти в *империю Запада*. «Любой другой выбор будет, во-первых, контрпродуктивен с точки зрения рационального расчета выгод и издержек, поскольку автоматически отводит России единственное место в мире — место в рядах антиимперских повстанцев, грязных и нищих, скрывающихся в смрадных подпольях и планомерно из них выкуриваемых. Во-вторых, любой другой выбор стал бы для России предательством ее собственной исторической идентичности — безусловно, христианской».

Василий Кияков. Дочь Севера. Рассказ. — «Подъем», Воронеж, 2002, № 11. Подводник и шаманка.

Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Мы празднуем не день, а событие. — «Известия», 2003, № 1-С, 5 января <<http://www.izvestia.ru>>

«Я лично против того, чтобы в Москве возводился памятник Воланду [на Патриарших прудах]. Дьявол достаточно явственно присутствует в нашей жизни и без видимого образа. Поэтому закреплять это присутствие в видимых символах неразумно. Хотя Булгаков замечательный писатель, и я за то, чтобы памятник ему в Москве был».

Илья Кормильцев. «Быть Другим». — «Завтра», 2002, № 52, 24 декабря <<http://www.zavtra.ru>>

«Русского рока больше нет, как нет панка в подлинном смысле этого смысла, как нет хиппи. <...> Пока он был Другим, он и был русским. Когда Россия грезилась иллюзиями своего пути на мейнстримовом уровне, сохранялось влияние советского наследия, была и особая музыка. Когда эта особенность разрушилась в общественном сознании, когда захотели стать как так называемый цивилизованный мир, — исчез и русский рок».

См. также: **Андрей Смирнов,** «Апология андеграунда» — «Завтра», 2003, № 1.

Константин Крылов. О накоплении пара. — «Русский Журнал», 2002, 6 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> произошедшее в „Норд-Осте“ окончательно легитимизировало — опять-таки в глазах народа — нормальные, не просто античеченские, а шире, криптонационалистические настроения. Я, конечно, считаю, что это замечательно. <...> Люди должны иметь возможность говорить о русских национальных интересах, о важнейших национальных угрозах для русских, да и просто называть своих врагов по имени. <...> Выработка языка, на котором эти вещи будут обсуждаться, является важной, насущной, я бы сказал, *первостепенной* проблемой <...>».

Константин Крылов. Альтернативы: введение в проблематику. — «Русский Удодь». Вестник консервативного авангарда. № 18 <<http://udod.traditio.ru>>

«Когда Д. Галковский сравнивал большевиков с „уэллсовскими марсианами“, он, кажется, не понимал, насколько он был прав: есть все основания полагать, что большевики (по крайней мере „посвященные“) так себя и понимали. Красная звезда в советском гербе — это, судя по всему, символ планеты Марс (нарисованный как иллюстрация к культовому в этой среде роману Богданова „Красная Звезда“»).

Константин Крылов. К философии армии. — «Отечественные записки», 2002, № 8.

«Армейский образ жизни, армейская дисциплина, армейская „технология“ — это обретение человеком способности „убивать людей и уничтожать вещи“, не сходя при этом с ума, не превращаясь окончательно в „антиобщественное животное“».

Николай Крышук. Александр Кушнер. Трагический мажор. — «Дело», Санкт-Петербург, 2002, № 258, 16 декабря <<http://www.idelo.ru>>

Говорит **Александр Кушнер:** «Что такое старость — я пока не знаю. Но возраст, мой нынешний возраст, хорош тем, что не позволяет преувеличивать мрак и отчаяние. <...>

Позволю себе привести здесь фрагмент своего стихотворения из последней книги: „Да что ж бояться так загробной пустоты? / Кто жили — умерли, и чем же лучше ты? / Не-разрешимая давно не жжет загадка, / И если спрашиваю что-то у звезды, / То не от пылкости, а только для порядка“. Мрачные ли это стихи? Наверное. Но, кроме того, надеюсь, они смелые, даже мужественные, не только перед лицом небытия, но и перед лицом некоторых читателей, предпочитающих неприменное отчаяние честному взгляду на вещи».

Валентин Курбатов. «Роман» о счастливой России. — «Москва», 2002, № 11.

«Очень жалею, что нам не удалось поговорить с Евгением Ивановичем [Носовым]. Почему-то кажется, что ему была бы близка моя давняя простодушная идея о том, чтобы, если бы литература не писала зла, оставляя его за пределами человеческого мира, числа его по категории зверя, оно не разгулялось бы так широко и „художественно“...»

Майя Кучерская. Вылетает Аленка в окно. — «Русский Журнал», 2003, 3 января <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

О сборнике «Рукописный девичий рассказ» (М., «О.Г.И.», 2002, серия «Фольклор/постфольклор»). «Недаром лучшие эпизоды рукописных [девичьих] рассказов слегка напоминают прозу Андрея Геласимова, а худшие — прозу Ирины Денежкиной».

Сергей Лесков. Спор Ньютона и Эйнштейна разрешен. — «Известия», 2003, № 7, 17 января.

Буквально: «Живому существу для устойчивости необходимы четыре ноги». Напечатано, не поверите, в приложении — «Наука».

Александр Малинкин. Культ героического в наградах СССР. — «Отечественные записки», 2002, № 8.

«<...> хочу подчеркнуть: критика культа героического в СССР не означает отрицания социальной значимости ни самого героизма, ни тем более героических поступков, совершенных советскими людьми».

Хосе Антонио Марина («*El Mundo*», Испания). Секс: тирания или счастье? Перевод Анны Гонсалес. — [inosmi.ru](http://www.inosmi.ru), 2002, 10 декабря <<http://www.inosmi.ru>>

«Нормы сексуального поведения изменились настолько быстро, что многие люди почувствовали себя обманутыми из-за того, что так долго верили в них», — считает философ Хосе Антонио Марина, автор книги «Головоломки сексуальной жизни».

Сергей Марков. Растерянный человек перед ликом любви. — «Русский Журнал», 2003, 9 января <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Отчасти Голливуд начал реабилитацию традиционной семьи. Но поскольку обычная жизнь скучновата, то семью реабилитируют парадоксальным образом: жену и мужа заставляют совершать подвиги ради друг друга — как правило, убивать кого-то, кто попытался их разлучить насильственным образом».

Ирина Машинская. Поэт как пациент. К вопросу о занимательном цветаеведении. — «Стетоскоп». Маленький журнал полезного чтения. Журнал издается при поддержке издательства «Синтаксис». Париж — Санкт-Петербург, № 32 <<http://stetoskop.narod.ru>>

«Биография всегда лжива, но некоторые биографии лживей других. Это биографии поэтов». Как пример — (плохо) переведенная с английского (смешная) книга Лили Фейлер «Марина Цветаева» (Ростов-на-Дону, 1998).

Тьерри Мейссан. А город подумал... Теракт? Катастрофа? Мистификация? — «Смысл». Иллюстрированный аналитический журнал. 2002, № 1, декабрь.

Так падал ли «боинг» на Пентагон? Небольшой фрагмент нашумевшей французской книги «11 сентября — чудовищная махинация» («*11 septembre 2001 L'Effroyable Imposture*»). Здесь же — беседа с автором, написавшим еще одну книгу — «Пентагейт» («*Pentagate*»).

Виктор Мизиано. Это больше не *entertainment*. Текст записала Юлия Наумова. — «Со-Общение», Технологический журнал для гуманитариев. 2002, № 12, декабрь <<http://www.soob.ru>>

«На мой взгляд, мир искусства как мир развлечений закончился. Это был вирус 90-х годов. Мы идем навстречу эпохе новых социальных взрывов, эпохе возрождения ценностей левой идеологии. Критический пафос художественного высказывания становится все более актуальным». Виктор Мизиано — главный редактор «Художественного журнала» <<http://www.guelman.ru/xz>>

«Моя родина — русский язык». Беседовали Наталия Попова и Дмитрий Дмитриев. — «Российские вести», 2002, № 39, 13 ноября.

Говорит прозаик Андрей Волос: «<...> мы заключены в свою замкнутую, ограниченную плоть, и все, что мы знаем о мире, мы знаем на самом деле только о себе. <...> Оказывается, тебе не больше, чем другим, — вот главное сообщение, передаваемое нам с помощью искусства».

«Мы — рискованное поколение». Беседа Сергея Шаргунова и Владимира Бондаренко. — «День литературы», 2002, № 12, декабрь <<http://www.zavtra.ru>>

«Неизвестно, стал бы я писать, если бы не родился в семье священнослужителя... <...> Самое главное, чтобы никто напрямую не связывал те смелые публицистические заявления, те раскованные тексты, которые принадлежат мне, с отцом [о. Александром Шаргуновым], строгим поборником нравственности» (С. Шаргунов).

Он же: «Чтобы повесть „Ура!“ прочел обычный пацан. Пускай он откупорит бутылку пива и откроет мою книгу. Выпьет глоток и перелистнет страницу. Важна эта народность в литературе».

См. также: Сергей Шаргунов, «Рай — это другие» — «НГ Ex libris», 2002, № 1, 16 января <<http://exlibris.ng.ru>>

Наука о человеке. Писатели о книжках и о себе, любимых! — «НГ Ex libris», 2002, № 45, 26 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>

Говорит прозаик Сергей Шаргунов: «В уходящем году я приобрел книгу Андрея Немзера „Памятные даты“. Немзер мне интересен. <...> Резкий, адекватный себе, с изощренными, но четкими мотивациями критик. От Немзера у меня такое ощущение, как будто желчь золотисто застыла на паркете — и эта желчь чарует в свете высоких люстр».

См. также: Ольга Славникова, «Книга контрабанды» — «Новый мир», 2003, № 1.

«Национальная идентичность — это принятие исторического опыта нации». Беседа вел Борис Межуев. — «Государство и антропоток». Выпуск VI. Демография <<http://www.anthropotok.archipelag.ru>>

Говорит философ Вадим Цымбурский: «Меня не интересует вариант, при котором через сто — двести лет эта [российская] территория будет заселена людьми, выпадающими из традиции, обеспечивавшей мою идентичность и идентичность моих соотечественников».

Здесь же: Егор Холмогоров, «Антропоток и структуры идентичности».

Здесь же: Константин Крылов, «Идентичность и антропоток».

И другие материалы.

Эрнст Неизвестный. «Я буду говорить о Шостаковиче». Предисловие Александра Избицера. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 303, 22 декабря <<http://www.lebed.com>>

«Из всех людей, с которыми я когда-либо встречался, единственным, к кому я могу применить прямолинейно выражение „присутствие гения“, был Шостакович. Причем это чувствовалось... ну просто так — на самом витальном, почти животном уровне».

«Он говорил [в тот раз] очень возбужденно, нервно, сбивчиво, какими-то обрывками, несвязными словами. <...> Я даже был опален, я бы сказал, неким ницшеанским пафосом, который раздавался словно по ту сторону бытия, без барьеров, без границ. Это было некое... заратустрианство, ницшеанство. Это звучало кроваво, грозно и беспредельно. И, если хотите знать, при всей аморальности этого, сказанное [мне тогда Шостаковичем] потрясло и перевернуло меня, это прозвучало для меня, если хотите знать, намного более убедительно, более красочно, масштабно, чем лепетания всех либеральных недоумков, вместе взятых».

Здесь же: Дмитрий Горбатов, «Шостакович и „сермяжная правда“ музыки»: «<...> будущего у музыки Шостаковича нет. Разумеется, ее будут продолжать играть все оркестры мира — и продлится это еще долго. Относительно долго. Лет 50 — 100. <...> У Шостаковича, разумеется, будут появляться все новые адепты — притом самые искренние. Но у Шостаковича не будет главного — он никогда больше не станет современным композитором».

Здесь же: Яков Рубенчик, «Взгляд на Шостаковича с прищуром»: «Он был бесчестным конформистом, конъюнктурщиком и прислужником палачей. Им написано много серой, посредственной музыки для оркестра и абсолютно бездарных пошлейших вокальных опусов».

См. также: Дмитрий Горбатов, «Ответы Я. Рубенчику о Шостаковиче» — «Лебедь», 2003, № 305, 5 января; Яков Рубенчик, «Без мелодии не может быть музыки» — «Лебедь», 2003, № 305, 5 января <<http://www.lebed.com>>

См. также сетевой дневник **Дмитрия Бавильского** <<http://www.livejournal.com/users/paslen>> за декабрь 2002 и январь 2003 года — его впечатления от симфоний Шостаковича. О Четвертой (1936): «Грандиозные пространства, одышливые миры, гроздьями висящие за левым плечом, космические сквозняки, черные дыры — все это, между прочим, могло бы быть идеальным саундтреком к „Звездным войнам“».

См. также: **Дмитрий Бавильский**, «Пятнадцать мгновений зимы» — «Топос», 2003, 5 и 10 января <<http://www.topos.ru>>

См. также: **Михаил Ардов**, «Книга о Шостаковиче» — «Новый мир», 2002, № 5, 6; **Л. Лебединский**, «О некоторых музыкальных цитатах в произведениях Д. Шостаковича» — «Новый мир», 1990, № 3.

Неизвестный Прасолов. Предисловие и публикация **Инны Ростовцевой**. — «Литературная газета», 2000, № 52, 25 — 31 декабря.

Девять фрагментов неизвестной прозы поэта.

Андрей Немзер. Всяк при своем. О новой книге **Инны Лиснянской** [«В пригороде Содомы»]. — «Время новостей», 2002, № 238, 26 декабря <<http://www.vremya.ru>>

«Лиснянская делает осязательным самодостаточность всего, к чему прикасается ее слово. Грань между „называнием“ и „метафоризацией“ исчезает».

См. также: **Андрей Немзер**, «Наш собеседник. Год назад умер Юрий Давыдов» — «Время новостей», 2003, № 7, 17 января.

Виктор Никитин. *Help me! Save me!* Рассказ. — «Подъем», Воронеж, 2002, № 11. Карточный долг восемнадцатилетнего.

См. также: **Виктор Никитин**, «Меня зовут Хокинс, Джим Хокинс...» — «Москва», 2002, № 11; это резко критический разбор романа **Анатолия Азольского** «Диверсант» («Новый мир», 2002, № 3, 4), полное его неприятие.

Анна Носенко. Вас танцуют. — «Со-Общение», 2002, № 12, декабрь <<http://www.soob.ru>>

«Количество людей, отдающих себе отчет в том, что они приобретают именно эмоции, а не их материальные носители, растет с каждым днем. Потребление от этого вовсе не снижается, а, наоборот, растет, ибо эмоций человеку требуется гораздо больше, чем предметов. <...> Кроме эмоций, нанесенных на материальный носитель, есть и нематериальные эмоциональные товары — продажа чистых переживаний — то, что в англоязычном мире именуется *entertainment*. Что покупают люди, приобретая фильмы, компьютерные игры, музыкальные диски? «Те же самые переживания», — скажут многие и будут правы. Разница в том, что при покупке *entertainment* мы осознанно делаем выбор в пользу той или иной эмоции. Гораздо более осознанно, чем с материальными товарами. Такое осознанное потребление позволяет нам начать действовать и жить рефлексивно. Слово „*entertainment*“ имеет «штамповый» перевод на русский язык — индустрия *раз-влечений*. При внимательном разборе слова „*entertainment*“ выясняется, что оно может быть переведено скорее как *во-влечение* (обратите внимание на значение английского *enter*). Раз-влечение и во-влечение — два слова, которые открывают потребителю двери в два разных понимания, а значит, и потребления современного *entertainment*. В чем, на наш взгляд, принципиальная разница этих двух пониманий: *раз-влечения* и *во-влечения*? В том, что мир *раз-влечений* танцует вас <...>. А в мире *во-влечения* вы танцуете сами».

Глеб Павловский. Вырванное из контекста. — «Русский Журнал», 2002, 31 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

«Коли есть свобода, она в том, чтобы нас не учили и нами не правили худшие, чем мы сами».

Александр Панарин. Стратегическая нестабильность XXI века. — «Москва», 2002, с № 4 по 12.

Среди прочего: «Главным мотивом недовольства прежним [советским] режимом у большинства людей был не дефицит собственности и не инстинкт собственности, а бунт разума, защищающего интеллектуальное достоинство личности против порядка, ограничивающего свободное пользование разумом». Полный текст см. в отдельном издании: М., «Алгоритм», 2003.

См. также: **Александр Панарин**, «Страхи властвующих как фактор стратегической нестабильности» — «Наш современник», 2002, № 9.

Сергей Переслегин. Искусство варвара против аристократизма воина. — «Отечественные записки», 2002, № 8.

«В сущности, генералиссимус Суворов использовал не традиционную и даже не индустриальную, а постиндустриальную стратегию — *стратегию чуда*. Через полтора

века нечто подобное продемонстрировали миру генералы вермахта и адмиралы Страны восходящего солнца».

«Крымская война была спровоцирована Великобританией для решения одной, но существенной в рамках ее приоритетов цели — захвата Петропавловска-Камчатского».

«Защитить мирных граждан от современных неаналитических способов ведения войны, подобных тем, что были применены 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке или 23 — 26 октября 2002 года в Москве, невозможно в принципе: принимая те или иные „действенные меры“, военные и политические руководители просто обманывают себя. Только *все население страны*, вооруженное современным оружием и психологически подготовленное к действиям в экстремальной ситуации, может справиться с хаотичским террором».

Людмила Петрушевская. Вольфганговна и Сергей Иванович. Святочный рассказ рубежа веков. — «Новая газета», 2002, № 95, 26 декабря.

«Эфто тесто с масляной краской ты смоешь керосином. Там внутри бриллианты».

Елена Полтавец. «Анна Каренина» в современной школе. «Полнота страдания и пустота счастья». — «Литература». Еженедельная газета Издательского дома «Первое сентября». 2003, № 1, 1 — 7 января.

«Но почему же все-таки грибы в сценах любовного объяснения?»

Евгений Попов. «Конец двойным играм». Беседу вела Анна Барина. — «Литературная Россия», 2002, № 51, 20 декабря.

«Я одинаково хорошо отношусь к Достоевскому, к Кафке и к обэриутам <...>. У меня вызывает уважение профессионально сделанная работа очень разных писателей, даже идеологически чуждых мне, если только они не призывают к тому, что запрещает Уголовный кодекс России».

Станислав Рассадин. Безобразно голые короли постсоцреализма. — «Новая газета», 2002, № 94, 23 декабря.

Хармс против Сорокина.

См. также: **Александр Генис,** «Душа без тела» — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 12 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Григорий Ревзин. Москва: десять лет после СССР. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 5 (25).

«<...> я позволю себе все же рассматривать лужковский стиль как явление автономное, характеризующее именно Россию 1990-х и закончившееся вместе с ними».

Здесь же: **Егор Ларичев,** «Архитектура умолчания»; «<...> стиль все-таки состоялся. Но состоялся он не как стиль прокламирующий, а как стиль „умалчивающий“».

Здесь же — другие статьи об архитектуре.

«Россия устала быть империей». Беседу вел Денис Тукмаков. — «Завтра», 2002, № 52, 24 декабря.

«Если кто-то думает, что русский терроризм может быть слабее или менее опасен, нежели чеченский, то это большое заблуждение», — говорит один из руководителей Национально-Державной партии России (НДПР) **Александр Севастьянов.**

См. также беседу с другим сопредседателем партии **Борисом Мироновым:** «Московские новости», 2002, № 48 <<http://www.mn.ru>>

Джордж Сантаяна. Люди и страны. Моя жизнь. Предисловие и перевод с английского Галины Шульги. — «Новая Юность», 2002, № 5 (56) <http://magazines.russ.ru/nov_yun>

«Как при родителях — каталонцах из каталонцев моя мать ухитрилась родиться в Глазго, да еще и выйти замуж за бостонца по фамилии Стургис?» Фрагменты мемуаров (1944) американского философа, поэта, писателя, культуролога Джорджа Сантаяны (Хорхе Агустин Николас Руис де Сантаяна, 1863 — 1952).

Людмила Сараскина. «Роман высшей напряженности». А. И. Солженицын о романе Ф. М. Достоевского «Подросток». — «Литературная газета», 2003, № 1, 15 — 21 января.

«Медленное, пристальное, всепроникающее чтение — так можно охарактеризовать читательский и критический почерк Солженицына[критика]». Цитаты из его эссе 1992 года об этом романе Достоевского приводятся по ксерокопии оригинала (машинопись), хранящегося в личном архиве А. И. Солженицына.

Начиная с настоящего номера, «Новый мир» возобновляет регулярную публикацию этюдов из «Литературной коллекции» Александра Солженицына.

Павел С-ов. Смерть и фэнтези. — «Русский Удодь». Вестник консервативного авангарда. № 18 <<http://udod.traditio.ru>>

«В российской фэнтезийной и сказочной традиции только нечисть страдает и умирает по-настоящему, и потому только нечисть живет. Кощей воюет, борется за свою жизнь, и это внушает уважение. А у Ивана-царевича за спиной целый полк „Серых волков” с ведрами живой воды».

Юрий Солозобов. Сто лет «Вишневого сада». — «Русский Журнал», 2002, 25 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

Чехов — Россия — глобализация. «Такая свобода передвижений и вывоза капиталов привела к тому, что до революции 1917-го почти полмиллиона подданных Российской империи постоянно проживали за границей. И действительно, *проживали* заложенные земли. Когда грянул октябрьский гром, осталось только перекреститься, и многим выезжать не потребовалось».

Олег Сулькин (Нью-Йорк). Известный Неизвестный. — «Итоги», 2002, № 50 <<http://www.itogi.ru>>

Говорит Эрнст Неизвестный: «Я очень мало читаю. Понравился Виктор Пелевин. В „Чапаеве и Пустоте” он осмелился продолжить мифологическую структуру Набокова. Близкое мне ощущение виртуальной реальности, которая находится рядом с реальностью обычной. Я именно так ощущаю мир».

Валерия Сычева. Остановите реституцию! — «Итоги», 2002, № 51.

Восемнадцать музеев мира, среди которых Лувр, Метрополитен, Прадо, Эрмитаж, выступили с совместной декларацией против массовой реституции культурных ценностей. Говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский: «<...> все, что касается проблемы реституции применительно к России, не касается наследников пострадавших в годы Второй мировой войны. Речь идет о вещах, принадлежавших народу, от которого пострадала сама Россия! И это принципиально важно».

Денис Тукмаков. Наша борьба правая! Нашей будет победа! — «Завтра», 2003, № 1.

«<...> это стало уже целой религией НБП — жить днем завтрашним. В ней, как в настоящей эсхатологии, есть два различных начала — ад и рай. Ад — для врагов. О, им уготована ужасная участь. Нацболовский лозунг „Пытать и вешать, вешать и пытать!” еще никто не отменял».

См. в настоящем номере «Нового мира» статью **Аллы Латыниной** о новых книгах Эдуарда Лимонова.

Аман Тулеев. Щедрая земля. Губернатор Кемеровской области отвечает на вопросы председателя Союза писателей Кузбасса Бориса Бурмистрова. — «Москва», 2002, № 12.

«Вот уже много лет моя настольная книга — „Три товарища” Эриха Марии Ремарка. Считаю, что это — настоящая *ода дружбе*. Такая очищающая высота человеческих отношений. Нам сегодня этого очень не хватает».

Павел Флоренский. Письма 1903 года. Публикация Павла, Юлии и Василия Флоренских. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2002, № 229 <<http://magazines.russ.ru/nj>>

«Дорогая мамочка! <...> Ведь это значит, вы попросту отрицаете за мною то, чем я единственно дорожу: сознательное развитие мировоззрения и отбрасывание прочь предрассудков, будь они даже предрассудки интеллигенции. Да и притом надоело мне слушать сказку о Писареве и проч. и в ответ на все мои запросы получать ответ г-на Писарева» (из письма от 19 — 21 января 1903 года). См. также письма **Павла Флоренского** 1901 года — в № 219; письма 1902 года — в № 223.

Сэмюэл Хантингтон. Офицерская служба как профессия. Перевод с английского Виталия Шлыкова. — «Отечественные записки», 2002, № 8.

«Выражения „профессиональная армия” и „профессиональный солдат” затемняли различие между карьерным рядовым или сержантом, который является профессионалом в значении „тот, кто работает за деньги”, и карьерным офицером, который является профессионалом в совершенно ином смысле — тот, кто посвятил себя „высшему призванию” на службе обществу».

Егор Холмогоров. Кто победил? — «Спецназ России», 2002, № 11 (74), ноябрь <<http://www.specnaz.ru>>

«Победила Россия. <...> 26 октября может считаться днем возрождения российской государственности. <...> Победил президент Путин. <...> Победила „Альфа“».

«Победили заложники. Победили те, кто погиб, — они не стали безгласным убойным скотом в руках глумящихся террористов, они погибли в сражении и отдали свою жизнь за тех, кто остался в живых. Победили те, кто выжил, — почти все они не сломались, не сдались террористам <...>. Драма заложников — не тот пошловатый фильм ужасов, который пытаются вновь нам показать СМИ, а подлинная драма. Это изумительное свидетельство красоты и благородства русского характера — не опошлившегося, не измельчавшего и не искоренимого ничем, преодолевающего страх и подлость».

«Победил народ. <...> Встретивший спокойной холодной и непреклонной ненавистью наглость бандитов».

«26 октября стало тем днем, о котором можно сказать простыми словами одного священника (замечательно, что именно священника): „Теперь можно спокойно воевать хоть 10 лет, хоть 30... Молодому поколению дали камертон...“»

«День нашей победы был тем днем, когда Православная Церковь празднует память иконы Божией Матери „Иверская“, одной из знаменитейших чудотворных икон Богородицы, одной из тех икон, с которыми связано особое покровительство Царицы Небесной граду Москве».

«26 октября был и еще один, земной, праздник — десятилетний юбилей Ассоциации ветеранов „Альфы“ — „действующего резерва“ группы антитеррора, объединяющей героев-ветеранов, участников легендарного штурма дворца Амина <...>».

«Отныне мы знаем, откуда дует ветер перемен. Тот ветер, который, как мы верим, принесет России не только возрождение былого величия, но и обретение нового. <...> Имя этого ветра — „Норд-Ост“, холодный, пронизывающий, ледяной Ветер Северо-Востока, того Северо-Востока, каким является Россия по отношению ко всему остальному миру».

Егор Холмогоров. «Альфа» — будущее, которое работает. — «Спецназ России», 2002, № 11 (74), ноябрь.

«<...> афганская война СССР была первой попыткой остановить расползание постцивилизационного хаоса, варваризацию „третьего мира“, стремительно превращающегося в основную базу и кадровый резерв Мирового Подполья. Афганская война была фактически первой крупной антитеррористической войной новейшего времени, войной, в которой США выступали на тот момент в качестве спонсора мирового терроризма <...>».

«Герой — „сверхчеловек“, способный осуществить невероятную боевую операцию, и герой — нравственный образец, способный с достоинством выйти из самых сложных моральных испытаний, в любом „мифе“ подходит к тому рубежу, где он становится „культурным героем“, то есть героем, приносящим в мир новое содержание, побеждающим хаос и создающим новый, прежде не существовавший, более совершенный порядок. К началу нового века „Альфа“ подошла уже готовая к тому, чтобы исполнить эту миссию „культурного героя“. В мире торжествующего терроризма есть только один путь ко спасению от хаоса — это возникновение на дымящихся развалинах либеральной цивилизации, которая была разрушена всего двумя взрывами, оставившими от нее только оболочку, нового общества — общества антитеррора».

Егор Холмогоров. Глобальная война с терроризмом и военная доктрина России. — «Отечественные записки», 2002, № 8.

«Но *что* делать армии в действительной *войне с терроризмом*, т. е. в борьбе с самими террористами, а не с государствами, их укрывающими, остается до сих пор загадкой. Ни теория, ни практика антитеррористической войны в сколько-нибудь связанном виде не существуют».

См. также: **Егор Холмогоров**, «„Новая война“ — стратегический тайм-аут» — «Русский Журнал», 2002, 11 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

См. также: **Михаил Ремизов**, «В поисках „языка войны“» — «Русский Журнал», 2002, 12 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

Егор Холмогоров. День чекиста [20 декабря]. — «Русский Удодь». Вестник консервативного авангарда. № 18 <<http://udod.traditio.ru>>

«„Чекизм“ как определенная модель организации спецслужб отстраивался не как инструмент „геноцида русского народа“ и т. д., а именно как структура, очень успешная и великолепно отлаженная структура, для ведения классовой войны вне и внутри страны обычными для подобных служб средствами, начиная от обычной разведки и кончая внесудебными расправами в логике красного террора. Совершенно не надо оправдывать эти расправы, но надо понять — *как* это было сделано».

«<...> [сегодня] „чекизм по Дзержинскому” вполне трансформируется в доктрину „войны миров”, в которой противником является „абсолютно чужой” <...>, тот враг, к которому нельзя испытывать ни жалости, ни нормального на обычной войне своеобразного „доверия к врагу”. Есть как минимум одна война, для которой он нужен, — это *война с террором*. <...> Враг, в отношении которого применима и оправдана логика „красного террора”, поскольку любой антитеррор не успешен без контртеррора. Война, которая является столкновением двух миров, двух систем, а не просто двух государств. Наконец — это война с врагом, в отношении которого ты не чувствуешь себя всемогущим и про тебя все знают, что ты не всемогущ, а соответственно расслабляться и полагаться на административный ресурс — нельзя».

См. также: «Если уж сам теракт строится как „зрелище”, то и адекватный ответ тоже должен быть зрелищем, причем — более интересным и убедительным, чем сам теракт. Например, все главные герои действия должны были быть уничтожены тем же — или более эффективным — способом, каким они угрожали уничтожить своих жертв, без всякого „суда и следствия”», — пишет **Константин Крылов** («Конец маневров» — «Спецназ России», 2002, № 12, декабрь).

См. также: **Константин Крылов**, «Момент истины» — «Спецназ России», 2002, № 12 (75), декабрь <<http://www.spcnaz.ru>>

Егор Холмогоров. Просто Россия. Апология национализма. — «*GlobalRus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2002, 21 ноября <<http://www.globalrus.ru>>

«Как нетрудно заметить — за разным „контентом” скрывается одна и та же риторическая конструкция: „Если Россия не обладает X, не совпадающим с самой Россией (монархия, коммунизм, либерализм и т. д.), то она не Россия вовсе и лучше совсем ей сгинуть, чем быть такой уродной”. То есть Россия не может, по логике своих многообразных „внутренних” обидчиков, не имеет права существовать ради себя самой, а русские, если они не приносят себя в жертву некой „великой идее” (обычно окрашиваемой в тона мазохизма), должны чувствовать себя ущербными. <...> Может быть, случайно, может быть, нет, но все представители идеологии „Россия без X должна умереть” сегодня объединились в общем неприятии существующего политического режима, поскольку в основе этого режима в конечном счете лежит именно „Россия без X” — просто Россия. <...> Разделение между теми, кто любит эту прекрасную страну, Россию, и этот многострадальный и много обижаемый, но благородный и добрый народ — русских, и теми, кто все это ненавидит, проходит не на уровне „контента” идеологий, а по базовым эмоциям любви и ненависти, желания процветания и жизни или желания уничтожения и смерти. <...> В сегодняшней ситуации это означает, что русским самое лучшее и самое умное любить то государство, которое у них есть, и не менять вполне живого чирикающего воробья в руках на место в „бою”, врезающемся в один из нью-йоркских небоскребов».

См. также: «<...> я все-таки отпетый русский националист. Выражается это в том, что очень люблю Россию, очень люблю мой добрый и столь многими ненавидимый народ <...>, и я хочу, чтобы ему не было плохо, а было хорошо. <...> Я считаю и буду считать, что если есть что-то, что идет на пользу русскому народу (то есть увеличивает хотя бы немного его силу, благосостояние и самоуважение) — будь то ядерные ракеты или нефтедоллары, будь то китайские рестораны или суперкомпьютеры, группа „Альфа” или издание на русском языке галиматии Дерриды, — то это может и должно быть одобрено в том отношении, в котором оно для России и русских полезно, и должно быть осуждено и отвергнуто в той степени, в которой это для русских вредно и бесполезно. Все хорошее должно принадлежать русским, и никакое материальное или духовное благо, которое могло бы быть усвоено русскими, не должно отвергаться на том основании, что оно является „чуждым”, „западным”, „нетрадиционным” и т. д.», — пишет **Егор Холмогоров** в своем сетевом дневнике от 18 ноября 2002 года <<http://www.livejournal.com/users/holmogor>>

См. также: «Национализм при этом надо жестко отличать от „патриотизма” или „великодержавности”. <...> Национализм ориентирован на народ, который, с точки зрения националиста, представляет собой единую „команду”, цель которой в достижении успеха. Для националиста важнее всего: во-первых — успех, во-вторых — будущий успех. Национализм „футуристичен”, любые прошлые достижения для него являются значимыми только в той степени, в которой они свидетельствуют о том, что „мы можем”. По той же причине национализм оптимистичен — патриотизм может быть очень пессимистичен, скорбя по разрушенным святыням, державничество может переходить в нигилизм, вовсе отрицая право „не-великой” страны на существование, национализм живет надеждами и весь поглощен мобилизацией народа на реализацию этих надежд,

то есть превращение его в нацию, то есть людей, успеха достигших. При этом — успех может быть вполне весомым, вроде создания конкурентоспособной экономики, может быть вполне забавным, вроде успеха футбольной команды на мировом чемпионате. Важно не это, а само закрепление в национальном сознании алгоритма: мы не могли — мы объединились — мы напряглись — мы смогли. <...> У русских слишком много значимых достижений в прошлом — империя, космос, ракеты, перекрытый Енисей, поэтому очень сложным оказывается поддержание „футуристичности“ национализма, почти все окажется возвращением к недавнему советскому прошлому, и результат сравнения для новой России почти всегда будет невыигрышным. Поэтому основой националистической мобилизации (ни в коем случае не путать с национальной идеей) может быть только то, что заведомо отсутствовало в ближайшем советском прошлом. Таких вещей, собственно говоря, три — это рыночная экономика, интеллектуальная свобода и религия <...>. На практике это означает, что для завоевания своего места в мире России не избежать национальной мобилизации на: а) превращение нашей страны в страну с развитой рыночной экономикой, причем это превращение должно рассматриваться как самоцель, как форма реализации национального достоинства, а не только как средства выживания; б) на признание России в качестве ведущего и влиятельнейшего интеллектуального центра, продуцирующего новые идеи и оказывающего решающее влияние на глобальное интеллектуальное поле; в) на завоевание престижа наиболее серьезно и глубоко религиозной страны», — пишет Егор Холмогоров в своем сетевом дневнике от 21 ноября 2002 года <<http://www.livejournal.com/users/holmogor>>

См. также: «Как известно, я — русская свинья. Выразится это на эмоциональном уровне в том, что я очень не люблю русофобию во всех ее видах, а люди (а также компании, организации, социальные слои и народы), ее исповедующие и практикующие, вызывают у меня ненависть и омерзение. Еще я очень не люблю плохих людей. Плохих с точки зрения „естественной нравственности“. <...> Обратной стороной этого дела у меня является крайнее равнодушие ко всем прочим человеческим различиям. Признаюсь честно: мне (эмоционально) „совершенно никак“, какой у кого шнобель, <...> гастрономические привычки, сексуальная ориентация и ты ды и ты пы. Подчеркну: речь идет не об „идейной толерантности“ и „уважении Другого в Другом“ (этого я всего совершенно не понимаю), а именно о полном равнодушии к этим делам „на уровне чуйств“. <...> Однако я отдаю себе отчет в том, что это *слабая* позиция. „Крутые“ народы ненавидят и презирают чужаков на уровне физиологии. <...> И я полностью отдаю себе отчет в том, что *в этом — сила*. Ни в чем ином. „Здесь бдолах и камень оник“. И я, конечно, хотел бы, чтобы русские приобрели (за любую цену) это волшебное свойство — гнушение принадлежать к элитной военной среде обучения и воспитания. Но этот „элитный клуб“ российской чести еще необходимо создать», — пишет Константин Крылов в своем сетевом дневнике от 21 ноября 2002 года <<http://www.livejournal.com/users/krylov>>

Александр Храмчихин. Новая страна — новая армия. — «Отечественные записки», 2002, № 8.

«<...> создание параллельной армии».

См. также: «Петр Великий оставил нам не только пример такой радикальной военной перестройки, но и способ ее безболезненного осуществления. Новая армия должна создаваться как „потешные полки“. <...> Мы видим решение в создании *добровольной* [не „наемной“] *армии*, эксплуатирующей естественный интерес человека к оружию и его использованию, стремление к физическому совершенству, культ психологической стойкости и стремление принадлежать к элитной военной среде обучения и воспитания. Но этот „элитный клуб“ российской чести еще необходимо создать», — пишет Сергей Переслегин («Искусство варвара против аристократизма воина» — «Отечественные записки», 2002, № 8 <<http://magazines.russ.ru/oz>>).

Юзеф Чапский. Об Анне Ахматовой. Перевод Святослава Святского. — «Новая Польша», Варшава, 2002, № 11 (36), ноябрь.

1965. «<...> внушительная, полная, спокойная, чуть глуховатая. *Tres dame*». Здесь же: Виктор Эрлих, «Ахматова о двадцатом веке».

Петр Чистяков. Рыцари Нескучного сада. Толкиенизм: новая религия или молодежное движение... — «НГ-Религии», 2002, № 13, 18 декабря <<http://www.ng.ru>>

«<...> структурные предпосылки для возникновения толкиенистской Церкви уже существуют, хотя говорить об этом пока рано».

Составитель Андрей Василевский.

«Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Звезда», «Знамя»,
«Континент», «Октябрь»

Анар. «Я ведь писатель...». Беседу вела Татьяна Бек. — «Вопросы литературы», 2002, № 6, ноябрь — декабрь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

Классик современной азербайджанской литературы о себе, о прошлом и настоящем.

«Есть много людей, которые пишут только на религиозные темы. Когда в это впадают и представители старшего поколения, я ничем, кроме как спекуляцией, это назвать не могу. Сначала он боготворил компартию и атеизм, а теперь — пророка Магомета. Ну а что касается молодых... У них это более естественная потребность».

Илья Анпилов. Уроки армии и войны, или Хроника чеченских будней. — «Континент», № 114 (2002, № 4) <<http://magazines.russ.ru/continent>>

В редакционном предисловии сказано, что эти подлинные дневниковые записи солдата-срочника (Чечня, 2000 — 2001) вынуты из «самотека» и особенно значительны тем, что описываемое место службы автора — зенитная батарея, то есть, как он сам пишет, далеко «не самое страшное место на войне». Соглашусь. То, что на соседней странице вас не ожидают пирамиды из отрезанных голов и живописно намотанные кишки, а «лишь» грубые военные будни зенитного расчета, сообщает тексту какую-то *окончательную* достоверность. Как и на первый взгляд скучноватый словарь солдатского сленга в конце этих записей. Как и, собственно, некоторые *уроки*, например, в разделе «Урок ОБЖ (основы безопасности жизни)». «Береги здоровье: армия — на время, здоровье — на всю жизнь». Или: «Не спеши себя убивать. Это и без тебя есть кому сделать».

Сергей Бабаян. Два рассказа. — «Континент», № 114 (2002, № 4).

Второй рассказ называется «Помни». Внешне неторопливое повествование об *инерции* одной пятидесятилетней жизни, а по сути — той ежедневной душевной трусости, которая удобно и по-родному лениво, ласково и незаметно-привычно, почти как собственный запах, сопровождает иного имярека до гробовой доски. Еще я никогда не читал такого страшно-обыденного описания разрыва сердца. Беспощадно. *Сергей Бабаян — первый лауреат премии имени И. П. Белкина за лучшую повесть 2001 года (тоже, кстати, напечатанную в «Континенте»).*

Ю. Барабаш. «Мой бедный *protégé*». Проза Шевченко: после Гоголя. — «Вопросы литературы», 2002, № 6, ноябрь — декабрь.

О целях и смысле одной странной мистификации Тараса Григорьевича: изготовлении цикла *русских повестей*, присланных в середине 50-х годов позапрошлого века в Петербург из ссылки. Автор значился как «К. Дармограй». Интересно, что Кобзарь крайне жестко дистанцировался от своего виртуального alter ego. Вообще-то настоящее исследование посвящено такой актуальной проблеме, как «язык империи».

Полковник П. Р. Бермонт-Авалов. Документы и воспоминания. Вступительная статья и комментарии — Ю. Г. Фельштинский, Г. З. Иоффе, Г. И. Чернявский. — «Вопросы истории», 2003, № 1.

Все документы публикуются впервые. Главный герой — видный участник Белого движения и ярый сторонник привлечения немцев (недавних врагов) к борьбе с большевиками. После Гражданской войны некоторое время жил в Германии, возглавлял группу русских фашистов, умер в США, в 70-е. Юденичу, Деникину и Колчаку очень мешал своими германфильскими инициативами. Впрочем, как видно из бесконечных реплик, рапортов и постановлений, все мешали друг другу и самим себе. Очень хотелось рулить в одиночку, растить собственную харизму без посредников и нести ответственность за истину в последней инстанции. Из предисловия доктора исторических наук Г. З. Иоффе: «История „аваловщины“ проливает свет на довольно запутанный внешне-политический аспект Гражданской войны в России и раскрывает содержание так называемой реальной политики — „нет ни врагов, ни друзей; есть интересы“». Как Антанта, так и Германия с ее союзниками выстраивали свою позицию, отнюдь не руководствуясь своей приверженностью к белым или красным. Перед ними была страна, ввергнутая в смуту и распад, и их политика преследовала собственные интересы в данный текущий момент, и, может быть, главным их интересом было ослабление России как государства в общеевропейской системе. Красные понимали это лучше белых, ко многим из которых прозрение пришло позднее, уже в эмиграции».

Дмитрий Бобышев. Я здесь. — «Октябрь», 2002, № 11 <<http://magazines.russ.ru/october>>

Мне говорили, но я не верил. Вот как скучают по минувшему времени. Марина Басманова, вкус поцелуя, горящие занавески, суды-защитники, «ну нет, с меня хватит чужих и в особенности Жозефовых невест — не превращаться ж в какого-то маниака, в профессионала по их „уводу”» и — в конце — фантазмагорический эпизод с пролезавшим вне очереди — впереди *непоставленных* — бронзовым Бродским. И окрика бронзовой же Ахматовой. Впрочем, Дм. Вас. имеет право писать все, что захочет, это его дело. А нам, получается, — читать? Неловко. Я — не здесь. Начало см.: «Октябрь», 2001, № 4; 2002, № 7, 9.

А. Д. Вентцель. Примечания к комментариям и комментарии к примечаниям. Вступительная заметка Юрия Щеглова. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 12 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Профессор математики (и сын писательницы И. Грековой), работающий в США, написал *комментарии-мемуары* — как свою критику комментариев Ю. Щеглова — к известным романам Ильфа и Петрова (вышедшим несколько лет тому назад в издательстве «Панорама»). Замечательно, что критикуемый, похоже, бесповоротно влюбился в эти мини-эссе оппонента и собирается включить их в переиздание книги. Один лишь спор с щеголовским комментарием к тому, с помощью *какой именно* бритвы Ипполит Матвеевич покушался на великого комбинатора, стоит хорошей новеллы. Или — пояснения к последнему крику («простреленной навывлет волчицы») Кисы, понявшего, на что пошли зашитые в сиденье стула драгоценные камни. Тут профессор Вентцель, между прочим, живо и подробно описывает свое впечатление от прослушивания пластинки, выпущенной когда-то по заказу Всесоюзного общества охотников. На диске, правда, вместо волчиц орала егеря, имитирующие вой для подманивания: «...к сожалению, у меня уже нет этой пластинки: шеллачные пластинки так легко бились; вой егеря, отталкиваемый отовсюду, метнулся, мотнув хвостом, под мост, там заглох и звучит сейчас только в моей голове».

Иван Вишневский. «Жить только с совершенно свободным духом...» Письмо к дочери. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 12.

Кажется, такие публикации как-то особенно выделяют «Звезду» среди других толстых журналов. Автор письма-мемуара служил в Добровольческой армии, в 20-е уехал во Францию, после смерти Сталина вернулся с семьей в Россию. Умер в 1980-м, в Харькове. Заканчивает он свое небольшое воспоминание (написанное в 70-е годы) о прожитой жизни — портретом жены. Можно только догадываться, какие чувства стоят за внешним спокойствием, за *интонацией изложения*. «Уже после войны, но когда транспорт не был еще вполне восстановлен, я принужден был ходить пешком на вокзал в Enghien и к ночи возвращаться на него поездом из Парижа. Если опаздывал из-за работы к поезду в 22 часа, то возвращался следующим ровно через час. Вы знаете, что от вокзала до нашего дома было около трех километров. Представь себе мое удивление, когда, выходя с вокзала, я у выхода увидел маму. Она пришла меня встретить, уложив всех вас. Приходила она встречать часто, иногда каждый день. Это ведь три километра туда, три обратно. За это, как и за очень многое другое, я всегда не только любил маму, но еще и уважал ее. Мало женщин, которые при тех обстоятельствах жизни русской эмиграции, при моей неспособности делать дела, так нетребовательно мирились бы с обстановкой, которую я мог дать».

Нина Горланова, Вячеслав Букур. Лидия и другие. История одной компании. Повесть. — «Континент», № 114 (2002, № 4).

Там есть эпизод — с избиванием одной из героинь — Гальки: мысли, сюжеты и счастливые воспоминания, проносившиеся у нее в голове, пока она, теряя зубы, срывает с себя кольца и цепочки и сует их озверевшему мужлану, подстерегшему ее между гаражей...

Я просто хотел сказать, что так любить человека — внутри письма — умеют, кажется, только эти трудолюбивые пермяки. Такими безумными красками. И — финальный аккорд, безошибочно узнаваемый:

«Лицо ее быстро уподоблялось пузырю. Вадик (муж. — *Л. К.*) достал из морозильника полиэтиленовый пакет с пельменями и стал прикладывать к ее щекам.

Все случилось по-простому: Галька чувствовала благодарность и хотела ее кому-то выразить. Она окрестилась через неделю. Чтобы не смеялись, она ходила в Слудскую церковь к заутрене по воскресеньям, совсем затемно».

См. также: **Нина Горланова,** «Нельзя. Можно. Нельзя» — «Знамя», 2002, № 6 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Виталий Дмитриев. Пейзаж после битвы. Стихи. — «Континент», № 114 (2002, № 4).

Целое море огней под крылом самолета.
Утром посмотришь — лишь гряда нелепых строений.
Так и любовь наша — только в ночи еще светит.
А на поверку — руины — пейзаж после битвы.
Битвы, в которой искать победителя глупо.

Мария Дубнова. Чудо, деньги, любовь... Основные ценности девяностых в популярных пьесах десятилетия. — «Вопросы литературы», 2002, № 6, ноябрь — декабрь.

«В девяностые годы представления людей о жизненных целях и приоритетах меняются, иногда кардинально. Это не значит, что советская мифология исчезает — она трансформируется в постсоветскую. Главные мифологемы массового театра девяностых — *изменение судьбы, чудо, деньги, любовь, дом, дети, род*. Эти мифологемы были хорошо знакомы и советским людям, но теперь *изменение судьбы* происходит фатально, не зависит от воли, желания и труда человека и, как правило, приводит к худшему. Можно попытаться бороться с судьбой, устраивая себе праздники подручными средствами, однако наверняка победишь, только если случится *чудо*, которое сродни выигрышу в лотерею, призу, вынесенному в студию. *Дети* — подкидыши, отцов помнят редко, однако стремление сохранить *род* ощущается вполне отчетливо. И если у человека есть крепкий *дом* и дружная *семья*, то в этом доме правит *любовь*, которая сильнее *денег*».

«**Живейшее принятие впечатлений**». Письма Джона Китса. Вступительная статья, составление, примечания и перевод с английского А. Ливерганта. — «Вопросы литературы», 2002, № 5, 6.

«Я глубоко убежден, что мог бы, если б только захотел, стать популярным автором, каковым мне никогда не бывать. Каких бы благ мне это ни сулило, мне одинаково претят любовь публики и любовь женщины: и то и другое — приторная патока на крыльях независимости. <...> „Стихов у меня очень много, — говорю я им (читателям. — П. К.), — дайте же мне за них много денег: вы тем самым покупаете себе удовольствие и облегчаете мой труд"... Да, словам моим не хватает мудрости. Я не мудр. Это — гордость. Могу дать вам определение гордого человека. Это человек, лишенный тщеславия и мудрости».

Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия». Документальная повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 12.

Дочь написала о матери — писательнице и журналистке Елене Иосифовне Катерли (1902 — 1958), авторе романа «Некрасов». Сегодня дочери на одиннадцать лет больше, чем было матери, когда она умерла. Повесть пронизана отрывками из писем и дневников Елены Катерли. Спасибо и автору, и журналу.

Эдуард Кочергин. Из опущенной жизни. Рассказы. — «Знамя», 2002, № 12
<<http://magazines.russ.ru/znamia>>

«Анюта принесла из кухни шайку с горячей водой и поставила в сенях на сундук. Вор сел на табурет и опустил свои знаменитые руки в воду. Пока Анюта возилась у плиты и накрывала на стол, Степан Василич исполнял древний ритуал карманников. Мне, по моему незнанию, казалось, что старик, опустив руки в воду, смывал заработанные на барахолке грехи или, выражаясь по-церковному, очищался от грехов, отдавая их воде. Я думал, что выражение „концы в воду” связано с отмачиванием рук щипачами после их стырных подвигов. На самом же деле делалось это для того, чтобы кожа на грабках становилась более чувствительной. Хороший карманник с отнеженными в воде руками через материал одежды определяет наличие в карманах денег...» И дальше — подробнее и подробнее — про руки Степан Василича. Это из рассказа «Анюта Непорочная. *Воспоминания затырищика*».

А. В. Луценко. Начало конфликта между В. И. Лениным и А. А. Богдановым (1907 — 1909 гг.). — «Вопросы истории», 2003, № 1.

История очень искусного иезуитства. «Беспрецедентная дискредитация политического противника и исключение его из Большевистского центра в обход Устава РСДРП состоялись, а сам конфликт между Лениным и Богдановым может считаться первым документально зафиксированным примером репрессивной борьбы с инакомыслием в среде русской социал-демократии». Ильич пожертвовал в те годы любимым своим инструментом — пропагандой среди рабочих, ломанулся в думскую политику, перевернулся с ног на голову — только бы сохранить единоначалие. Удалось.

Г. В. Марченко. Антисоветское движение в Чечне в 1920 — 1930-е годы. — «Вопросы истории», 2003, № 1.

«В конце 1930-х годов в Чечне начался новый подъем партизанской борьбы. К руководству в повстанческом движении на смену шейхам и муллам, призывавшим к возрождению имамата, пришли другие люди. В январе 1940 года начавшееся в Галанчожском районе восстание возглавил Хасан Исраилов. Ему было всего 30 лет, и он был членом ВКП(б) с 1929 года. В свое время писал стихи, пьесы, был корреспондентом „Крестьянской газеты“. Его статьи содержали критику коррупции и чиновничьего произвола. Он несколько раз арестовывался, был исключен из партии. Быстро добился популярности в народе. Через несколько месяцев повстанцы полностью овладели Галанчожским районом, частью Шатоевского района, аулами Саясан и Чаберлой. На народном съезде в Галанчоже повстанцами было провозглашено „Временное народно-революционное правительство Чечено-Ингушетии“. Главным требованием восставших было достижение полной и реальной независимости».

Нет, читать это все как *исторический документ* не выходит: в голову упрямо лезут иные имена и формулировки.

Ж. А. Медведев. Сталин и «дело врачей». Новые материалы. — «Вопросы истории», 2003, № 1.

Здесь семь глав: от убийства Соломона Михоэлса до ареста Полины Жемчужиной и опалы ее мужа — Молотова. От разгрома Еврейского антифашистского комитета до случайности возникновения самого «дела врачей» и произраильской политики Сталина в послевоенное время. «Антисемитизм Сталина не был ни религиозным, ни этническим, ни бытовым. Он был чисто политическим. Именно поэтому он проявился только после войны, когда еврейский вопрос стал острой бытовой проблемой». И еще: «Сталин не собирался разрешать эмиграцию евреев из СССР в Израиль. Арабские страны Ближнего Востока были созданы в основном с помощью Великобритании после Первой мировой войны, и в 1947 — 1948 годах все они придерживались британской ориентации. Поддерживая Израиль, Сталин „вбивал клин“ в отношения Великобритании и США».

В. Мильдон. «...Взять любой случай...». Литературная техника В. И. Даля. — «Вопросы литературы», 2002, № 6, ноябрь — декабрь.

Предлагаемая коллекция некоторых признаков литературной техники Даля подводит читателя к тому, что автор знаменитого словаря — типичный представитель «переходной прозы»: «Сочинения с такими чертами участвуют в формировании новой эстетики, и с этим феноменом предстоит, полагаю, сталкиваться всякий раз, когда в словесности возникает очередная переходная эпоха». Для примера возьмем такую «черту», как... собаку. «Даль первый, насколько я знаю, делает собаку персонажем в „Похождении Христиана Христиановича...“. Позднее эта собака отзовется в „Муму“ Тургенева, в „Белом пуделе“ Куприна, в „Каштанке“ Чехова, „Кусаче“ Л. Андреева, „Снах Чанга“ Бунина — вплоть до собак у Пришвина и Троепольского».

Ну тогда уж и Казакова с Ковалем и Довлатовым хорошо бы не забыть в этой парне.

Семен Яковлевич Надсон. 14 (26) декабря 1862 — 19 (31) января 1887. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 12.

Старинные стихи в «Звезде» публикуют на оборотной стороне обложки, предшествуя авантитулу. Иной раз выходит здорово.

Дураки, дураки, дураки без числа,
Всех родов, величин и сортов,
Точно всех их судьба на заказ создала,
Взяв казенный подряд дураков.

Если б был бы я царь, я б построил им дом
И открыл в нем дурацкий музей,
Разместивши их всех по чинам за стеклом
В назиданье державе моей.

Владимир Новиков. *Rara avis.* Виктор Куллэ (род. в 1962). — «Знамя», 2002, № 12.

На латыни — редкая птица. О поэте и человеке. «Поэзия Виктора Куллэ — это и интимный дневник, и духовная летопись нереализованного общественно-эстетического проекта. Не получился у нас отечественный постмодернизм, не хватило нам всем широты, индивидуализм заел. А поэт Куллэ состоялся — именно потому, что был нацелен

на поиски неиндивидуалистической этики. Неплохой побочный эффект — для него лично. Внутренний сюжет „Палимпсеста” (единственной на сегодня поэтической книги Куллэ, вышедшей в прошлом году. — *Л. К.*) — это рассказ о том, как восприятие может стать способом самореализации. Не бойся, что поэтов сейчас так много развелось. Не бойся, что оригинальных и неповторимых личностей кругом навалом. Уже не боишься? Значит, ты сам и поэт, и личность. „Палимпсест” примечателен балансом лиризма и эпики...»

Юрий Петкевич. Бессонница. Повесть. — «Октябрь», 2002, № 11.

«Проснулся от телефонного звонка. Сбросил с себя скомканное солнце на одеяле и выбежал в коридор, вспоминая оборванный сон: берег, желтые одуванчики, ярко-зеленая трава, песок, овраги, над ними черное небо и молния. Плыл вдоль берега и смотрел в небо. Загребал рукой и ухватился в воде за ногу женщины, за пятку, — и поднял трубку: такого же цвета, как пятка, и такую же гладкую.

Ответил ей, она что-то еще спросила. Только положил трубку, опять звонок, поднимаю. — Что еще? — спрашиваю».

Дальше вы, пожалуйста, сами. Не оторветесь, всего-то пятнадцать раз страничку перевернуть.

«Русский Журнал» как вызов. — «Октябрь», 2002, № 11.

«Круглый стол» по случаю пятилетия интернет-проекта. «Мне кажется, мы приходим ко времени свободы, которая в чежертонском ее понимании есть как раз некоторая определенность, когда можно назвать вещи своими именами. „Русский Журнал” дает мне эту возможность. В бумажной прессе я этого боюсь, у меня советское предубеждение: что написано пером, уже как бы не вырубил топором. А Интернет — это такая дудочка, в которую можно сказать, что у царя Мидаса ослиные уши. <...> Страх, который душил меня десять лет, — страх назвать белое белым и черное черным, — он в Сети меня покидает. И когда меня упрекают в том, что я вызываю демонов нового тоталитаризма, которые с первым же расправятся со мной, то должен сказать: расправятся со мной рано или поздно любые демоны — все мы смертны и доживем до своего конца. Так что лучше пусть со мной расправляются какие-нибудь более приличные демоны. А не демоны релятивизма, беспредела и самой жестокой — братковской — диктатуры» (Дмитрий Быков).

Феликс Светов. Воля. Рассказ. Рязаночка. Главы из неоконченной повести. — «Знамя», 2002, № 12.

В финале рассказа (он, понятно, о тюрьме) — плач по товарищу и соседу по Переделкину, тоже — *сидельцу*: «„Деревянное яблоко свободы...” — написал покойный Юра Давыдов в одной из своих книг. Что он имел в виду? Где, о ком — в каком романе?.. — Разве найдешь в тридцати — сорока его книгах, а теперь не спросить — улетел автор. Он *знал*, что пишет. Он-то *знал!* *Деревянное яблоко*. О ком, о чем шла у Давыдова речь?.. О свободе — о чем еще. Почему же тогда я так явственно ощутил оскомину, поглотившую меня дурноту... А может, то была не оскомина — вымечтанная воля садни-ла, драла горло, а зубы скрипели — не откусить».

Р. Х. Симонян. Страны Балтии и распад СССР (о некоторых мифах и стереотипах массового сознания). — «Вопросы истории», 2002, № 12.

«Парадокс заключается в том, что, вопреки сложившимся в общественном сознании представлениям, именно Прибалтийские республики предлагали реальный способ сохранения Союза, а центральная власть, наоборот, сделала все, чтобы его разрушить. Только спустя два с половиной года руководители Союза осознали наконец свою ошибку и попытались ее исправить, выразив горячее желание подписать новый Договор, но было уже слишком поздно. В стране к тому времени кардинально изменилась обстановка, в общественном сознании произошли качественные перемены, и, кроме того, уже успела оформиться и созреть новая, более активная политическая верхушка, агрессивно претендующая на власть. Впоследствии известный эстонский экономист, один из лидеров Народного фронта Эстонии, М. Бронштейн написал, что „никакая сила не развалила бы Советский Союз, если бы этого не захотела российская элита”...»

И. В. Сталин в работе над «Кратким курсом истории ВКП(б)». Вступительная статья и подготовка публикации М. В. Зеленова. — «Вопросы истории», 2002, № 11, 12.

Сталинская вставка в 5-й пункт «Заключения», сделанная в сентябре 1938-го: «Партия погибает, если она скрывает свои ошибки, затушевывает большие вопросы,

прикрывает свои недочеты фальшивым парадом благополучия, не терпит критики и самокритики, проникается чувством самодовольства, отдается чувству самовлюбленности и начинает почивать на лаврах». Какой фрейдизм, какая поэзия.

М. А. Фельдман. Советское решение рабочего вопроса на Урале (1929 — 1941 годы). — «Вопросы истории», 2002, № 12.

«В 1935 г. были арестованы и осуждены 7 потомственных, квалифицированных рабочих Мотовилихинского завода с большим стажем. Материалы следственного дела показывают, что рабочие критически оценивали советскую действительность. Об этом говорят их характеристики Сталина как диктатора, а положения рабочих — как кабалы. <...> О реальной политике по отношению к кадровым рабочим свидетельствует уникальный документ: приказ наркома оборонной промышленности М. Кагановича от 5 июня 1938 г., в котором говорилось, что „намеченная чистка заводов потребует увольнения 10 260 человек, преимущественно квалифицированных рабочих“...»

Илья Фояков. Стихи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 12.
Есть и новые палиндромы: «НЕ ДО МЕНЯ: Я НЕ МОДЕН».

Светлана Шенбрун. «Интуитивно и преднамеренно». Беседу вела Татьяна Бек. — «Вопросы литературы», 2002, № 6, ноябрь — декабрь.

Замечательное интервью автора «Роз и хризантем». История написания, силы помогавшие (и помогающие), «как там в Израиле» и прочее. Последний вопрос — о *жизненном кредо* и *заветах* своим детям. Ответ: «...любить людей, откуда они живы. Насколько это возможно. А детям — какие ж „заветы бытия“ мы можем им давать? Они и терпят-то нас, убогих и отсталых, исключительно в силу общих тенденций либерализма».

Александр Эбаноидзе. Промотавшие наследство. — «Вопросы литературы», 2002, № 6, ноябрь — декабрь.

Очень болезненный (и, кажется, справедливый) рассказ о том, как «циничный малый по имени Рынок» воспользовался «революционной» ситуацией «тотального разочарования в идеологиях, идеях, в конечном итоге в слове». И как это отразилось на литературных взаимоотношениях между Россией и ее бывшими родственниками — «странами Ближнего зарубежья».

«Литература должна признать свою долю вины: оставшись без обратной связи, без живой, заинтересованной реакции общества, она замкнулась, стала мельчать, увлеклась „междусобойчиками“ — забавами, аллюзиями, пародиями: в сущности, нащумевшее „Голубое сало“ В. Сорокина — всего-навсего цикл едких пародий, нанизанных на кулан натужно придуманной, плоской идеи».

«В труднейших условиях мы (журнал „Дружба народов“, коим руководит А. Эбаноидзе. — П. К.) стараемся отвечать своему предназначению, понимая, что без нас искусство перевода с языков наших ближних соседей погибнет окончательно и мы вынуждены будем общаться на языке газетных штампов и официальных протоколов. Чем это чревато, видно уже сегодня: в России выросло поколение, знакомое с понятием „лицо кавказской национальности“, но не имеющее представления о Нарекаци и Бараташвили!»

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



АДРЕСА: текст радикальной книги Михаила Вербицкого «Антикопирайт»: <http://imperium.lenin.ru/LENIN/32/C>

ДАТЫ: 31 марта (12 апреля) исполняется 180 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича **Островского** (1823 — 1886); 7 (19) апреля исполняется 125 лет со дня рождения философа Густава Густавовича **Шпета** (1878 — 1940); 18 апреля исполняется 75 лет со дня рождения поэта Владимира Николаевича **Соколова** (1928 — 1997).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Апрель

5 лет назад — в № 4 за 1998 год напечатана повесть Фазиля Искандера «Поэт».

10 лет назад — в № 4 за 1993 год напечатано Ответное слово Александра Солженицына на присуждение литературной награды Американского национального клуба искусств.

15 лет назад — в № 4 за 1988 год напечатано «Предисловие к „Герою нашего времени“» Владимира Набокова.

20 лет назад — в № 4 за 1983 год напечатан рассказ Андрея Дмитриева «Штиль».

60 лет назад — в № 4 за 1943 год печатались главы из поэмы Веры Инбер «Пулковский меридиан».

70 лет назад — в № 4, 7-8 за 1933 год печаталась книга Бориса Пильняка «Камни и корни».

75 лет назад — в № 4, 5, 6, 7 за 1928 год печатались главы из романа Михаила Пришвина «Кашеева цепь».

SUMMARY



This issue contains «Glasha» — a narration by Anatoly Azolsky, «Куypoga» — a story by Dmitry Novikov, as well as a collection of stories by contemporary Slovenian writers — «Everything is for the Better». Poetry section is made up of new poems by Oleg Chukhontsev, Larisa Miller, Irina Ratushinskaya, Aleksey Alyokhin and Roman Solntsev.

The sectional offerings of this issue are as follows:

Close and Distant contains the ending of diary notes by Igor Dedkov «A New Account has Already been Opened».

The World of Science presents an article by Maksim Shapir «A Reproof on a Given Subject» ending a series of polemical publications of the magazine on the text studies of «Yevgeny Onegin».

Comments offers an article by Alla Latynina «I Play the Life» analyzing political and ideological programs of Eduard Limonov and his books written in imprisonment..

The Writer's Diary resumes the publication of the «Literary Collection» of Aleksander Solzhenitsyn. The article «Yury Nagibin's Doubling» dwells on Yury Nagibin, a well known writer of the Soviet period.

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замяткина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.10.2002 г. Подписано к печати 26.02.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.
Высокая печать Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9600 экз. Зак. 3061. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова, учрежденная журналом «Новый мир» и Благотворительным Резервным фондом, присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России.

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ, по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно).

Премия имени Юрия Казакова по итогам 2002 года вручена
АСАРУ ЭППЕЛЮ
за рассказ «В паровозные годы»,
опубликованный в журнале «Знамя» (2002, № 10).

Состав жюри:

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ, поэт,
литературный критик, интернет-обозреватель;
ВИКТОР КУЛЛЭ, поэт, главный редактор
журнала «Старое литературное обозрение»;
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда;
ОЛЬГА НОВИКОВА, председатель жюри,
прозаик, зам. зав. отделом прозы «Нового мира»;
МАРИЯ РЕМИЗОВА, литературный критик,
сотрудник журнала «Континент»;
АНТОН УТКИН, прозаик.

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;
генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 \$.